

Аркадий
Сахнин

НЕОТВРАТИМОСТЬ



**Аркадий
Сахнин**

НЕОТВРАТИМОСТЬ

Повести
и рассказы

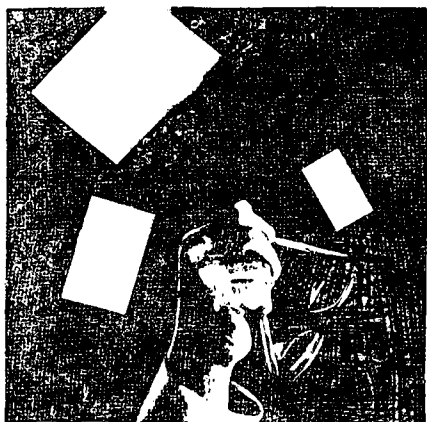
«Современник»
Москва
1984

P2
C22

Художник В. ТЕРЕЩЕНКО

С $\frac{4702010200-132}{M106(03)-84}$ 138-84

БК84Р7
Р2



НЕОТВРАТИМОСТЬ

Повесть

1

Заседание бюро обкома партии проходило бурно. Закапчивалось в полном молчании. За массивным, во всю длину зала, столом, вокруг которого собралось человек тридцать, царила противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо совершенно растерянного человека. Он озирался, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи.

Но каждый, на кого бы он ни смотрел, отводил взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение, — проговорил он наконец, едва произнося слова. — Наваждение какое-то...

Поднялся первый секретарь обкома Владимир Михайлович Звапов. Сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно. — И обернулся в сторону председателя парткомиссии: — Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к исключенному, и тот медленно достал из бокового кармана бумажник. Медленно вытащил партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранить — да, хранил

бережно, в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой и предъявлял у входа не раскрывая. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взноса, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц — штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листает странички. Год за годом перед глазами проходит жизнь. Сколько же секретарей сменилось за последнее десятилетие? И суммы заработка... Нет, это не бухгалтерские цифры. По ним видно, какие должности на протяжении многих лет он занимал, видно, как поднимался на новые высоты. И вот — последняя. Последняя высота. Взглянуть — голова закружится. Как не сознавал этого раньше... И страничка последняя. Последняя заполненная. А дальше — свободные, чистые, только разграфленные: «Сумма заработка за месяц», «Сумма взноса», «Подпись секретаря» и двенадцать чистых строчек. Никто больше не станет их заполнять, никто не поставит штампика...

Он листает чистые странички. Вот и чистые кончились. Дальше — обложка. Больше ничего нет. Кончился партбилет. Кончилась жизнь...

Точно не решаясь потревожить человека в столь трагическую минуту и все-таки поторапливая его, Чугунов кашлянул. А тот, на мгновение подняв ничего не видящие глаза, снова уставился в партбилет, начал медленно извлекать его из сафьяновой обложки.

Едва ли дорожил ею, скорее помимо воли тянул время. Не было мочи так просто взять и своими руками отдать партийный билет. Отдать навсегда. Кто-то перечеркнет черной тушью первую страничку, линия пройдет и через его лицо на фотографии, и поставят последний штамп. Большой жирный штамп: «Аннулирован». Это он аннулирован, перечеркнут, вычеркнут из жизни. Точно так аннулируется партийный билет, когда человек умирает.

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загремел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на секретаря обкома, выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, вздулись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засверкали глаза. — Вы мне его давали, я спрашиваю! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам!

Кто может угадать, когда над головой нависнет беда? Сергей Александрович Крылов приехал в крупный областной центр Лучанск в отличном настроении. Запер свой маленький чемодан в камере хранения, набрав на цифровом замке номер своего автомобиля — зачем придумывать, записывать или, того хуже, держать в голове цифры, если только один раз в жизни они и потребуются.

Вышел на вокзальную площадь и зашагал широко, размашисто. У него крупное, грубоватое лицо, изрядное место отвоевала себе седина в его красивых, волнами волосах, покрепек, подтянут, строен. И не скажешь, что далеко не молод человек, что в теле его три осколка, а на ногах глубокие рваные шрамы, оставленные войной.

Инженер-механик по образованию, он ни одного дня не работал по специальности. В тридцатые годы учился в индустриальном институте. Ему это было неинтересно. Учиться там престижно, потому и поступил. Гуманитарные профессии в ту пору не почитались, да и не очень они его прельщали. Он сам не знал, чего хотел. Ничего не хотел.

Стипендии на жизнь не хватало. Отца не было, и помощи ждать было неоткуда. Некоторые студенты с его курса подрабатывали в железнодорожных пакгаузах, таская тяжелые мешки. Это ему не подходило. Наиболее предприимчивые однокашники нашли заработок на кондитерской фабрике — грузили ящики с печеньем. Работа полегче, да и выгодней. Выносить печенье не удавалось, зато наедались им до тошноты. Он не оказался в числе предприимчивых. Посчастливилось устроиться на подсобные работы в редакции отраслевой газеты. Посчастливилось... Уж лучше бы таскать мешки... Проверь, действительно ли в таком-то общежитии непролазная грязь... Поезжай на завод, установи, за что уволили счетовода... Узнай, почему травмой сошел с рельсов...

Проверь, установи, узнай, сверь цитаты, а этот, как барин, сядет и по готовому материалу напишет статью. Как же, известный журналист... черновой работой брезгует, да еще и издевается: «Как отчество Татьяны Лариной?» Откуда ему знать, как ее отчество! Пушкин называл только Татьяной, иногда прибавлял фамилию. И ни разу по отчеству.

Разыгрывали его часто, а он совершенно не мог держать удар, не знал, как отвечать, обижался. Обиды накапливались. Даже некоторые задания стали казаться обидными, чуть ли не унижительными... Ну, ничего, настанет и его вре-

мя... Какое время? Что настанет? Настанет, и все.

Написать заметку ему никто не поручал. Однажды увидел, как грубо оскорбили старую женщину, и решил выступить в ее защиту. Писал долго, стараясь представить себя на месте пострадавшей, все полнее ощущая ее боль и беспомощность, и это уже становилось его собственной болью, его личным оскорблением, щемящим сердце. Он словно изливал негодование за свои собственные унижения, какими казались ему многие задания редакции и невинные розыгрыши.

В заметке не было громких слов, казалось, написана она бесстрастно, но так, что вызывала гнев читателей против нравственных уродов. Ее опубликовали без правки и сокращений и высоко оценили на редакционной летучке.

В тот день впервые в жизни он испытал счастье. Целую неделю, приходя в студенческое общежитие, доставал из тумбочки газету, настороженно поглядывая на дверь — как бы не вошел кто-либо из ребят, и любовался заметкой, подолгу останавливал взгляд на своей фамилии, набранной жирным шрифтом.

Заметка изменила его жизнь. Будто после мокрой и скользкой глинистой дороги выбрался на асфальт. Еще любясь первым своим творением, думал о новом, искал тему. Теперь поручения редакции не казались обидными, хотя по-прежнему интереса не вызывали. Ну что ж, таскать мешки тоже радости мало. Но что поделаешь — надо. Откуда что взялось — на подковырки газетных острословов находил достойный ответ, и уже не всякий решался подшучивать над ним. Вскоре появилось его второе, тоже заметное, выступление в газете.

Так началась его журналистская жизнь. Институт заканчивал экстерном, уже числясь в штате редакции, и на всю жизнь остался верен своей новой профессии, за исключением небольшого периода в самом начале войны.

В ту пору двадцатипятилетний, но уже с определенным опытом, он работал в ТАССе. В армию его не взяли — выдали брönю. И вот однажды срочно вызвали в райком партии. Кроме первого секретаря райкома в кабинете находился незнакомый человек в железнодорожной форме. После первых ничего не значащих слов о том, как идут дела, хозяин кабинета спросил Крылова, кто он по профессии. Вопрос удивил. Секретарь райкома хорошо знал его, знал, где и кем работает. К чему этот вопрос?

— Журналист... — растерянно сказал Крылов, — но по образованию...

— Нет, — прервал секретарь, — до института кем вы работали?

— Слесарем в депо, потом на паровозе...

— Вот-вот, — снова не дал ему договорить секретарь. — Понимаете, в Западном депо не хватает помощников машиниста, некому снаряды возить...

Крылов с облегчением вздохнул. Это хоть как-то смягчало угрызения совести: молодой, здоровый, сильный ворошиловский стрелок сидит за письменным столом в огромном здании, где почти не осталось молодежи, среди женщин, стариков и инвалидов, когда идет война.

Оставив записку главному редактору, он ушел в депо. Не станут же считать его дезертиром.

Три месяца, часто под бомбежками, водил поезда с военной техникой, боеприпасами и войсками. А потом прибыли из Белоруссии эвакуированные паровозники, и нужда в нем отпала. Пошел в военкомат. Сказали, взять не могут, поскольку на него брѳня. Ему ничего не оставалось как вернуться на прежнее место работы. По дороге домой случайно встретил бывшего ответственного секретаря редакции отраслевой газеты, где начинал еще студентом, а ныне редактора фронтовой газеты, и тот забрал его в свою редакцию, надлежащим образом все оформив через военкомат.

С тех пор прошло больше трех десятилетий. Теперь номера газет, где печатались выступления Крылова, переходили из рук в руки, вызывали горячие споры, не утихавшие по нескольку дней, порой оставляли след на годы. Ему не раз приходилось писать о людских пороках, он получал удовлетворение, развенчивая недостойных, но подлинную радость обретал, лишь раскрывая характеры сильные, цельные, показывая людей мужественных и талантливых.

К одному из таких людей Сергей Александрович и приехал в Лучанск. Написать о нем, вернее, о таком человеке, предложил сам.

Каждый раз, когда предстояло выпустить газету, посвященную знаменательной дате, главный редактор Герман Трофимович Удалов собирал сотрудников, которых как-то в шутку назвал мозговым центром. Выражение прижилось, к нему привыкли, и оно уже не воспринималось иронически. На совещания мозгового центра приглашались сотрудники газеты не в зависимости от рангов или занимаемых должностей, а только особо инициативные, способные к выдумке, дававшие волю полету своей фантазии.

Решался там всегда только один вопрос — как лучше, ори-

гипальнее, интереснее выпустить данный номер газеты. Совецание не имело распорядка, регламента, не велся протокол, и разговор шел, как кто-то выразился, «в порядке бреда». Каждый говорил то, что приходило в голову. Даже самые нелепые предложения не осуждались, не высмеивались, их просто отвергали.

На последнем совещании мозгового центра, посвященном Дню Победы, Крылов предложил рассказать о герое войны, прежде человеку ничем не примечательном, но в боях проявившем не только мужество, но и изобретательность, незаурядные способности и талант организатора. Показать, как эти качества, раскрывшиеся в боевой обстановке, получили дальнейшее развитие на ответственном руководящем посту, который доверен ему сегодня.

Предложение приняли.

Начальник одного из крупнейших в стране главков Артем Савельевич Ремизов, к которому обратился Крылов, назвал кандидатуру в высшей степени подходящую. Непревзойденного героизма командир танкового взвода громил живую силу и технику врага, порой врываясь в его тылы. В одном из боев попал в окружение. Ему удалось скрыться в глухом лесу на оккупированной территории. Вскоре организовал партизанский отряд и снова громил врага. В настоящее время — генеральный директор крупного производственного объединения, из года в год перевыполняющего планы.

О лучшей кандидатуре и не мечталось. Именно о таком человеке хотелось написать, тем более человеку с такой фамилией.

Крылов придавал значение фамилии. Хорошо понимал абсурдность этого, тем не менее порой ему даже трудно было писать о герое, если у того была, как он выражался, сюсюкающая или рыхлая фамилия.

А тут сразу — Гулыга! Петр Елизарович Гулыга. Нет, не может иметь такую фамилию хлюпик или трус. Что-то мужественное, решительное почувствовал в ней Крылов.

И вот сейчас ему предстояло встретиться с Гулыгой. Каков он? Собственно говоря, Сергей Александрович уже довольно много о нем знал. По давно укоренившейся привычке беседовал с героем будущего очерка в последнюю очередь, уже после того, как заканчивал сбор материалов о нем. Так и поступил. Прежде всего отправился в места, где когда-то партизанил Гулыга. А приехав в районный центр Липань,

с благодарностью вспомнил слова Ремизова: «Человек очень скромный и ничего вам о себе не расскажет. Советую побывать в районном Музее боевой славы. А данные о его сегодняшней работе получите у нас».

Действительно, в липацком музее была довольно широко отражена деятельность Петра Елизаровича во время войны. Здесь же экспонировалась книга его воспоминаний. Крылов с опаской прикоснулся к первым страницам — боялся разбить уже сложившийся в душе образ человека о его авторское «я», отлитое из словесной бронзы. Но, слава богу, автор провел Сергея Александровича по своим военным дорогам достойно, не опускаясь до мелкой человеческой слабости, даже наоборот, пряча свою главенствующую роль в танковых атаках и позднее в дерзких партизанских вылазках. Но, помимо воли автора, в сознании все-таки возникал и его героический облик.

В Крылове сочетались два, казалось бы, несовместимых качества. Будучи человеком широким, не очень организованным, порой бесшабашным, а главное, доверчивым, он, когда собирался писать о ком-то, становился до мелочей скрупулезным и придирчивым. Точно не веря самому себе, каждый факт, каждую деталь проверял по нескольку раз, пользуясь разными источниками.

Уже досконально зная биографию Петра Елизаровича, пошел в райком партии, спросил, нет ли у районного комитета возражений против публикации очерка о Гулыге. Первый секретарь райкома Степан Андреевич Исаев победно взглянул на него:

— На таких, как Гулыга, земля наша держится. Давно пора.

В самом лучшем настроении Крылов и приехал в Лужанск. Предстоящей встрече он придавал большое значение. В голове уже выстраивался очерк, но чего-то не хватало. Личного обаяния героя, что ли.

3

Как и в каждом городе, куда попадал впервые, с вокзала пошел пешком. Для апреля было холодновато, хотя и солнечно. Шел без головного убора, с расстегнутым воротом, любясь красивыми магистралями и многоэтажными домами. Похоже, весь город был новым. Так и подумал бы Сергей Александрович, не знай он, что стоит на Руси тот город уже столетия. Видно, не много от него осталось после войны.

Пешеходы, одетые уже легко, по-весеннему, торопились на работу. Один за другим водходили автобусы и троллейбусы, поглощая на остановках пассажиров. Разворачивался на площади огромный «Икарус». «Наверное, за ними», — подумал Крылов, глядя на большую группу туристов у гостиницы «Центральная».

Сергей Александрович, ориентируясь по карте города, купленной на вокзале, без труда отыскал нужную улицу и большое здание управления. Он страшно не любил останавливать пешеходов и лезть к ним с расспросами.

В просторной приемной сидело несколько человек. У входа в кабинет Гулыги — респектабельная секретарша.

К секретаршам у Крылова было свое отношение — настроженное, недоверчивое. Порой бездумно, точно щитом прикрывают они своих шефов, ограждая их от посетителей и телефонов. Непрístupный вид, непроницаемое лицо, холодные глаза: «Занят... не скоро... не знаю... звоните». Набор одинаковых фраз на все случаи жизни. Таковую не примут ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы. Первая мысль, которая овладевает ею при виде посетителя, — как бы побыстрее от него избавиться.

Насмотрелся Крылов на таких секретарш, ох как насмотрелся. Знал он и другое. Умная, добросовестная секретарша без ущерба для дела и интересов людей неизмеримо облегчает работу руководителя. По первым же фразам посетителя безошибочно определит, с кем имеет дело. Этот — просто сутяга, и надо выставить его немедленно. У второго — вопрос пустяковый, вполне может решить не только шеф, а вот у этого действительно важное дело, и надо улучшить минуту, точно определить, когда удобнее руководителю принять его.

Ответив на приветствие Крылова, секретарша — звали ее Анна Константиновна — окинула его оценивающим взглядом.

— Петр Елизарович у себя?

— Да, но сейчас он занят. Вы по какому вопросу?

— Как вам сказать?.. Много у меня вопросов.

— Возможно, проще непосредственно к исполнителю или...

— Нет, лично к нему.

Раздался негромкий звонок.

— Извините, минутку, — и чуть приоткрыв дверь кабинета, скрылась за ней. А он не привык стоять перед закрытой дверью. Решительно распахнул ее, уверенно шагнул.

Просторный, строго обставленный кабинет. Вдоль стен и за длинным столом заседаний — стулья.

Гулыге лет шестьдесят, довольно солидная комплекция.

Умное, волевое лицо, добрые глаза. Крылов вошел в тот момент, когда раздался телефонный звонок, и Гулыга, не обратив на него внимания, поднял трубку:

— Слушаю.

Анна Константиновна, возмущенно взглянув на Крылова, быстро направилась навстречу. А он так и остался стоять у двери и, выслушав упреки и ее просьбу покинуть кабинет, ничего не ответив, сел на ближайший стул — никуда я отсюда не пойду. Она продолжала что-то говорить шепотом, но Крылов не слушал ее.

— Как же так! — строго выговаривал кому-то Гулыга. — Три года Чумаков обивает у вас пороги, а вы хоть бы что. Вы же обязаны сделать у него ремонт... А ему фонды спустили, когда он замерзал в партизанских лесах? — горячился генеральный директор. — А выделяли ему дополнительные фонды крови, когда он проливал ее за родину? А вы... Эх вы, какой-то несчастный десяток досок... Тем более, если развалюха. Да как вы не понимаете, черт возьми, — резко повернулся он на стуле. — Ветеран войны, партизан — и в развалюхе. Да это же не ремонтно-строительный вопрос — политический. Когда вы наконец поймете это!.. Понятно... — Голос стал спокойным, мягким. — Понятно... А как с моей пристройкой?

Крылов с интересом слушал, сидя у двери. Потеряв надежду выставить его и лишенная возможности апеллировать к кому-либо, точно страж, встала возле него секретарша.

— Понятно... — еще раз протянул Гулыга безразличным тоном. И вдруг загремел: — Так вот! Обе бригады посылайте с утра не ко мне, а к Чумакову. А сегодня, вы меня слышите, сегодня все материалы до последнего кирпича, до последней доски перевезите с моего участка к нему. Чтобы, как вы выражаетесь, фронт работ был обеспечен с утра. Ясно? И пока не закончите ремонт у Чумакова, вы слышите, пока не уберут у него строительный мусор — ни одного человека ко мне. Ясно? — И в сердцах бросил трубку: — Подхалимы несчастные, бюрократы проклятые...

— Петр Елизарович! — Анна Константиновна развела ладонями вверх руки, указывая на гостя. — Ворвался... без разрешения...

Петр Елизарович как будто только сейчас увидел посетителя.

— Вы что, товарищ?

Крылов торжествовал. Вот оно — начало очерка. Стенографически точно передать этот разговор! Он дал ему, мо-

жет быть, больше, чем все ранее собранные о Гулыге материалы. Никаких эпитетов — «чуткий к чужим нуждам, отзывчивый, скромный, все для простых людей в ущерб себе» — ничего этого можно не писать. Читатель все сам увидит из одного эпизода. Даже не будь у человека такой героической биографии, Крылов потянулся бы написать о нем, только услышав подобный разговор. Нет, не на каждом шагу попадаются такие люди.

Может быть, восторженные мысли Крылова отразились на его лице, возможно, что-то подкупающее увидел в нем Гулыга, только на очередной протестующий жест секретарши мягко сказал:

— Не будем терять времени, я вас потом приглашу. — И обернувшись к Крылову, улыбнулся: — Так что у вас, товарищ?

Анна Константиновна недовольно покинула кабинет.

— Я лично к вам, Петр Елизарович, — направился он к столу. — Журналист. Крылов моя фамилия, Сергей Александрович...

— Крылов? Это не ваша ли статья «Обыкновенное головотяпство»? Теперь нас громить приехали? — и он улыбнулся.

— Ну, так уж сразу громить... А вдруг прославлять?

— Давно пора... садитесь, что же вы стоите... А то все о металлургах, шахтерах, машиностроителях. Понимаю, группа «А», важнейшие отрасли. Ну а сахар? Это же валюта. Что он — с неба валится или вот так сыплется? — показал он на тумбочку, стоящую в углу. На ней — огромный, в мелкой резьбе хрустальный рог, из которого сыплется куочки «сахара». — Много у нас достойных, даже героических тружеников. Выбирайте, могу подсказать.

— Уже выбрал, о вас писать буду.

— Обо мне? — удивился Гулыга и неожиданно рассмеялся. — Нет уж, избавьте. Мы что? Чиновники. Прославлять надо рабочего человека, людей, создающих ценности.

— Верно, конечно, — согласился Крылов, — но ко Дню Победы редакция решила рассказать о подвигах ветерана войны, который занимает сейчас крупный пост и хорошо ведет дело.

— Интересная мысль. У нас полтора десятка заводов и совхозов, есть среди директоров предприятий и фронтовики, отлично работающие сегодня. Вот подойдите сюда, — отодвинув бумаги, показал на какой-то список, лежавший под стеклом. — Вот они все здесь перечислены, давайте выбирать...

— Нет уж, не будем подвергать сомнениям рекомендацию начальника главка товарища Ремизова и решение нашего главного редактора. Остановились на вас, и сам я ничего не могу уже изменить.

Гулыга хотел что-то сказать, но Крылов опередил его:

— Не надо скромничать, Петр Елизарович. Вы геройски воевали в танковых войсках, организовали подполье, командовали партизанским отрядом... О ком писать, как не о вас... И потом, не обижайтесь, пожалуйста, не ради вас же это делается. Пусть наша молодежь учится, берет пример.

Три долгих вечера Крылов провел в беседах с Гулыгой. Ремизов оказался прав — почти ничего о себе Петр Елизарович не рассказывал. Говорил о достижениях предприятий объединения, о передовых людях, о подвигах своих военных соратников, в большинстве погибших. Поведал и горькую историю предательства одного из своих односельчан.

Крылову уже было почти безразлично, добавит он новые факты к биографии или нет, фактов и так хватало с лихвой. Важно было, как он говорит, как ведет себя. И здесь душа журналиста радовалась. Обаятельнейший человек, удивительной скромности, такта. Никогда еще Крылов так легко не работал — ночью в поезде вдруг «проговорил» про себя весь очерк. Каждое слово — нужное, живое — словно впечатывалось в память. Утром, переступив порог своего дома и отбив ряд мелких жизненных повиппостей — завтрак, телефонные звонки, разговор с женой, уселся за машинку.

Очерк о Гулыге был дорог Крылову. Пока писал — будто сам прожил героическую жизнь.

Публикация биографии героя стала фактом его собственной биографии, ибо не только он сам, но, что важнее, собратья по перу считали очерк лучшим его произведением.

Неделя до выхода праздничного номера в свет пролетела в нервном напряжении — тщательно вычитывал гранки, сам определил место на полосе в макете, радовался, что ответственный секретарь согласился с ним. «Не знаю, — отвечала на телефонные звонки жена, — или в редакции, или в сумасшедшем доме».

Обычно, когда верстается полоса, где стоит материал Крылова, он не отходит от талера, пока она не уйдет под пресс на матрицирование. Все. Никто уже никакой правки внести не сможет. Он не опасался, что его будут править, давно миновало то время, когда в отделе, секретариате, редакторате могли изменить без его ведома хоть слово. Но он хорошо знал технологический процесс.

«На третьей полосе — хвост двенадцать строк», «На пятой полосе — два хвоста...» — то и дело слышатся выкрики метранцажа. Концовки не влезавших в полосу материалов «вывешиваются» на ее полях. Обязанность дежурного редактора в частности — сократить соответствующее количество строк. И тут уж он делает это по своему усмотрению. Согласовывать с отделом, а тем более с автором нет времени. И чаще всего для простоты концовка и сокращается. Но когда у талера Крылов, он сам находит, что именно вычеркнуть с наименьшим ущербом для статьи.

Правда, к талеру рядового литсотрудника не допустят, это привилегия маститых. Что касается очерка о Гулыге, то Крылов провожал его не только до талера.

Решил дожидаться выхода номера. Удивительное дело — статья, очерк, любой материал, написанный от руки, — это одно, но напечатанный на машинке он воспринимается уже по-другому, он же в гранках или верстке как бы обретает новую силу, а уж в выпедшем номере газеты — будто обнажил себя.

Крылов стоял у ротационной машины, любясь ее работой. Она втягивает в себя широкую ленту газетной бумаги, разматывая рулон, видно, как, складываясь, тянется между барабанами, и вот уже вылетают сложенные, автоматически подсчитанные газеты, укладываясь в пачки, которые уносит лента транспортера.

Не стесняясь печатников, Сергей Александрович выхватил перед счетчиком газету, раскрыл и посмотрел на свое детище. На его лице была радость.

4

Дитриху Грюнеру было семнадцать лет, когда его взяли в армию и послали на фронт. Воевать почти не пришлось — весь их полк был разгромлен под Смоленском, а сам он попал в плен. Два года находился в Советском Союзе.

Спустя много лет, на конгрессе Международной организации журналистов, проходившем в Берлине, он познакомился с Крыловым. Грюнер, работавший тогда в дрезденской газете, возглавлял делегацию ГДР, а Крылов — советскую. Их номера в гостинице были рядом, обедали и ужинали они за одним столом. Грюнер прилично знал русский язык, но дело не в языке. Хотел того или нет Сергей Александрович, но где-то в сознании или подсознании шевелилось, скреблось: он вполне мог в меня стрелять или даже убить. Да, это

было не в сознании — разумом он понимал: нелепо, дико в чем-то обвинять Дитриха Грюнера или относиться к нему с недоверием. Член коммунистической партии, отличный журналист-международник, он раскапывал и публиковал все новые факты, раскрывающие существо фашизма. Но это был первый приезд Крылова в страну, где его окружали только немцы. Войну он закончил в Кенигсберге и до центра Германии не дошел.

Как-то за ужином один из членов делегации ГДР, тоже побывавший в плену, сказал Крылову:

— Вы вели очень умную и дальновидную политику, ваша тактика оказалась правильной. Создавая хорошие условия для пленных немцев, вы готовили себе сторонников. Каждый пленный впоследствии становился вашим агитатором. А пленных были миллионы. Теперь все бывшие пленные в Западной Германии, а тем более в ГДР — ваши надежные друзья.

— Ты есть прав, Ганс, — вмешался Дитрих. — Я тоже имел замечать: все, кто немножко жил в России, также узнавал ее, образовались самые верные ее друзья. Только это есть не политика, — положил он руку на плечо Ганса. — И не есть тактика. Гуманизмус к человеку есть существо строя, из которого он состоит, как есть существо фашизма его злободейния.

— Ничего не могу добавить, — улыбнулся Крылов. Он не сказал, только подумал: «Умный и глубокий человек». Крылов повторил эту фразу про себя, аплодируя Грюнеру после его страстного выступления на конгрессе.

Они стали друзьями. Во время командировок встречались и в Москве и в Берлине, помогая друг другу в работе.

Спустя месяца три после публикации очерка о Гульге Крылов получил задание написать о подвиге бывшего шахтера Петра Максимчука, проходившего военную службу в Группе советских войск в Германии, ценою собственной жизни спасшего от гибели немецкую школьницу. В помощь Крылову был выделен молодой сотрудник редакции, выпускник Института международных отношений Константин Унин, хорошо знавший немецкий язык.

В чистеньком зеленом городке они в подробностях узнали историю, которая до сих пор волновала жителей. В тот праздничный день, два месяца назад, красивое озеро, окруженное деревьями и кустарниками, находившееся почти в

центре города, было заполнено людьми. Лодки, шлюпки, парусники скользили по воде, играла музыка. Пятнадцатилетняя Карола Феттер вместе со школьным товарищем каталась на байдарке. Слишком поздно они заметили запрещающий знак, который устанавливается на бую в те часы, когда открывается шлюз на плотине. Рванули весла, но вразнобой, и байдарка перевернулась. Парню удалось выплыть, а Каролу затянул поток. Вода падала с высоты трех метров, образуя водоворот.

Петр Максимчук, вместе с двумя товарищами получивший в тот день увольнение в город, шел по плотине. Петр первым услышал позади отчаянный крик и, бросившись назад, увидел, что произошло. Раздеваться было некогда. Он прыгнул в воду и сильным толчком выбросил Каролу из водоворота. А самого его закрутило и разбило о камни.

Крылов и Костя осмотрели озеро и шлюз, встретились с Каролой и ее матерью Гертрудой Феттер, побывали в школе, теперь носящей имя Максимчука. В воинской части они узнали, что приказом главнокомандующего Группой советских войск в Германии Петр Максимчук занесен в книгу Почета а решением правительства ГДР посмертно награжден Почетной Золотой медалью.

За три дня Крылов мысленно воссоздал в мельчайших подробностях всю трагедию, ощутил атмосферу вокруг нее, дарившую в городе, ощутил гордость за свою армию и свой народ, знал — он сумеет передать эти чувства читателям.

Командировка была на пять дней, оставалось два дня на Берлин, которые они провели с Грюнером. Он познакомил их с Вайсом — удивительным, героическим человеком. Крылов сказал Косте:

— Расспрашивай и записывай все до мельчайших деталей. Эту тему отдаю тебе.

Крылов и Костя уезжали домой в жаркий солнечный день. Их провожали Дитрих Грюнер с женой Хильдой. Оживленно беседуя, они стояли у вагона поезда «Берлин — Москва».

Один из пробежавшей мимо стайки ребят что-то ехидное выкрикнул в адрес лысины Дитриха, и тот с обидой и недоумением посмотрел вслед. Костя шепотом объяснил Сергею Александровичу, что произошло.

— Не обижайся, Дитрих, — сказал Крылов. — Он прав, лысина — это очень плохо. Лысого всякий дурак сразу увидит, а вот чтобы дурака увидеть, он еще должен заговорить.

Они рассмеялись, и громче всех сам Крылов. С опозданием улыбнулась Хильда, которой Дитрих скороговоркой перевел на немецкий русскую речь. Продолжая улыбаться, сказала что-то, кивнув на Дитриха.

— Что она, Костя?

— Говорит, когда двадцать лет назад они поженились, Грюнер уже был лысым.

И снова — общий хохот. Молодая мамаша вела, вернее, тащила за руку маленькую девочку с задорной мордашкой. Малышка с любопытством смотрела по сторонам, смотрела на смеющихся людей, и Сергей Александрович, неожиданно приставив к седой своей голове указательные пальцы, сделал ей рожки. И так же неожиданно серьезно сказал:

— Спасибо тебе, Дитрих, действительно поразительная биография. — И, обернувшись к Косте: — Вот у кого учиться откапывать темы.

— А ты все не доверил, — подмигнул Дитрих. — Я, конечно, не такой журналист, как ты, только маленький, но немножко понимал, как ты напишешь. Еще лучше, чем про Гулыга.

— Читал?

— О, Крылова читает не только Москва.

— Ну уж... — отмахнулся Сергей Александрович. — А писать буду не я — Костя. Грандиозный дебют...

Прицепили локомотив, вздрогнули вагоны. Крылов взглянул на часы.

— О, теперь немножко забыл, — полез в карман Дитрих. — Тут я находил интересный документ. Мои друзья из Фау Фау Эн имели просить посмотреть архив. Гестапо доносил про один ваш человек... Данченко его звали... «Самый жесткий допрос не дал результатов». Знаешь такого? — И вопросительно, выжидающе посмотрел на Крылова.

— Данченко? Фамилия распространенная.

Грюнер явно ожидал другого. На лице удивление.

— А что это за Фау такое?

Грюнер не успел ответить, вмешался Костя:

— Такие вещи положено знать, товарищ шеф, даже не владеющим немецким. Это очень разветвленная в Западной Германии «Организация лиц, преследовавшихся при нацизме». Они раскапывают материалы о фашистских злодеяниях, узнают адреса, где ныне скрываются фашисты, и возбуждают уголовные дела.

— Верно, — подтвердил Грюнер и протянул конверт: — Возьми, тебя это отнюдь заинтересовывает будет.

— Меня? Почему?

— Я так думаю, Серьежа. Возьми.

Крылов довольно безразлично взял конверт, не глядя положил в карман.

И вот уже Крылов и Костя в купе мчащегося поезда. Кроме них — суетливый старичок с бородкой клинышком, в добротном костюме, явно ищущий повода заговорить. Костя, забравшись на верхнюю полку, возился с вещами, а Крылов, раскрыв «дипломат», перебирал бумаги. Достал из кармана конверт Дитриха, положил сверху и захлопнул крышку.

Словно дождавшись этого, старичок заискивающе спросил:

— А как вы насчет преферанса?

— Преферанс?.. А что если в очко? В очко, папаша, а? Играть, правда, не хочется, но позарез нужны деньги.

Бородка приподнялась вверх. Не то обиделся человек, не то удивился. Помолчав, вздохнул:

— Жаль... — Безнадежно взглянул на Костю. Этого и спрашивать нечего, вынешняя молодежь умные игры не признает. — Жаль. Удивительно, знаете ли, время летит за пулечкой. Не успеешь оглянуться, уже приехали. В дороге незаменимое средство.

Крылов не ответил. Мирный пейзаж, мелькавший за окном, почему-то напомнил трагедию в маленьком и тихом, таком красивом немецком городке. Всплыли в памяти школьная комната со знаменем, на котором ученики вышили советский герб и фамилию героя, его огромная фотография на стене, его личные вещи на стенде.

— А мне, знаете ли, не терпится опробовать, — не унимался старик и извлек колоду карт. — Пластмассовые, у нас их не производят. Чудо карты: не мнутся и мыть можно. Вечные. Пойду-ка поищу партнеров.

«Товарищи пассажиры! — раздался голос из микрофона. — Если среди вас есть врач, просим его срочно зайти в шестой вагон. Повторяю...»

Старичок преобразился. С нестарческой поспешностью раскопал в своих вещах баул, выдернул из чемодана тщательно выглаженный и аккуратно сложенный белый халат и выскочил из купе. Крылов и Костя переглянулись.

— Вот вам и очко, Сергей Александрович! А вы еще подсмеивались над ним.

Крылов молча смотрел в окно. Возможно, гибель украинского парня на немецкой земле навеяла воспоминания о да-

леких уже днях войны. Он снова открыл «дипломат», достал документ из конверта Грюнера.

— Я сейчас... — направился Костя к двери, — погляжу на ту сторону дороги.

— Минутку... Как Грюнер назвал его фамилию... того, что пытали?

Костя задумался.

— Данченко вроде.

— А тут что написано? — ткнул пальцем в бумагу.

— Панченко, — бросил Костя беглый взгляд на указанное место.

— Не может быть!

— Потому что не может быть никогда. Вам, естественно, не постигнуть, что русское «ч» составляется из четырех букв. Но латинский-то алфавит, надеюсь, вы знаете и отличить «д» от «п» в состоянии. Совершенно ясно: «П» — Панченко.

— Не до шуток мне, Костя. Переведи весь текст.

— У нас крепостное право давно отменено, Сергей Александрович. Это по моей исключительной доброте я в Берлине переводил. Мои функции переводчика на вокзале кончились.

— Переведи немедленно, — обозлился Крылов.

Костя наконец понял — встревожен человек серьезно — и совсем другим тоном прочел: «Выписка из донесения гестапо группы армий «Центр» в Берлин от второго октября 1942 года. Установлено, что главарем банды, раскрытой двадцать восьмого августа, о чем я своевременно доносил вам, оказался бургомистр Панченко...»

— А имя-отчество?

— Тут не сказано... «Седьмого июля оповестил все население о готовящейся облаве. Он снабжал оружием бандитские партизанские шайки...»

— Где он был бургомистром?

— Вы думаете, это анкета по учету кадров?.. «Сообщиков не назвал. Самый жесткий допрос не дал результатов. Приняты необходимые меры». И подпись: «Полковник Триггер».

Крылов уставился глазами в пол.

— Что произошло, Сергей Александрович?

Крылов не ответил, тяжело откинулся назад.

— Что с вами?

Сергей Александрович рассеянно взглянул на Костю:

— Упустил, понимаешь. Хорошего партнера на пулюк упустил.

И резко встав, вышел в коридор.

Точно дожидаясь его у двери, человек в треппировочном костюме развел руками:

— Дикость, просто дикость — международный поезд, а вагона-ресторана нет! Представляете?

Крылов удивленно посмотрел на него.

— И проводники, видите ли, ничем не запаслись, тоже ничего у них нет.

— Почему нет? Чай носят вот, на столе печенье, сухарики.

Человек уставился на Крылова. В его взгляде не только недоумение — презрение.

— У нас не курят, гражданин, — недовольно заметил проходивший мимо проводник.

— Виноват. — Крылов быстро направился в тамбур. До самого вечера не находил себе места, ни с кем не разговаривал. И спал плохо, вернее вовсе не спал. Ворочался с боку на бок, то и дело протягивал руку к тусклому ночному свету, поглядывая на часы. Озираясь на спящего Костю, тихонько встал, аккуратно открыл двери и бесшумно зашагал по коридору. Из тамбура вышел сосед по купе. Лицо одухотворенное, гордое. Увидев Крылова, обрадовался. Торжественно провозгласил:

— Человек родился!

— Тише, спят все.

— Уже легли?

— Уже вставать скоро будут.

Старичок заговорил шепотом:

— Парень — килограммов пять. Герой! И мать — героиня, ни одного стога не издала.

Утром, когда проснулся Костя, Крылов сидел, глядя в окно. Пролетали разъемы, домики путевых обходчиков, станции, но ничего не замечал Крылов, смотрел невидящим взглядом в одну точку.

— Что все-таки произошло, Сергей Александрович?

— А?

— Что с вами случилось, я спрашиваю?

— Где случилось?

— Ну, Сергей Александрович! Вот сейчас, в поезде.

— Ах, в поезде... В поезде человек родился.

Костя обиделся. Что же он, издевается? Уже готов был высказать свою обиду, когда из микрофона донеслось: «Прибываем в Варшаву. Стоянка сорок минут».

Костя твердо решил: ни одного вопроса больше не задаст...

как с мальчишкой разговаривает. Хотя, видимо, произошло что-то серьезное. Ну и черт с ним — не хочет, не надо.

Они вышли из вагона и молча зашагали по перрону. Костя смотрел, как отцепили часть вагонов и маневровый тепловозик утащил их куда-то. Потом подкатили другие вагоны, очень разношерстные — короткие, длинные, с широкими на шарнирах дверьми, с полукруглыми высокими крышами и почти все разного цвета. На них таблички: «Вена — Москва», «Брюссель — Москва», «Кельн — Москва». Тут же вагон-ресторан. Подкрался к поезду магистральный тепловоз, вздрогнули вагоны, и пассажиры заспешили к ним.

— Пойдем! — сказал Крылов таким тоном, будто не в поезд звал, а решил на какое-то важное дело.

Поздним вечером в вагоне-ресторане сидел, клюя носом, тот, в тренировочном. Две официантки, убирая столы, угаривали его:

— Ну сколько можно, гражданин, нет пива, вам же сказали — ресторан давно закрыт.

— Нам ведь хоть немного поспать надо, совесть поимейте, — убеждала другая.

Хлопнула дверь. Появился Крылов.

— Закрыто, закрыто, — выскочила из кухни буфетчица, преграждая ему дорогу. — Ну что за люди пошли! Ночь-полночь, а они прутся, как скоты.

— Извините, извините, бога ради, — быстро заговорил он, прижимая руку к груди. — Я не подумал, не сердитесь, — и повернулся к выходу.

Буфетчица явно не ожидала такой быстрой и безропотной капитуляции. Нет, этот не из тех, не из алкашей. Недоуменно посмотрела ему вслед, и когда он уже был у двери, точно извиняясь, спросила:

— А вы что хотели, гражданин?

Он обернулся, в смущении помолчал и наконец выдохнул:

— Водки.

Она излила на него всю злость разочарования:

— Сколько вам? Бутылку, ящик, ведро?

— Полстакана.

— Водкой давно не торгуем, коньяк.

— Очень хорошо.

— И конфету?

— Да-да, спасибо.

Он выпил залпом, положил в карман конфету, расплатился и молча вышел.

Утром бодрый голос поездного радиоузла объявил:

«Прибываем на станцию Брест. После таможенного и пограничного досмотров можно выходить. Стоянка поезда два часа. Просим всех зайти в свои купе».

Костя сказал:

— Поедем Брестскую крепость смотреть?

— Нет, я не поеду, поезжай сам, — ответил Крылов.

— Вы же обещали.

— Не могу, Костя, у меня другой маршрут.

Костя совсем обозлился. Что могло случиться? Ехали в Берлин, и у Крылова было отличное настроение. В Бресте пошли смотреть, как меняли тележки вагонов с широкой колеи на более узкую. Это происходило ночью, при ярком свете прожекторов. А мемориал — он сам предложил — решили посмотреть на обратном пути, времени для этого вполне достаточно. И на вокзале в Берлине был веселым. Все изменилось после проклятого гестаповского допесения. Но при чем здесь он? И почему ничего не хочет объяснить?

Таможенники не стали проверять их чемоданы, спросили лишь — не везут ли фрукты или овощи. Пограничники взяли паспорта, осмотрели купе и ушли.

«Ну и бог с ним», — в который раз решил Костя и обратился к врачу:

— Интересно, что поставят в графе «Место рождения»? Поезд «Москва — Берлин»?

— Ну, конечно, Москва. Женщина-то наша, советская.

— Как же Москва? Спросят, где справка из роддома. Нет, скажут, вы сюда с готовым ребенком явились. — И они рассмеялись.

Крылов не слышал их. Думал.

К выходу Костя шел рядом с Крыловым, к которому с раздражением обратился проводник:

— Вещи зачем же? Никуда не денутся, не беспокойтесь.

— Да нет, я схожу здесь, — как-то обреченно ответил Сергей Александрович.

— Вы же сказали — до Москвы.

— Мало кто чего говорит, — вздохнул Крылов. — Проверять надо. Проверять — вот главное.

— А я и проверил, — недовольно проворчал проводник. — Билет у вас до Москвы.

На перроне Крылов сказал:

— Не теряй времени, поезжай смотреть мемориал, у вокзала всегда есть такси.

— Значит, успею, если есть такси. Я провожу вас.

— Меня некуда провожать, я — на вокзальный переговорный пункт.

— Тем более... Близко.

На почте Крылов заказал Берлин.

— Все-таки что мне сказать в редакции, Сергей Александрович?

— Я тебе уже ответил — ничего не говори. Я сам позволю главному.

— Нет, ребятам что сказать?

— Отшутись, ты это умеешь.

Крылов взглянул на часы. Сунул голову в окошко:

— Девушка, переведите мой разговор на срочный.

— Втрое дороже.

— Хоть впятеро.

Вскоре она пригласила его в кабину. Костю разбирали и любонитство и беспокойство. Кабина большая, будь что будет — тоже вошел. Выгонит — значит, выгонит. Но Крылов не обратил на него внимания.

— Дитрих? Здравствуй, дорогой, это я... Да, благополучно, уже в Бресте.

Это, по-видимому, был тот редкий случай, когда слова били в ухо, и Крылов немного отстранил от себя трубку. Теперь Костя слышал весь разговор.

— У меня к тебе очень большая просьба, Дитрих. Ты оказался прав, меня очень заинтересовал твой документ. Узнай, пожалуйста, нет ли в архиве еще каких-либо документов, касающихся Панченко.

— Вот смотришь, я говорил, тебя заинтересовывайт, а ты все не доверил... Узнаю, узнаю, там много документы. Фау Фау Эн готовят процесс майора Бергера...

— Кто такой Бергер? Не Бергер меня интересуеет — Панченко. Понимаешь — Панченко.

— Пан-чен-ко! — неожиданно, будто испугавшись, протянул Костя. А Грюнер продолжал:

— Майор Бергер был комендант, где самый жестокий допрос делает...

Костя больше не прислушивался к разговору. Он все понял.

— Тот Панченко? — глухо сказал, когда Крылов положил трубку.

— Нет, этот. Дошло наконец.

— Как же это получилось? Может быть, недоразумение?

— Какое там недоразумение, документ подлинный...

— Нет, это копия.

— Ксерокопия.

— Что же теперь будет?

Крылов не ответил.

— Сергей Александрович, — горячо заговорил Костя. — Ей-богу, недоразумение. Не придумали же вы!

— Так и Гулыга не мог придумать. Тем более что я в архиве все проверил.

— Значит, вы и не виноваты.

Крылов горько усмехнулся.

— Ты виноватого ищешь, а искать надо выход из положения.

— А все очень просто, — уверенно заявил Костя. — Найти семью, если она осталась, родственников и официально сообщить. И на место прежней службы сообщить, официальным документом, с печатью.

Тоскливо и насмешливо слушал его Крылов. Глядя куда-то в сторону, покачивая головой, грустно сказал:

— На всю страну героя объявить предателем, а потом извиняться шепотом, на ухо? Так, что ли? Нет! — Голос изменился, стал резким. — В порядочном обществе так не поступают. Если действительно герой, еще как-то можно выйти из положения, сообщив об этом в газете. Но что это значит? Опровержение? Так? А на опровержение главный хоть убей не пойдет.

— А вы?

Крылов промолчал.

— Вам-то зачем это надо?

— Ох как не надо, Костенька.

— Ну и порвите к черту эту бумажку. Нет ее и не было никогда. Это же не документ, обрывок какой-то.

Крылов посмотрел на него. И Костя не понял — осуждает или ухватился за хорошую мысль. А Крылов, помедлив, извлек из кармана конверт, посмотрел на него, протянул Косте:

— На, рви... И едем дальше — воспевать и воспитывать.

— Сергей Александрович, я...

— Да знаю, что не порвешь, а потому — правоучение сто тридцать пятое: никогда не советуй поступать так, как не поступишь сам, даже из лучших побуждений. — И неожиданно хлопнул по спине вдруг сгорбившегося парня. — Не сутулься, замуж никто не возьмет!

На следующее утро Крылов был уже в Лучанске, в приемной Гулыги.

— Сергей Александрович! Здравствуйте! — Анна Константиновна одарила его обворожительной улыбкой.

Не столь восторженно, но достаточно учтиво ответив на приветствие, спросил:

— У себя?

— Нет, — с сожалением покачала головой. — В командировке.

— Вот тебе и раз!

— Завтра будет, прямо с утра... Я вам сейчас помер в «Центральной»...

— Я всего-то на один день...

— Да что вы, Сергей Александрович! — все так же улыбаясь, всплеснула руками. — Да он же меня уволит, если узнает, что вы были, а я... Одним словом, я вас не отпускаю. — Говорит деланно строго, с едва уловимым кокетством.

— Впрочем... — достал сигарету, закурил. — Впрочем, впрочем... Где у вас Комитет ветеранов войны?

То, что он может не застать Гулыгу, как-то не приходило в голову. Решил все же дождаться его, а чтобы не пропадало время, найти кого-либо из бывших партизан и поговорить. Проверка эта нужна была ему просто для успокоения совести. Он ведь достаточно все проверил после рассказа Гулыги об этом предателе. Практически было достаточно и только того, что рассказал Гулыга... Но вот... Эта странная бумажка... Видимо, Гулыга сможет объяснить, в чем путаница. А пока есть смысл поискать бывших партизан.

В Комитете ветеранов войны ему дали фамилии и адреса трех человек, воевавших в отряде Гулыги и проживающих в районном центре Липань. Километров тридцать пять — далековато. Но один из них, Голубев, работает на сахарном заводе, всего в пяти километрах от города. Решил поехать на завод. Вышел на шоссе. Одна за другой проносились машины, а автобус как сквозь землю провалился. Еще издали увидел тяжелый «КамАЗ», доверху груженный сахарной свеклой. «Наверняка — на завод», — подумал Крылов и выскочил, преграждая ему дорогу.

Шофер оказался добродушным, разговорчивым человеком лет пятидесяти. Охотно согласился подвезти, тем более действительно ехал на сахарный завод. Голубева он хорошо знал.

— Я еще с него сто грамм стребую за то, что привез к нему корреспондента. Мужик он стоящий, каждый поровит к нему попасть. А то привезешь свеклу, чистую, как умытую, а приемщик — бах — пятнадцать процентов загрязненности ставит.

— Начальство куда же смотрит?

— У-у, начальство? Там директором такой кулак... И ему дай бог перепадает, да не подступишься, друг самогó.

Крылов непонимающе взглянул на него. Тот умолк. Но ненадолго.

— А фигуру правильную выбрали. Голубев мужик стоящий. Сколько грязи привезешь, столько и пометит, даже бутылку не потребует. Чудной мужик. — Он окинул взглядом Крылова. — Аппарат где же у вас? Или без фотографии его печатать будете?

— Пожалуй, и писать ничего не буду. Поговорить с человеком надо.

Машина остановилась близ ворот сахарного завода. На вывеске эмблема — рог изобилия. Дожидаясь очереди, стояли у проходной несколько самосвалов тоже с сахарной свеклой. Видимо, был конец смены — люди шли с завода и на завод.

— Эй, Колька! — высунулся из окна водитель. — Поищи Голубева, к нему корреспондент приехал.

— Про меня напишет — найду! — засмеялся рыжий паренек в кепочке козырьком назад.

— А если правду напишет? — выкрикнул кто-то.

Парень не почувствовал подвоха:

— Премню дадут.

— Так заголовок будет «Лодырь».

Люди вокруг рассмеялись, улыбнулся и Крылов, направляясь к проходной.

Голубева нашел в какой-то конторке. Астенического сложения человек, сколько ему лет, и не поймешь. Может быть, шестьдесят, а может, и все семьдесят. Нетороплив, держится с достоинством. Во время войны был связным. Так сказали в Комитете ветеранов. Значит, дела тех лет знает точно.

Крылов представился — так, мол, и так, в связи с определенными обстоятельствами хотел бы проверить некоторые факты времен войны, просил помочь.

Голубев не поправился. Едва ответив на приветствие, начал перебирать бумаги и, пока Крылов говорил, ни разу не поднял головы. Не слушает, что ли? Ничего не сказал, когда

Крылов умолк. На вопрос, как его имя-отчество, взглянул чуть ли не подозрительно, буркнул:

— Никита Нилович.

Будто недовольный приходом журналиста, беспричинно пожал плечами.

— Я хотел узнать, кто был бургомистром в Липани во время оккупации.

Метнул недобрый взгляд, ответил не сразу:

— Панченко.

— Звали его как?

И снова посмотрел настороженно, ответил неохотно:

— Иваном звали. Иван Саввич.

— Что вы о нем знаете, Никита Нилович?

— Что я о нем знаю?! Ничего не знаю, — полоснул Крылова глазами. — Так же, как и вы, товарищ корреспондент.

— Не понял... Вы же партизанили там, где он свирепствовал...

Молчит человек, не отвечает.

— Ну хорошо, — вздыхает Крылов. — Постарайтесь вспомнить день девятого августа сорок второго года.

— А что девятого августа?

— Ну каких-нибудь событий в тот день не было?

— Скажете тоже! Я третьего дня не помню, что было... Чудно.

— Облавы в тот день не было?

Задумался.

— Облава?.. Облава, похоже, в начале августа была.

— Людей много взяли?

— Сколько взяли? Как говорится, ку-ку! Попрытались от Бергера люди. Видел кот молоко, да рыло коротко.

Непроизвольно слова прозвучали приглушенно:

— Значит, предупредил кто-то. Кто?

Опять недобро покосился на Крылова.

— Никита Нилович! Что вас смущает? На ваших глазах все происходило...

— А что происходило? Наше дело было воевать, мы и воевали. А кто там, чего, как — нас не касается.

— Как же не касается, — не выдержал Крылов. — Вы советский человек, партизан, жизнью своей рисковали. Что же, вам безразлична судьба человека, который предупредил людей, а значит, спас их?

— Не безразлична, — впервые голос прозвучал твердо. — Только не знаю я... Вы, если хотите точно, к Зарудной Валерии Николаевне обратитесь, в Лучанске живет.

— Тоже партизанила?

— Нет, годами не вышла. Девчонкой тогда была.

— Так откуда же?..

— Вроде книжку научную писала. У нее материалов о нашем партизанском житье-бытье — горы, как у меня свеклы. А мне, извините, некогда, свеклу надо принимать. — И он поднялся.

— Где она работает?

— Откуда ж мне знать!

Обратно Крылов возвращался на пригородном поезде. У стоянки такси образовалась очередь. Крылов пересек площадь и остановился у справочного киоска.

— Девушка, пожалуйста, Зарудная Валерия Николаевна. Адрес и, если есть, телефон.

— Год рождения?

Он беспомощно улыбнулся:

— Разве можно спрашивать, сколько лет женщине?

Улыбнулась и кюскерша. Достала справочник, долго листала, наконец нашла. Быстро записала на бланке и, подавая его Крылову, сказала:

— Вот. Третий и пятый троллейбус до площади Некрасова, потом на первом автобусе до Овражной, а там квартала три пешком придется.

— Ну и маршрутчик вы мне устроили.

— Это не я, это Зарудная, Валерия Николаевна... А вот, — ткнула пальцем в бумажку, — ее телефон.

— Слава богу, хоть телефон есть... Спасибо. До свидания. — Положил бланк в карман и услышал:

— До свидания... Не беспокойтесь, я оплачу справку, зарплата у меня высокая.

— Простите... как же я... простите... — И он торопливо стал искать мелочь. Расплатившись, пошел к телефону-автомату, набрал номер.

— Да? — раздался приятный женский голос.

— Можно Валерию Николаевну?

— Слушаю.

— Валерия Николаевна? Товарищ Зарудная?

— Да, да, я вас слушаю.

— С вами говорит журналист Крылов...

— Кто?! Крылов?! — голос показался ему до крайности удивленным. — Сергей Крылов?

Крылов не был честолюбив. И все-таки приятно — знают

люди. Какой-то Лучанск, где никогда не был, какая-то Зарудная, которую никогда не видел, а вот знает...

— Да. Сергей Александрович... — Частые гудки раздались прежде, чем он успел договорить. Мысленно послав в адрес телефонной сети подходящие для данного случая слова, снова набрал номер.

— Извините, разъединили, — сказал, как только ответила Зарудная. — Это Крылов...

— Я счастлива! — В голосе явная ирония, и снова частые гудки.

Что за чертовщина? В чем дело? Порывшись в кармане, снова опустил монету. На этот раз ответ последовал после пятого гудка.

— Слушаю! — строго сказала Зарудная.

— Ничего не понимаю...

— Значит, плохо соображаете... — Теперь уже не ирония, а чуть ли не злоба в голосе. — Я не желаю с вами разговаривать. Неужели не ясно?!

Обескураженный Сергей Александрович вышел из автомата. Такого с ним еще не было. Медленно достал сигарету, закурил. Прошелся взад-вперед. Как все же это понять? Вот так оплевали. Нет, так оставить нельзя... Он извлек из кармана адрес Зарудной. Безнадежно потух его взгляд — очередь на такси стала еще длиннее. Постояв минуту, резко отбросил окурок и снова решительно направился к автомату. Позвонил Анне Константиновне и спросил, не может ли часа на два дать машину.

— Сейчас же высылаю, Сергей Александрович. Машину Петра Елизаровича, все равно шофер ничего не делает. Куда послать?

Вскоре появилась начищенная, с двумя антеннами черная «Волга», и он назвал водителю адрес. Хотя ехали быстро, но добрались не скоро. Шофер затормозил у огромного жилого корпуса в новом районе города. Крылов нашел нужный подъезд, прыжком перескочил две ступеньки и оказался на хорошо освещенной площадке. По обе стороны и прямо перед ним были двери, обитые дерматином. Одна из них открылась, вышла женщина, не обратившая на него внимания, и заперла дверь.

— Извините... Валерия Николаевна?

— Что вам угодно? — чуть надменный взгляд голубых глаз.

Природа наделила ее неброской, но впечатляющей красотой, и смотреть ей в глаза — небезопасно.

— Я вам только что звонил...

— А я вам только что ответила. — Она заспешила к выходу.

И он заторопился вслед, на ходу быстро заговорил:

— Уверю вас, какое-то недоразумение... Давайте разберемся.

— Мне некогда разбираться, опаздываю, — сказала она, быстро семеня по тротуару.

— Я вас подвезу, — кивнул на машину.

— На этой?! — обернулась и неожиданно расхохоталась. — Хороша я буду в этой машине, — и ускорила шаг.

— Что это значит?! — загремел Крылов, не отставая от нее и тоже ускоряя шаг. — Я — на службе, и у меня к вам дело...

— Ах, дело? — не то разочарованно, не то насмешливо. — А я-то думала... — Она остановилась. — Если вы сейчас же меня не оставите, я позову милиционера. — Повела глазами по сторонам, казалось, готовая выполнить свою угрозу. И быстро пошла.

Крылов, совершенно растерянный, остался стоять. Он смотрел, как, не оборачиваясь, она все ускоряла шаг, пока не скрылась за углом. Медленно вернулся к машине:

— Поехали.

— Куда?

Глухо как все. И перед водителем неловко. Конечно, наблюдал эту постыдную сцену. А тут еще плюхнулся: «Поехали», — даже не сказав куда. Кто знает, как он истолкует... А в самом деле, куда? Он взглянул на часы.

— Пожалуйста, заедем на вокзал за чемоданом, а потом — в гостиницу «Центральная».

Весь вечер работал — приводил в порядок записи о подвиге Максимчука, твердо решив выбросить из головы эпизод с Зарудной, не думать больше о нем. Одно уравнение со многими неизвестными. Задача неразрешимая, и нечего его записывать. Но как это сделать, как выбросить из головы? Это же не сундук — открыл и выбросил. Человек может решиться на любой поступок, даже самый безрассудный, и осуществить его. Но думать или не думать о чем-либо, зависит не от него. Он может тысячу раз решать не думать, и будь это человек даже самой железной воли, выполнить свое решение не сможет. Ходом мыслей он не управляет. Они управляют человеком. Изгнать их из головы он бессилен.

Петр Елизарович Гулыга пришел на работу рано. Спокойно поработать, сосредоточиться удавалось только в ранние часы. Как бы ни задерживался в своем кабинете, все равно не давали покоя телефонные звонки, сотрудники, посетители. А ему предстояло подготовиться к серьезному докладу в обкоме партии. К началу рабочего дня он все закончил и с удовольствием потянулся. Вошла Анна Константиновна, доложила о приезде Крылова. Велел пригласить его, как только появится, а сейчас вызвать одного из начальников отделов. Не успела секретарша выйти, как он нажал кнопку.

— Слушаю, Петр Елизарович, — тут же появилась она вновь.

— Закажите обед на двух человек в «Поллавке».

— На который час?

— Когда, он сказал, придет?

— Крылов? Он не сказал, видимо, скоро — сегодня уезжает.

— Часа на два, только не в зале.

— Конечно...

Спустя полчаса снова появилась в дверях.

— ...И передайте директорам заводов, — говорил Гулыга начальнику отдела, — пусть немедленно начнут отгрузку. Колхозы сидят без кормов, а у них жом складывать некуда...

Голос у Гулыги спокойный, без нотки раздражения. Видно, человек этот хорошо знает, где и что делается в его большом и сложном хозяйстве.

Он повернулся в сторону Анны Константиновны.

— Крылов пришел.

— Что ж вы его там держите? Зовите.

Захлопнув папку, поднялся начальник отдела.

— А прием отменить? — спросила она.

— Пока не надо, — взглянул на часы.

— Рад, рад видеть, — широко улыбаясь, пошел навстречу Крылову Петр Елизарович.

— И я рад, Петр Елизарович, — протянул руку, крепко пожал.

— Как живы, что хорошего?

— И не спрашивайте, верчусь, как вор на ярмарке. Приехал в два ночи и ни свет ни заря — здесь.

Усадил Крылова в кресло у журнального столика, сел на-

против, но тут же, перегнувшись через письменный стол, нажал кнопку. Зажглось красное окошечко фонарика, вмонтированного в стол.

— Что-то новое, — кивнул Крылов на фонарик, — раньше вроде не было.

Петр Елизарович довольно улыбнулся:

— Такой же фонарик зажегся и у секретарши. У американцев подсмотрел, — хитро сощурился он. — Надо же и у буржуазии чему-нибудь учиться. — А секретарша уже стояла на пороге.

— Чайку нам... Какими же ветрами, Сергей Александрович? Я, откровенно говоря, немного смущен. Даже не поблагодарил. Да и как благодарить? Спасибо, что на всю страну прославили? Вроде неприлично. Однако спасибо.

— Полно вам, — поморщился Крылов.

— Не скажите, не скажите. У нас как принято? Расхвостить хозяйственного руководителя — пожалуйста. А похвалить, оценить работу... Так что не скромничайте, дорогой Сергей Александрович.

— Что ж, написал, как есть, написал правду... Поэтому и приехал к вам.

— Слушаю, — Петр Елизарович откинулся на спинку кресла. — Слушаю, Сергей Александрович.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Панченко.

— О ком?

— О Панченко. О предателе Панченко, фашистском бургомистре.

Петр Елизарович усмехнулся:

— Да, крепко вы его. Всего десятка два слов, а предатель как на ладони. Вот что значит писатель! И в глаза не видел, а как точно.

— Верно, не видел. Да точно ли? Вот в чем заваyka.

Гулыга поднял на него недоуменный взгляд. Крылов молча достал из кармана сложенный вчетверо листок с донесением гестапо.

— Что это?

— Почитайте.

Петр Елизарович взял со стола очки, надел их, повертел в руках листок, улыбнулся.

— Я, дорогой мой, кроме бюрократического русского, других языков не знаю. Только и выучил за всю войну «хенде хох»... Да, еще фрицы очень любили говорить «Хитлер капут» — тоже выучил... Переведите, пожалуйста, — вернул он бумагу.

— Вот перевод, — протянул ему другой листок Крылов. — Правда, от руки, но почерк разборчив.

— Что за чепуха?! — удивился Гулыга, прочитав первые строчки. И снова обратился к тексту. — Бред какой-то! Где вы это взяли?

— В гитлеровских архивах. Документ подлинный...

— Гм, подлинный, — хмыкнул Петр Елизарович. И задумчиво добавил: — Кому?

— Что «кому»? — не понял Крылов.

— Еще римляне говорили: «Кви продест» — кому выгодно. Вот я и думаю: кому это выгодно? Кому надо подбрасывать нам с вами такие «подлинные»?

Вошла Анна Константиновна, неся на подносе чай и вазочку с баранками и сухариками.

— Спасибо, — сказал Петр Елизарович. — И вот что... Извинитесь перед товарищами, отмените прием. И телефоны на себя возьмите.

Она подошла к столу, передвинула рычажки.

— Нет, нет, этот оставьте, — он поднялся, прошелся по кабинету. — Прошу, Сергей Александрович, — показал на чай. Снова сел, теперь уже за письменный стол. Положил перед собой донесение, разгладил, стал перечитывать.

— Что же получается, Петр Елизарович? У них Панченко предатель, и у нас предатель. У них бандит, и у нас бандит. Так не бывает.

— Сергей Александрович, дорогой мой, — как бы извиняясь, заговорил Гулыга. — Не обижайтесь, я даже разбираться не желаю. И плевать я хотел на любые бумажки. Я своим глазам верю, а не бумажкам.

— Но все-таки, — пожал плечами Крылов, — объяснить этот документ как-то надо.

— А разве вы не допускаете, что эту липу подбросили в свое время гитлеровцы? Они часто таким методом пользовались, обеляя в наших глазах предателей. Куда он делся? С ними бежал? А может быть, оставили на нашей земле, чтоб на них работал? А писуля такая любые подозрения с него спимет, зачеркнет его бургомистерство. И, наоборот, на честных людей клепали, а мы, — покачал ладошью, приставив к уху большой палец, — заглывали.

Крылов задумался.

— Допускаю... Откровенно говоря, такая мысль не пригодилась в голову. Но как доказать это?

Гулыга снова пересел за журнальный столик, отхлебнул из стакана.

— А что доказывать? Они и до войны еще так действовали... Каких людей мы лишились, каких талантливых военачальников потеряли только потому, что вот такие фальшивки, — кивнул на допесение гестапо, — за чистую монету принимали... И-да, интересная картинка. Выходит, этот Панченко снабжал мой отряд оружием, а я, партизанский командир, даже не знал об этом. — И рассмеялся.

— Может быть, другой Панченко, однофамилец?

— Может быть, — поддержал Гулыга. — Подписал полковник Тринкер. У нас таких не было, я ведь всех фашистских собак в своем районе знал. У нас майор Бергер лютывал. А про Тринкера не слышал даже... Да что, в самом деле? Дмитрия Панченко — сына предателя — из партии исключили? Исключили. Значит, разбирались люди. Зря из партии не выгонят.

Крылов ничем не мог возразить. Был согласен с каждым доводом Петра Елизаровича. Не сказал ему, что, перед тем как писать о нем очерк, заходил в райком партии, где подтвердили, что Панченко до войны был исключен из партии, а потом верно служил фашистам. Но не к месту лезли в голову слова Твардовского, относящиеся совсем к другому: «И все же, все же, все же...» Все же что-то царапало. Документ-то вон он, лежит на столе. Как-то надо из этого лабиринта выбираться.

— Не могли вы чего-нибудь напутать, Петр Елизарович?

— Ну, знаете ли... Да этот фашистский сволочуга собственноручно людей расстреливал.

Крылов удивленно посмотрел на него.

— Вы мне об этом не рассказывали.

— Я много чего не рассказывал. Имя это произносить — язык поганить... Его военный трибунал к смертной казни приговорил за предательство, да сбежал, сволочуга. На глазах у всех это было.

— Что же вы молчали?!

— Потому что точно — об этом... И знаете, дорогой мой, получается, я чуть ли не оправдываюсь. Все село видело. А рядом со мной Ржанов стоял. Вот и поговорите с ним, с односельчанами, с партизанами побеседуйте.

— А кто это Ржанов?

— Заработались вы, Сергей Александрович. Ржанова уже не знаете — член правительства. В Совете Министров работает.

— А-а, я о таких высотах и не подумал. Федора Максимовича, конечно, знаю, хотя лично не знаком.

— Вот и отличный повод познакомиться, — пришел в хорошее настроение Петр Елизарович. — Да свидетелей хоть отбавляй. — Петр Елизарович обернулся и показал на фотографию, которая висела за его спиной. Крылов увидел группу людей в ватниках с винтовками, автоматами, застывших перед объективом. В центре — Гулыга, его и сейчас легко узнать на этом давнем снимке. — Конечно, одних уж нет теперь, но и живые остались. Встретьтесь с ними. Раз уж не доверяете партизанскому командиру, с людьми поговорите. Это вернее всяких бумажек.

— Почему не доверяю... Что уж вы, Петр Елизарович!..

— Ладно, ладно, это я так... Дайте побрюзжать немного... Смотрите, Сергей Александрович, для меня это, я вам сказал, просто филькина грамота. Но на вашем месте я бы съездил к партизанам. Успокойте совесть, раз она того требует. Вызову машину — и поезжайте. А домой вернетесь — к Ржанову. Он-то, надеюсь, для вас — авторитет, не то что мы, грешные. И хороший повод познакомиться, — повторил он, по-доброму улыбнувшись. — Запишите, запишите фамилии партизан, — снова обернулся к фотографии.

Сомнения Крылова рассеивались. Пожалуй, их уже не осталось. Теперь он думал о том же, с чего начал Гулыга. Что это за документ? Может, и в самом деле кому-то он нужен. Поехать бы в ГДР посмотреть подлинник, все объяснить Грюнеру.

Крылов знал многие выступления в печати своего немецкого друга. Едва ли кому удавалось распутывать такие сложнейшие узелки, как ему. Вот, оказывается, зачем дал гестаповский документ, почему сказал: «Тебя очень заинтересовывать будет». Не прямо, но дал понять. Выходит, верит донесению.

Крылов сидел, задумавшись, молчал и Петр Елизарович, грыз сухарики, запивая уже остывшим чаем.

Удастся ли снова поехать в ГДР, это еще вопрос. А вот коль скоро уже здесь, с людьми поговорить не помешает. Он оставался верен своим принципам — один и тот же факт надо проверять несколько раз по разным источникам. Тем более такой факт. Решил последовать совету Гулыги — встретиться с другими свидетелями событий.

— Петр Елизарович, вы Голубева знаете?

— Никиту Ниловича? А как же! Боевым партизаном был. Правда, сейчас уже сник, видать, годы вышли. А что?

— Беседовал я с ним. Страшный человек, ничего не сказал.

— Он вообще молчун, да и, говорю вам, староват стал. Только не на нем одном свет клином сошелся. Я назову вам десятки людей.

Крылов достал блокнот.

— Вот Хижняков, — показал Петр Елизарович на фотографию, — второй справа. Партизанской медалью награжден. Теперь директор совхоза... Это Чепыжин, тоже в полном здравии. Хотя старик, а такой живчик, дай бог каждому... Записываете?.. И этот жив-здоровехонек — Терентьев. Все в одном месте в Липани живут. А вот...

— Ну и хватит, — закрыл Крылов блокнот. Достал сигарету, чиркает спичкой — не зажигается. Достал другую — поломалась.

— Боже мой, — всплеснул руками Гулыга, — в наш век технической революции такой анахронизм. — Открыл ящик, достал зажигалку, вынув ее из красивой коробки. — Вот вам на память, — повернул колесико, щелкнул, вырвалось непомерно высокое пламя. — Кофе на ней варить можно, — и уменьшил огонь.

— Да что вы, ей-богу, — отстранился Крылов. — Такие дорогие подарки не для меня.

— Вот это дорогая? — поразился Гулыга. — Да это жестянка, грош ей цена... Смотрите, полный ящик всякого добра. Экспортно-импортные организации заказывают зарубежным фирмам, а потом дарят кому попало. — Он вздохнул. — Или вот еще мода. В каждый праздник все, ну решительно все предприятия и учреждения, начиная от артели «Красная сивька» до главков, министерств и комитетов, шлют друг другу поздравления. И все, естественно, за казенный счет. Я говорил с почтовиками — эти неисчислимые приветствия обрушиваются на них, как горные потоки. Одни сверхурочные почтальонам во что обходятся. А бумага, а красочные открытки! И каждый начальник, большой или малый, каждый руководитель — я это по себе знаю — целый день должен потратить, чтобы только подписать поздравления. Да и кому подписываешь, не смотришь. Все идет по раз и навсегда определенному списку... Не улыбайтесь. Вы сами наверняка знаете, это именно так. Подсчитали бы на ЭВМ, во что обходится государству, да и грохнули бы фельетончик... А? А вот этого добра, — взял в руки зажигалку, — накопилось у меня, дорогой Сергей Александрович, полно... Берите, берите, не то обижусь.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — поднял трубку Гулыга. — Как же некстати

вы, некогда мне... Ну ладно, не дави, перезвони через полчаса. — Положил трубку, начал набирать номер. — Извините. Сергей Александрович, неотложное дело, одна минута.

— Конечно, конечно, я и так у вас засиделся.

Почти одновременно Гулыга говорил в трубку:

— Степан Андреевич, это я. «Волгу» мы с вами в резерве держим, а сегодня последний день. Не заберем — пропадет. Хочу ее Прохорову отдать, он по итогам на первое место опять вышел... Спасибо, Степан Андреевич... И я вам — всех благ. — Положил трубку и обратился к Крылову, показывая на телефон: — Кстати, совсем забыл, в райком советую обратиться. Будете в Липани — обязательно к Степану Андреевичу, первому секретарю, загляните. Их немало допимал сынок Панченко, разбирались дотошно.

А Крылов о другом думает:

— Вы не знаете такую — Зарудную?

— Зарудную?

— Да, Зарудную, Валерию Николаевну.

— И вас уже начала донимать?

— Нет, напротив, я донимал, но она не пожелала разговаривать.

— И скажите спасибо. — Он покрутил пальцем у виска. — Я целых полгода от нее отбивался, чуть сам с ума не сошел. Упаси вас бог связываться... С одной стороны, ее жалко, конечно, неудачница, всю жизнь ей не везет, на этой почве, видимо, и... Что это, интересно, вы решили встретиться с ней?

— Странно, — не отвечая на вопрос, сказал Крылов. — Выглядит вполне нормально.

— Выглядит? — подмигнул Гулыга. — Слов нет, как женщина экземпляр завидный, все при ней... А вела себя тоже нормально?

— К сожалению, более чем странно.

— То-то и оно... А вообще, Сергей Александрович, — разговорчески наклонился к нему Гулыга, хитро улыбаясь, — где ж и расслабиться в нашей суматошной жизни как не в командировке. Однако не связывайтесь с пей, дорогой мой, как в тину засосет.

Крылов недоуменно взглянул на него. А Гулыга, добродушно улыбаясь, продолжал:

— В нашем городе есть масса возможностей развлечься.

— Петр Елизарович, о чем вы?

Гулыга посерьезнел.

— Ну-ну, дорогуша, это ведь я на таком уровне шучу.

Неужели не понимаете?.. Ладно, посмеялись, и хватит. Смех, говорят, очень полезен для здоровья... Так езжайте, Сергей Александрович. Часа за три вполне управитесь. А потом пообедаем вместе. Лады?

Нажал кнопку, вошла секретарша.

— Машину товарищу Крылову. И вот что — скажите диспетчеру, чтобы по его вызову машину посылали в любое время.

Крылов хотел что-то сказать, но Гулыга не дал:

— И не возражайте, и слушать не буду. Не для прогулок...

Прощаясь, Крылов задержал взгляд на сверкающей модели тяжелого тавка, стоявшего на столе:

— Недавно приобрели?

— Подарили, — довольно улыбнулся Гулыга. — Не скрою, приятно. Выступал тут на одном заводе... Даже не то приятно, что подарили, а вот узнали ведь, какой мне больше всего дорог.

— На нем?..

Петр Елизарович любовно погладил модель:

— Воевал на разных, а на таком как раз подбили. Вместе мы с ним горели. Он и спас мне жизнь, дымом своим заслонил, укрыл от вражеских глаз... Машина хорошая. Правда, против «тигров» и «пантер» уже не тянула, но и им от нас доставалось, — и он подмигнул Крылову.

8

В районный центр Липань Крылов добрался быстро — всего тридцать пять километров по отличному шоссе, да еще шофер попался опытный, лихой.

Многие улицы Липани были асфальтированы, в том числе и та, что вела к дому Хижнякова.

Хижняков — кряжистый здоровяк, на вид годков пятидесяти пяти, а в действительности на добрый десяток больше. Когда приехал Крылов, он сидел во дворе за толстенным пнем, разбирая, несмотря на воскресный день, бухгалтерский отчет. В домашних сатиновых штанах, без рубашки, в большой соломенной шляпе, почерневшей от времени, он чувствовал себя хорошо, и настроение было хорошим. Да и не могло оно быть другим — судя по отчету, хотя он и без того знал: хорошо шли дела в его свекловичном совхозе.

С лаем бросилась к калитке собака.

— Цыц, дура, — сказал он беззлобно, не оборачиваясь.

А собака заливалась все сильнее, и, оторвавшись от бу-

маг, он посмотрел в сторону калитки. Сквозь кусты и деревья увидел человека. Хижняков поднялся.

— Ни дня, ни ночи, ни в будни, ни в выходной, — ворчал он.

— Здравствуйте, я из Москвы, специальный корреспондент...

За лаем собаки Хижняков не расслышал, из какой именно газеты, но понял: из Москвы. Удивленно и радостно засняло его лицо.

— Заходите, заходите, — открыл он калитку, — таких дорогих гостей у нас еще не было.

Крылов органически не переносил лесть. И эти естественные для гостеприимного человека слова показались ему неуместными. Никак не отреагировав на них, спросил:

— Вы — товарищ Хижняков?

— Он и есть. Хижняков. Павел Алексеевич. Извините, что в таком виде встречаю.

— Да нет, вы извините, без предупреждения, явочным порядком, да еще и в выходной день.

Они шли по дорожке к дому. Добротный кирпичный дом, за ним, в глубине, огород, фруктовый сад, меж деревьями — улыи.

— Мария, — крикнул Хижняков, — где ты там? Ну-ка собери что бог послал, гость к нам приехал.

— Да что вы, — запротестовал Крылов, — ничего не надо, я на минутку. Давайте здесь на колоде присядем.

— Э-э нет, — покачал головой Хижняков, — у нас так не положено. Чайку поьем с вишневым вареньем, не с магазина — собственное, со своего садочка. Вы уж не побрезгуйте.

Все это было не по душе Крылову, и он злился на самого себя, что помимо воли настраивался против, судя по всему, хорошего и доброго человека. И, бесспорно, хорошего директора совхоза — по дороге расспросил водителя о нем. Уже много лет директорствует Хижняков, и много лет его совхоз занимает одно из первых мест...

Из-за кустов появилась женщина под стать Хижнякову — крупная, дородная, улыбчивая. Поздоровалась — и исчезла в доме. Вслед за ней, подталкиваемый хозяином, вошел и Крылов. Хижняков тут же отлучился. Вернулся в отглаженной рубашке и добротных брюках. Взад-вперед сновала хозяйка, накрывая на стол.

— Ей-богу, зря все это, — упрекнул ее Крылов. Она только рукой махнула — ничего, мол, не зря.

— А мы по одной, и все! — хитро сощурился Хижняков.

— Нет-нет, — запротестовал Крылов. — Мне еще с людьми встречаться, давайте лучше о деле поговорим. Вы Павченко Ивана Саввича знали?

Павлу Алексеевичу стало обидно. Он-то думал, что писать о нем приехали. Пусть даже не о нем самом, пусть только о совхозе, но это же его совхоз, он здесь полноправный директор, и если что плохо — его вина, но если хорошо, тут уж извините — его не обойти.

Обиды своей Павел Алексеевич не выказал. Решил все же вести себя с ним так же достойно, как и встретил.

— Да кто ж ту фашистскую собаку не знал!

— А все-таки, — спросил Крылов, — что вы могли бы рассказать о нем?

— Да то, что и все, — развел он руками. — Старостой у немцев был, по-ихнему бургомистром, честных людей мордовал, расстреливал.

Как ни странно, но Сергея Александровича эти слова успокоили. Понять его было можно: значит, не ошибся, не оклеветал героя. И все-таки продолжал спрашивать:

— Вы это сами видели?

— А как же! — не задумываясь, ответил Павел Алексеевич. — Меня самого в своем кабинете избил и хотел расстрелять, да я успел сбежать... Ну, будем, — поднял он стопку.

И Крылов махнул рукой — почему ж по такому поводу не выпить, — взял стопку, опрокинул.

Хозяин продолжал выказывать гостеприимство:

— Закусывайте, закусывайте, сальцо вот возьмите, тоже не покупное.

А Крылов гнул свое:

— А за что же он вас, Павел Алексеевич?

— А ни за что. За что фашисты измывались над нами? Вот так и он... За то, что коммунистом был. Он перво-наперво коммунистов истреблял.

— Вы вдвоем в кабинете были?

— Когда?

— Ну вот когда он избивал вас.

— Зачем? На глазах у всех, чтоб другие боялись. Нас человек пять было.

— Кто же именно?

— Из живых?

— Конечно, из живых.

Павел Алексеевич задумался.

— В живых мало кто остался, — вздохнул он. — Покошил

он нас, гадина, и молодых и старых... Моляева в Германию угнал... Может, из пяти только Чепыжин Степан и остался. Он тут недалеко на хуторе живет.

— Да, я знаю, у меня его адрес есть... И еще вопрос, Павел Алексеевич: облавы были у вас?

— Конечно, были, — словно удивляясь наивности корреспондента, ответил Хижняков.

— В августе сорок второго года, например, не помните?

— На всю жизнь помню. Тогда людей что рыбу сетями позабирали, почти всех в Германию угнали да пять деревень и хуторов сожгли.

Одна загадка за другой. Голубев все досконально знает и ничего не говорит. Только на один вопрос ответил уверенно: никого не взяли, попрятались люди. И Хижняков тоже отвечает уверенно: людей что рыбу сетями позабирали.

— А вот говорят, — сказал Крылов, — будто никто в сети не попал.

— Кто же такое мог сказать? — удивился Павел Алексеевич.

Крылов замялся.

— Не знаете? Так я разъясню. Кто сам далеко упрятался, когда еще немцы не подошли. Или вовремя в эвакуацию отправился. Одним словом, кто не был в то время здесь. Придумают тоже: попрятались...

— Да нет, был здесь.

— А если был, — энергично сказал Павел Алексеевич, — значит, с выгодой для себя так говорит. Не иначе! — отрубил он и снова налил стопку: — По последней, Сергей Александрович.

— Нет, мне пора, — поднялся Крылов. — Скажите, вы не знаете Зарудную?

— Ах, вот кто! Ну, эта что угодно может сказать. Одно гнилье... Панченко, Зарудная...

— Кто она, чем занимается?

— Точно не знаю. Знаю только, что психованная баба.

Распрощавшись с Хижняковым, Крылов отправился к Чепыжину. Сухонький старичок, маленького роста, не по возрасту подвижный, и силенки, видать, в нем еще порядочно. Сергей Александрович решительно отказался войти в дом, даже во двор. По его настоянию сели на лавочке у калитки. Спросил, действительно ли Панченко бил Хижнякова?

— Так вляпал, что он, бедолага, до другой стенки летел, хе-хе-хе, — засмеялся он странным, точно потрескивание, смехом. — Сейчас, закричал, на месте расстреляю, и за ре-

вольвер. Да Хижняков проворней оказался. Пока он свою кобуру рассупонивал, Павло уже и дверь захлопнул... Хе-хе-хе... Так пойдете ж в дом, — поднялся он, — срамота одна такого гофтя за калиткой томить.

— Спасибо, я пойду, только еще один вопрос — что вообще о Панченко вы можете сказать?

— Да что говорить... Хаты жег, скот с дворов сгонял, облавы устраивал, над людьми измывался. Что полагается фашистскому старосте, исправно выполнял, верой и правдой служил им.

Подробности той облавы особенно запомнились Чепыжину. Многим она стоила жизни. Выходит, действительно, как сетями...

А как же Голубев... да и Зарудная?.. Впрочем, всякие люди бывают. Решил все же заехать в райком.

Степан Андреевич встретил его радушно. Поблагодарил за хороший очерк о Гулыге. А на вопрос о Панченко тяжело вздохнул:

— Да, обидно это нам и больно, но куда денешься. Да и не только Панченко, еще человек пять. Правда, не так, мелкая сошка, просто смалодушничали в трудную минуту. А вот Панченко — это был волкодав, идейный враг.

— Выводы глобальные... А все-таки на основе каких фактов они сделаны?

— Факты... факты... — задумчиво покачал головой Степан Андреевич. — Лучше бы их не было. Нам куда приятнее сказать — ни один человек в районе не пошел в услужение фашистам... С какой-нибудь высокой трибуны сказать... Да вот факты, именно факты нам всю картину портят. Набралось их немало, свидетельства одного Гулыги чего стоят. Но я вам еще кое-что покажу. Куда более весомое.

Нажал кнопку. Вошла секретарша.

— Возьмите в партархиве выводы комиссии по письму Дмитрия Панченко, сына бургомистра.

— У них сейчас обед, Степан Андреевич.

— Так они же здесь обедают, — пришел он в раздражение. — Никуда не убежит обед. Пусть дадут немедленно.

— Да зачем же мешать им, я подожду, — с укором сказал Крылов. Он органически не выносил грубости. Нет, не по отношению к себе, ему не очень-то грубили. Он не терпел повышенного тона в разговорах начальства с подчиненными. На этой почве не раз возникали у него споры с товарищами. В его глазах ни перевыполнение планов, ни даже самая боль-

шая забота о людях не давали права руководителю говорить с ними непочтительно.

Секретарша поспешно вышла.

Должно быть, по лицу Крылова Степан Андреевич угадал его мысли. Устало заговорил:

— Знаете, нервы стали сдавать. Ненавижу окрики, а в последнее время ловлю себя на том, что нет-нет да и тукнешь. Вот и сейчас...

Сергей Александрович неожиданно рассмеялся, и Исаев с недоумением взглянул на него.

— Извините, Степан Андреевич, извините, бога ради.

— Да нет, пожалуйста, по разве это смешно?

— Еще раз извините, сценка одна вспомнилась, хотя никакой аналогии здесь нет. Видимо, по ассоциации.

Крылов никогда не упускал случая осадить зарвавшегося, защитить обиженного, если тот сам не мог этого сделать. Порою сам себя ругал за это — нельзя же то и дело вмешиваться в чужие дела. И успокаивал себя — нет, это не чужие. Незаслуженное оскорбление другого воспринимал как собственное. Не упустил случая и сейчас. Рассказал эпизод, смешав правду с вымыслом:

— Директор одного завода постоянно кричал на людей. Как и следовало ожидать, вызвали его в райком по жалобе очередного обиженного. «Нервы не выдержали», — объяснил директор. «А на начальника главка, — спросил его секретарь, — тоже кричите, когда нервы не выдерживают, или они у вас избирательно расстраиваются?»

Степан Андреевич никак не отреагировал на слова Крылова. Будто самому себе сказал:

— Нет, не завидую я секретарям райкомов, ох не завидую, особенно такого, как наш. Два сахарных завода, совхозы, колхозы, жилищная проблема... голова кругом идет. Ну ничего, — даже плечи расправил, — нет таких крепостей... Как-никак третий год первое место по области держим.

Вошла секретарша, положила на стол раскрытую папку с бумагами и молча удалилась.

— Ну вот, — посмотрел Степан Андреевич в папку. — Видите, девять подписей членов комиссии, расследовавших заявление сына Панченко. Требовал реабилитировать отца. Люди авторитетные, солидные, расследовали тщательно.

Крылов взял папку, стал читать... Участие в карательных полетах, помощь фашистам в угоне людей в Германию, поджоги хуторов — всюду приложил свою руку бургомистр.

Крылов прочитал, закрыл папку, задумался. Сквозь стек-

ляные дверцы шкафа увидел такой же рог изобилия, как и в кабинете Гулыги. Фирменная марка отрасли.

Сергей Александрович достал блокнот.

— Как фамилия председателя комиссии?

— Прохоров. Директор сахарного завода, пользующийся всеобщим авторитетом.

— Степан Андреевич, извините, — появилась секретарша, — комбайнер Савчук просто рвется в кабинет, говорит, если сейчас не доложу, сам войдет...

— Но вы объяснили, что у меня товарищ из Москвы?

— Все, Степан Андреевич, я пойду, — поднялся Крылов. — Спасибо вам, успокоили мою совесть.

А Савчук — огромный детина — уже ворвался в кабинет.

— Что же это, Степан Андреевич, — басом заговорил он. — Четыре года я на очереди, а «Волгу» опять кому-то отдали. Зачем тогда на всех собраниях слова про меня говорить?.. Портрет на доске Почета уже пожелтел от времени...

— Спокойней, товарищ Савчук, — тихо сказал Степан Андреевич, — отдали не кому-то, а Прохорову, тоже человек заслуженный.

— Да он же на казенной ездит, — возмутился комбайнер, — не для себя — для сыночка берет, а того только от титьки оторвали, вместо молока теперь «Волгами» кормят, а он знай себе сосет.

— Спокойней, товарищ Савчук, спокойней, вы в райкоме партии находитесь... — И после паузы: — А вообще, может, вы и правы. По существу правы. Твердо обещаю: первая «Волга» по следующей разнарядке — вам.

В Лучанск Крылов вернулся за два часа до отхода поезда — на обед с Гулыгой времени уже не оставалось. Он собирал вещи, напевая глупенькую песенку:

А девочка Надя, чего тебе надо?

Ничего не надо, кроме шоколада...

Собрался позвонить Гулыге, но тот опередил, позвонил сам. Должно быть, шофер доложил ему, что вернулся. Петр Елизарович начал с упреков: как же так, договорились, сидит, ждет... Нет-нет, и слышать не хочет, не получился обед, значит, ужин. Крылов едва отбился — билет в кармане, а до поезда меньше часа остается. Гулыга смирился. Расспросил, как поездка. Сергей Александрович поблагодарил его — все удачно, никаких сомнений не осталось, со спокойной душой едет домой.

В Мюнхене шел дождь. Разбрызгивая лужи фонтаном, проносились машины, несмотря на раннее время, с зажженными фарами. Малолитражка доверху в грязи остановилась перед узким, в три окна старинным домом, фасад которого, должно быть, довольно часто подвергался варварским набегам: затертые и полустертые знаки и надписи, обрывки и клочки сорванных плакатов или афиш, огромная клякса на уровне второго этажа.

Дверца машины распахнулась, и вместо водителя появился огромный черный зонт, который тут же направился к подъезду. Возле двери зонт сложился и превратился в Грюнера.

Вскоре после отъезда Крылова из ГДР он был назначен на должность собственного корреспондента своей газеты в Бонне. Лет десять назад он уже был собкором в Западной Германии, хорошо знал страну, имел много друзей в разных городах, особенно среди работников Фау Фау Эн.

Выйдя из машины, с минуту рассматривал четыре зеркально-черных осколка, сиротливо болтавшихся на гвоздиках рядом со входом, когда услышал:

— Добрый день, Дитрих. Ты к нам?

Он поднял голову и увидел молодого человека в распахнутом настежь окне второго этажа.

— Здравствуй, Уго, вывеску ликвидировали недавно?

— Вчера. Заходи, чего ты там мокнешь.

Дитрих поднялся и вошел в комнату, обставленную с деловитой солидностью, которую подчеркивал и строгий костюм хозяина. Типичный служебный интерьер. Но маленькая деталь — портрет Тельмана на стене — красноречиво объясняла, почему так измордован фасад здания.

— Я уже договорился, Дитрих, сейчас нас пригласят в картотеку и покажут то, что тебя интересует, садись.

Зазвонил телефон.

— Фау Фау Эн, — отозвался Уго. Кто-то дышал в трубку, не отвечая. — Организация лиц, преследовавшихся при нацизме, — сказал он громче. В трубке раздались частые гудки. — Не надоело им... Вот что, Дитрих, пока там нас позовут, давай выпьем кофе.

— С удовольствием. Только закрой сначала это проклятое окно, я совершенно продрог.

Дитрих симпатизировал Уго. Когда-то, в первый период

после войны, в этой организации состояли только немецкие патриоты — уцелевшие в гитлеровских востенках, вернувшиеся из эмиграции. В основном — люди пожилые. Постепенно ряды их редели. Тем не менее организация набиралась новых сил: ее пополняла молодежь. Руководил Мюнхенским отделением старый подпольщик, а Уго был его заместителем, и, пожалуй, на нем лежала львиная доля работы.

— Сейчас закрою, — улыбнулся Уго, — хотя должен тебе сказать, что холод дисциплинирует. — Он аккуратно затворил окно и налил из термоса две чашечки кофе.

— Представляешь — наша картотека! Довольно приличная коллекция фашистского отребья. Она же им житься не дает, они не только вывеску разбить готовы, они бы за ней на четвереньках из Парагвая прискакали и проглотили живьем. Только к нам не очень-то сунешься. — И засмеялся совсем как мальчишка.

Вскоре сообщили, что можно спуститься в картотеку. Друзья прошли через комнату, где за письменным столом печатала на машинке худенькая девушка в аккуратной блузке. На подоконнике сидел симпатичный парнишка с серьезными бицепсами. В кресле, свернувшись калачиком, устроилась собачка.

Из соседней комнаты, хлопнув дверью, устремился к выходу человек в кожаной куртке с меховым воротником.

— Вот что, Линда, — обратился он к девушке. — Когда появится Хольберг, поцелуй его от меня и скажи, что я прождал его сорок минут.

В это время на пороге появился смешной человек в длинном несуразном пальто, с папкой под мышкой. Он весь вымок, ему явно пришлось взлететь по лестнице, но глаза у него смеялись.

— Ну, Линда, целуй меня скорее, я уже появился.

— Слушай, — перебила его кожаная куртка, — если у тебя в редакции дозволено вообще не показываться, потому что это идет только па пользу газете, то в моей мастерской хозяин фланирует с секундомером даже возле сортира. — Последние слова прогремели уже с лестницы.

— Вот сумасшедший. Сколько ждал, а я пришел — он тут же бежать.

— Хорошие ребята, — заметил Уго, когда они вышли на площадку. — Почти все у нас работают на общественных началах, урывают каждую свободную минуту.

— А Линда?

— У нее муж кинооператор, все время в разъездах, фактически, кроме собачки, ей заботиться не о ком.

С первого этажа они спустились в подвал по узкой лестнице и остановились у тяжелой двери, обитой жестью. Уго оглянулся по сторонам, нажал кнопку — короткий звонок, длинный, два коротких. На двери засветился стеклянный глазок, и она тяжело открылась, выпустив на свободу полоску яркого света и захлебывающуюся скороговорку спортивного репортажа. Друзья зашли, и дверь за ними захлопнулась. На маленькой, в полумраке, площадке снова воцарилась тишина.

В тесном помещении, заставленном шкафчиками и стеллажами, Уго и Грюнера встретила чепорная старушка в строгом костюме. Она раскланялась с Дитрихом и попыталась его выслушать, но рев и свист многотысячной толпы, заключенной в транзисторном приемнике на рабочем столе, сделали эту попытку совершенно бесполезной.

— Вы любите футбол, фрау Клюге? — улыбнулся Грюнер.

— Я!!! Футбол?! — старушка оскорбленно вскинула подбородок и, чекапя каждое слово, обратилась к пространству между стеллажами: — Генрих, умоляю вас, выключите эту ужасную тарабарщину...

Мгновенно из-за стеллажа выпорхнул к столу очень грузный человек в черном рабочем халате, прижимая руку к сердцу, смущенно раскланялся, другой рукой убавил громкость в приемнике и, прильнув к нему ухом, замер в нелепой позе.

— Иоганн Бергер... Иоганн Бергер... — Старушка, перебирая карточки в ящике, нашла нужную, выписала шифр. На секунду задумалась, что-то припоминая.

Она ушла в глубь хранилища, а ее Генрих усадил друзей возле стола, расчистив на нем свободное место, поставил приемник на полку и, символизируя свое возвращение в реальный мир, накрыл его клетчатым платком.

Фрау Клюге принесла толстую папку.

— Вашего друга, — произнесла чуть ли не торжественно, — интересуется Иоганн Бергер. Вот он весь здесь.

— Не столько он, как русский бургомистр, служивший при нем.

— Тут достаточно материалов обо всех, кто с ним служил.

— Здесь, — рука Генриха тяжело придавила папку, — собраны материалы и о новейшем, мало кому известном

Иоганне Бергере — старом волке, патроне молодежного отделения реваншистской мафии. Этот экспонат живет и процветает в нашем прекрасном городе...

— Теперь я вспомнила, — вставила ффрау Ключе, — почти год назад мы возбудили уголовное дело.

— Совершенно верно. Следствие закончено, скоро в суде будет слушаться дело военного преступника Бергера. — Голос Генриха зазвучал громче. — Мы считаем своим долгом раскрыть не только его прошлое, но и подлинное настоящее. Многим нашим согражданам это будет весьма полезно...

— Не надо так горячиться, помните, пожалуйста, о своем сердце. — Маленькая рука заботливо коснулась рукава Генриха, ловко вытащила из-под большого кулака изрядно потрепанную папку и передвинула ее Грюнеру.

— Недавно в Штутгартском отделении Фау Фау Эч, — не унимался Генрих, — попали на очень интересный след теневой деятельности нашего ягнечка. Оказывается, он в своем отеле...

— Извините, — перебил Грюнер. — В этой папке есть какие-либо материалы о русском бургомистре Панченко?

Генрих задумался.

— Панченко... Не помню, в какой связи, но фамилия мне знакома... Да, конечно, я встречал ее в этом деле не раз.

10

Перечитав свою статью, Костя пошел к Сергею Александровичу.

Такого ответственного задания — написать большой, весьма важный очерк — он еще не получал. Понимал: если справится с заданием, поднимется на ступеньку выше в журналистской иерархии. Выложился весь. А все-таки Крылов придрался — и то не так, и это не так. Уже два раза переписывал.

Вообще-то полагалось сдавать работу заведующему отделом, но Крылов взял над ней шефство. И все трое были довольны. Крылов — потому что верил в способности парня и хотел помочь ему, Костя понимал: после такой квалифицированной редакции никто не станет придираться. Завотделом — потому что не придется возиться со статьей и можно будет, лишь пробежав ее, сдать в набор.

Костя шел по шумному редакционному коридору. Размахивая газетной полосой, испещренной правкой, пронесся курьер, куда-то торопясь, двое, усиленно жестикулируя, пе-

ребивая друг друга, спорили, на весь коридор раздался крик: «Пусть срочно печатают, это — в номер».

Шла обычная бурная жизнь редакции. Кабинеты начальства, отдельные рабочие комнаты спецкоров, и те, в которых сидят по нескольку человек, и коридоры всегда полны людей — сотрудников, просителей, жалобщиков, разоблачителей, изобретателей, посторонних авторов. И все торопятся, все делается в бешеном темпе. Это не мешает людям, казалось бы, не имеющим секунды свободного времени, собраться у журнального столика в холле, покурить, поболтать, порой расслабиться за чашечкой кофе, потом спохватиться, глядя на часы, и умчаться, предоставив следующему те же возможности. И стоит там неизменный гул голосов и смех.

На непосвященного редакционная атмосфера может произвести удручающее впечатление. Однако хаос лишь кажущийся. Идет напряженная работа. Все подчинено единой воле, единой цели.

Костя проработал в редакции почти год, но никак не мог свыкнуться с правкой, порой нещадной, которой подвергаются почти все материалы, идущие в газету. Поочередно правят завотделами или их заместители, потом правят в секретариате, в редакторате, правят в оригиналах, в гранках, в верстке на полосах. Заодно и сокращают. Каждый старается ужать текст до предела. Только статьи опытных журналистов идут почти без исправлений до бюро проверки и корректуры, — там не щадят никого. Даты, цифры, события, фамилии, звания, награды и еще бесчисленное количество данных, содержащихся в материале, автор должен подтвердить ссылками на первоисточники. Корректурa еще более категорична. Знаки препинания расставляет точно, как это положено по учебнику, не считаясь с волей автора, и после ее читки материал испещряется красными черточками и вопросительными знаками. А порой на полях против неудачной фразы появляется и резолюция: «Не по-русски».

В результате тщательной работы всего аппарата порой от корреспонденции мало что остается. Случается и так: пройдя все сциллы и харибды, испещренный крючочками,значающими визы ответственных лиц, материал доходит наконец до главного редактора, а там уже бракуется окончательно.

Идя к Крылову, Костя немного нервничал. Конечно, после его визы статья не подвергнется экзекуции и тем более не забракуется. Но этот придира наверняка еще к чему-нибудь прицепится.

— Все исправил, Сергей Александрович, — положил он статью на стол.

Крылов читал молча, постукивая карандашом по столу, и это постукивание раздражало Костю. Он не сводил глаз со своего судьи, который сейчас вынесет приговор. Самые мучительные минуты. Вот писал, сколько раз перечитывал написанное, снова мучительно рождались фразы, нервничал, радовался, бегал по комнате, когда приходили удачные мысли и нужные слова. Наконец — все. Он сделал все что мог, отдал все силы. И вот сидит, скажем, за вотделом, читает. Поморщился, и екнуло сердце. Да пет же, это он муху согнал... А может, не муха его раздражает?... Перевернул страницу, сейчас должен засмеяться, именно здесь изображена очень смешная ситуация... Нет, даже не улыбнулся... А вот здесь не нахмурился. Как можно равнодушно прочесть о таком неожиданном для героя ударе?..

Тревожно следил Костя за глазами Крылова, пока тот читал. А не следить, спокойно сидеть, глаза по сторонам, не хватало мочи.

Лицо Крылова ничего не отражало. Осталось бесстрастным и когда кончил читать. Молча отодвинул статью. Косте стало трудно дышать, и он не выдержал:

— Ну как?

Крылов выразительно взглянул на него:

— Нет на тебя Дмитрия Васильевича.

— Кого?! Кто это Дмитрий Васильевич?

— Был такой зам. главного редактора в газете, где я начинал. Великий учитель журналистики. Никогда ни одного слова ни у кого не исправлял.

— Поэтому и вы не исправляете?

— Но разжеываю, только что в рот не кладу. А он вот как делал. Прочитал он однажды мою статью и говорит: «Исправьте, мы все-таки на идеологическом фронте работаем». — «В каком, — спрашиваю, — смысле, Дмитрий Васильевич, что именно исправить?» — «Я уже сказал вам, — отвечает, — мы работаем на идеологическом фронте», — и взялся читать другую рукопись. Разговор, мол, закончен. Был я тогда молодой, горячий, обозлился страшно. Ну, думаю, я и тебе загадку загадаю. Прихожу на следующий день и, знаешь, невинным таким, даже услужливым тоном говорю: «В полном соответствии с вашим указанием все исправил», — и кладу перед ним статью. Прочитал он, лицо довольное, и я возрадовался, заулыбался. Вот, думаю, как одурачил его. «Вот это уже другое дело», — говорит он. Представляешь

мое торжество? «Это совсем другое дело», — повторяет он и при этом рвет мою статью на четыре части и бросает в корзину. Уже не глядя на меня, добавил: «Надеюсь, копия у вас осталась, как-нибудь на свободе почитаете». Три дня я себе места не находил, ночи не спал, и вдруг меня осенило — понял свою ошибку, исправил. Снова прихожу. Как побитая собака прихожу, прошу еще раз прочитать. Закончил он и спокойно, без всяких восторгов и эмоций говорит: «Молодец!» А я уже не верю его словам, подвоха жду. «Отнесите», — добавил он и что-то в уголке написал. И я увидел: «В набор». Не было тогда для меня слаще слов, Костя. Я ждал их, как мать сыновних писем, как глоток воды в раскаленной пустыне, как крестьянин дождь в засуху.

— Почему же он сразу не сказал? — с недоумением спросил Костя.

— Правильно сделал. Это его школа. Он добивался, чтобы человек сам думал, искал, анализировал. Только так можно научить нашему ремеслу. А что толку в правке? Она только раздражает автора и лично ему пользы не приносит... Нет, — сказал с сожалением, — не хватает у нас силы воли воспринять его методы. Уже разжуешь все, и то не действует... Вот и тебя не правил, объяснял, что сам ты должен сделать. А ты?.. Вот здесь оставил, как было, — ткнул пальцем в строку, — вот здесь просто слова переставил, а смысл тот же, двойственный остался. Концовка осталась, хотя она явно не годится, тоже говорили об этом... Нет, никаких уроков не извлек.

— Ну почему же?..

— Дмитрий Васильевич, будь он на моем месте, при первой же читке сказал бы: «Статья многословная, рыхлая, композиционно не выстроена. Исправьте». И все. Вот и думай, анализируй, сам постигай. Это настоящая школа.

— Выходит, в третий раз переписывать, — обиделся Костя.

— Выходит. В утешение тебе скажу: я и сейчас по пять раз переписываю... И вот еще — слишком много у тебя «я», поубавь маленько. И подпись сократи вдвое, достаточно — «К. Упин». То, что ты — Константин, читатели догадаются.

На пороге появилась Верочка — машинистка из секретариата главного редактора, с явными излишками косметики на лице. Понуро произнесла:

— Верните, пожалуйста, Пушкина, надо обменять. Сразу не посмотрела, а мне брак всучили.

— Какого Пушкина?

— Третий том, который я вам по подписке...

Пока она говорила, Костя незаметно для Крылова разыграл этюд по системе Станиславского на тему: «Не надо! Замолчи! Уйди!» Но не увидела его шедевр и Верочка.

— Какой брак, я что-то не заметил.

— Так вот и я не заметила, — обрадовалась она. — Спасибо, люди подсказали. Повести Белкина, понимаете, туда погнажи.

— Что?!

— Повести Белкина, говорю, заверстали Пушкину, а печатала Первая образцовая. Вот вам и образцовая.

Крылов громко рассмеялся, посмотрел на Костю, и тот жалко улыбнулся.

— И кто же заметил?

— Да вот, — кивнула в сторону Кости.

— Не надо менять, — строго взглянул на Костю. — Просто Упин не знает: «Повести Белкина» — название одного из произведений Пушкина. — И помолчав, добавил: — А вы разве в школе не проходили этого?

— Нет, — нисколько не смутилась она, — из прозы мы только «Капитанскую дочку». — И, покосившись на Костю, ушла.

— Значит, «К. Упин»? — Костя старательно зачеркнул имя. — Вы безусловно правы, Сергей Александрович, читатель и так догадается, что этот Карл, то есть Климентий, вернее, Кирилл Упин — не дурак.

— Костя! — укоризненно перебил Крылов. — Ну как тебе не стыдно измываться над девчонкой? Кстати, — пододвинул Костину рукопись, — и ты небольшой грамотей. Вот пишешь: «Это положение усугубляется...» А что значит «усугубляется»?

Зазвонил телефон.

— Слушаю... Бегу, бегу... Подожди здесь, Костя.

Крылов быстро вошел в стенографическое бюро. В комнате, обтянутой мягкой ворсистой материей, расходящейся от люстры лучами, у одной стены были расположены кабины с тяжелыми, обитыми дерматином, дверьми.

Приглушенно, мягко стрекотали машинки. Старшая стенографистка у телефонного пульта подняла голову:

— Третья cabina, — кивнула Крылову.

Он вошел, сел у столика против стационарно укрепленного микрофона, надел наушники:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой Дитрих. Рад слышать твой голос. Как дела?

— Отшень хорошо. У Фау Фау Эн толстая папка доку-
менты.

— О Панченко?

— Нет, там Бергер, но еще Панченко, приезжать смот-
реть...

Крылов рассмеялся:

— Легко сказать — приезжай. Нет повода. Понимаешь,
трудно командировку получить... Что? Куда ты пропал? Ты
слышишь меня, Дитрих?

— Слышу, слышу... Все есть трудно... Наверно, на про-
цесс военный преступник Бергер есть повод. Через месяц
процесс есть будет.

— А копии документов, касающихся Панченко, можешь
снять?

— Серьежа, отшень много документы, не знаю, что тебе
интересоват будет. Ты сам должеп смотреть приезжать.

— Едва ли, — раздумчиво сказал Крылов. — Ладно, Дит-
рих, спасибо, поживем — увидим, может, и приеду, только
вряд ли.

Они попрощались, и Крылов вернулся в свою комнату.

— Так что значит «усугубляться»? — спросил, усажива-
ясь в кресло.

— Ну это, — зашевелил пальцами Костя, — как бы это
сказать...

— Возьми-ка на полке Даля, найди это слово.

Костя взял словарь, завозился, зашевелил губами.

— Ты когда-нибудь словарями пользовался?

— Сейчас, сейчас... Вот...

— Прочти. Вслух прочти.

Костя медленно прочел:

— «Усугублять — увеличивать, усиливать вдвое, умно-
жать...»

— Так вот, может положение удваиваться, увеличиваться
или умножаться?

— Но ведь так все говорят! — запротестовал Костя.

— Нет, не все! Только те, кто уродует свой язык. А вина
твоя в том, что употребляешь слово, не зная его значения.
И вот она-то может усугубляться. А учитывая, что работа-
ешь в газете, усиливаться вдвое, даже умножаться... Так
вот, — заключил он, — не лучше ль на себя оборо-
титься?

Костя молчал. Помолчал и Крылов.

— Возьми, — протянул он Косте статью, — доработай.
Отличная вещь получается. Молодец.

После ухода Кости Крылов зажег свет и сел за свой незаконченный очерк о Максимчуке. Перечитал написанное и вконец расстроился. Не то. Портрет героя не получается. Расплывчато, туманно и вместе с тем крикливо. Появились ненавистные ему напыщенные слова и ватные или тяжелые, как штанга, фразы. Странное дело — в молодости мог за один вечер написать приличный очерк. Чем дальше, тем хуже. Внутренний голос успокаивал — нет, дело не в возрасте, просто строже стал относиться к каждой странице, абзацу, слову. Но все равно, утешение слабое. Чего-то не хватает. Съездить бы в Донбасс на шахту Белянку, где работал Петр, посмотреть, как он жил, познакомиться с родителями, поговорить с шахтерами, знавшими его... Хорошо бы, да упущено время. Уже два новых задания получил. Начнутся упреки, недовольство: почему сразу не поехал, и нечего на шахту ехать, не о ней речь, а о подвиге, и сколько можно тянуть с одним очерком, и так далее.

Точно пытаюсь себя обмануть, Сергей Александрович объяснял свое плохое настроение тем, что не удастся очерк. Дело было в ином, а в чем, он не хотел себе признаться. И очерку мешало это иное.

Совсем маленькое, но глубоко проникшее в него. Забившись куда-то в самый дальний уголок, оно сидело тихо, не шевелясь, не тревожа почти целый день, а к вечеру нет-нет да и царапнет лапкой — цап-царап...

Он заглушал, душил это ненавистное существо — никаких сомнений нет. Столько живых свидетелей, документов, расследований... Цап-царап — а куда девать гестаповский документик? Почему так враждебно молчал Голубев, и почему так противоречит его словам версия Хижнякова, ведь они оба очевидцы события?.. Ну и черт с ним, не полезу в эти лабиринты, они мне неинтересны, они к делу не относятся... Цап-царап — а что это за странная история с Зарудной?.. И это мне неинтересно. Главное, решающее — неопровержимо, факты железобетонные. Заткнись наконец, замолчи, а то удушю!.. Цап-царап — удушить тебе не под силу, не сможешь, а уйти мне некуда, я могу жить только у тебя, в тебе, пока ты не ответишь на мои вопросы. Я не буду часто тревожить тебя, постараюсь утихнуть, только знай, я все время буду с тобой.

Крылов поднялся, сунул в ящик стола рукопись и яростно захлопнул его. Никуда не заходя, отправился домой.

Сергей Александрович женился, когда ему было сорок лет. Его жене, Ольге, в день свадьбы исполнилось двадцать. Она не видела, не ощущала разницы в годах. По-спортивно-му подтянутый, добрый, остроумный, он покорила ее еще своей трогательной заботой, чуткостью. Она не была в него влюблена, но ей нравилось в нем все. Выйти замуж за такого человека — большего счастья не надо. Она сделает и его счастливым. Робко спросила, не станет ли возражать, если она бросит работу в тресте зеленых насаждений, куда ее направили после техникума. Он с радостью согласился.

Однажды в обычный будний день он принес ей цветы, и это вызвало бурную радость. Расцеловав его, сказала:

— Ты молодец, Сережечка, не забываешь, что я ровно вдвое моложе тебя. Приноси мне цветы всегда.

Он добродушно улыбнулся:

— Во-первых, цветы не годам, а тебе. Во-вторых, если приносить их каждый день, они перестанут радовать. Это превратится в привычку. А в-третьих, милая, — снова улыбнулся он, — постепенно разница в годах сотрется.

— Что же, Сержик, ты думаешь, я начну стариться раньше тебя?

— Нет, но разница в годах с нарастающей скоростью будет уменьшаться.

— Что за глупости ты говоришь, как это возможно?

— Ты математику учила по Малинину — Буренину? Вот и посчитай по Малинину — Буренину. Когда тебе исполнился год, я был старше тебя в двадцать раз, а теперь только вдвое. Когда мне стукнет шестьдесят, тебе будет сорок. Так? Значит, уже не вдвое, а на одну треть ты окажешься моложе. А в мои восемьдесят — только на четверть. — И он рассмеялся.

— Ну-ну, продолжай, — рассмеялась и она. — Когда тебе исполнится тысяча, мне — девятьсот восемьдесят... Значит, во сколько?.. В две сотых раза.

Она смеялась искренне, и все-таки на мгновение едва уловимое ощущение или вовсе неуловимое и все же промелькнувшее, трудно объяснимое, бесформенное оставило какой-то осадок обиды.

На следующий день она вспомнила об этом разговоре, задумалась. Нет, не так уж это и смешно.

Шли годы, он оставался таким же заботливым и внимательным, как прежде, а Ольге хотелось чего-то большего.

С того шутиwego разговора она стала считать разницу в годах своим большим достоинством и преимуществом, о чем он обязан всегда помнить, особо ценить, и это должно в чем-то выражаться. Трудно сказать, в чем именно, это уж пусть он сам придумает, но ощущение, что он ей чего-то недодает в жизни, нарастало.

Сама она делает для него все. Большой заботы, чем проявляет о нем, не бывает. Никто никогда не видел его в рубашке не первой свежести или недостаточно тщательно выглаженной, весь дом сверкает чистотой, на столе всегда его любимые блюда. Она добровольно избавила его от забот о покупках нового костюма, туфель или пальто — сама говорила, когда нужна обновка, сама выбирала и брала его с собой только для того, чтобы посмотреть, как на нем сидит отобранная ею вещь. Он ни в чем не может ее упрекнуть. Хотя однажды, когда увидел, как рассеянно она слушает его очерк, только что написанный, упрекнул, будто ей неинтересна его работа. Но это неправда. Не меньше, чем он, радуется его успехам. А в то, как задумываются очерки, как готовятся, лезть не следует — в этом она была твердо убеждена. Не спрашивает же он, почему именно и как готовилось то или иное блюдо. Ей вполне достаточно, что он хвалит ее кулинарные таланты.

Когда-то она была увлечена им, с годами увлечение прошло, но он оставался для нее самым дорогим человеком, которому она безраздельно верна и преданна. Она хорошо знала — здесь у них полная взаимность.

С чего бы это? Показалось, что ли? Встретила холодно, недружелюбно. Сухо спросила:

— Есть будешь?

Что с ней?.. Но к чему задаваться глупыми вопросами? Целыми днями и вечерами он не бывает дома, сколько раз уже просила устроить на работу, страдает оттого, что нет детей, а он даже о цветах давно забыл. И вот явился надутый и нахмуренный, молча прошел в комнату. Хватит! Ее хоть не волновать своими запутанными делами.

— Буду, Оленька! Буду, родная! Голоден так, что готов даже тебя съесть. — Сказал весело, широко улыбаясь.

— Это я знаю! — голос прозвучал враждебно.

Изучающе взглянул на нее, пошел мыть руки, а она — па кухню. Здесь ее полноправные владения, сверкающие операционной чистотой. Все продумано во всех мелочах и

обласкано маленькими, но такими ловкими и сильными руками.

Насупившись, шумно и с раздражением переставляя тарелки, она начала накрывать на стол. Крылов остановился в дверях — никакого внимания. В сердцах брошенная на стол вилка подпрыгнула и приземлилась у его ног. Потянулся было поднять, но жена резким движением выхватила ее изпод руки и водворила на место.

— Ты чем недоволя, Оленька?

Ответила не сразу:

— Всем довольна... Успехами мужа, например, довольна.

Он с досадой поморщился:

— Какие там успехи! После очерка из Лучанска не опубликовал ни строчки.

— И я говорю о Лучанске.

— Да, об этом очерке все говорят, — он довольно улыбнулся.

— Пока не все, но мне бы очень не хотелось, чтобы о Лучанске заговорили все.

Сергей Александрович с недоумением посмотрел на жену.

— Что ты имеешь в виду?

— Зарудную, Сереженька! Валерию Николаевну Зарудную...

Сергей Александрович оторопел. На мгновение стало очень тихо.

— Ты ее знаешь?!

— Теперь знаю. Как и положено жене, узнала последней. Только не вздумай говорить, будто ты ее не знаешь.

— Конечно, не знаю, хотя и встречался.

Она зло и насмешливо ухмыльнулась:

— Неужели не видишь, как ты смешон, — встречался, но не знаешь.

— Да прекрати наконец эту комедию! — разозлился он. — Объясни, в чем дело.

— Объяснить тебе придется. Только не комедию, а трагедию. Вот это объясни, — она выхватила из кармана фартука конверт и швырнула на стол. Он быстро раскрыл его и прочитал письмо:

«Уважаемая жена Крылова! Извините, не знаю вашего имени-отчества. Пишу вам, чтобы не было беды, я человек решительный, и пойду на все, и никому не спущу. Может, вы и не знаете, а только пока я был в рейсе, ваш Крылов забавлялся здесь с Зарудной Валерией Николаевной, на которую я имею серьезные намерения. Все соседи видели, как

он приезжал к ней домой с заграничными чемоданами па черной «Волге», а зачем приезжают под вечер к одинокой красивой женщине и подкупают ее заграничными западными тряпками, объяснять не надо, всякий дурак поймет. Он положил на нее глаз, еще когда торчал тут две недели у Гулыги, я это сам видел, а потом — мне в рейс, он и воспользовался. А теперь опять. К ней я свои меры приму, а своему байбаку скажите, пусть к чужим бабам не лезет и в Лучанске не появляется. А сунется еще раз, если и не будет меня в Лучанске, все равно на костылях или на носилках уедет, а то и совсем останетесь вдовой. Так и знайте».

Потрясенный Крылов сидел не в силах проронить ни слова. Ольга зло смотрела на него.

— Что же ты молчишь? Придумываешь, как выкрутиться?

Неожиданный удар, обрушившийся на Ольгу утром, когда она прочла письмо, ошеломил ее. Она готова была на самый безрассудный поступок. Будь под рукой яд, могла бы, не задумываясь, принять его, равно как и бросить утюг в голову мужа, появившись он в ту минуту. Так подло, так иезуитски обманывать ее, преданную и чистую, заботливую и нежную, так насмеяться... Она заливалась слезами, в бессилии стуча кулачками о стол. Какое вероломство, какая низость оправдываться: «Очень мало валюты дали». Ей привез грошовый подарок, а валюта вот куда пошла.

Из шока Ольгу вывела промелькнувшая, еще несформировавшаяся мысль, и она ухватилась за эту спасительную ниточку, чтобы не потерять ее. Месть! Отомстить безжалостно, беспощадно, жестоко. Надо придумать такую изощренную, такую изуверскую месть, чтобы раздавить, растоптать, смешать с грязью его достоинство, его самолюбие, его мужскую гордость. Надо испепелить его душу, чтобы последствия ее мести он чувствовал годы.

Она то металась по комнате, то в бессилии падала в кресло, и в воспаленном мозгу рождались картины одна другой фантастичней и отвратительней. Надо затащить к себе в постель первого попавшегося на улице мужика — чем страшнее, тем лучше, позвонить, сказать, будто у нее инфаркт, или взорвался газ, или загорелась квартира, что угодно, только бы примчался немедленно. Он войдет — и все увидит. А она будет хохотать, глядя в перекошенное ужасом лицо мужа, и наслаждаться местью.

Одна картина сменялась другой, еще более фантастичной и безумной, рождались и гасли все новые планы мести, она

заливалась слезами, понимая, что не в силах осуществить ни один из них.

Но что-то же надо делать, на что-то решиться! Развестись? Да, это единственная доступная возможность отстоять свою честь. Неведомые тормоза мешали утвердиться решению о разводе.

В муках шли часы, она выдохлась, осталась без сил, осознав свою беспомощность.

Так ничего и не придумав, не зная, как встретить мужа, как говорить с ним, как вести себя, подавленная и опустошенная, дождалась его прихода.

...Она молча смотрела на его неподвижную фигуру. И верно, он сидел, точно окаменев, а внутри все бушевало, не находя выхода. Надо успокоить Ольгу, надо объяснить, найти убедительные доводы, но в голове билась мысль, кто и для чего мог написать такое чудовищное письмо? Кому надо, чтобы он не приезжал в Лучанск?

— Что же ты молчишь? — повторила Ольга свой вопрос.

— Ольга! — горячо заговорил он. — Неужели ты можешь поверить этой подлой, гнусной клевете?!

— А как же не верить? — словно умоляя, сказала она. И тут же спохватилась, голос стал ледяным, насмешливым. — Как объяснить твой скоропалительный вояж из Берлина прямо в Лучанск, а не домой?!

— Оля, я тебе уже пять дней объясняю — проверить гестаповский документ можно было только в Лучанске. В чем ты сомневаешься, я не пойму.

— И я не пойму, какие это у меня могут быть сомнения, если все так ясно — не потащишь же ты домой подарки, предназначенные ей!

— Ольга, где логика?!

— Нет логики? В твоих словах нет логики. Почему ты мчался туда, как на пожар, почему не поехал домой сразу, как все? Успел бы проверить свой документ. И при чем здесь документ гестапо? Тебе все подробно рассказали, миллион свидетелей его злодеяний, сам видел предателя в фашистской форме — на фотографии красуется...

— Зорге тоже «красовался» в фашистской форме, — прервал он.

— А раньше, когда писал очерк, ты этого не знал?.. И почему ты уходишь от главного, от этого письма? Кому это вдруг понадобилось на тебя клеветать?

— Вот на этот вопрос я пока не могу ответить. Кто придумал...

— Нет, не придумал, — оборвала она, — письмо искреннее, простое, простого человека. Такое не придумывается. — Ольга резко сорвала фартук, бросила на стол и рванулась к двери. Неожиданно обернулась и выплеснула на Крылова все, что надумала с тех пор, как прочла анонимку, выбрав, как это часто бывает у женщин, самую болезненную для себя версию. Она уже не говорила, а чуть ли не истерически кричала: — Не желаю быть участницей вашего пошлого поведения. С меня достаточно первого акта!.. Не хочу получать таких писем, не хочу, чтобы на меня пальцем указывали!..

Он испугался. Испугался, что с ней будет истерика, чего никогда в жизни не случалось, испугался за нее.

— Оля, не надо, — умоляюще заговорил он, прижимая руки к груди, — прошу тебя...

— Нет, надо! В последнее время меня окружает один Лучанск. Это, конечно, стечение обстоятельств, но я не удивлюсь, если скоро в центральной печати каждый камень Лучанска будет описан.

Зарыдав, она рванулась из кухни, хлопнув дверью.

12

По шумному редакционному коридору шел человек, разглядывая таблички на дверях. У него было угловатое волевое лицо, большой лоб, черные вразлет брови, умные, выразительные глаза. На его высокой фигуре ладно сидел недорогой костюм, и весь он был ладным, крепким, чувствовалась в нем физическая сила.

Вопреки этому вид не казался бравым. Напротив, будто стесняясь своего роста, чуть сутулился, поспешно жался к стене, уступая дорогу встречным, словно опасаясь чего-то, прижимал к груди папку.

Отыскал наконец кабинет главного редактора, тихонько постучал в дверь и, не дождавшись ответа, аккуратно приоткрыв ее, вошел в приемную. Молча стоял у двери, ждал, пока секретарша оторвется от своих дел. В углу за маленьким столиком печатала на машинке Верочка.

— Вы что, товарищ? — подняла голову секретарша.

— Хотел с главным редактором поговорить.

— Нет его, видите? — показала на распахнутую настежь дверь. — Да и день сегодня неприятный, и к главному у нас предварительная запись.

Вошедший покачивал головой в такт ее словам, как бы

подтверждая их справедливость. Видимо, ничего неожиданного в них для него не было, и не очень-то он рассчитывал на удачу. Знать, немало походил уже по кабинетам начальства. Без особой надежды, скорее для очистки совести, будто неловко ему за назойливость, спросил:

— Без записи нельзя, да? Я приезжий, отгул всего на два дня дали. Он когда будет?

— Сегодня уже не будет. Вы по какому делу приехали? Тяжело вздохнул человек:

— Зря, наверное, приехал... Редакция, наверное, опровержений не печатает?.. Или случается?

Секретарша участливо посмотрела на него.

— Ошибку редакция допустила в статье... Серьезную ошибку, понимаете?.. — и умолк, не зная, что говорить дальше.

— В какой статье, как называется? — секретарша потянулась за подшивкой.

— Нет, давно, больше трех месяцев назад... «Генеральный директор» называется.

— Почему же так долго молчали?

— Не молчал, сразу написал. А редакция мое письмо куда-то переслала, а там тоже переслали, ответ получил несколько дней назад от того, на кого жаловался.

Он виновато улыбнулся, словно извиняясь за то, что так нескладно получилось.

Секретарша задумалась:

— Минуточку... — и вошла в кабинет напротив редакторского. Вскоре вновь появилась и жестом пригласила: — Пройдите к заместителю, товарищу Андрееву, Василий Андреевич его зовут.

Минут через десять он вышел и, не попрощавшись, направился в коридор. Шел, глядя в пол, ни на кого не обращая внимания. Его вид был красноречив — пичего не добился.

— Костя, тебя Крылов искал! — раздался чей-то крик.

— Крылов? — удивился Костя. — Я только что от него.

Посетитель вскинул голову, насторожился. Постоял в нерешительности и спросил проходившего мимо сотрудника:

— Пожалуйста, где сидит Крылов?

— Вот, вторая дверь.

Постоял у двери, прочитав табличку, вошел.

— Вы ко мне? — поднял голову Сергей Александрович.

Молчит человек, уставился, смотрит.

— Извините, — сухо сказал наконец и повернулся к двери.

— Гражданин! — удивленно окликнул его Крылов. — Вы что хотели?

— Уже все, что хотел, сделал! — Голос стал твердым, жестким. — Хотел посмотреть на вас.

Теперь Крылов уставился на него. Что за чудак? На душе у него было хуже некуда, но он все же пошутил:

— Так нельзя смотреть — меня за деньги показывают, как в зверинце.

— За деньги? — всерьез переспросил вошедший и раздумчиво добавил: — Так, может, и вправду за деньги?

— У вас много свободного времени, товарищ? — уже нетерпеливо и тоже всерьез спросил Крылов.

— Теперь много, — тяжело вздохнул и добавил: — На партийные собрания не надо ходить, никаких общественных дел...

Что-то подкупающее было в этом красивом и, судя по всему, подавленном человеке.

— Где я мог вас видеть? — прищурился он. — Проходите, пожалуйста, садитесь.

— Да нет уж, спасибо, — и, резко повернувшись, поспешно вышел.

Что за чертовщина?! Опять какая-то загадка, какой-то идиотский детектив... В этот день по графику Крылов должен был дежурить по номеру. Пошел к главному. Увидев распахнутую дверь в приемной, спросил секретаршу:

— Скоро будет?

— Не скоро, на бюро горкома.

— А он? — кивнул на дверь Андреева.

— У себя.

— По горячему следу? — встретил его улыбкой Василий Андреевич. — Хорошо, что не зашли минут десять назад... С вас причитается.

— Когда только я от долгов отделаюсь? За что же?

— Приходил тут один на вас жаловаться. Ну, как водится у опровергателей, целая папка документов, справок, вырезок, выписок... Хотел к вам направить, — рассмеялся он, — да решил выручить, сам отбился.

— А кто он, кто? — нетерпеливо спросил Крылов.

— Чего взволновались, дело ясное, исключен из партии, отец предатель...

— Панченко?! — ахнул Крылов.

— Именно он. Значит, и к вам заходил?

— А, черт возьми... Как же вы могли?! Где он? Где остановился?

— Вот тебе и благодарность! Откуда мне знать... Не собираетесь ли вы...

Не дослушав, Крылов метнулся из кабинета, бросив на ходу:

— Сегодня дежурить не могу, болен.

Он позвал к себе Костю, снял с полки телефонный справочник.

— Помоги, Костенька, пожалуйста. Возьми где-нибудь такой же справочник. Нам срочно надо найти, в какой гостинице остановился Панченко.

— Он жив?! Он здесь?!

— Да нет, его сын. Вот... — листает он страницы, — гостиницы. Я пойду с начала, а ты, скажем, с буквы «П». Только в интуристовские не звони. Иди, Костя, побыстрее надо, прошу тебя — ни на что не отвлекайся.

Костя ушел, а Крылов начал крутить телефонный диск.

— Гостиница «Алтай»?.. Пожалуйста, в каком номере остановился Панченко?.. Имя-отчество?.. Отчество «Иванович», из Лучанска. Спасибо, — и положил трубку. Смотрит в справочник, бормоча: — «Белград I», «Белград II», тут не может быть... «Берлин»... Вот, «Волга». — Снова крутит диск.

Трудно сказать, сколько он просидел за телефоном: «Не проживает», «Нет такого», «Не останавливался» — и так без конца. И он продолжал звонить с удивительным упрямством, пока не вбежал обрадованный Костя:

— «Ярославская»! — торжествующе потряс бумажкой. — Вот номер его телефона. Самая последняя, черт возьми. С конца бы начать обзванивать.

— Ну молодец! Молодчина, ей-богу. Спасибо, Костенька.

— Фирма марку держит, — с чувством собственного достоинства покинул тот комнату.

А Крылов уже набрал номер:

— Товарищ Панченко?.. Слава богу, я вас ищу, это Крылов, журналист Крылов. Я хотел бы с вами встретиться.

— Мы уже встречались, — хмуро ответил тот, — дел больше у нас нет.

— Но вы же заходили ко мне, значит, хотели поговорить.

— Да нет, только посмотреть на вас.

— Ну, что вы в самом деле, это же несерьезно. Я понимаю ваше состояние... Простите, ваше имя?

— Дмитрий Иванович.

— Хорошо понимаю, Дмитрий Иванович, и, поверьте, глубоко сочувствую. Давайте все-таки встретимся. Если не можете в редакции, я к вам приеду.

Помолчав, Папченко нехотя сказал:

— Приезжайте, если вам делать нечего, мне тоже... до поезда еще три часа.

Взяв разгонную машину, Крылов помчался в гостиницу «Ярославская».

Сергея Александровича Папченко встретил сухо, на его расспросы отмалчивался, отвечал односложно, давая понять, что говорить не хочет. Но и Крылов отступать не собирался. С трудом нащупал наконец ниточку, с которой можно начать распутывать клубок, и Папченко разговорился, не очень доверчиво, не вдруг, но разговорился. Отец — подпольщик. Должность бургомистра? — да это же ширма очень удобная: Липань немцы миновали, лишь в соседней Биловке были жандармерия и комендатура, одним словом, условия для работы отличные — и госпиталь в лесу для раненых окруженцев, и отряды партизан формировались в липаньских окрестных лесах, и оружие собирали...

— Но ведь отец был исключен из партии до войны?

— Верно, да вы посмотрите архивы, за что исключен! Был он заврайземотделом. Получил по разнарядке двести килограммов гвоздей, и нет чтобы по всем колхозам равномерно распределить, а дальше хоть трава не расти — пусть хоть под стеклом их показывают, так он одному колхозу отдал, да еще себе десять килограммов выписал сарай чинить. Вот его и исключили за нарушение Устава сельскохозяйственной артели и частнособственнические тенденции. А по сути он был коммунистом, коммунистом и остался. Исключение только, помогло в бургомистры пробиться.

— Выходит, он сам хотел на эту должность?

— Конечно, сам. Задание партии выполнял от организации подполья и партизанского движения.

— Не очень сходится, Дмитрий Иванович. Фамилии каждого оставленного для работы в подполье и сегодня есть в архивах райкомов, горкомов, обкомов. А я проверял в райкоме...

— А я не говорю, что его специально оставили. Разве, например, краснодонцев кто-нибудь оставлял? Да таких примеров тысячи.

— Согласен, но надо доказать, что и данный случай из того же ряда. Нельзя же сбрасывать со счетов решение райкома, я читал его, факты убедительные...

— Не читали вы такого решения! — горячо заговорил Папченко. — Нет такого решения. Вы читали выводы комиссии Прохорова, а она ни разу не собиралась.

— Трудно в это верится. К тому же я и с живыми свидетелями беседовал.

— Вот в это, извините меня, трудно верится. Ни один не скажет, что отец предатель.

— К сожалению, говорят.

— Не секрет, кто говорит?

— Бывшие партизаны. Хижняков, например...

— Хижняков?! — загремел Панченко. — Может, еще Чепыжин или...

— И Чепыжин.

— Да знаете, кто они? — Голос стал грозным. — Вот прочитайте...

— Минутку, сейчас прочту, давайте все же по порядку. Вас-то за что исключили? Сын за отца не отвечает.

— Но меня не за отца — за обман партии. Хитро письмо в наш партком было составлено. «Если при вступлении в партию он сообщил, что отец — предатель, и коллектив все же решил принять его, значит, достойный человек. А если скрыл...»

— А вы что писали?

— Писал как есть — замучен в гестапо.

— Да... Сколько же вам тогда было лет?

Дмитрий Иванович горько усмехнулся:

— Лет не было. Месяцы. Семь месяцев.

После долгой паузы Крылов спросил:

— Письмо анонимное?

— Нет, авторитетнейший человек написал, заслуженный. — В его голосе нескрываемая боль. — Если бы анонимка, думаю, и разбирать не стали бы, ко мне все с уважением относятся. Я — ведущий инженер, моя группа всегда на первом месте... Да все равно я бы доказал, но... — безнадежно махнул рукой.

— Что же помешало?

— Ваша статья, товарищ Крылов. Теперь и слушать никто не хочет...

Крылов поморщился. Помолчав, спросил:

— Кто автор письма?

— Для вас он особый авторитет.

— Кто же?

— Гулыга.

— Гулыга? — Крылов на мгновение закрыл глаза. Гулыга ведь не так говорил. По его словам получалось, будто партком сам разбирался... Или не так его понял?.. Рассеян-

но сказал: — Что вы хотели рассказать относительно Хижнякова и Чепыжина?

— Голубев подробно описал, что это за типы.

— Голубев? Никита Нилович? Очень интересно. Я сколько ни бился, ничего он мне не сказал.

Неожиданно Дмитрий Иванович захлопнул папку.

— Нет, не имею я права показывать.

Ничего не понимая, Крылов смотрел на него.

— Голубев вместе с моим отцом в подполье работал, — продолжал Дмитрий Иванович. — Его схватили полицаи, когда из окружения выходил, и привели к отцу. Никита Нилович его фашистским выродком назвал, чуть в лицо не плюнул, а когда узнал, что отец подпольщик, вместе с ним стал работать. Отец устроил его у лесника, тоже подпольщика, на самом дальнем участке, выправил ему документ, будто он мостовой обходчик. У нас там много всяких мостков через речушки и овраги. Вот и ездил он — кум королю — никто задержать не мог. А потом в церковной сторожке соседнего села стал жить, ходил по лесникам, которые оружие собирали и в тайники перетаскивали. В лесу того оружия, как грибов после дождя, полно было... Люди в церковь ходили, там и явка была, там и получал Голубев указания отца.

Крылов тяжело плюхнулся в кресло:

— Почему же вы письмо Голубева в папке держите?

— Это моей рукой написано, это копия, да и то недействительная. Оригинал он забрал... Но я его не осуждаю, у него другого выхода не было.

— Мудреный детектив получается, — Сергей Александрович пересел к столу. — Что-то не так, Дмитрий Иванович. Во-первых, не выгнали, работает, сам видел...

— Теперь-то работает, — не дал ему договорить Дмитрий Иванович. — Даже вынужденный прогул оплатили.

— Нет, все-таки ничего не понимаю. Вся история сомнительна. Вдумайтесь: безоружный Голубев во время войны плюет в лицо бургомистру, понимая — идет на гибель. Бесстрашный человек. А в наши-то дни?

— То-то и оно, что во время войны, — спокойно сказал Дмитрий Иванович. — Он был холостой, рвался мстить любой ценой. А теперь? Постарел, годы вышли. Жена с постели не встает после паралича, дочь — вдова с двумя детьми — машинисткой работает. Все на нем, куда же ему тягаться?

Крылова взорвало:

— С кем тягаться? Кто его уволил, кто восстановил? Кому, наконец, это надо?!

— Не могу о нем, — вздохнул Дмитрий Иванович. — И письмо не имею права показывать, еще хуже человеку будет. В таком же положении Зарудная, Чумаков...

— Кто-кто? Зарудная? Валерия Николаевна? Вы ее знаете?

— Гм... знаю. Еще как знаю!

— Кто она, чем занимается?

— Работает в историческом архиве, три года готовила диссертацию о партизанском движении в районе. Показала и подполье во главе с Панченко Иваном Саввичем. Не вступая в прямую полемику, опровергла выводы Прохорова, по тут и ей помешали...

— Ну знаете... — не выдержал Крылов и осекся. — Говорите, говорите, я вас слушаю.

— Вы сами с ней поговорите.

— Что же вы все там — одуванчики, что ли? Если правду не признают, значит, биться за нее надо. А ваша Зарудная еще хуже Голубева, вовсе разговаривать со мной, видите ли, не пожелала. Тот, чье дело правое, не боится ни с кем говорить... Да и вы... Самое заинтересованное лицо — все намеками да полунамеками. Вроде Зарудной, тоже не хотели говорить. Что за гордыня такая!

— Какая уж там гордыня, Сергей Александрович. Только не обижайтесь, но ваша статья не только мне — Зарудной все дороги к правде перекрыла. Вот так-то. — Он поднялся.

— Минутку, — жестом усадил его Крылов. — Я человек откровенный, откровенно и скажу. Вы вызываете у меня не только сочувствие, но и доверие. Во всяком случае, хочется вам верить.

— И на том спасибо.

— Что произошло, вы не говорите, а только сетуете на то, что никто не хочет разобраться.

— Вы бы разобрались... да теперь по рукам связаны, кто же против себя выступить станет!

— Ошибаетесь, Дмитрий Иванович, — положил он руку на плечо Панченко. — Если погрешил против истины, если буду убежден в этом, хватит мужества признать любую ошибку, какой бы расплаты ни стоила.

Дмитрий Иванович посмотрел на Крылова.

— Хватит? — переспросил он.

Крылов поднялся и протянул Панченко руку.

— Не сомневайтесь. Но вы должны помочь. Договоритесь с Зарудной, пусть покажет мне свою диссертацию и до-

кументы, опровергающие выводы комиссии Прохорова. А к Голубеву еще раз поеду.

Это было крепкое рукопожатие. Будто союз заключили.

13

Из гостиницы Сергей Александрович вернулся в редакцию. Достал из стола рукопись... Закончить наконец очерк. Какой там очерк, не в состоянии написать и строчки. Сумбур... Ольга, Панченко, Голубев... Заколдованный круг. Прошлую ночь почти не спал, маялся, бессмысленно перебирая бумаги, не в силах ни ответить на вопрос, ни избавиться от него: кто и для чего мог написать такое письмо? Под утро прилег на диван, часа два в тревоге подремал и поднялся. Холодный душ освежил его. Выпив чашку кофе, собрался в редакцию, но уйти, не поговорив с женой, не мог. Робко пошел к ней. Она не спала. Может быть, так же как и он, всю ночь. Сказал спокойно и веско: «Ольга! Я клянусь тебе самым дорогим, что есть в моей и нашей жизни, — ни в чем перед тобой не виноват. Во всяком случае, в том, что написано в этом пасквиле. Я обещаю тебе не успокоиться до тех пор, пока не найду этого подлеца».

Ольга молчала. Он и не ждал ответа. Понимал ее состояние. Что она может сейчас сказать? Пусть хоть сколько-нибудь поколеблется вера в клевету, принятую ею за истину безоговорочно...

К действительности вернул его вошедший Костя:

— Все исправил, Сергей Александрович, — положил он на стол свою рукопись.

— Все?

— Все, проверьте.

— Молодец, — и, поставив на первой странице свою визу, отодвинул рукопись: — Сдавай.

И снова остался один. Сплошной туман... Один факт исключает, полностью опровергает другой. И оба убедительны. Так не бывает. Но так есть... Черт побери, не может же так быть! Где-то ложь. Где ложь? Во имя чего?

Неожиданно вспомнил о Ржанове. Бросил взгляд на часы, торопливо пошел к главному.

С Германом Трофимовичем Удаловым у Крылова сложились особые отношения. Они проработали вместе пятнадцать лет, и хотя их не связывала личная дружба и не встречались они домами, понимали с полуслова и глубоко уважали друг друга.

Сергей Александрович видел в редакторе человека тонкого политического чутья, образованного, одинаково доступного для всех, вне зависимости от рангов и положений, принципиального и бескорыстного. Далеко не у всех сотрудников он пользовался уважением и повод к тому давал. В своем справедливом требовании не допускать ошибок он переставал, взыскивая за них. Даже орфографические ошибки вызвали его бурное негодование. Человек по натуре добрый, он становился в такие минуты беспощадным, безжалостным, даже жестоким. И выражалось это отнюдь не словами. Он налагал суровые взыскания, отбрасывая назад очередника, готовившегося вот-вот получить квартиру, а то и вовсе увольнял. И еще одно качество, казалось противоречащее его характеру, вызывало у многих недовольство. Проявляя заботу о жилищных условиях сотрудников, о заработках, путевках и продвижении по службе, совершенно не признавал права людей на ограниченный рабочий день, на отдых. Перегружал, заставлял работать, как кто-то сказал, на износ.

При нем Крылов прошел все ступени от литсотрудника до завотделом и члена редколлегии. Должность ответственная, престижная, хорошо оплачиваемая, но не о ней мечталось Крылову. Надо корпеть над планами отдела, заказывать статьи, улаживать талантливых, а значит, сверх меры перегруженных людей выступить в газете, отбиваться от графоманов, разбирать жалобы, редактировать материалы, вести огромную организационную работу. Для того, чтобы писать самому, не хватало времени. Чем выше редакционный работник поднимался по служебной линии, тем меньше оставалось возможности писать. Практически у завотделом такой возможности не было вовсе.

Как и каждому литературному сотруднику редакции, Крылову хотелось стать спецкором. Это высшая журналистская должность. Поставленное в скобках ниже его фамилии «Спец. корр.» не раз появлялось в газете, когда он был еще начинающим журналистом. Но это не то. Это означало лишь, что человек специально выезжал для выполнения данного конкретного задания. Должность специальный корреспондент — дело совсем иное. Никого не править, ничего не заказывать, ни за кого не отвечать. Только писать. Чаще всего — не по заданиям, а то, о чем хочется сказать людям. Да и задания-то, как правило, интересные, масштабные. Поэтому и назначают на эту должность журналистов высшей квалификации.

Четыре года Крылов заведовал ведущим отделом, и ни одного срыва, ни одной ошибки. Постоянно новые, важные для газеты инициативы, новые интересные рубрики и кампании. Потому и не хотелось Удалову переводить его в спецкору, хотя понимал — самая подходящая кандидатура. Ему не хотелось терять хорошего руководителя отдела. Последнюю гирьку на чашу весов в пользу Крылова положил секретарь парткома. Но уже согласившись, верный своему принципу до предела загружать людей, возложил на Крылова обязанность шефствовать над отделом и в течение года нести полную ответственность за его работу.

Вопрос был предрешен. Сергей Александрович с нетерпением ждал приказа. Вот тут-то и пришел к нему заведомом информации, председатель месткома Петр Федорович Калюжный. Начал издавека, с вопросов о здоровье, работе, семье, а закончил просьбой не претендовать на вакантное место. Не скрывая, сказал — давно мечтал о нем, практически он, Калюжный, добился перевода прежнего спецкора в другую газету, поэтому по праву должен сам занять эту должность.

Весь разговор был Крылову неприятен. Нигде бы не сказал, по знал — Калюжный пишет плохо, просто не умеет писать, и такое назначение было бы в ущерб делу. Верно, хороший организатор, может точно оценить слово, но только оцепить, а не найти. Однажды даже сам признался в этом, надсмеявшись над довольно одаренным, но спесивым писателем. Тот принес заказанный Калюжным очерк, и Петр Федорович сделал ему ряд справедливых замечаний.

Писатель обиделся, запальчиво сказал: «Что вы командуете?! Если вы такой грамотный, пишете сами, вот вам мое стило». — «Знаете, — не растерялся Калюжный, — когда я прихожу на примерку к закройщику, я говорю ему: «Вот тут заужено, здесь морщит, рукава длинноваты». Но если он скажет: «Садитесь и шейте сами», я отвечу: «Даже пуговицу не смогу пришить». Я редактор и вижу, что не так, как и услышу фальшивую ноту у певца. Это вовсе не значит, что я должен сам уметь петь».

Да, за словом в карман Калюжный не полезет, но «петь» не умеет. Его статьи, которые сам называет очерками, полны громких фраз, не трогают читателя. Да и не только по этой причине не хотел Крылов выполнить просьбу Калюжного. Чего ради он должен уступать предназначенное ему место, тем более такому человеку. С недоумением пожал плечами:

— Так решил главный.

— Да, — парировал Калюжный. — Но решения редколлегии, а тем более приказа еще нет. И главный сказал: если ты откажешься — назначит меня.

Крылов задумался. Калюжный с надеждой смотрел на него. Однако думал он не о том, отказываться или нет, как предполагал Петр Федорович. Думал, как легко и не очень благородно отделался Удалов от пазойливого Калюжного, которого ни за что не назначит на это место, и о самом Калюжном, его нескромности и настырности.

— Нет, — сказал решительно. — Это, конечно, нескромно, но я больше подхожу на роль спецкора. Впрочем, как решит редколлегия, так и будет.

Слова прозвучали действительно весьма нескромно. Но сказал их Сергей Александрович не сгоряча. Специально искал резкую форму отказа. Надо не юлить перед такими, не делать благородной мины, как Удалов, а учить их, ставить на место.

Калюжный ушел, не ответив, но в душе все кипело. Нет, он не из тех, кто прощает оскорбления. Особенно такое. Больше года готовил себе место, и вот, пожалуйста, его займет любимчик редактора.

— Кто у него? — спросил секретаршу Сергей Александрович, кивнув на дверь Удалова.

— Никого.

— Я позвоню коротенько с твоего телефона, — проходя в кабинет Германа Трофимовича, сказал Крылов. В словах не было просьбы, он как бы объяснял, зачем пришел.

Не отрываясь от работы, Герман Трофимович кивнул в сторону телефона, пододвинул алфавитную книжечку. Ржанов оказался на месте, согласился принять на следующий день утром.

— Что это тебе Ржанов понадобился? — поднял голову хозяин кабинета. — Опять о ком-то хлопчешь?.. Когда наконец сдашь очерк о Максимчуке?

— Не вытанцовывается...

— А ты не танцуй, тут не балет, попробуй головой работать.

Крылов только улыбнулся:

— Попробую головой, это, наверно, трудно... Не буду мешать, — и вышел.

Юркий «жигуленок», объехав храм Василия Блаженного, остановился рядом с другими машинами. Вышел Крылов, направился к Спасским воротам Кремля. Часовой взглянул на фотографию в удостоверении личности, потом на Крылова. Пробежав глазами список, поставил в нем галочку.

— Пожалуйста, — вернул удостоверение.

Пройдя под аркой, Сергей Александрович свернул направо, пошел вдоль Кремлевской стены и остановился у подъезда огромного здания. На мраморной плите отливали золотым блеском литые буквы: «Совет Министров СССР». Легко нашел кабинет Ржанова и вскоре прошел к нему. Коротко и полно изложил суть вопроса.

— Читал, читал ваш очерк, — сказал Ржанов. — Хотя помню Гулыгу очень смутно, мы ведь только раз встречались, но рад за него, выходит, воевал он здорово. Да и сейчас руководит большим делом... Правда, фантазер, — улыбнулся он, — но может, это и хорошо. Без полета фантазии вершин не достигнуть.

— Почему фантазер? — насторожился Крылов.

— Фантастические планы расширения своего производства предлагал, трижды писал мне... Наверное, обиделся... Но невыполнимы они, каждый раз отказывал в поддержке... А эпизод этот хорошо помню, я потом с этим соединением воевал. Умный, бывалый полковник Зыбин поначалу собирал по пути из окружения многих бойцов. Были там и пехотинцы, и артиллеристы, и моряки, одним словом, все рода войск. На ночлег остановились в Липани. И я в то время там находился, в лесном госпитале, который организовали наши врачи, тоже оказавшиеся в окружении.

— А кто снабжал госпиталь?

— Честно говоря, не знаю, там все в тайне держали, да и пробыл всего три дня, ранение легким оказалось. Я уже думал, как пробиваться дальше, хотя рука после ранения еще не зажила. Вот тогда и появился отряд Зыбина.

— Большой отряд?

— Очень большой. Когда из окружения вышли, из нас дивизию сформировали. Зыбину присвоили генеральское звание и назначили командиром дивизии. Он фундамент дивизии еще в окружении закладывал. Сначала распределял людей по отделениям и взводам, а потом роты появились и даже полки. По мере роста все более походил на организованное воинское соединение. Было в нем три крупных ле-

нинградских юриста, из которых он создал военный трибунал. Дисциплину поддерживал жесткую, людей берег по-отцовски.

— Он жив сейчас?

— Меня и самого это интересует. Видимо, жив. Он не раз отмечался в приказах Верховного Главнокомандования, удостоен звания Героя Советского Союза. Но меня уже в дивизии не было — тяжелое ранение получил... Ну, так вот. Еще с вечера в нашем лесном госпитале прошел слух об отряде Зыбина. Я решил уйти с ним. Чтоб не прозевать, отправился ночевать в деревню. А па рассвете, вернее, уже светло было, услышал барабанный бой. Вскочил — к окну, а потом выбежал на улицу. Такую увидел картину, что страшно стало. На площади, у самой опушки леса выстроился отряд, человек, думаю, триста. Форма на них разношерстная, да и та далеко не первой свежести. Но стоят колоннами, в каре выстроенные. Посередине, на наскоро сколоченном помосте — пять офицеров, среди них — Зыбин. А чуть подальше на ветке многовекового дуба — веревка с петлей. Под усиленным конвоем с автоматами наперевес, под барабанный бой вели человека. Остановились у дуба, смолк барабанный бой.

Из всех хат повысыпали люди, в основном женщины. Сначала жались у калиток, а потом осмелели, стали подходить ближе. И я продвинулся, рядом Гулыга оказался. В толпе было несколько человек таких, как мы с ним, — окруженцев.

Потом полковник скомандовал: «Давай!»

Вышел вперед офицер и начал читать приговор. Документ большой, я его не запомнил, но все там по форме — и состав трибунала из юристов первого и второго класса, и все формальности. В заключительной части приговора говорилось, что за участие в карательных акциях фашистов, расстрелах жителей, пособничество гитлеровцам в угоне людей в Германию, за измену Родине приговорить Панченко... Фамилию я хорошо запомнил, у нас сосед был Панченко. И отчество запомнил — Саввич. Противно рядом ставить, но отчество моего отца — Саввич. А имя выветрилось. Так вот этого Панченко — к смертной казни через повешение.

Я предложил Гулыге уйти с этим отрядом, а он меня толкнул локтем. «Смотри, смотри!» — кричит. А я уже и сам увидел. В каком-то нечеловеческом прыжке Панченко рванулся в сторону меж деревьев, и тут же раздался громовой голос полковника: «Не стрелять! Живьем!»

Бросились за ним человек пятнадцать, да помехи всюду, кустарники, а он, должно быть выросший в этих местах, вымахивал гигантскими прыжками и все дальше уходил от преследователей. Тогда и раздался второй приказ полковника: «По предателю Родины — огонь!» Да поздно. Ищи теперь ветра в поле, как сквозь землю провалился.

— Так и не поймали?

Ржанов развел руками:

— Ничего больше не знаю. Я ушел вместе с отрядом Зыбина, еще раз звал Гулыгу, но, видимо, тогда еще он задумал сам организовать отряд, верил в свои силы.

Поблагодарив Ржанова, Крылов ушел. На душе стало легче: судя по характеристике Зыбина, зря этот человек расстреливать не станет.

Прямо из Кремля Крылов направился к главному редактору. Секретарша резким жестом остановила его:

— Полосы читает, просил только если по номеру.

— Андреев же сегодня ведет номер.

— Заболел.

Поколебавшись, Сергей Александрович открыл дверь, вошел. Удалов читал полосу, не поднял головы.

Странное дело — не сосчитать, сколько раз за долгие годы Крылов был в этой комнате, а сейчас, остановившись в нерешительности, молча рассматривал кабинет. Его не отличить от тысяч служебных кабинетов, если бы не щит, занимающий чуть ли не полстены. Он разделен на шесть частей по вертикали, и над каждой из них — часы и лампочка. На щите шесть оттисков газетных полос. Четыре сверстаны полностью, над ними горит свет, а стрелки часов не движутся, замерли, показывая время, когда полоса была готова. Пятая и первая полосы не готовы к печати, тут и там на них белые пятна, куда еще не поставлены корреспонденции или клише. Не скоро освободится редактор, жди теперь, пока загорятся все лампочки. Он уставился в свою верстку и ничего не хочет замечать, хотя времени у него предостаточно. Четыре полосы горят, газета явно идет раньше графика. Впрочем, когда номер ведет главный, все движется быстрее.

— Я на минуточку, Герман Трофимович, — решил он наконец.

— Да? — сказал тот, не взглянув на вошедшего.

— Я прошу короткую командировку в Мюнхен.

Герман Трофимович поднял голову, сдвинул на лоб очки:

— С заездом по пути в Париж и Лондон?

— Нет, серьезно, важное дело.

— Можно полюбопытствовать какое?

Вошел курьер, наколол поверх незаконченной пятой полосы готовую, полностью сверстанную. Сверху зажглась лампочка, часы остановились. Редактор покосился на них, довольно сказал:

— Молодцы, ребята, на пятнадцать минут раньше графика... Так какое же дело?

— Как вам сказать?.. Понимаете, — он почему-то перешел на официальный тон, — там будет судебный процесс над военным преступником Бергером...

— И ты должен выступить в качестве обвинителя?

— Вы настроены на веселый лад, а я дело говорю. — Голос Крылова прозвучал укоризненно.

— А почему бы и не на веселый? Пять полос уже есть, — показал на щит, — вот дочитываю последнюю, и правки почти нет... Да и ты с веселым предложением пришел.

Крылов с грустью смотрел на него. Редактор уловил его взгляд. Сказал серьезно, но мягко:

— Что ты, в самом деле, сотни таких процессов прошли, всех оправдывают. Кому они интересны? Во всяком случае, не редакции... Что у тебя еще?

— Понимаете, тут дело не только в процессе...

— А в чем?

— Ну, пока еще трудно сказать...

— Знаешь что, Сергей, не морочь голову. У тебя дел уйма, и мне некогда. — Он водворил на место очки, наклонился над полосой.

Вошел сотрудник:

— Можно?

— По номеру?

— Нет, но...

— Тогда позже...

— Герман Трофимович, еще минутку... Помните, в очерке о Гулыге я вскользь о предателе Панченко написал?

— И хорошо сделал. Выросли в одной среде, одинаковое образование получили, один стал героем, а второй предателем. Хорошее сравнение. В чем у тебя сомнения?

— Не то чтобы сомнения, но некоторые детали надо уточнить.

Герман Трофимович повернулся в кресле:

— А я-то думал, что Крылов уточняет все до того, как садится писать, а не спустя месяцы после публикации. Это — во-первых. А во-вторых, нам важно лишь, что он был предателем. Такое доказательство, надеюсь, у тебя есть?

— Есть, и не одно.

— Так чего тебе еще надо? Ищешь повода прокатиться за границу?

— Да нет же, — с едва скрываемым раздражением сказал Крылов. — Есть версия, неясная, непроверенная, косвенная, будто он не был предателем. На процессе все и выяснится окончательно.

— Та-ак, — откинулся в кресле Герман Трофимович. — Веселенькая история. Ты понимаешь, что говоришь?! А если выяснится, что эта косвенная, неясная, непроверенная подтвердится? Ты понимаешь, что говоришь? Это же не техническая ошибка — политическая.

— Рано меня в политические преступники записывать, Герман Трофимович, — разгорячился Крылов. — У меня более чем достаточно данных о его предательстве. Но коль скоро появилось...

Вошла Верочка.

— По номеру? — недовольно спросил редактор.

— Да. Гегель спрашивает, идет ли сегодня его подвал «Женщина и социализм», он хочет верстку почитать.

Оба тупо уставились на нее.

— Это он сам вас спрашивал?

— Нет, — невинно улыбнулась она, хлопая непомерно длинными ресницами, — Косте Упину звонил.

Редактор громко рассмеялся, улыбнулся и Крылов.

— Верочка, — мягко сказал Герман Трофимович, — ну когда же вы поступите в вечерний? Вы хоть что-нибудь читаете?.. Философ Гегель умер в тысяча восемьсот тридцать первом году, он уже сто пятьдесят лет не читает версток... А «Женщину и социализм» написал не Гегель, а Бебель. Август Бебель, которого тоже давно нет на свете. И уж, конечно, они не могли звонить Упину. Ясно?

После непродолжительной паузы пылающая Верочка совершила акт мести:

— А вы Упину скажите, пусть босиком по редакции не ходит, а то у нас посетители пугаются. — И уже в дверях, совсем оправившись от удара: — Ему, видите ли, жарко...

— Твой воспитанничек, — с ехидцей произнес Герман Трофимович.

— Неисправимый, — покачал головой Крылов. После короткой паузы сказал настойчиво: — Одним словом, прошу дать мне командировку всего на три дня.

— А я прошу дать мне дочитать полосу и не держать номер. Речи не может быть о командировке. Если бы даже хо-

тел, не мог бы послать, валюты нет, понимаешь? — И углубился в чтение.

Крылов не мог смириться. Был убежден — после процесса все встанет на свои места, и он обретет, наконец, спокойствие. Не находя новых доводов, чтобы убедить Удалова, говорил, казалось, не думая, что придет в голову:

— Во все дыры пихаете меня, а тут один раз в жизни попросил. Подумаешь, заграница! Да плевать я хотел на все эти заграницы, сыт ими по горло, мне просто надо. Понимаешь, надо!

— Надо, и все. Вынь да положь, — не поднимая головы, стбивался Герман Трофимович.

Крылов задумался. Не обращая на него внимания, редактор что-то правил на полосе. Неожиданно Сергей Александрович вскочил, схватил лист бумаги и стал быстро писать.

— Тогда вот! — И положил бумагу на полосу.

Там была лишь одна фраза. Герман Трофимович пробежал ее и насмешливо сказал:

— Восстание рабов?

— Никакое не восстание. Я три года не был в отпуске, и ты обязан по всем законам дать хоть за один год. — И голос и вид его выражали крайнюю степень решительности.

— Видно, что ты три года не был в отпуске. — Написал резолюцию, отодвинул заявление. — Советую в санаторий... Знаешь, есть такие специальные санатории...

— Нет уж, спасибо, — взял он свою бумагу. — Не посылаете, сам поеду.

— Сомневаюсь, — прищурился редактор. — Не на дачу — в капстрану.

— Ничего, мне мой друг Грюнер поможет.

— Грюнер? Если не ошибаюсь, он в ГДР, а Мюнхен, я как-то слышал, в Западной Германии находится.

— Не все слухи до тебя доходят, Герман Трофимович. Грюнер действительно в ГДР, но уже давно собкор своей газеты в ФРГ, где у него уйма друзей.

Удалов не привык, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Строго сказал:

— Если поедешь, не вздумай ни во что ввязываться там. Не забывай — воспринимать тебя будут не как частное лицо, а посчитают представителем редакции.

Крылов уже с трудом владел собой:

— Могу снять с себя это представительство, если вам угодно. Хоть сию минуту. Удостоверение у меня с собой.

Он ушел, едва не хлопнув дверью, и заспешил в стено-

графическое бюро. Оставил берлинский и боннский телефоны Грюпера, просил разыскать его и соединить с квартирой. И тут же уехал домой.

15

Поведение Сергея Александровича в истории с письмом произвело впечатление на Ольгу. Не может человек так играть. Возможно, и в самом деле шантаж. Врагов у него много. За годы работы в редакции разоблачил немало подлецов и вейодяев. Они мстили. Она помнит и оскорбительные телефонные звонки, и полные угроз анонимные письма. В последнее время он писал только о людях героических, почему же сейчас такое письмо?

Сергей Александрович тоже не знал, как будет разговаривать, придя домой. Было ясно лишь одно — большую тему не трогать. Попросил поесть, после ужина пошел работать. Чутье подсказывало — безоговорочную веру Ольги в эту чудовищную клевету удалось поколебать.

Чутье подсказывало... Что же оно такое — чутье? Этого никто не знает. Но оно есть. Есть в людях что-то такое, что передается от человека к человеку, если даже они и не совершают каких-то поступков и не говорят слов. И если идет молчаливый поединок между двумя людьми, все равно каждый чувствует, кто в нем победитель, а кто потерпел поражение. Крылов глубоко верил в свое чутье. Настроение улучшилось. И с Ольгой постепенно образуется, и в Мюнхен пробьется. Надо только побыстрее закончить с Максимчуком. Сел за письменный стол, заваленный старыми верстками, рукописными черновиками. И как только разбирается человек в таком хаосе? Видать, разбирается. Время от времени, порывшись па столе, извлечет из груди листок или блокнот, посмотрит, снова пишет. Задумался... Щелкнул пальцами, стал быстро писать. То ли нужное слово наконец нашел, то ли хорошая мысль пришла.

На пороге появилась Ольга. Она не искала примирения, но помимо воли что-то подталкивало ее к тому.

— Сергей, знаешь, я твердо решила не укорачивать джинсы, а подвернуть их.

— Тебе важно сообщить мне об этом немедленно? — ласково улыбаясь, оторвался он от работы.

— Ну, Сергей... — в тоне нескрываяемо деланная обида.

— Да нет, я ничего... Это хорошо не укорачивать, конечно, лучше подвернуть.

Раздались частые телефонные звонки. Он схватил трубку, откликнулся.

— Бони вызывали? Соединяю.

— Гутен абенд, Дитрих, это я. Крылов тебя беспокоит.

Ольга так и осталась у двери, стоит, слушает.

— Да, скоро преподавать начну немецкий, — смеется Сергей Александрович. — Дитрих, дорогой, командировку не дают, никак не получается. Ты не можешь через своих друзей в ФРГ организовать мне вызов?.. Ну, как «что такое вызов»?.. Да-да, в гостп, приглашение... На мой счет... Расходов у них не будет... Дней на пять, но приглашение надо на месяц, тогда у меня хватит денег, очень мало обменивают... Спасибо, большое спасибо. До встречи в Бонне.

Он положил трубку. Не видел — чувствовал: Ольга вопрошающе смотрит на него. Надо давать объяснения. Надо снова говорить о своих сомнениях, в которые она не верит.

Для решения любых проблем он всегда выбирал самый короткий путь, анализируя все возможные. Сложная, запутанная ситуация тем более требовала соблюсти этот принцип. Было ясно — самый короткий путь — встретиться с Зарудной и Голубевым. Если диссертация действительно опровергает выводы комиссии Прохорова, дело примет совсем другой оборот. Если история с Голубевым выглядит так, как ее представил Дмитрий Панченко, значит, надо взять под защиту редакции старого партизана и вернуть письмо. Не станет человек возражать, если получит гарантии в полной своей безопасности. Выяснится, если это правда, кто и во имя чего мешает ему, Зарудной и еще кому-то.

Выходит, ехать надо не в ФРГ, а в Лучанск. Что против? Упустит процесс? Не так уж это важно — документы немецкой патриотической организации, приготовленные к процессу, останутся, протоколы суда останутся.

Значит — Лучанск? Но этого Ольга не захочет, не сможет понять. Он злился на Ольгу, и ему было жаль ее. Наступив на собственное горло, решил уступить ей. Теплилась надежда — диссертацию Зарудной можно будет получить и не встречаясь с автором, с помощью Панченко, а Голубева редакция запросто вызовет. Правда, не так уж запросто, без разрешения главного не получится, для его согласия потребуются весомые доводы. Придется доложить — «косвенные», «непроверенные», «неясные» — не так уж безобидны. Не только доложить, но доказать это. Доказательства возникнут на процессе. Как Удалов воспримет факт столь чудовищной

ошибки в газете, страшно представить. Впрочем, и основания отбросить сомнения может дать процесс.

...Взглянул на Ольгу. В ее глазах не встретил для себя ничего неожиданного — что еще ты придумал?

Подробно объяснил, зачем должен ехать в ФРГ.

— Почему же надо просить Грюнера? — пожалала плечами. — Почему по служебным делам надо ехать по частному приглашению неизвестных людей, да еще и за свой счет?

Не вдаваясь в детали, чтобы не вызвать нового спора, привел лишь формальный довод редактора — нет валюты.

Вопрошающий взгляд Ольги смелся недоверчивым.

— Не нравится мне эта новая поездка в Германию.

— Такой страны нет, Оля, — попытался он смягчить напряжение веселой улыбкой. — Есть ГДР и есть ФРГ.

— Все равно, — не приняла она предложенного тона. — Там у тебя возникнут новые сомнения, придумывать ты мастер, и выяснять их, естественно, поедешь в Лучапск.

— Нет, уж на этот раз — никак... Оленька, — подмигнул он, — чашечку кофейку, а?

— Ты хочешь сказать — разговор окончен, отправляйся на свое место на кухню?

— О-оля...

Резко повернувшись, она вышла.

Приглашение в ФРГ пришло быстрее, чем можно было ожидать, и Крылов начал оформлять документы на выезд. А эта процедура длилась медленнее, чем хотелось. Он закончил наконец очерк о Максимчуке, подбирал «хвосты», готовился к поездке. Нервничал — долго возятся. Пришла вдруг тревожная мысль: задерживается характеристика, почему? Пошел к помощнику главного редактора Марии Владимировне. Она же ведала кадрами. Впрочем, чем только не ведала — даже распределением квартир и премиями.

Вошел не постучав. Может быть, потому что ее кабинет был более чем скромных размеров, бросался в глаза непомерно большой сейф в углу и несгораемый шкаф, до которого легко достать, не вставая из-за письменного стола.

Пожилая, довольно тучная, Мария Владимировна что-то писала и не прервала своего занятия. Лишь мельком взглянула на Крылова, кивком ответила на его приветствие.

— Готова? — спросил он с порога.

— Почти.

— Как это «почти»?

— Главный подписал, секретарь парткома подписал, остался Калюжный.

— Машенька! — взмолился Сергей Александрович. — Он же год будет держать. Ты же его знаешь, потормози, прошу тебя.

«Машенька» и «ты», обращенные к столь почтенной женщине, для постороннего прозвучали бы неожиданно, но уж так сложились их отношения за долгие годы работы в редакции. Крылов относился к ней с большим уважением. Если есть хоть малейшая возможность сделать добро человеку, значит, сделай, — таков был принцип ее работы, ее жизни.

Она отложила ручку, задумалась. А он продолжал:

— Приглашение немцы за три дня устроили, а мы целую неделю только с одной характеристикой возимся. Я же ее сто раз получал, только перепечатать и дату новую поставить.

— Немецкая точность и исполнительность известны, — вздохнула она, нехотя набирая номер. — Петр Федорович, можно зайти за характеристикой на Крылова?.. Не пожар, надо же успеть к процессу... Хорошо. — И положила трубку.

— Ну, что он?

— Да разве его поймешь. Говорит, сам позвонит мне... И зачем тебе эта поездка, не понимаю.

— Нервничаю я, Маша. Что-то здесь не так.

— Тебе всю жизнь не так. Только Ржапова и Гулыги вполне достаточно. Этот приговор, который оба слышали, не деталь биографии человека, а вся его биография, суть его. А другие свидетельства? Чего нервничать?

— Как же не нервничать? Все противоречиво, а главное — хоть убей, интуитивно верю сыну Панченко.

— Не мне тебя учить, Сергей, но у сына Панченко эмоции, у тебя интуиция, на этом далеко не уедешь. Он лицо заинтересованное, и ты ему веришь, а фактам, авторитетнейшим людям... Не понимаю.

— Вот потому и схожу с ума. Нет, как хочешь, тут посерьезней, чем кажется с ходу. Смотри, что получается. Но уговор — все нижеследующее запрешь в свой сейф. Впервые о Панченко, как о предателе, мне рассказал Гулыга. С недовольством принял возникшие сомнения. Сына Панченко исключили по его письму. К Хижнякову и Чепыжину, в искренности которых я не уверен, направил оп. К Ржанову — тоже. Почему он так топчет уже мертвого Панченко? Зачем-то ему это надо?

— Странные рассуждения. А ты бы как поступил, если бы из предателя хотели сделать героя?

— Подожди, подожди, не горячись. По версии Дмитрия Панченко, его отец был организатором подполья и партизанского движения в районе. Но именно за это Гулыга поднят на такую высоту. Что ты на это скажешь?

— Подленькие мысли, скажу. Оснований для них нет.

— Согласен, подленькие, потому и предупредил: пусть они умрут в этой комнате. Но одно основание, кро-охот-ное, но неподленькое, и весьма весомое — есть. Слушай внимательно.

Зазвонил телефон. Крылов неприязненно взглянул на него. Мария Владимировна подняла трубку, а он тут же придал рычаг. На ее удивленный взгляд сказал:

— Могла ты выйти? Позвонят позже. Слушай дальше. Дмитрия Панченко исключили из партии по заявлению Гулыги, в котором была ссылка и на мою статью. Перед партиорганизацией не вставал вопрос: предатель Панченко или патриот? У них — свидетельство такого авторитетного человека, как Гулыга, и еще более авторитетное выступление газеты. Значит, проверялся только один факт — написал ли в автобиографии Дмитрий Панченко при вступлении в партию, что отец работал на немцев? Выяснилось — нет. Значит, скрыл. Вот и исключили. А ведь мне Гулыга представил этот факт совсем по-иному. По его словам получалось, будто именно партиорганизация Дмитрия установила факт предательства его отца.

— И на таком зыбком основании ты хочешь построить чудовищное обвинение?

— Нет, такое «зыбкое» основание дает повод не доверять Гулыге. Потому и хочу покопаться в документах. Все-таки подлинные документы в ФРГ.

— Звонки бубны за горами? Ну ладно, счастливый путь.

Крылов ушел, а Мария Владимировна надолго задумалась. Она активно возражала ему, не принимала его доводов, но все-таки сомнения закрадывались. Может, и в самом деле здесь что-то не то. Снова и снова анализировала сказанное им. Пришла к выводу малоутешительному. Медленно придвинула к себе бумагу, написала: «В архив Министерства обороны СССР».

И снова задумалась.

Пока она беседовала с Крыловым, в кабинете главного редактора появился Калюжный с бумагой в руке. На нем костюм, к которому не прикасался уют, должно быть, со дня

сотворения этого образца массового попиwa устаревшей модели. Лицо сухое, измятое.

— Опять Крылов! — сказал он хмуро, не поздоровавшись.

— Что опять натворил Крылов? Давайте-ка его сюда на ковер. — У Германа Трофимовича было хорошее настроение, да и не очень большое значение он придавал словам Калюжного.

— Не он, а мы! — с пол-оборота заводясь, ответил Петр Федорович. — Неужели, кроме Крылова, некого послать в заграничную командировку?!

— Во-первых, Петр Федорович, не командировка...

— Ну, это для маленьких детей, — прервал Калюжный.

— И для больших! — отрезал редактор. — Командировки он, верно, добивался настойчиво, но я отказал. Решительно отказал, хотя, откровенно говоря, возможность послать у нас есть. Кстати, отказал не только потому, что не видел особой необходимости в ней, но и предвидя, как на нее отреагируют некоторые наши товарищи. — Намека Калюжный не понял или сделал вид, что не понял, и редактор закончил: — А отпуск — тут, как говорится, дело хозяйское: хоть на Северный полюс, хоть в космос...

— Нет, вы подписали, — потряхивая бумагой, упрямо возразил Калюжный. — Значит, не отказали, а поддержали... Как только сенсационный материал — поручить Крылову. Интересное письмо — Крылову. Самые выигрышные темы — Крылову, заграничная командировка — Крылову...

— По-огнал лошадей... Во-первых, большинство тем, как вы говорите, сенсационных он находит и предлагает сам. В отличие от других в письмах читателей роется сам и улавливает интересное там, где ловит ворон отдел писем. Ясно? На процесс же, повторяю, я его не посылаю. Что еще?

Калюжный замаялся. После небольшой паузы сказал:

— А я все-таки кого-нибудь послал бы. Дело важное, политическое.

— Что мы играем в кошки-мышки?! — запальчиво сказал Герман Трофимович. — Ты сам, что ли, хочешь ехать?

И опять Калюжный замешкался с ответом.

— Мог бы, конечно, и я, — ответил наконец, — но можно и Дремова, например. Человек проверенный, немецким владеет...

— Немецким, может, и владеет, не знаю, а вот с русским у него бо-ольшие нелады. До Крылова ему ой как далеко. Короче — на этот процесс никого не могу послать, не вижу

целесообразности. Что касается Крылова... Или ты ему не доверяешь политически?

Петр Федорович недобро вскинул на него глаза, потом сел к столу и подписал характеристику.

16

Грюнер приехал в международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне задолго до прибытия московского рейса. Первно поглядывая на часы, то на свои, то на стенные, ходил по залу. Ему явно было не по себе. Попасть на процесс не удастся. Хотя кто может знать, сколько он продлится. Снова посмотрел на часы — время истекло. Неужели опаздывает? Пошел к справочному бюро.

— Сейчас прибудет, — ответила девушка из окошка.

И как бы в подтверждение этих слов по залу разнесся голос диктора:

— Самолет «Москва — Франфурт-на-Майне», рейс сто девяносто шесть, совершил посадку.

Грюнер устремился к таможенному залу. Дождался наконец окончания досмотра, и радостно засветились глаза, когда увидел Крылова. Обнялись, расцеловались. Грюнер не дал ему и слова сказать — сильно опаздываем, надо бежать. Они и пошли очень быстро вверх по эскалатору, обходя спокойно стоявших людей. Поднявшись, ступили на траволатор — движущийся тротуар — и еще более ускорили шаг.

— Разве ты не мог приезжать завтра... нет, извини, вчера?

— Никак не мог, Дитрих, только сегодня визу получил, едва на самолет не опоздал... Когда начинается процесс?

— Уже начинался сейчас.

— Ну и черт с ним. Мне ведь главное — документы Фау Фау Эн, а не процесс, хотя, конечно...

Спрыгнув с траволатора, почти бегом устремились к выходу, вскочили в малепький «фольксваген». Как бы оправдываясь, Грюнер сказал:

— До Мюнхена надо скоро спешить, успеть там быть.

Далеко не новая машина Грюпера неслась по самой левой, скоростной полосе трехрядного шоссе. Одну за другой они настигали более солидные марки, и дисциплинированные немецкие водители, не дожидаясь сигнала, уступали дорогу.

— Дитрих, твой «роллс-ройс» вот-вот развалится.

— Это хорошо, — подмигнул Дитрих, — мы тогда полетим

на крышку того «мерседеса», — показал на идущую впереди машину. — Там можно немножко ложится отдыхать.

Оба смеются.

— Так какие, ты говоришь, документы о Панченко есть?

— Много документы. Я все тебе прочитать буду, а какой надо — ксерокс возьмем.

Летит малолитражка по широкому автобану. Крылов с интересом смотрит по сторонам. Перед глазами бесконечные потоки машин, поля как газоны, горы с древними замками и крепостными стенами. Над автобаном мелькают синие и зеленые щиты с названиями населенных мест, лежащих впереди. И вот уже указатель: «Мюнхен — 10 км». Как только въехали в город, Дитрих остановился у телефонной будки.

— Серьежа, почти минута, на дороге надо один ваш товарищ заберите, тоже хотел суд посмотреть. — И выскочил. Быстро набрал номер, что-то сказал.

— Кого ты хочешь взять, Дитрих? — недоуменно спросил Крылов, когда тот вернулся.

— Трудная фамилия, он — Юра, в отеле ждал, директор сахарной индустрии. Это совсем нам мимо, никакой задержки не будет.

Вскоре, едва Дитрих затормозил, с ловкостью кошки в машину вскочил человек.

— Как же вы в таком месте встречу назначили? — показал новый пассажир на знак «остановка запрещена».

— Это вы главный правил плохо учили. Если близко нет полицейский, ни один знак нет действительный. — И рассмеялся. — А теперь я буду советские люди знакомить... Пожалуйста.

— Прохоров, — протянул руку сидевший позади. — Юрий Алексеевич.

— Прохоров... Прохоров... — повторил Крылов, морща лоб, вместо того чтобы назвать себя. — Из Липани?

— Вам Дитрих сказал? Он и мне о вас говорил. Заочно, выходит, познакомил. Впрочем, вас-то все знают.

— Как там Петр Елизарович поживает? — перевел Крылов на другое.

— Нормально. Сегодня разговаривал с ним, я здесь оборудование принимаю... Вот Дитрих говорит, процесс открытый, а я все сомпеваюсь, не будет ли недоразумений — почему советский гражданин пришел? А послушать хочется, мне этот процесс особенно интересен.

Крылов посмотрел на него, промолчал.

— Знаете, мне пришлось косвенно заниматься этим делом в связи с нашим местным предателем Папченко... — Прохоров — Крылов не сомневался в этом — приглашал поддержать разговор.

Но Сергей Александрович снова промолчал.

Припарковались — как только Грюнер нашел щель между машинами и сумел в нее втиснуться — у тяжелого мрачного здания суда с непривычно узкими длинными окнами. У входа — статуя Фемиды. Здание очень старое, да и Фемида изрядно пожила на свете. На ее тунике мелкие выбоины, точно от осколков. А может, и в самом деле следы войны. И как страшный символ — отбита одна чаша весов.

Они поднялись по широким каменным ступеням.

— Момент, — остановил своих спутников Грюнер и направился к человеку в форменной одежде у двери.

— Узнайте еще раз, — уже вдогонку сказал Прохоров, — можно туда иностранцам?

— Нет беспокоится, можна, можна. — Он спросил о чем-то служащего и жестом позвал их. — Еще не кончился, — сообщил Дитрих, — прокурор речь взял.

Миновав короткий коридор, остановились у массивной двери, бесшумно открыли ее, тихо по одному вошли.

Зал маленький и, несмотря на высокий потолок и высокие окна, полутемный. Стулья большие, тяжелые, почерневшие от времени. На спинках герб. Людей мало, но трех свободных мест рядом не видно. Нашли наконец, пригибаясь, расселись.

Судьи в черных мантиях — на возвышении. На них широкополые, точно сплюснутые белые шляпы. Председатель суда — седой, плотный старик — восседал на каком-то сооружении, скорее похожем на троп, чем на кресло. Внизу за перегородкой — обвиняемый.

С большим пафосом держал речь прокурор. Грюнер, наклонившись к Сергею Александровичу, торопясь переводил, коверкая русский больше обычного, но Крылов хорошо понимал его. Тоже наклонившись к Грюнеру, внимательно слушал Прохоров.

— Я подтверждаю! — торжественно говорил прокурор. — Материалами дела, показаниями свидетелей, архивными документами неопровержимо доказано, что в районе Липани, находящемся на территории Советского Союза, за период сорок первого — сорок третьего годов было расстреляно триста шестьдесят семь мирных жителей. Видит бог, — поднял он руку, повысив голос, — я говорю истину!

Крылов извлек блокнот, держа его на коленях, быстро стал писать.

— За то же время, — продолжал прокурор, — было сожжено шесть хуторов и деревень того же района. Это убедительно показали свидетели, это подтвердили фотографии, приобщенные к делу, это установили назначенные судом эксперты, выезжавшие на место событий. Видит бог, — снова взметнулась рука, — я говорю истину! И я обвиняю! — Голос звенел угрожающе. Прокурор сделал паузу, как бы призывая присутствующих к особому вниманию. — Я обвиняю бывшего коменданта района, бывшего майора Иоганна Бергера...

На некоторое мгновение зал замер, и тут же прокатился недовольный ропот.

— Ты правильно переводишь, Дитрих? — шепотом спросил Крылов.

— Да-да, он виноватит Бергера.

Судья молча ударил деревянным молотком по толстой резиновой плитке, и зал стих. Прокурор продолжал:

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том, что он не справился с возложенной на него миссией охранять покой населения.

— Интересно, — прошептал Крылов, но Грюнер, боясь прослушать оратора, не ответил на реплику.

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том, — с пафосом вещал прокурор, — что он оказался мягкотелым, более того, подпал под дурное влияние, что недостойно чести немца.

— Что это? — снова не выдержал Крылов.

— Слушай пока...

— Да, — картинно развел руками прокурор, — мне нечем возразить обвиняемому и его защитнику — моему уважаемому коллеге-адвокату, — вся полнота власти в районе действительно находилась в руках бургомистра Ивана Папченко, человека жестокого, который бесноводно мстил за то, что до войны его выгнали из коммунистов. Я обвиняю Иоганна Бергера как в том, что он не сумел остановить кровавую резню, которую безжалостно учинял этот варвар Иван Папченко, так и в том, что не смог остановить организуемые этим дикарем поджоги.

— Да что он несет, черт побери?! — Крылов закрыл блокнот.

— Потерпи, Серьежа...

Шепот привлек внимание соседей, и Прохоров прервал его:

— На нас смотрят.

— Доводы моего коллеги-адвоката, — звучал голос прокурора, — документально подтвердившего, что в Липани не было немецких гарнизонов, а штат обвиняемого исчислялся единицами и дислоцировался в соседнем районе, являются не оправданием, как утверждал мой уважаемый коллега, а лишь смягчающим обстоятельством. Естественно, ему трудно было охватить своим влиянием весь район. Но информацию о преступных акциях озверевшего Ивана Панченко он был обязан иметь. И тот факт, что он не располагал подобной информацией и все делалось за его спиной, отнюдь не говорит в его пользу. В этом состоит его вина, хотя он чистосердечно здесь признался в ней, чего, естественно, суд не может не учитывать, так же как и глубокого раскаяния обвиняемого в своих ошибках.

— Хватит, Дитрих, дорогой, хватит, уже все ясно...

Крылов сел ровнее, давая понять, что не слушает перевод. Обведя взглядом зал, остановился на Бергере. Нет, это не толстомордый, откормленный бюргер. Длинный и тощий, он сидел точно вбитый в стул, прямой, как доска, не шевелясь, не поворачивая головы, покрытой редким ежиком седых волос, похоже, приклеенных.

Точно почувствовав взгляд, Бергер обернулся. Глаза их встретились — насмешливо-торжествующие Бергера и полные презрения Крылова. В безмолвном поединке победил Бергер — Крылов отвернулся.

Закончив на высокой ноте речь, прокурор отошел к своему столу. Судья объявил перерыв. Зал пришел в движение, люди потянулись к дверям.

— Что будет дальше? — нетерпеливо спросил Крылов, когда они направились к выходу.

— Дальше скажут приговор, и Бергер будет иметь оправдание. Это не есть правда, Серьежа. Не есть правда прокурор говорил. Они всех оправдать будут военных фашистов.

— Конечно, неправда! — с досадой поддержал Крылов. — Сволочь он, твой прокурор.

— Ты не надо волновать себя. Документы Фау Фау Эн не обратили для дела. Их смотреть будем, я тебе много переводить сделаю.

— Да, прошу тебя, хотя мне и неловко. Ты теряешь столько времени...

— Почему потерю? Мне тоже надо, я себе газету писать буду.

Они спустились с лестницы. Крылов не мог успокоиться: — Какой бред! Какой чудовищный бред он нес!

— Но повод ему дали, — робко вставил Прохоров. — Папченко ведь и в самом деле был фашистским холуем. Даже вы писали об этом.

— Писал, писал, — пришел в раздражение Крылов. — Да, пусть фашистский холуй, но только холуй, а не «вся полпота власти». Ишь, какую картинку нарисовал! Дитрих, есть возможность прочитать весь протокол суда?

— Конечно, я это устраиваю потом, еще не готова...

— Сейчас поедем документы Фау Фау Эн смотреть?

— Сейчас поздно, Серьежа, — Дитрих посмотрел на часы. — Уже все ушли. Надо потом предупредить, тогда ехать. — Помолчав немного, сказал: — Теперь думал... нет, предлагал Гофбройгауз смотреть, ты давно хотел смотреть... Совсем близко...

— Я пас, — покачал рукой Прохоров. — Видел эту пивную, где начинал Гитлер, а главное, надо еще подготовиться, завтра тяжелый у меня день. Да ведь мы еще увидимся. Вы где остановились?

«Оправдывается, будто его просят», — подумал Крылов, а вслух сказал:

— Еще нигде не остановился, прямо с аэродрома.

Они подошли к машине, и Прохоров стал прощаться.

— Обязательно расскажу о процессе Петру Елизаровичу, — сказал, пожимая руку Крылову. — Ему это тоже будет интересно.

— Мы подвозим вас, — предложил Грюнер, когда Прохоров обернулся к нему.

— Нет-нет, — покачал рукой Юрий Алексеевич. — Мне близко. — Еще раз раскланявшись, направился к переходу. Грюнер достал ключи от машины.

— Ты говоришь, это недалеко — может быть, пройдемся? Не могу сейчас сидеть на месте.

— Конечно, конечно, — согласился Дитрих.

Они пошли по широкому красивому проспекту. Крылов никак не мог прийти в себя.

— Абсурд! Бред, идиотизм! Просто фашистский суд.

— Да, Серьежа, еще новые фашисты есть... А есть и Фау Фау Эн. И еще тоже есть людской народ... Они понимают, сейчас есть не эпоха фашизмуса...

Незаметно подошли к зданию Гофбройгауза. Поднялись в зал, где находилось человек пятьсот. Ударил в нос специфический запах. Бесчисленное количество длинных некрашенных столов, отшлифованных временем. В проходах сновали посетители в поисках свободных мест. Точно воюломы

прорезались сквозь них тучные официантки, прижимая к своим необъятным бюстам по восемь литровых глиняных кружек — в каждой руке по четыре.

— Как они их удерживают? — поразился Крылов.

— О, совсем легко, — улыбнулся Грюнер, — одна кружка, залитая пивом, весит всего два килограммов.

В зале стоял невообразимый гул. Песни, выкрики, смех, громкий говор заглушали оркестр, и музыканты в кожаных шортах и жилетах, с тирольскими шляпами на головах, покинув эстраду, в одиночку бродили среди столов, наигрывая по заказу. Разные мелодии смешивались, создавая противояственный аккомпанемент гулу голосов. Они поднялись во второй зал, потом в третий, но там было еще теснее. Пришлось снова вернуться на первый этаж.

Двенадцатиместный стол — с каждой стороны лавка на шесть человек, — стоявший торцом к стене, был огражден шнуром. И никто не посягал на него — заказан. А рядом, тоже у стены, почти вплоты, маленький столик, но возле него ни стульев, ни лавки не было. Не обслуживается.

— Один минутка, — поднял палец Дитрих, — здесь постоять. — И исчез.

К зданию пивной подкатили три «мерседеса». С шумом вывалились возбужденные пассажиры. Среди них Бергер.

— Идем, идем! — кричал он. — Вальтер сам все машины припаркует.

Веселая компания — люди пожилые и даже старые — бодро поднималась по лестнице, говорили все сразу, энергично жестикулируя, перебивая друг друга. Несмотря на возраст, сохранилась у них военная выправка. К тому времени, когда они появились в зале, Грюнер уже успел договориться с официанткой — им поставили стулья, принесли пиво.

— Как фамилия того подпольщика, что я донесение гестапо тебе дал? — спросил Дитрих. — Кажется...

— Не помню, — резко, даже недружелюбно прервал Крылов.

Оба помолчали, отхлебывая пиво.

— Тебе эта история карьеру портит, Серьежа, да?

Крылов не успел ответить. Его внимание привлекла компания Бергера. Обгоняя уважаемых клиентов, торопилась официантка, сдернула шнур, ограждавший стол.

— Смотри, — показал на них взглядом Крылов.

Бергер плюхнулся на лавку, едва не столкнув Дитриха, но даже не взглянул на него.

— Давай пересядем, Дитрих.

— Неткуда, Серьежа... И нехорошо, — показал на кружки. — Она уже вюртсхен... нет, как это... сосиски приносить будет.

Шумно рассеявшаяся компания утихла — жадно схватилась за кружки, лишь изредка перебрасываясь короткими репликами. Сергей Александрович окинул взглядом зал. Через два стола от них тесно сгрудившаяся молодежь, размахивая кружками, пела фашистский гимн. Кто-то, выбрасывая вверх руки, кричал: «Хайль!» Снова шумно стало за столом Бергера. Уже успели вытянуть по две кружки и запели «Дойчланд, Дойч-ланд, юбер алес».

— Как в тридцатые годы, ползучие гады, — не сдержался Крылов.

Едва ли Бергер расслышал слова Крылова, но русская речь донеслась до него, и он резко обернулся, остановил на Крылове долгий взгляд.

— Зови официантку, прошу тебя, — полез Крылов в боковой карман.

— Нет, спрячь, — забеспокоился Дитрих. — Москва ты платил, тут я платил. — И стал искать глазами официантку.

Расплатившись, поспешно вышли из зала.

Среди множества стоявших у пивной машин отливали стальным блеском три «мерседеса». Грюнер перехватил взгляд своего друга, бережно взял его за локоть:

— Ты не предполагай, Серьежа, что в ФРГ все такие.

— Что ты, Дитрих, конечно...

— Да-да, ты смотришь цветы Штукенброка и понимаешь наш народ. Это один раз за год случается, скоро будет.

— А что это?

— Это надо смотреть, так не объясняется... Два часа расходовать будешь, я знаю, тебя заинтересовывают будет, ты хочешь писать, советские люди не знают, падо им знать.

Пленных гнали в концлагерь Эдельсхайде через всю Германию, подальше от наступавших советских войск. Лагерь находился на северо-западе страны, близ границы с Нидерландами, между местечками Штукенброк и Хефельсхов. Пленных там не кормили, поэтому они постепенно умирали.

Глубоко в лесу близ Штукенброка, на поляне в несколь-

ко гектаров вырыли длинный ров, куда сбрасывали трупы. Когда ров заполнился, параллельно ему выкопали второй, потом третий... Тех, кто долго не умирал, убивали, и их тела тоже сбрасывали в ров. А всего в этих рвах закопали 65 тысяч советских людей, всех, кого сюда пригнали. Это успели сделать до прихода войск союзников. И после войны о лагере Эдельсхайде мало кто знал даже в самой Западной Германии.

Потом местные коммунисты, деятели Фау Фау Эн и прогрессивно настроенные жители близлежащих районов решили, что так не годится, и образовали комитет «Цветы для Штукенброка». В него вошли учитель Вильгельм Г. Нимеллер, служащая Эльфрида Хаус, художник-декоратор Вернер Хенер, священники Гюнтер Дангер и Генрих Дистельмайер, журналист Хельмут Нетцебанд, ассессор Ганс-Иохен Михельс и другие антифашисты. Люди разных мировоззрений, разной партийной принадлежности и беспартийные.

Кто мог предвидеть — у комитета еще и помещения не было, а его уже осаждали толпы. У каждого, кто приходил, были свои счеты с Гитлером: отцы, сыновья, братья, родные и близкие, перемолотые жерновами войны, не забывались — они тоже были жертвами фашизма, слепым, как стихия, оружием в его руках.

В воззвании комитета говорилось: «Не забудем! Нации Земли во второй мировой войне потеряли 55 миллионов человек. Немецкий народ оплакивает 3,8 миллиона убитых, 12 миллионов раненых, 2,7 миллиона гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок».

55 миллионов зывали к действию. И вот — комитет. Его поддержали тысячи западных немцев, независимая газета «Ди тат», общественные организации, представители религиозных культов. На том месте, где нашли последнее пристанище замученные советские люди, на добровольные взносы соорудили мемориал, чтобы время не стерло память о них и новые поколения знали бы, как страшен фашизм.

Решили каждый год собирать здесь митинг и возлагать к могилам 65 тысяч цветов — по одному на каждого погибшего. На митинг под девизом «Цветы для Штукенброка» — какой уже по счету! — и вез Дитрих Сергея Александровича. Чем ближе они подъезжали к мемориалу, тем теснее становилось на дороге. Люди ехали на легковых машинах, автобусах, шли пешком, и не оставалось сомнений, куда они направляются, — все с цветами.

Обогнав два ярко раскрашенных грузовика с цветами, Грюпер затормозил у опушки леса. Друзья миновали просе-

ку, и Крылов невольно остановился, замер. Впереди простирался, казалось, необозримый нежно-зеленый газон, огражденный могучими деревьями, на нем бесконечными рядами стояли невысокие обелиски. Под ними и лежали солдаты. И у каждого обелиска — а их сотни и сотни, может быть, тысячи, они терялись где-то далеко-далеко — горели на солнце цветы. Среди них кучи деревьев или вдруг одинокая печальная береза.

Мемориал открывался высоким массивным обелиском, увенчанным пятиконечными звездами, образующими шар. У подножья — горы цветов, а по бокам замерли девушка и юноша с факелами в руках. Их лица торжественно-строги, одухотворенны, они как часовые, охраняющие мир на земле.

Сергей Александрович прочитал высеченную на памятнике надпись на русском языке: «Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. 1941—1945». Склонив голову, он застыл у монумента как в почетном карауле, пока Дитрих не тронул его за руку:

— Пойдем...

Крылов поднял голову. Взгляд схватил мрачное, уродливое изваяние из черного железобетона толщиной в шкаф, пронизанное квадратными отверстиями, стоявшее особняком, за пределами мемориала.

— Что это?

— Это есть решетка тюрьмы, — ответил Дитрих. — Символ фашизма, его знамя, его герб... Пусть смотрит молодежное поколение.

Никто не смотрел на фашистский символ. Цветы покрыли уже всю площадь мемориала, а люди все шли и шли, и песли цветы, и бережно укладывали их, расправляя веточки и бутоны.

— Пойдем, — еще раз сказал Дитрих, — надо купить цветы.

Двигались медленно, глядя по сторонам. В параллельном ряду девушка в нарядном платье, приседая, клала к могилам белые и красные гвоздики, которые подавал ей юноша, извлекая из огромного букета... Шел совсем дряхлый старик — ему уже не нагнуться с цветком, — то и дело останавливаясь, читая надписи и грустно качая головой. Многие из них на русском языке: «Здесь лежат гордые сердца», «Вы погибли с горячей верой в победу вашей родины», «По нас будет больше», «Ваша смерть — долг для живущих».

— Смотри, — кивнул Дитрих, — Люсе было меньше, как ему, на сорок лет...

Сергей Александрович обернулся — на обелиске, похожем на раскрытую книгу, слева было написано: «Люся Лобова. 1928—1944» — а справа: «Максим Тарасенко. 1888—1944». Крылов не ответил.

— О чем ты молчишь, Серьежа?

— О том, что ты сказал: ей шестнадцать, ему пятьдесят шесть. Они шли рядом... Спасали родину и мир от фашизма.

Вскоре цепочки людей по призыву из микрофонов потянулись по тропкам лесопарка к огромной поляне, где предстоял митинг. Сюда собралось шесть тысяч человек.

— Кто они?

— Все люди, — пожал плечами Дитрих. — Можно не спрашивать, тут все профессии — чиновники, слесари, также инженеры и крестьяне. Все люди. Это есть все ряды народного населения западных немцев.

С трибуны говорил пастор Ганс-Йохен Швабедиссен:

— Под ветвями сосен и берез, между цветущими кустами вереска, — он протянул руку в сторону мемориала, — расположены могилы русских солдат. Мы должны говорить от имени тех, кто не успел этого сделать, от имени тех, кто стал жертвой ужасающих фашистских преступлений. Должны выступать против сытого самодовольства людей, нежелающих вспоминать о прошлом. Лучшая память погибшим — борьба против сил войны. Но борьба не с оружием в руках, а оружием разума, силой убеждения.

Как изменился мир! Крылов не раз бывал в Западной Германии и всегда встречал к себе самое теплое отношение даже незнакомых людей только потому, что был из Советского Союза. Но то были частные случаи. А тут...

Точно разгадав его мысли, Дитрих сказал:

— Это все есть ваши друзья, Серьежа. Бергер сюда не приходит.

— Бергер?!

На следующее утро Крылов и Грюнер отправились в Фау Фау Эп. Дитрих отбирал документы, где встречалась фамилия Панченко, и переводил текст. Фрау Клюге занималась своими делами, роясь в шкафу, а Генрих, забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, что-то искал на стеллаже под самым потолком.

Папка уже подходила к концу, и настроение Крылова портилось. Ясности не было, хотя фамилия Панченко, как и говорил Грюнер, встречалась часто.

— Видишь, сколько много Папченко, — заметил Дитрих.

— Верно, много, но, как бы это сказать... абстрактно, что ли. Ты читаешь: «В конце августа майор Бергер и бургомистр Панченко посетили такие-то хутора». Но это ни о чем не говорит. Из этого не ясно, предатель Папченко или подпольщик.

Грюнер посмотрел на него с удивлением.

— У тебя есть самый главный документ. «Жесткий допрос не дал результаты... снабжал оружие... главарь банды». Разве мало?

— Не ясно, что это за документ.

— Ясно, совсем ясно, донесение начальника гестапо полковника Тринкера.

— Значит, Тринкер гестаповец?

— Конечно.

— А теперь подумай. Мог ли быть при коменданте-майоре гестаповец в чине полковника?

Грюнер задумался.

— Нет.

— Конечно, нет. Выходит, сначала кто-то из более мелких чинов гестапо донес Тринкеру, а уже тот в Берлин. И хорошо бы поэтому найти первый донос.

— Такой документ нет, Серьежа. Только протокол от допроса, одна страница, наверное, от пожара, видишь, края горели.

— Ты ничего не пропустил? Нет ли данных о том, что стало с Панченко? Жив он или нет?

— Нигде не известно, я совсем внимательно смотрел. Теперь никто не знает.

— Нет! — вырвался у Крылова неожиданно резкий жест. — Один человек знает. Точно знает!

— Кто знает?

— Бергер.

В тихом районе Мюнхена, где воздух достаточно свеж, а в густой зелени, обрамляющей редкие особняки, распевают птицы, расположен отель для собак Иоганна Бергера.

Огромный щит на высоком шесте издали гарантирует «любовь и ласку» светящейся симпатичной морде пуделя. Впрочем, эта реклама — единственная дань современности; и литая кружевная ограда с надписью «Hunde Hotel», и само здание, приземистое, темно-вишневое, с башенками и раз-

новысокими окнами в частых переплетах, и ухоженный парк за домом — все обещает самым изнеженным клиентам обслуживание на солидной добропорядочной основе без всякой примеси презренной синтетики и прочей заразы современной эпохи эрзацев.

Начищенный до зеркального блеска «фольксваген» Грюнера остановился у отеля рядом с другими машинами, но, увы, среди них — шикарных, респектабельных — выглядел довольно жалко. Из него вышли Линда с собачкой, Грюнер и Крылов.

В большой гостиной отеля их встретила Эльза Биттер, средних лет женщина, аккуратно, со вкусом, но неброско одетая. Встретила так, будто только их и ждала.

В подобного рода отеле Крылов оказался впервые. На стенах фотографии прекрасных в своем уродстве собак, подстриженных самым немислимым образом. Стрижка сделала головы животных круглыми, как шар, или квадратными, даже многоугольными. Причудливую форму обрели хвосты, ноги, корпус. Целую стену занимал застекленный шкаф, заполненный предметами собачьего обихода. Различного рода и размера обувь на шнурках, «молиниях», кнопках, попоны, штанишки с бахромой, шортики с золотистыми металлическими пластинками, чепчики и шапочки, множество всевозможных ошейников и поводков — все это лежало на полках, висело в шкафу. У другой стены — кресла, диванчики, пуфики для хорошо воспитанных собак, впрочем, других сюда и не приводят.

Пока Крылов рассматривал гостиную, Грюнер объяснил фрау Биттер, что ему необходимо дня на два определить собаку и хотел бы узнать, в каких условиях она будет находиться.

Изящно присев, Эльза ласково потрепала собачку.

— Главный наш принцип, — разъяснила она, — индивидуальное обслуживание. Собачке мы создаем те условия, к которым она привыкла дома. Нам необходимо лишь знать ее характер, привычки, вкусы. У нас лучшие повара, они готовят любимое блюдо. Наши ветеринары внимательно наблюдают за их самочувствием.

Эльза мило улыбнулась. Казалось, глаза ее говорили: «Что еще вы можете придумать? Все у нас предусмотрено».

— Сколько это будет стоить? — осведомился Грюнер.

— Общий стол и общий режим — двадцать пять марок в сутки. Надеюсь, — снова обворожительная улыбка, — вы предпочтете индивидуальный уход. К сожалению, сейчас

мне трудно назвать точную сумму. В зависимости от услуг, по не более ста марок.

Пока шел этот разговор, Крылов посматривал на двери. Их четыре. Видимо, за одной из них — Бергер. Выйдет ли он? Озабочен и Грюнер. Не собачку же устраивать они пришли. И он спросил:

— Можем ли мы посмотреть вольеры и места прогулок?

— Разумеется. Но наш принцип — не тревожить лишней раз собачек. Надо получить разрешение хозяина. Одну минуточку. — И — воплощенная любезность — она исчезла за дверью.

По короткому коридору вышла на большую, всю в зелени площадку, где служащие в белых халатах прогуливали собак, так похожих на своих собратьев, запечатленных в гостининой отеля господина Иоганна Бергера. Вдали угадывались вольеры.

Эльза приблизилась к высокому забору из камня, покрытому вьющимися растениями. Отворила калитку, которую никак нельзя было предположить здесь, и попала в иной, неожиданный мир. Все было серо и мрачно. Высокие шлакоблочные стены ограждали территорию размером с хоккейное поле. На нем множество сооружений словно для тренировки пожарников — кирпичная стена с зияющими провалами окон, лестница, приставленная к сараю, узкие мостки, щиты, разной высоты заборы шириной в несколько досок. Чуть дальше — водоем.

Справа — затянутые металлической сеткой вольеры. В них нервно перебирали ногами огромные овчарки. Поблизости стояли несколько человек из тех, что были в пивной, и Бергер.

Он рывкнул короткое, как удар, слово, указав куда-то рукой. Распахнулась решетка одного из вольеров, и из него рванулся волкодав. Мгновенно набрав невысказанную скорость, вытянувшись чуть ли не в прямую линию, перемахнул через высокий щит, сверкая оскалом, устремился на человека в специальном костюме, похожем на водолазный. Тот стоял, широко расставив ноги, но ему бы все равно не устоять, не увернись он ловко, точно матадор от быка. И снова прыжок на грудь. Началась борьба.

Эльза приблизилась к хозяину.

— Господин Бергер, — сказала она несмело, — клиенты хотят посмотреть отель.

— Черт бы их побрал! — недовольно буркнул он. — Идите, сейчас.

Вскоре он появился в гостиной. Первый взгляд бросил на собачку, а потом уже на ее хозяйку и Грюнера, а Крылова, стоявшего в стороне, и вовсе не заметил.

— Добрый день, добрый день, — засияла на его лице улыбка. — Хотите посмотреть? Пожалуйста... Фрау Эльза, покажите гостям наш рай.

Готовясь к визиту в отель, как ни ломали голову, не могли придумать, с чего начать разговор с Бергером, как подступиться к нему. Махнув рукой, Крылов наконец сказал: «Поедем, и все. Там видно будет». Ему верилось — этому выродку тоже захочется поговорить. Захочется покуражиться, поиздеваться над русским, торжествуя свою победу на суде. Поиздеваться, конечно, не даст, а покуражиться?.. Черт с ним, любую цену готов уплатить, только бы узнать правду о Панченко.

Когда Бергер появился в гостиной и заговорил, Грюнер вопросительно посмотрел на Сергея Александровича. Не знал, как вести себя — переводить или ждать, пока Крылов сам проявит инициативу. Его взгляд перехватил Бергер.

— О, das sind Sie?!¹ — Почти неуловимо в глазах вспыхнула настороженность и тут же погасла, уступив место стойкому благодущию.

— Извините, — вежливо сказал Сергей Александрович, — немецким не владею.

— Немецким трудно завладеть, мой таинственный русский детектив, — двусмысленно заметил Бергер. — Держу пари, вы здесь не случайно... Это уже наша третья встреча. Вы ведь из России?

— Да, из Советского Союза, — подтвердил Крылов. — Журналист Крылов Сергей Александрович. И я действительно здесь не случайно — моим друзьям надо пристроить собачку.

Бергер обернулся, но Эльза уже увела гостей.

— Прекрасный экземпляр, хотя жрет много сладкого.

— Я восхищен вашим русским языком.

— Это не мой язык, — выпалил Бергер и уже мягко, с подчеркнутой иронией добавил: — Значит, приехали из России помочь устроить собачку?

— Нет, приехал по культурной программе — посмотреть ваш водевиль в здании суда.

— И как? Понравился?

¹ О, это вы?!

— Опытный режиссер ставил.

— Что же вам от меня надо? Собираетесь писать «Репортаж из фашистского логова»? — Слова выплеснулись глухо и жестко.

— Отнюдь. Просто его величество случай привел в ваш отель. Впрочем, в силу профессиональной привычки мог бы и побеседовать с вами.

Бергер метнул острый взгляд, но безмятежный вид собеседника ничем не грозил, и, широко улыбнувшись, он развел руками:

— Ну что ж, давно не практиковался. Чашечку кофе?

Бергер распахнул задрапированную дверь, и Крылов очутился в кафе. Всюду висели, стояли, лежали изображения собак — фотографические и фарфоровые, деревянные и бронзовые. Спинки кресел венчались собачьими головками. На лужайке — она хорошо просматривалась сквозь стеклянную стену — тоже собаки, но живые, совершали ритуал прогулки. Иначе не назовешь этот парад выхолонных представителей собачьей аристократии под присмотром белых халатов.

Хозяин испытующе посмотрел на гостя и, видимо довольный произведенным эффектом, указал в дальний, сравнительно пустынный уголок:

— Прошу вас.

Пока они шли между столиками, лоснящиеся бургеры, экзальтированные старухи и томные дамы, расплываясь в улыбках, приветствовали Иоганна Бергера; это насытило его тщеславие, и, устроившись в кресле, он не глядя бросил кружевной официантке:

— Два кофе, Эрика, два коньяка.

— Хорошее у вас кафе. — Долгожданная фраза прервала паузу.

— Благодарю. Это самое удачное предприятие в моей жизни. Бог подарил мне на склоне лет место, где я могу отдохнуть душой, — среди этих замечательных людей... — Поймав вопросительный взгляд Крылова, пояснил: — Все они заядлые собачники... — И помолчал, пока официантка ставила угощение. — Без преувеличения — все их проблемы замыкаются на благополучии их четвероногих любимцев. — И указал на лужайку. Засопев, достал из кармана большой плоский портсигар.

— Наверное, немало людей согласились бы не иметь иных проблем.

— О! Русский! Свернуть любую тему на политику, разо-

драть себе душу до крови по любому поводу, да еще отравить этой заразой человечество — вот ваша отличительная черта.

— Что ж, если политика — это забота о завтрашнем дне человечества, а не борьба за господство на костях другой нации, то стоит и, как вы говорите, разодрать душу.

— Знаете, далекое будущее покажет, кто был прав. Когда глоток воды станет дороже золота, а ваша любимая махорка будет выдаваться по большим праздникам — человечество вам спасибо не скажет!

— К счастью, человечеством в целом движет созидание, а не потребление, иначе общество уже давным-давно пришло бы к тому, что вы только что нарисовали.

— Сдаюсь! — поднял руки и загоготал. — Бегу записываться в коммунисты. — Отклебнув кофе, увидел царапину на поверхности стола и озабоченно погладил ее пальцами. — И все-таки странные вы люди. — Задумался, устремив тяжелый взгляд на собеседника. — Если бы вас не было на земле!

— Да, решить эту задачу вашему гению с усиками не удалось. И если бы вы, господин Бергер, не были так запрограммированы, то, естественно, задали бы себе вопрос «почему?».

— Давно известно почему: генерал мороз плюс Англия в США были на вашей стороне.

— Не надоело? Вы сами только что ответили почему. Потому что мы странные люди, такие, например, как Панченко. — Крылов вдруг поймал себя на том, что боится ответа.

А Бергер не торопился. Видимо, раздумывал и он, как вести себя.

— Курите, господин Крылов, — раскрыл он портсигар.

— Спасибо, сигары не курю.

— Панченко, говорите, — равнодушно сказал Бергер. — Надежный человек, он и сейчас работает на меня.

Крылов стоически выдержал удар, ничем себя не выдав. Медленно отклебнул глоток коньяка. Глядя сквозь двери на собачий рай, спокойно, даже безразлично спросил:

— Разве он жив?

— Гм... жив. Размазня он, ваш Панченко, на третьем допросе дух испустил... Жаль, очень жаль. Он заслужил допросов десять.

— Не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Испустил дух, а потом стал работать на вас?

— Конечно, вы это сами видели. Видели, как на процессе он всю вину взял на себя, — оскалился Бергер.

Крылов закурил. Задумчиво сказал:

— Это был настоящий герой.

Бергер не ответил. Тщательно прицелившись, откусил щипчиками кончик сигары, не торопясь раскурил ее.

— Нет, дело не в нем. Просто подлецом оказался Тринкер. Скажи он мне, что раскрыл банду Панченко, а не рвись втайне от меня к начальству, чтобы выслужиться, все было бы по-другому. И генеральское звание и новый пост... — Бергер вдруг умолк, точно спохватившись. — Впрочем, — он отхлебнул глоток кофе, — грех жаловаться, о лучшей жизни трудно мечтать. Как видите, — победно обвел взглядом свой рай, — живу неплохо. Даже участвую, как вы выразились, в спектаклях... Но это был последний. Премьеру мы дали там, у вас. И последующие спектакли проходили у вас. Я ни в чем не могу упрекнуть себя, моя совесть чиста — за доставленную мне неприятность я взыскал дорогую плату, сполна рассчитался с вашими фанатиками, включив их в свои спектакли. Кроме главаря Панченко, мы уничтожили целый пласт ваших героев из его шайки и дотла сожгли их жилища. О-о, это было прекрасное зрелище, жаль, вам не довелось его увидеть. Зато насладились последним спектаклем.

У Крылова хватило сил сдержаться.

— Нет, это не последний, — сказал он спокойно. — Последний еще предстоит, такой, как Нюрнберг. А насчет пены вы правы — мы дорого заплатили, чтобы мир увидел вас. Взгляните в зеркало — именно в таком виде вы предстали перед человечеством.

Голова Бергера как бы помимо его воли дернулась, и он увидел свое отображение на зеркальной стене — разъяренный оскал, обезумевшие, налитые кровью глаза. Лицо мгновенно изменилось, и на нем появилась гримаса, должно быть от усилий улыбнуться.

— Еще чашечку кофе?

— Нет, извините, мне пора. — Крылов поднялся, обернулся к официантке. — Рехнунг, битте.

Жизнь надломилась. Разве только надломилась? Рухнуло все. Все, к чему стремился, чего достиг за долгие десятилетия. Авторитет, уважение, слава, высокое и устойчивое положение в обществе — все, добытое трудом и талантом, стерто, сметено.

Надо начинать сначала. С первого шага, с первой ступеньки, на которую поднимается человек, вступая в жизнь.

Начинать... Хорошо начинать, когда тебе двадцать и все впереди. А в шестьдесят с замятанной биографией начинать поздно. В шестьдесят люди уже думают, как достойно завершить. Теперь не получится достойно. Поздно... По вине такого-то оклеветан герой. Это прочтут все. В учетной карточке в графе «Взыскания» появится запись, если, конечно, саму карточку не отправят в архив.

Не надломилась — рухнула жизнь. Из редакции придется уйти... На паровоз? Так нет же теперь паровозов... Куда девать глаза, когда появится в редакционном коридоре, в кабинете главного?

При любой болезни весь организм человека мгновенно мобилизуется на борьбу с недугом. Сам организм вырабатывает противоядие. Это относится не только к физическим болезням. Помимо воли Крылова где-то в глубинных недрах сознания зрели, пробивались иные мысли и возбуждали энергию и желание действовать, бороться, все пастойчивее отесняя на задний план те, что были так безысходно мрачны.

Нет, не за себя боролся — за истину. За попорченную истину, за героя растоптанного и раздавленного. Кто это сделал? Кто уже мертвого патриота облачил в отрепье предателя?

Он распутает весь клубок, какими бы тугими узлами его ни затанули, куда бы ни спрятали кончик ниточки. Это станет целью жизни...

К дому он подъезжал, уже имея твердый план действий. Продумал и линию поведения с женой.

В Шереметьеве самолет приземлился рано утром. У стойки таможенного досмотра женщину, стоявшую впереди него, спросили, почему везет так много шарфиков.

— Это сувениры, — ответила она. — Семья, родственники, масса друзей, не могла же я вернуться без подарков. — В ее голосе было недоумение.

Крылов с досадой поморщился. Надо было, конечно, что-нибудь Ольге привезти, хотя ему, понятно, не до подарков... Но разве объяснишь?

В здании аэровокзала обошел несколько ларьков и киосков и, к радости, обнаружил изящную имитацию жемчужной нити, сделанную в Чехословакии.

Он жил у Речного вокзала, и лихой таксист довез его мигут за пятнадцать. Ольга еще спала. Он так и думал, что еще спит. Отпер дверь, поставил чемодан, привычным жестом не глядя повесил плащ, забросил на полку шарф.

— О-оля! — Он направился в спальню. — Петушок пропел давно.

Ольга раскрыла глаза, приподнялась на постели.

— «Какое чудесное жемчужное ожерелье у мадам Крыловой! Как, вы разве не знаете? Это ей муж из ФРГ привез».

— Сережа! — Ольга отбросила одеяло, сирыгнула с постели, обняла его. — Какая прелесты! Как настоящий жемчуг. Недаром ты мне всю ночь снился.

— Нихт фёрштейн! Не понимайт руссиш фрау.

Они стояли у зеркала и смеялись.

— Сейчас будем завтракать, посмотри пока почту, там целая гора.

Писем и в самом деле было много — отклики на очерк о Максимчуке, просьбы обиженных, приглашения на различные заседания и вечера. Мельком просмотрев их, пошел в ванную. Ольга уже хлопотала на кухне.

— Ну что тут у вас нового? — спросил, растираясь полотенцем. — Кто женился, кто развелся?.. Кто звонил?

— Твой главный — без тебя жить не может. Герман Тихонович...

— Трофимович... Не должен был звонить.

— Ну да, Трофимович. Сказал, чтобы по возвращении немедленно явился.

— Не говорил зачем? — входя в кухню, спросил он.

— Нет. Еще Константин твой бесценный звонил. Полчаса донимал, чтобы твой адрес дала. Сумасшедший, откуда я могу знать?

Они сели завтракать, но еда не шла ему в горло. Поковырял немного вилкой, закурил. Ольга настороженно посмотрела на него.

— Ты, часом, не болеп? Какой-то ты не такой.

— Такой я, такой. Спать в самолете не умею, ты же знаешь. — За натянутой улыбкой он прятал напряжение. — Оленька, свари кофе покрепче... или вот что — рюмочку коньяка.

— У тебя неприятности? — Она достала темную бутылку и маленькую рюмочку.

— С чего ты взяла?

— По всему вижу. В такое время, например, никто не пьет. — Она остановила на нем долгий взгляд, сказала ровным, почти безразличным голосом: — Может, хватит играть в прятки? С чем ты вернулся?

— С жемчужным колье. — Шутка прозвучала неуместно. — Разве оно тебе не понравилось?

— Понравилось, а вот ты...

— Ну хорошо, — поднялся он. — Соберись с силами, Ольга, и будь умницей. Мне очень нужна твоя поддержка... Панченко не предатель, а герой. Установил точно.

— Та-ак... — Наступила долгая пауза. — Документально подтверждается?

— Документов пока никаких, но убежденность полная.

Сергей Александрович встретился со взглядом, полным удивления и возмущения.

— Так подшей свою убежденность к делу... — Она нервно заходила по комнате. — И что дальше?

Сергей Александрович налил в рюмку коньяк, не торопясь выпил.

— Дальше? Найду, как ты говоришь, документальные подтверждения и выступлю.

— И кто в этом выступлении предстанет клеветником?

— Хватит, Ольга! Неужели ты не понимаешь?..

— Не понимаю! — не дала она договорить. — И как человеку, если он не сумасшедший, понять! У тебя громадный авторитет, только что орден получил, тебе верят, как пророку, и вдруг ты сам на всю страну... И все как в пропасть. — Она говорила, едва сдерживая слезы. — Только-только из долгов вылезли после покупки машины, встали наконец на ноги, а ты опять за свое. — И залилась слезами. Неожиданно быстро пришла в себя, сказала спокойно и твердо: — Сережа, тебя же никто не заставляет писать, ведь никто ничего не знает.

Она смотрела ему в глаза. И он смотрел на нее пристально, не мигая. Прошло всего несколько мгновений, но обоим они показались бесконечно долгими, потому что в эти мгновения в их жизни решалось что-то большое, главное.

— Ты понимаешь, на что идешь? — тихо спросила Ольга.

— Понимаю. Но если гестапо замучило героического человека...

— И что? Ты вернешь ему жизнь? Ведь ничего не изменится.

— Да, не изменится, — возмутился он, — на века герой останется предателем. Это будет переходить из поколения в поколение. И дети его, и внуки, и правнуки будут потомками предателя. И виной тому будет воинствующее мещанство, стремление любой ценой, даже ценой подлости уберечь свой уют, свое гнездышко...

Он умолк и тут же снова заговорил. Голос стал мягким, просящим:

— Это же не катастрофа, Ольга. У меня еще есть и руки и голова...

— Нет, головы у тебя нету. Ты болен! У тебя мания величия! Ты возомнил, что можешь искоренить все зло на земле. Ты вечно балансируешь на краю пропасти, лезешь в дела, которые умные люди за версту обходят. Тебе просто везло. Хватит! Остановись! Будь как все люди. Ты даже тряпку паршивую боишься попросить у директора магазина, хотя все это делают.

С какой-то усталостью в голосе Крылов сказал:

— При чем тут магазин, тряпки?.. Впрочем, тряпки для тебя всегда были главными в жизни.

— Не намерена отвечать на провокацию, — спокойно сказала она. — Ничего дурного не вижу в том, что люблю красивые вещи и хочу жить без извержений вулканов. Это моя жизнь, и она у меня одна, другой не будет.

— Одинока живем?

— Да, если хочешь. Я никому не приношу вреда. А ты со своими красивыми лозунгами методично изводишь, мучаешь человека, который зависит от тебя материально.

Еще несколько минут назад у Сергея Александровича теплилась надежда, что Ольга поймет его. Теперь рухнуло все.

Похоже, понимала это и Ольга. Она вышла в другую комнату и, закрыв рот платком, разрыдалась.

Прохоров возвратился из ФРГ на три дня позже Крылова. В день отъезда пригласил Грюнера на проводы. Беседа шла оживленно. Юрий Алексеевич то и дело наполнял рюмки добротной русской водкой «на винте», сам готовил бутерброды, толстым слоем накладывая икру. Расспрашивал, как провели они время с Крыловым, где удалось побывать, с кем встретиться. Спрашивал, похоже, для приличия, между прочим, больше делясь собственными впечатлениями. Грюнер охотно рассказывал об отеле для собак, с возмущением поведал о наглости, с какой Бергер беседовал с Крыловым.

— Вы втроем были? — безразличным тоном спросил Юрий Алексеевич.

— Нет, мы с Линдой поджидать его возле отеля Бергера, он потом говорил для меня подробности.

По приезде в Лучанск, прежде чем отправиться домой в Липань, зашел к Гулыге. Выслушав его, Петр Елизарович заходил по кабинету.

— Выходит, не так прост этот борзописец, — нарушил молчание Прохоров.

Гулыга, ушедший в свои мысли, не уловил слов. До него дошел только звук голоса.

— Что? — остановился он.

— Крылов, говорю, глубоко копает.

Гулыга не ответил. Снова зашагал из угла в угол. Потом уселся в свое кресло на колесиках, корпусом подтянул его к столу, устался на Прохорова.

— Выходит, пора, Юрий Алексеевич.

— Самое время, пока не поздно.

20

Тяжело было на душе у Крылова, когда он вошел в кабинет главного редактора. Но в глаза это не бросалось. Свежая рубашка, чисто выбрит, внешне спокоен.

Герман Трофимович стоял у открытого окна, безучастно смотрел на тихую, почти безлюдную улицу.

Услышав приветствие, обернулся, сказал тоном, не предвещавшим ничего хорошего:

— Что же это ты, неделя как приехал — и глаз не кажешь?

— В отпуске я, Герман Трофимович, в отпуске.

— Как съездил? На Западе без перемен?

— А у вас? Вы звонили?

— Звонил. Садись.

Указал на стул и сам пошел к своему месту у стола. Достал сигарету и попросил у Крылова спички. Сергей Александрович щелкнул зажигалкой. Прежде чем прикурить, Герман Трофимович внимательно посмотрел на нее, многозначительно взглянул на Крылова, вернул ее.

— Хорошая зажигалка.

Вошел сотрудник с газетной полосой, покосился на Крылова.

— По номеру, Герман Трофимович, можно?

— Через три минуты. — И направился к сейфу. Извлек три конверта с подколотыми письмами. — Садись вов там и почитай, — протянул Крылову письма. — Только молча, без восклицаний.

— Что это?

— Почитай-почитай.

Сергей Александрович отошел к столику в дальнем углу кабинета, уселся, пролистал письма, отыскивая подписи. Одно большое было от Гулыги и два маленьких — от Чепыжина и Хижнякова. Начал с письма Гулыги, предчувствуя

недоброе. Ему хотелось побыстрее пробежать это письмо, но читал медленно, произнося про себя каждую фразу:

«Уважаемый товарищ редактор! Нелегко мне было решиться на это письмо, но иначе поступить не мог. Если человек знает о преступлении и не сообщает о нем, хочет он того или нет — становится соучастником преступления. Только эти соображения и побудили меня обратиться к Вам. Я обязан написать Вам тем более потому, что Ваш корреспондент тов. Крылов весьма высоко оценил мои скромные заслуги, и если не сообщить о его более чем недостойных проступках, а речь пойдет именно об этом, значит, принять его выступление как плату, а точнее — взятку за молчание. Совесть не позволяет мне этого.

Итак, по существу. Дней десять тов. Крылов находился в Лучанске и с первого же дня установил интимную связь с некоей Зарудной Валерией Николаевной. С возмущением говорили об этом люди, знавшие, что фактически он проживал не в гостинице, а у нее. Предоставленную ему автомашину для поездок в совхозы и на заводы использовал для загородных прогулок с Зарудной. Однажды, зная, что водитель не обедал, не постеснялся продержать «Волгу» у дома Зарудной несколько часов.

Писать о таких вещах неприятно, стыдно, и ни за что не стал бы пачкать руки, не служив связь с Зарудной объяснением более недостойных действий Крылова. Год тому назад была отвергнута ее политически вредная диссертация, искажавшая наше героическое прошлое, где, в частности, она пыталась возвести в герои предателя Родины Панченко, чьи руки обогреты кровью многих советских людей. Делала это в угоду своему сожителю — сыну предателя.

Я не знаю, с каким заданием редакции тов. Крылов приезжал в Лучанск второй раз, но вот чем он у нас занимался, известно доподлинно. Пользуясь своим высоким положением, вернее, злоупотребляя им, очевидно, под влиянием Зарудной уговаривал людей подтвердить, будто Панченко был патриотом.

Приведу еще факт на первый взгляд настолько мелкий, что и писать о нем неловко, но уж очень выпукло он характеризует моральный и нравственный облик человека.

Перед отъездом из Лучанска тов. Крылов зашел попрощаться и просил прослушать тезисы его статьи. Я усомнился, надо ли, ведь речь там шла обо мне. Однако тов. Крылов возразил — кто же лучше знает вашу биографию, надо проверить, не напутал ли чего. Я согласился. Фактические дан-

ные были изложены правильно, о чем и сказал ему. После этого тов. Крылов попросил подарить ему зажигалку, которую взял с моего стола, чтобы прикурить. Откровенно говоря, мне не жаль было этой довольно дорогой вещи, но она была дорога мне как память. Ее подарили западногерманские рабочие в знак уважения к нашей стране, а вручили мне, поскольку я возглавлял нашу делегацию в ФРГ. Я и сообщил ему об этом. Выслушав, тов. Крылов положил зажигалку в карман и, усмехнувшись, сказал: «Ничего, вам еще подарят».

Не стал бы я писать и об этом, не к лицу мне, не соверши тов. Крылов ошибок, носящих политический характер. Имею в виду следующее.

Во время своего пребывания в ФРГ он установил контакты с военным преступником, ярким фашистом Бергером, который в период оккупации был комендантом нашего района. Он чинил жестокие расправы не только над партизанами, но и уничтожал мирное население. С этим палачом тов. Крылов имел по меньшей мере две встречи. Одну — в мюнхенской пивной, откуда начинал свой кровавый путь Гитлер, являющейся и ныне пристанищем недобитых и неофашистов, вторую, наедине, в собственном отеле фашиста. Не знаю содержания их бесед, известно лишь, что вышел от него тов. Крылов изрядно выпивши. Эти встречи происходили не только без санкции советского посольства, но и втайне от него.

Пишу это письмо с большой болью и сочувствием к тов. Крылову, ибо давно знаю его по печати как острого партийного журналиста, да и при личном знакомстве он произвел на меня самое лучшее впечатление, лишь немного омрачившееся злополучной историей с зажигалкой. Другие факты, изложенные выше, мне стали известны в самое последнее время, и у меня не было возможности предостеречь его хотя бы от ошибок, допущенных в Лучанске. Будем надеяться, что он извлечет из них должные уроки и мы вновь увидим на газетных полосах его злободневные, по-настоящему партийные выступления.

С уважением П. Гулыга.
Генеральный директор промышленного объединения «Луч».

Второе письмо было от Хижнякова. Он сообщал, что всю жизнь с огромным уважением относился к работникам советской печати — людям, несущим правду народу, и его поразило, когда Крылов настоятельно требовал засвидетель-

ствозать письменно, будто кровавый предатель Родины Панченко был патриотом. Он-то устоял перед Крыловым, но могут найтись малоинформированные товарищи, которые под влиянием специального корреспондента и его большого авторитета напишут под его диктовку то, чего он требует.

Чепыжин сообщал, что Крылов, добываясь письменных подтверждений, будто Папченко не был предателем, пытался ревизовать решения партийных органов и тем самым скомпрометировать их в глазах многих людей.

Герман Трофимович о чем-то говорил с сотрудником, правил полосу, время от времени бросая взгляд на Крылова.

Выражение лица Сергея Александровича менялось самым странным образом. Он был удивлен, возмущен, взбешен и наконец рассмеялся.

— Ну? — сказал редактор, когда сотрудник вышел. — Что это так рассмешило?

Крылов ответил испуганно:

— А сигналы о том, что я совершил убийство, ограбил банк и захватил в самолете заложников, еще не поступали?

— Напрасно иронизируешь, Сергей Александрович, — строго сказал редактор. — Смешного мало, документы серьезные.

— Серьезные... Расчет на нокаут... Молодцы, сволочи!

— Чем это ты так доволен?

— Не верю, что вы верите в это. Они выдают себя с головой. Что я успел узнать? Только нащупал болевую точку — и вдруг такой шквал... Прошу отозвать меня из отпуска и срочно послать в Лучанск.

— Верю или не верю, в Лучанск других придется посылать. А из отпуска отзываю. С сегодняшнего дня... Ну а шквал... Боюсь, нам, вернее тебе, против него не устоять...

— Герман Трофимович! Вы не первый год меня знаете, неужели у вас...

— Потому и поражен, что не первый год знаю... Дай, пожалуйста, прикурить...

Крылов вынул из кармана зажигалку, щелкнул.

— Нет, в руки дай. — Положил на ладонь, как бы взвешивая, покрутил в руках. — Что же мне, не верить, что это заграничная зажигалка? Или что она меньше ста долларов стоит? Где ты ее взял?

— Так он же навязал мне! — разгорячился Крылов. — Сказал — она грош стоит, у него целый ящик таких.

— Что он говорил, не знаю, в чужие ящики не заглядываю, а вот что он написал — ты читал.

Герман Трофимович вызвал секретаршу, велел срочно пригласить секретаря парткома, ни с кем не соединять и никого не пускать в кабинет.

На пятый год работы в редакции Юрия Андреевича Скворцова — ему тогда было двадцать восемь лет — избрали секретарем парткома. И в свои сорок он оставался руководителем партийной организации. И не потому, что не было на это место подходящих людей, напротив, немало авторитетных коммунистов с большими организаторскими способностями вполне могли бы заменить его. Но ни на одном отчетно-выборном собрании просто не возникало другой кандидатуры. Его же собственные просьбы и самоотводы никто во внимание не принимал.

Для всех хорош не будешь — давно известно. А он что же? Для всех хорош? Выходит, для всех, хотя никогда никому не угождал и своими принципами не поступался. Он не походил на встречающийся в литературе да и в жизни тип руководителя. Не было у него металла в голосе, не было категоричных, точно в последней инстанции, суждений. Слушая оппонентов, он искренне стремился абстрагироваться от своей еще не высказанной точки зрения, согласиться с предлагаемой. Если находил к тому малейшую возможность, соглашался. А уж если душа не принимала, раскрывал ход своих мыслей, и такой убедительностью они отличались, что не принять его оценку событий и поступков людей просто казалось немислимо.

В противовес Скворцову суждения главного редактора Удалова почти всегда были эмоциональны, категоричны, порой резки, и выводы свои делал, будто не заботясь о том, насколько они обоснованы и убедительны. Взгляды обоих на различные явления, как правило, совпадали, однако выступления Скворцова принимались органично, с удовлетворением, а сказанное — по сути то же самое — Германом Трофимовичем чуть ли не как навязанное.

При всем различии характеров роднило их не только единомыслие по принципиальным вопросам, но и другое, чего не мог не видеть и не ценить коллектив, — чувство справедливости. Правда, и здесь некоторые преимущества оставались за Скворцовым. Если человек провинился, он должен быть наказан — в этом оба были единодушны. А на меру наказания смотрели по-разному. Жестче был главный. Не мирясь ни с какими нарушениями дисциплины, он проявлял лишь в

одном вопросе невиданную мягкотелость по отношению к Скворцову.

Еще будучи студентом, Юрий Скворцов увлекался футболом. Играл центральным нападающим в факультетской команде, затем в университетской сборной. К нему присматривались тренеры знаменитых футбольных клубов, от одного из них он получил почетное приглашение. Юрий был тогда на втором курсе, и перед ним открывалась довольно заманчивая перспектива. Он отказался от нее. С годами, хотя сам уже не играл, страсть к футболу не проходила. Не пропускал ни одной международной встречи. Если по графику его дежурство по номеру совпадало с интересной игрой, приходил к главному, моляще смотрел на него: «С Бразилией играем, Герман Трофимович...»

Удалов тоже был неравнодушен к футболу. Ненавидел его. Увлечение людей этой глупейшей, на его взгляд, игрой называл безумием века. Вынужденный все же печатать отчеты о матчах, читал их придирчиво и если встречал фразы, где говорилось о талантливости, творчестве, вдохновении игроков, вычеркивал эти слова с такой яростью, что рвалась бумага.

Недовольно и молча выслушивал просьбы Скворцова, пожимал плечами, но график дежурства менял. Смирился и с тем, что в дни ответственных игр Скворцов не ходил на заседания редколлегии. Однажды не выдержал. «Не цокаю, — сказал он с возмущением, — как можно увлекаться игрой, требующей интеллекта не более, чем при перетягивании каната». Юрий Андреевич ответил спокойно и серьезно: «Если человек хочет иметь друзей без недостатков, он останется без друзей. Считайте это моим недостатком».

Удалова взорвало, но он смолчал. И к тому были причины. Он чувствовал перед Скворцовым вину, и его терпимость была как бы платой за свою вину. Когда появилось вакантное место заместителя главного, все были уверены — назначат Скворцова. Целесообразность такого назначения не вызвала сомнений и у Германа Трофимовича. Однако тогда пришлось бы избирать нового секретаря парткома. А об этом он даже думать не хотел. Решаются вопросы не главным и его заместителем, а треугольником, где партийный руководитель играет паритетную роль. Поэтому и не выдвинул кандидатуру Скворцова.

Порой Удалова мучила совесть: все-таки задержал он продвижение человека, которое тот вполне заслужил. Искал для себя оправдания — и находил. Все идет своим чередом.

Именно он, Удалов, провел Скворцова от стажера факультета журналистики до члена редколлегии и заведующего партийным отделом. Вот скоро на пенсию, и тогда — уж этого он добьется — Скворцова сделают главным. Герман Трофимович искренне так думал, хотя на пенсию всерьез не собирался.

Оба они одинаково хорошо относились к Крылову. Ценили за острое перо, за ясную и четкую жизненную позицию. И не счесть, сколько раз они собирались втроем. Не на официальные совещания и не в застолье, а просто обсудить сложные проблемы редакционной жизни.

И вот они вновь втроем.

Когда вошел Скворцов и, пожав руку Крылову, сел напротив, Герман Трофимович тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и кивнул Крылову:

— Рассказывай.

Крылов, казалось, собирался с мыслями. Попытался — надо давать объяснения, оправдываться, убеждать. Нужны спокойствие, выдержка, неопровержимые доказательства. Нужно быть очень собранным. А в нем все бушевало. Самые резкие слова готовы были сорваться с языка и, конечно, выплеснулись бы, но его отвлек Скворцов.

— С письмами я знаком, Сергей, — сказал он безразлично.

Будто волна подкатила к горлу. Как же много дала эта фраза Сергею Александровичу! Даже не фраза, а одно слово. Только одно слово — «Сергей».

Они всегда называли друг друга по имени. Однако за всю их долгую работу в редакции на любой официальной встрече, будь то заседание редколлегии, парткома, летучка или планерка, обращались друг к другу официально — по имени-отчеству или фамилии. А тут куда уж официальной — и вдруг «Сергей». Нет, не бездушные чиновники собрались судить его, а собратья по труду.

И он рассказал все. Не торопясь, без эмоций — только голые факты. Начал с донесения гестапо, рассказал о возникших сомнениях, о встречах с Голубевым, Зарудной, Бергером, о сыне Панченко. Поведал и историю с злополучной зажигалкой. Гулыга и в самом деле сказал ему, что не покупает этих зажигалок, а получает их как сувениры от различных советских экспортно-импортных организаций.

— Как будто бы все, — закончил он.

Наступила долгая, тяжелая пауза. Нарушил молчание Герман Трофимович.

— Верить этим письмам не хочется, но проверить придется, — развел он руками.

— Придется — альтернативы нет, — заметил Юрий Андреевич. — А хочется или не хочется, уж и не столь важно... Тут столько неясных вопросов, — потер он лоб, — и не поймешь, с чего начинать.

— С ясных, Юрий Андреевич, — уверенно сказал главный. — С совершенно ясных — с фактов, которые не отрицает и Крылов. Вся история с Зарудной, лжесвидетельства, попытка ревизовать партийные решения и прочее требуют, конечно, тщательной проверки. Но два фактора, на мой взгляд решающих, ни в какой проверке не нуждаются. Что, например, нам делать с зажигалкой? Пусть все выглядит так, как говорит Крылов. Хорошо, предположим, допускаю. Но то, что вещь дорогая, ясно ребенку. И взята у человека, о котором автор дал восторженный очерк. Это же бесспорно. И как прикажете сей факт расценивать?

— Так, Герман Трофимович...

— Минутку, минутку, — не дал он договорить Крылову. — Это во-первых. Во-вторых, допускаю сомнительную необходимость встречаться с военным преступником, не имея на то задания редакции, более того, перед поездкой я предупредил его — не ввязываться ни в какие истории. И все-таки допускаю, с трудом, но пусть, понять это как-то можно. А вот вовсе не могу понять, как такой политически зрелый человек не догадался посоветоваться в посольстве. Тебе ли не знать, что в чужой стране посольство — это и Советская власть, и партия, и верховный орган для любого советского гражданина?

-- Догадался, — резко сказал Крылов. — Думал об этом, но побоялся — как бы на всякий случай не запретили...

— Не дело говоришь! — оборвал Скворцов. — Думал, но не пошел? Значит, правильно написано «втайне от посольства»?

— Считайте — втайне, считайте как хотите! — Крылов в сердцах швырнул на стол карандаш, который нервно вертел в руках.

— Так мы ни до чего не дойдем, Сергей, давай без истерики, — спокойно сказал Юрий Андреевич.

И снова это «Сергей» охладило Крылова. А главный продолжал наседавать:

— Все ли ты рассказал? С чего бы вдруг столь уважаемый человек, как Гулыга, стал придумывать? Чем ты ему насолил? За что он хочет тебе мстить? Давай уж все начистоту.

— Ничем не насолил, и нет причин мстить мне. Это не месть, ему важно вывести меня из какой-то своей игры. А что это за игра — я пока не могу понять, не знаю. Но я напал на какой-то след, и ему надо, чтобы по этому следу не шли.

Скворцов, казалось, пропустил длинную тираду мимо ушей. Неожиданно спросил:

— У тебя с собой зажигалка?

Сергей Александрович с готовностью достал ее.

— Золотая, что ли? — повертел ее в руках Скворцов.

— Платиновая, с бриллиантами внутри, — вырвалось у Крылова.

— Если золотая, на ней должна быть проба, — заметил Герман Трофимович.

Юрий Андреевич внимательно рассматривал зажигалку. Достал носовой платок, тщательно протер.

— Так-так-так...

— Нашел? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Нашел... Нашел, что Гулыге верить нельзя.

— Нет пробы — это еще ничего не значит. Он и не пишет, будто она золотая.

— Так-то оно так, а только верить ему нельзя. Видите, — он провел пальцем по плоскости, — тут была надпись, вот, сохранились едва заметные контуры букв «Экспортлес».

— Ну и что? — пожал плечами главный. — Что от этого меняется?

— Все меняется...

Герман Трофимович вопрошающе посмотрел на него, потом поднялся, категорично сказал:

— Завтра соберем редколлегию и назначим комиссию для проверки фактов.

— Видимо, так, — согласился Юрий Андреевич. — Но достаточно ли этого?

— Две комиссии назначьте, а в них четыре подкомиссии! — не сдержался Крылов.

Юрий Андреевич осуждающе покачал головой. Помолчав, сказал:

— Вот я над чем думаю, Герман Трофимович. Работник такого масштаба, обремененный огромными заботами, можно сказать, государственного значения, — станет ли он проявлять еще и заботу о нравственности приезжего человека, копясь в интимных связях, следить, как использовалась машина, и прочее?

— Что же ты думаешь, это липа? Не Гулыга писал? — насторожился Удалов.

— Нет, другое думаю. Допускаю: человек кристальной чистоты, не выносит нарушений наших моральных устоев, вот и пишет. Можно бы так сказать. Да вот крючочек один тут цепляется. Вроде совсем пустяковый факт. Надпись на зажигалке сделали западногерманские рабочие, когда дарили ее Гулыге? Или приобрели в Экспортлесе, стерли ее, а потом уже подарили? Выходит, Крылову он говорил правду о происхождении зажигалки, а нам написал...

— Мне это неинтересно, — резко сказал Удалов. — Откуда бы ни появилась у Гулыги зажигалка, вины с Крылова это не снимает.

— Согласен, верно, — подтвердил Скворцов. — А вот повод не доверять автору письма дает основательный. Более того, не оставляет сомнений в попытке усугубить вину Крылова, ввести нас в заблуждение. Во имя чего?

— Вот я и говорю: комиссия все проверит.

— Комиссии это будет делать неловко, Герман Трофимович. Как выяснить? С ним беседовать? С его подчиненными? Членами делегации, которую он возглавлял? Значит, откровенно выразить ему недоверие, подрывать его авторитет. Пока на это права мы не имеем. Все-таки пишет человек, у которого никаких личных счетов с Крыловым нет.

— Напротив, он должен быть благодарен Крылову.

— И еще одно соображение, — продолжал Юрий Андреевич. — Мы, естественно, не можем принять за истину утверждение сына Панченко, будто его отец являлся организатором партизанского движения в районе, а его заслуги приписал себе Гулыга, но и полностью игнорировать это едва ли правильно. Надо проверить...

— Мы уже два часа сидим здесь запершись, что с полосами — не знаем, — раздражился главный. — Испо, что письма надо проверить, давно решили. Что еще ты предлагаешь?

Юрий Андреевич ответил спокойно:

— Если суммировать все сказанное, мы вправе предположить, как утверждает Сергей Александрович, что здесь нечто иное, может быть, более серьезное, а не только забота о чистоте нравов. Поэтому и предлагаю — комиссия комиссией, пусть работает, не бросая авансом никакой тепи на Гулыгу, а нам запросить Центральный архив партизанского движения о его деятельности во время войны.

— Не возражаю. — Главный нажал кнопку, вызвал Марию Владимировну и, не вдаваясь в объяснения, попросил срочно сделать запрос.

— Я уже давно сделала, только в архив не партизанско-

го движения, а Министерства обороны. — Она виновато улыбулась.

— Молодец, Маша, — улыбулся и Герман Трофимович. — Как это ты додумалась?

— Просто думала, анализировала... Много сомнений.

— Ну что ж, полнее будем знать человека. Но и партизан запроси.

21

В кабинете главного редактора собралось человек пятнадцать, в большинстве люди немолодые, хорошо знающие друг друга. Были среди них и друзья Крылова, и просто члены редколлегии, уважающие его, и такие, как Калюжный и заведующий отделом фельетонов Дремов, давно питавший к нему неприязнь.

Заседание редколлегии достигло той критической точки, когда выдержка стала покидать людей и страсти все больше накалялись.

В приемной редактора Верочка перебирала бумаги, тревожно вскидывая глаза на дверь своего шефа, откуда времянами доносился шум, неясный гул голосов.

Влетел запыхавшийся Костя.

— Давно начали?

Бросила взгляд на стенные часы, ответила почему-то шепотом:

— Второй час дерутся.

— Черт меня понес на этот митинг, — с досадой махнул он рукой. — Я должен был повидать его раньше их.

Костя приоткрыл дверь, приставив ухо к щели. Услышал резкий, раздраженный голос Дремова: «Надоело разбирать жалобы на Крылова! Чуть не каждое его выступление опровергают!»

— Вот сволочь! — выругался Костя.

— Закрой, мне влетит.

— Подожди, — отмахнулся он.

«Прошу без выкриков» — Костя узнал голос Германа Трофимовича. Вера встала и закрыла дверь.

— Влетит мне, понимаешь?

— Ты можешь зайти туда?

— Только если позовут.

После длинной реплики Дремова поднялся Андреев.

— Нельзя же все валить в кучу. Он разоблачал проходимцев, они и жаловались па него, клеветали. Ведь ни одна жалоба не подтвердилась.

— Какая же аналогия! — вскочил Калюжный. — Не проходимец жалуется, а Гулыга, которого прославил сам Крылов. За это, что ли, он клеветает? Где логика? Нонсенс!

— Потому что подлец! — выпалил Крылов.

И сразу несколько голосов:

— Вы же писали, что он герой!

— Скажу честно, — продолжал Андреев, — мне лично не верится, что Крылов на все это способен. Вдумайтесь: станет ли он в угоду Зарудной толкать людей на лжесвидетельства?

— Так почему они жалуются? Почему пишут? Они же не о себе хлопчут, им-то ничего плохого Крылов не сделал.

Андреев, никак не отреагировав на реплики, продолжал:

— Ничего зазорного не вижу и в том, что корреспондент воспользовался машиной директора.

— Чтобы поехать на квартиру к женщине, а шофер пусть ждет, пока они там будут развлекаться! — съязвил Калюжный.

— Клевета! — стукнул кулаком по столу Крылов.

— Товарищ Крылов! — повысил голос редактор. — И вы, товарищ Калюжный! Невозможно так работать!..

— Вы кончили, Василий Андреевич?

Андреев хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и сел.

— Разрешите все-таки мне, — поднялся Калюжный.

— Вы уже два раза выступали и десять реплик подали. Что еще? — не пряча недовольства, отрезал редактор.

Калюжный не смутился.

— Еще вопросы. Только вопросы. — Он продолжал подчеркнуто мягко: — Были ли вы, Сергей Александрович, ранее знакомы с людьми, которые пригласили вас в Мюнхен, с людьми, проживающими в Баварии, то есть в центре западногерманского неофашизма?

Крылов ответил резко, зло:

— Нет, не был и сейчас не знаю их! Но...

— Нет, нет, не надо комментировать, — прервал Калюжный. — Только «да» или «нет». Ответ меня удовлетворяет, прошу занести в протокол. Еще вопрос. — Такой же мягкий, бесстрастный тон. — Это правда, Сергей Александрович, что вы установили контакты и встречались с фашистским преступником Бергером? И консультировались ли вы по этому поводу с советским посольством?

— Но это же придирка, случайно встретились... — подал кто-то реплику.

— Нет, не случайно! — повысил голос Крылов. — Я сам искал с ним встречи.

— Бо-олван! — обернулся к нему убеленный сединой сосед.

— Все у вас? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Последний вопрос. Последний. — Голос уже не просто мягкий — елейный. — Это правда, Сергей Александрович, вы признаете, что пили вместе с ним, пожимали его руку, обогрел кровью сотен советских людей.

По кабинету прокатился неодобрительный гул.

— Да, пил! — в ярости закричал Крылов. — И к бабам вместе ходили и в игорный дом, и мои руки тоже в крови! — Он уже задыхался. — Что еще?! Валяйте! Мирбаха убил, рейхстаг поджег! Довольны?!

Поднялся невообразимый шум. Со всех сторон понеслись реплики:

— Сумасшедший!

— Чего он добивается?

Костя ходил по приемной — взад-вперед, взад-вперед.

— Они его заключут!

— Не думаю, — преградила ему дорогу Верочка. — Не в первый раз.

— Такое в первый раз.

Они стояли у дверей, прислушиваясь. И вдруг наступила тишина, в которой зазвучал голос поднявшегося Скворцова.

— Все противоестественно, товарищи, — начал Юрий Андреевич. — И эта истерика у Крылова, и то, что сегодня мы должны говорить о его поведении. Это один из лучших, надежнейших наших людей. И редколлегия и мы в парткоме всегда могли на него положиться. Мы не можем сбросить со счетов его многолетнюю безупречную работу, не можем не считаться с его авторитетом в коллективе.

— Начинается, — обернулся Калюжный к соседу.

Но Скворцов услышал.

— Да, начинается, товарищ Калюжный. Начинается объективный разбор и прекращается демагогия. Мы не можем исходить из наскоков товарищей Калюжного и Дремова, как и из того, что в запальчивости наговорил здесь Крылов. Факты, приведенные в письмах, требуют самой тщательной проверки, а я не понимаю, почему мы сейчас начали обсужде-

ние. Похоже, нас охватила, к сожалению, кое-где бытующая растерянность, даже страх перед жалобой, пасквилем, анонимкой. Главный довод товарища Калюжного: пишут же! — под которым подразумевается: нет дыма без огня. Но бывает огонь без дыма и целые дымовые завесы без огня. Да, пишут. Пишут на многих, кто разоблачает зло. Но не рано ли только на этом основании без должной проверки обвинить человека чуть ли не в политических преступлениях? Помните, скольких людей за последние годы редакции пришлось защищать от облыжных обвинений, наветов, клеветы. Что же нам, пугаться писем, поднимать крик, угодничая паникёру в бою? А товарищ Калюжный с ходу дал бешеные обороты, за ним не глядя устремился товарищ Дремов, готовы включиться в эту гонку да и некоторые другие товарищи. Погодите, друзья. Остыньте, задумайтесь, покарать успеем. Ведь мы же люди. Давайте сначала разберемся, почему пишут. Действительно ли ими руководят высокие нравственные начала или нечто иное.

Негромкий голос Скворцова действовал отрезвляюще.

— К сожалению, некоторые ошибки, в том числе морально-этического характера, товарищ Крылов допустил бесспорно. Имею в виду прежде всего историю с важигалкой, хотя в письме Гулыги история эта столь же бесспорно подается в искаженном виде...

— Позвольте, — прервал его Калюжный, — вы призываете нас все проверять, а сами авансом, без проверки обвиняете товарища Гулыгу в преднамеренных искажениях.

— Благодарю за поправку, Петр Федорович, — без тени иронии заметил Скворцов. — Я не сказал «преднамеренных», но принимаю такую формулировку, именно преднамеренных искажений. Утверждаю это, ибо сей грустный факт установил точно и в надлежащее время приведу доказательства.

Калюжный смолчал, и, выждав немного, Скворцов продолжал:

— Крылов да и другие наши товарищи не раз встречались на Западе с фашистским охвостом. Однако каждый раз с ведома или по поручению редакции. На этот раз подобного задания не было. Но товарищ Крылов не мальчик, не начинающий репортер. Мог на подобную встречу идти и по личной инициативе, под свою собственную ответственность. И нам надо выяснить, вызвана ли эта встреча необходимостью узнать, чем он руководствовался. Все это предстоит проверить, установить и только после этого судить человека. Надеюсь, товарищи, моя точка зрения ясна. Это не просто моя точка зре-

ния, это элементарная норма поведения, норма нашей жизни...

Костя присел у двери — прижал ухо к замочной скважине. Услышав эти слова, резко поднялся, в упор посмотрел на Верочку.

— Прошу тебя, передай ему. — Вытащил из кармана несколько писем. — Они могут спасти его.

Вера решительно отстранила их.

— Тогда вот, — извлек он пропуск на Московскую Олимпиаду. — В Лужники, в Крылатское, в Олимпийскую деревню — куда хочешь пойдешь.

— Что ты меня за дуручку принимаешь? — обиделась Верочка. — Он же именной, с твоей фотографией...

Костя не смутился.

— Знаешь, сколько лет было Зое Космодемьянской, когда она совершила свой подвиг?

— Ну? — Она не понимала, куда он клонит.

— Меньше, чем тебе сейчас. А ты рискуешь прожить всю жизнь, не совершив ни одного подвига. Зайди и передай Крылову, шепни, что это связано с Папченко. Не выговят же тебя с работы!

Она колебалась.

Костя схватил с подоконника поднос, поставил на него бутылку, стаканы, сунул ей в руки вместе с письмами.

— Иди! — И распахнул перед ней дверь.

Верочка неуверенно шагнула в кабинет. Когда она вошла, говорил Крылов:

— Не разделяю суровых оценок некоторых моих ошибок и вовсе не считаю ошибкой встречу с Бергером. Но вина моя велика. Куда бóльшая, чем здесь говорилось, — я ошибся в людях и своей публикацией поддержал преступную ложь.

Вера поставила на стол бутылку, стаканы. На нее косились, но никто ничего не сказал — все внимание было сосредоточено на Крылове. Ей было трудно к нему пробраться, и, беспомощно взглянув в его сторону, она вышла. А Крылов продолжал:

— Уверяю вас, товарищи, что-то очень серьезное кроется за письмами. Какие-то силы хотят вывести меня из строя. Пока они победили. Но, поверьте, я не себя защищаю. Вы можете освободить меня от работы, но я как коммунист буду добиваться истины, и не успокоюсь, пока не раскопаю пору, на которую наткнулся, пока не выползут наружу те, кто в ней прячется.

В волнении он умолк. Немного успокоившись, твердо сказал:

— К редколлегии у меня одна просьба. Большая просьба. Не создавайте комиссий. Дайте мне возможность самому привести неоспоримые доказательства того, о чем я говорю. А не представляю их, сам положу на стол партийный билет.

Ни на кого больше не глядя, он сел. И в тишине раздался насмешливый голос Калюжного:

— Комиссия уже создана, уже проголосовали.

Большинство присутствовавших сочувствовали Крылову, хотя некоторые его просчеты были очевидны. Люди задумались. Мучительные мысли роились и в голове Германа Трофимовича. Он не намеревался проводить обсуждение писем, хотел лишь огласить их и создать комиссию. С этого и началось заседание редколлегии. А дискуссия возникла стихийно, сама по себе. В состав комиссии из трех человек вошел и Калюжный. Его кандидатуру первой назвал Дремов. Удалову не хотелось вводить в комиссию Калюжного, но отводить председателя месткома было неловко. Да и не хотелось заводить нового спора. Теперь, наблюдая его поведение, представил, как могут развернуться дальнейшие события. Положим, сделать его председателем никто не даст, но все равно он ляжет костью, чтобы замарать Крылова. Даже при таких условиях в конце концов истина восторжествует, но какой ценой! Скольких нервов будет стоить!

— Что вы сказали? — неожиданно обернулся он к Калюжному. — Проголосовали? А кто проголосовал?

— Как кто? Мы все, редколлегия. Что вы, Герман Трофимович?

— Ах мы сами? — протянул он, будто только сейчас узнал новость. — Так мы же можем и переголосовать, учитывая новые обстоятельства.

Люди насторожились. К чему клонил редактор, не понял никто. А Калюжный возмутился:

— Какие еще новые? Мы что-то не слышали их.

— Во-первых, рекомендую говорить в единственном числе. Присутствующие не уполномочивали вас выражать их мнения. Что касается лично вас, значит, плохо слушали Новые обстоятельства — заявление Крылова. Это не тот человек, который легко бросается партийным билетом. Заявление серьезное, и я лично склонен поддержать его, ибо верю слову Крылова — честному слову коммуниста. Думаю, пора возродить это уходящее из нашего обихода понятие. Вокруг человека, не сдержавшего слова, должна быть создана и соответствующая атмосфера. Каждый из нас обязан чувство-

вать: не сдержал слово — значит, в корпе подорвал свой авторитет, опозорил себя, вызвал неприязнь и недоверие коллектива. Надо вернуть цену честному слову. Это поможет нам работать, дисциплинирует людей, заставит не бросаться словами, ответственнее относиться к своим действиям. А сейчас что? Дал слово и не выполнил... Ну и не выполнил, и ничего особенного, никто всерьез и не осудит. Нет, надо добиться, чтобы честное слово воспринималось как святое. Нарушение его должно караться, как отступление от присяги, как измена... Извините, отвлекся, но за годы работы с Крыловым я убедился: именно так он понимает данное им слово. Поэтому и верю ему, потому и поддерживаю его просьбу.

Раздался одобрительный гул.

Еще минут десять продолжались споры, пока не пришли к общему решению. Просьбу Крылова удовлетворили, предложив написать объяснение.

Против такого решения голосовали Калюжный и Дремов, но им удалось настоять на втором пункте, сформулированном Калюжным: оплатить Крылову неиспользованный отпуск, от работы временно освободить, предоставив месячный отпуск за свой счет.

Люди покидали кабинет главного редактора, еще о чем-то споря. Крылов понуро шел один. К нему подбежал Костя.

— Сергей Александрович! Я вас уже больше часа дожидаюсь. Мария Владимировна куда-то уехала и просила вас не уходить до ее возвращения... И вот — отдел писем передал вам важные письма.

Крылов не глядя сунул их в карман и направился в свой кабинет. Запер за собой дверь, сел в кресло. Голова шла кругом. С чего начинать? Набить морду Гулыге? Он усмехнулся — то-то будет торжествовать Калюжный... Раздался телефонный звонок. Он приподнял трубку и положил ее на место. Звонок повторился, но он больше не обращал на него внимания. Вскоре раздался стук в дверь. Крылов не ответил. И на второй и на третий, более настойчивый, тоже никак не отзывался. Из-за двери донесся голос Кости:

— Сергей Александрович! Вас срочно просит Мария Владимировна!

Он молча поднялся и пошел к ней. Едва появился в дверях, она сказала:

— Значит, освободили?

— Гм... Освободили. И кто это только придумал: слово, несущее радость... Освободили из-под гнета, от фашизма, из тюрьмы, наконец.. Выгнали, Маша. Понимаешь, выгнали.

Даже законный отпуск не дали отгулять. Но это еще не нокаут, только нокадаун. Из него нередко еще победителем выходят.

— Боюсь, что нокаут получишь сейчас. Я в архив Министерства обороны ездила. Прочти, — протянула ему бумагу. Он быстро пробежал ее.

— Вот сюрприз! — Радостно засветились глаза. — Машенька, дорогая! — Схватил за плечи и поцеловал ее.

— Сумасшедший, — оторопела она. — Это ведь ужасно, — показала на бумагу.

— Ничего ты не понимаешь! Умоляю, Машенька, никому ни слова.

— Как же, Сергей? Официальный документ.

— Главному я доложу сам. — И, не дав ей опомниться, выскочил из комнаты.

22

Когда опустел кабинет главного редактора и остались только он и секретарь парткома, Герман Трофимович в волнении распахнул окно.

— Каковы, а? — заговорил он, не обращаясь к Скворцову. — Просто иезуитство левых эсеров.

— Разве вы ждали другого? — спокойно сказал Юрий Андреевич. — Как они поведут себя, было ясно и до заседания редколлегии. Не о них сейчас надо думать, а что нам делать.

— А черт его знает, что делать. Никакой фаптаст не придумает того, что преподносит нам жизнь. Кто бы мог подумать... Крылов...

— Это все эмоции, Герман Трофимович...

— А что не эмоции?! — взорвался редактор. — Весь человек — сплошные эмоции, если только он человек, а не бублик... Ну давай без эмоций, давай излагай факты, обобщения, выводы...

— Снова эмоции, — улыбнулся Скворцов. — А если без эмоций, то по закону мы не имеем права не создавать комиссии.

— Ин-те-рес-но. Почему же ты на редколлегии не додумался? Ничего не сказал?

— Именно там и додумался. Сознательно шел на это, выслушав «левых эсеров». Был рад вашему предложению — переголосовать. Калюжный не ветки — стволы ломал бы, чтобы опорочить Крылова. А Крылов говорил правду.

— Что это с тобой? — Герман Трофимович направился было к своему столу, но остановился.

— Вдумайтесь, — Скворцов сел поглубже в кресло, — вдумайтесь в его поведение. Всю кашу заварил он сам, начиная с донесения гестапо, о котором, кстати, мог бы и умолчать. Что он стал доказывать? О чем заявил на редколлегии? Выдвинул гибельную для себя версию, будто Панченко — патриот. Это не жест. Человек, достигший высокого положения, признания читателей и во имя истины идущий на то, чтобы все это рухнуло, совершает не просто благородный поступок, а подвиг. Нравственный подвиг. Такой человек не станет, не сможет обманывать.

Герман Трофимович тоже уселся в кресло.

— Да, такой человек обманывать не способен, — согласился он. — Ну а ошибаться? Мы можем застраховать все — от примуса и автомобиля до жизни человека. А вот страхового общества против ошибок еще не создано на планете. И от них не застрахован никто, даже...

В эту минуту в кабинет ворвался Крылов. Торжествующе шлепнул о стол бумагу:

— Вот! Читайте!

Это было письмо из архива Министерства обороны, которое только что он взял у Марии Владимировны. Оба потянулись к нему, и тут же Герман Трофимович приказал:

— Прочти вслух.

И он прочитал:

— «На ваш запрос за номером Р/103 от 16 июля 1980 г. сообщаем, что в период 1941—1945 гг. Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, в офицерском составе танковых войск Советской Армии не значится. Рядовой Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, проходил воинскую службу в ремонтной мастерской 312-го танкового полка 243-й танковой дивизии с 3 января по июль 1941 г. 28 июля 1941 г. в период передислокации полка рядовой Гулыга П. Е. пропал без вести».

Молча сидели ошеломленные Герман Трофимович и Скворцов. В сильном возбуждении ходил по кабинету Крылов. Юрий Андреевич молча потянулся к столу за письмом, молча прочитал его. А вслед за ним и Удалов, будто не верилось им в услышанное. У обоих еще были живы в памяти героические подвиги, смелые рейды в тыл врага командира танкового взвода капитана Гулыги, ярко описанные Крыловым.

Заговорили, перебывая друг друга. Один за другим воз-

никали и тут же отвергались плапы дальнейших действий. Было ясно: вопрос выходит далеко за рамки личного дела Крылова. Дело серьезное, запутанное, и одному с ним не совладать. Назначить комиссию? Но только что решили комиссию не создавать.

Крылов настаивал на своем — напишет подробное объяснение по трем письмам, изложив не только факты бесспорные, в том числе содержание архивного документа министерства, но и свои предположения, которые пока доказать еще не может, и отправится в Лучанск за доказательствами.

— Как частное лицо? — спросил Скворцов.

— А как же еще! — с упреком ответил Сергей Александрович. — От работы же меня отстранили.

— Сделаем так! — Герман Трофимович мягко стукнул ладонями о стол. — Выпишем тебе командировку в Лучанский обком партии. В обком прежде всего и явишься. По их поручениям, если найдут нужным, и будешь действовать... Как, Юрий Андреевич?

— Не возражаю.

Оба понимали: не очень-то законно давать командировку человеку, находящемуся в отпуске, а практически отстраненному от работы, да еще и по личным делам.

Не без внутренней борьбы Крылов решил все же начинать не с обкома. Как же идти в обком с пустыми руками? Правда, Гулыга уже схвачен за руку, никакой он не герой танкист. А все остальное? Дмитрий Панченко человек серьезный, коль твердо обещал, значит, договорился с Зарудной. И еще одно обстоятельство побуждало получше подготовиться, прежде чем идти в обком.

Письма, которые Костя передал Крылову, долго пролежали у него в кармане — забыл о них. Наткнулся случайно, уже перед отъездом в Лучанск. Письма короткие, злые и неаргументированные. Никаких фактов, одни слова.

Зато какие! Первое письмо, от пенсионера Григория Артюхова, содержало просто ругань в адрес Крылова. Автор возмущался, как это корреспондент возвел в герои такого проходимца, как Гулыга. Должно быть, в большой обиде на генерального директора человек, если так поносит его. Справка из архива Министерства обороны и клеветническое письмо в редакцию давали основания согласиться с оценкой Гулыги, которую давал Артюхов. Но ни этого письма, ни справки автор не знает. Следовательно, ему известны другие фак-

ты подобного характера, тем более что закапчивалось письмо так: «Пришлите корреспондента, а я расскажу ему, что из себя в действительности представляет Гулыга».

Второе письмо было от директора леспромхоза Забарова из соседнего с Липанским Чевыченского района. Здесь тоже было недовольство статьей Крылова и тоже без конкретных фактов. Только общие слова. Однако впечатляющие. «Если мне прикажут, — писал он, — скажи, что Павченко предатель, или клади голову на плаху, я положу голову на плаху». Какая же убежденность у человека! И разве можно с ним не встретиться?

О своей поездке в Лучанск Крылов никого не предупредил, не сообщил в обком, не попросил заказать номер в гостинице. С большим трудом устроился сам, и не в «Центральной», а в самой захудалой с громким названием «Байкал».

Ранним вечером Валерия Николаевна убирала свою маленькую однокомнатную квартиру, напевая грустную песенку.

Может быть, есть смысл чуть-чуть отвлечься и сказать хоть коротко о Валерии Николаевне, тем более что персонаж она далеко не второстепенный и встретиться нам с нею придется еще не раз.

Родилась она в сорок втором году в горящем Сталинграде. Пришлось переправлять ее на левый берег. Взрывались суда на реке, расплывался по воде горящий мазут, низко пролетали самолеты с крестами на крыльях: бомбили переправу. Отец прижимал девочку к груди, видимо не отдавая себе отчета, как крохотно это существо. Когда причалили на другой берег, обнаружили — ребенок не дышит. Тут кто-то подсказал, что надо бы по старому народному способу окунуть ребенка головой в воду.

Ныпче наука ушла далеко, и новорожденных пускают плавать под водой, а то и роды под водой принимают, да, знать, народная мудрость опережает науку.

Растерянный отец готов был на все. Окунули ребенка в воду, держа за ноги. И девочка ожила. Понесли ее в загс регистрировать, хотели назвать Мариной, но работница загса сказала: «Вы слышали? Сегодня наша знаменитая летчица Валерия Харченко сбила в небе, под которым родилась ваша девочка, над Сталинградом двух немецких истребителей». И нарекли девочку Валерией.

Зачем вспоминать об этом? Какое значение для характе-

ристики человека имеет факт биографии, относящийся к тому периоду, когда ему от роду было два дня?

Все-таки какая-никакая, а характеристика. Не мог такой знаменательный факт не оказать влияния на формирование человека. А потом, что ведь получается? Получается, что Валерия Николаевна, тогда еще крошка, а ныне тридцативосьмилетняя женщина, на себе испытала ужас тягчайшей войны с фашизмом, которую выдержал наш народ. А это уже существенно для нашего рассказа.

Она окончила исторический факультет университета, студенткой еще вступила в партию, увлекалась общественной работой и вот теперь работает на строгой должности в архиве. Работа, надо сказать, для непосвященных может показаться суховатой: папки, решения, постановления... В общем, архив. Но для Валерии Николаевны архив — это целый мир, далеко не познанный, во многом не разгаданный, и умеет она вскрыть и показать его живую суть. Здесь, в архиве, и слезы, и горе, и счастье людей. Здесь наше великое прошлое, и, не познав его, не постичь настоящего.

Не в силах оторваться от архивных папок, Валерия Николаевна часто брала их домой, для нее это было увлекательное чтение, захватывавшее сильнее, чем иной роман. Перед ней раскрывались великие баталии и подвиги одиночек, судьбы людей, причины неудач и истоки беспримерных побед. Здесь, в архивных папках, наткнулась она на документ, побудивший задуматься, так ли уж верна версия, будто Иван Саввич Павченко был предателем. И она стала разматывать тугой узелок.

...Она убирала свою маленькую уютную квартирку, когда раздался телефонный звонок. Подошла к аппарату:

— Слушаю.

— Ради бога, не кладите трубку, хотя это опять Крылов. Журналист Крылов Сергей Александрович. Здравствуйте.

— Да нет, — усмехнулась она, — я обещала Дмитрию Ивановичу.

Они условились встретиться на следующий день у нее на службе, прямо с утра. Он пришел к девяти, она уже сидела за своим столом. Крошечная комнатка, повернуться негде, один стул для посетителя. Аккуратно, стопками разложены папки, книги. Они и на столе, и на окне, и на стеллаже, наполовину задернутом легкой портьерой.

Довольно сухо ответив на приветствие, предложила сесть.

— Валерия Николаевна, — сказал он проникновенно, —

давайте забудем о нашей первой встрече. Будем считать, что это первая. — И он улыбнулся. Он явно призывал к доверительной, откровенной беседе.

— Давайте к делу.

— Ну что ж, к делу так к делу. Вы защитили диссертацию о партизанском движении в районе...

— К сожалению, не защитила, хотя и подготовила.

— Как?

— Сложный вопрос, не хочется об этом.

Разговор явно не клеился. Помолчав, Сергей Александрович сказал:

— Ну хорошо, все-таки подготовили... Это же научный труд! Масса проверенных деталей, их анализ. Значит, знаете...

Валерия Николаевна, не в силах подавить в себе неприязнь к нему, прервала на полуслове:

— То, что я знаю, вас не устроит.

Крылов сдержался.

— Я не устраиваюсь, Валерия Николаевна. Ищу истину.

— Хочу верить, но, признаться, еще не верю. И вы хорошо знаете почему...

Снова потянулись неловкие минуты. Она раскрыла папку, начала бесстрастно листать, стараясь успокоиться.

Похоже, взял себя в руки и Крылов. Не торопясь достал сигарету, но, окинув взглядом комнатушку, затолкал обратно в пачку.

— Курите, потом проветрю, — сказала миролюбиво Валерия Николаевна, доставая из стола пепельницу.

Он закурил, глубоко затянулся, еще раз...

— Валерия Николаевна, давайте все-таки разберемся. Я уже многое распутал, но остались противоречия. А истина может быть только одна. Одна-единственная! Утвердиться в моем убеждении мешает... — Он замаялся. — Как быть с выводами комиссии Прохорова?

— Дальше вы спросите: «Как быть со свидетельствами такого авторитета, как Гулыга?»?

— Не спрошу. Это подлец и негодяй!

Слова Крылова ошеломили ее. Испуганно и недоверчиво взглянула на него, настороженно спросила:

— Вы это правду...

— Тяжелую, горькую для меня, но правду.

— Это испортит вашу жизнь... Как мою... Мою вот изуродовали, — грустно сказала она.

— Новая загадка!

Она тяжело вздохнула:

— Никаких загадок... Мою диссертацию послали на заключение Гулыге как организатору подполья и партизанского движения в районе. И он написал: язык образный, автор много поработал, но допустил одну ошибку — Панченко, написал, не герой, а предатель. И привел массу «фактов». И расстрелы, и поджоги, и угон людей в Германию...

— Но это же было, — сказал, точно извиняясь.

Она заговорила горячо, убежденно:

— Было, конечно, было, но только после того, как самого Панченко замучили в гестапо. При нем ничего этого не было. Он снабжал партизанские отряды, спасал людей, руководил подпольем, ходил по острию ножа...

— Вот это и надо доказать.

— Я вам дам такие доказательства... такие доказательства... — Она не нашла нужных слов. — Но вы недооцениваете Гулыгу, его связи... — И словно спохватившись, настороженно посмотрела на него, настороженно спросила: — Но вы готовы опровергать свой очерк, опровергать себя?

— Вот вам моя рука, — раскрыл он ладонь, выжидающе глядя на нее.

И она подала ему руку. Это было деловое рукопожатие, только чуть больше, чем надо, длилось оно. Сами они едва ли заметили это. Беседа приняла другой оборот: говорили единомышленники, полностью доверявшие друг другу. И вместе разработали план действий. Решили прежде всего встретиться с членами комиссии Прохорова.

23

В интенсивном движении городского транспорта выделялся красненький «Запорожец». Тем и выделялся, что медленно шел по самому левому ряду, и, ругаясь, водители обходили машину справа.

За рулем, крепко сжимая его, вся в напряжении сидела Валерия Николаевна. Сзади настойчиво сигналила «Волга», требуя дороги.

— Надо все-таки взять правее, — заметил Крылов, сидевший рядом.

Она выбралась наконец из скоростного ряда, с облегчением вздохнула. На лице появилась горькая усмешка.

— Нет, не научусь. Давно бы избавилась, но неловко — мама подарила после смерти отчима...

Они были на окраине города, когда неожиданно для Кры-

лова Валерия Николаевна круто и резко свернула на проселочную дорогу. Раздался свисток милиционера.

— Это нам? — насторожилась она.

— Нам. Повернули со второго ряда и не включили сигнал поворота.

— Ну что, останавливаться или черт с ним?

Крылов обернулся. Стража порядка нигде не было видно.

— Черт с ним, — махнул он рукой. — Где-то далеко от нас.

— Что далеко?

— Не что, а кто. Милиционер.

— Убедились? — вздохнула она.

— Честно говоря, убедился.

В это время выскочил откуда-то мальчишка, стал перебегать дорогу. Он был еще на порядочном расстоянии от них, машина шла медленно, можно бы даже не сбавлять скорость. Но Валерия Николаевна резко ударила по тормозной педали. Крылов успел упереться в панель. Мотор заглох.

— Сколько туда километров? — Сергей Александрович попытался сгладить неловкость, будто и не заметил, что произошло.

— Совсем близко, но вот видите, — обиженно развела она руками.

— Может, я сяду? — робко спросил Крылов.

— Ой, с радостью.

Сергей Александрович был опытным водителем. В конце войны, уже будучи редактором дивизионной газеты, он держал лишнего наборщика, числя его шофером. А за рулем трудяги «ЗИС-5» сидел сам. Да и после войны, даже до того, как обзавелся собственной машиной, не упускал случая погулять. Повернувшись к Валерии Николаевне, спросил:

— Как вам удалось получить копию?

— Дмитрий Иванович дал, а ему — Прохоров. Они же не скрывают своих выводов, даже распространяют их. И люди верят. Новое поколение выросло, никто же ничего не знает... Вот к тем воротам, — показала она рукой.

Крылов затормозил в указанном месте. Поверх низенького забора видны были несколько приземистых зданий барачного типа с маленькими окошками под крышей. Это был совхозный скотный двор.

— Пошли? Я запру машину, а вы за штурмана — ведите!

— Нет уж, эксперимент должен быть чистым. Сами идите, а я посижу. А то еще скажете — под моим влиянием человек говорил.

— Обижаете, начальник, — отшутился Крылов.

— Начальника и спросите. Начальника кормоцеха Храмова. Всякий покажет.

Миновав огромный, как ангар, свинарник, вдоль которого тянулась бесконечная лента транспортера с кормовой массой, Сергей Александрович остановился у конторки с распахнутой дверью. Маленький стол, за которым энергично работал пожилой здоровяк, был покрыт разбросанными в беспорядке бумагами, будто их вывалили из корзины.

Представившись, Крылов спросил, что именно в деле Панченко проверял лично он, Храмов — член комиссии Прохорова. Ответ был столь неожиданным, что Сергей Александрович растерялся.

— Ничего я не проверял, — отмахнулся Храмов, — никакого дела Панченко не знаю.

— Но это ваша подпись? — нашелся наконец Крылов, показывая ксерокопию выводов.

— Моя подпись, ну и что?

— Но вы говорите...

— Да, говорю. Никакого Панченко не знаю, ничего не проверял, хотите, могу в том расписаться, давайте бумагу.

Крылов уставился на него.

— Что же, не глядя? Так можно и приговор себе подписать.

— А я и подписываю, — оживился Храмов. — Несколько раз в день подписываю. Вот смотрите, — схватил он пачку накладных, перебирая в руках, выдернул одну из них. — Вот. Видите? За пять тонн расписался, так? А принял? Э-э, то-то и оно. Хрюшка жалобную книгу не потребует, за недолив-недомер не спросит... Или вот, — выдернул он другую бумажку, — горбыль сегодня привезли, расписался за пиловочник, кирпича наверняка на тысячу штук меньше, тоже расписался...

Крылов был совершенно обескуражен. За свою журналистскую жизнь повидал он всякое, но такой откровенности в нечистых делах...

— Вас заставляют?

Храмов вопросительно посмотрел на него.

— Что заставляют?

— Ну... расписываться.

— Кто ж может заставить?! — удивился Храмов.

— Зачем же подписываете такую липу? — чуть ли не закричал он.

— Да вы что? Вчера народились? Не подпишу — слова

никто не скажет, только на следующий день уже другой будет подписывать... И заметьте — за матценности. А тут, — с пренебрежением махнул на ксерокопию, которую Крылов все еще держал в руках, — какие-то слухи столетней давности. Да еще начальник подписал. Да я после Прохорова где угодно свой крючок поставлю...

Вид у Крылова был настолько растерянный, что Храмову вдруг стало жаль его. Сочувственно спросил:

— А мужик этот что — ваш родственник?

Накипевшее в Крылове выплеснулось.

— Нет! — сухо и резко сказал он. — Я ревизор.

Слова Крылова привели Храмова в веселое настроение.

— Ну и шутник же вы! Когда ревизор еще кальсоны в чемодан укладывает, я уже знаю, что едет. — И рассмеялся.

К конторке подходили какие-то люди с заявками, счетами, пакладными, чего-то требовали, что-то доказывали, и Крылов, оттиснутый ими, смотрел на этого затурканного человека, и мысли его разбегались. Что это? Уверенность в безнаказанности? Бесхозяйственность, возведенная в норму? Или то и другое, вместе взятое? Вот бы в чем разобраться. И написать. Показать такую фигуру и тех, кто за ним стоит. Даже не спросил, кто пришел. Ничего не боялся. Конечно, и Храмову перепадает из доли хрюшек, пиловочника, кирпичка... Но не до этого было сейчас Крылову.

В машину он сел молча. Глядя на его удрученный вид, молчала и Валерия Николаевна. Не обращаясь к ней, он сказал:

— Ужасно, просто ужасно.

— Отказался говорить?

— Сказал. Больше чем надо сказал... Одним словом, в работе комиссии не участвовал.

— Затем и привезла вас сюда... Теперь к Сторожеву, совсем близко.

Ехали минут пятнадцать, не проронив ни слова. Остановились у здания сельсовета в центре широко раскинувшегося красивого села. Дома добротные, во многих дворах гаражи. И на этот раз Валерия Николаевна отказалась сопровождать Крылова. К председателю сельсовета Сторожеву он пошел один. Человек этот произвел самое благоприятное впечатление. Ему лет сорок, умное, спокойное лицо. Крылов представился и сразу приступил к делу. Извлек ксерокопию, спросил:

— Этот документ вам знаком?

Сторожев улыбнулся:

— Как видите, там моя подпись, значит, знаком.

— Меня интересует, какие факты в этих выводах установили лично вы. Знакомились ли с проектом документа, выслушали ли других членов комиссии, проверявших другие вопросы?

— Лично я ничего не устанавливал, — сказал Сторожев несколько смущенно. — Товарищ Прохоров прислал машину, просил срочно приехать, и я поехал...

— И что?

— Показал выводы комиссии, попросил подписать. Я внимательно прочитал их...

— И подписали? — не хватило у Крылова терпения дослушать.

— Да нет, говорю ему, вроде неловко, не участвовал я в работе комиссии. А он обиделся: «Кто, говорит, виноват, что не участвовали?» Так приглашения, отвечаю, ни разу не получал. А он и вовсе: «Вот так мы и выполняем партийные задания — сидим и ждем приглашения, а потом свысока людям недоверие высказываем, которые работали, проверяли». Стал я еще раз просматривать выводы, а он вдруг берет их у меня и говорит: «Ну вот что, раз не доверяете, берите мою машину, хотя езды у меня по горло, и езжайте по селам, сами проверяйте, ждать некогда, завтра к утру я должен сдать выводы в райком». И взялся звонить по телефону по своим делам. Подумал я... верно, пять подписей стоит, и сам он подписал, ну и я свою подпись поставил.

Крылов сидел, не глядя на председателя.

— Все точно, — выдохнул он наконец, подводя итог своим мыслям.

— Так и я думаю — точно. Люди все-таки работали.

До Крылова не дошел смысл его слов, да и не слушал он. Кажется, готов был излить свою злость на этом болване, да подумалось: может, не болван он вовсе, а толковый и честный человек, да слишком податливый и стеснительный. Постеснялся противиться натиску Прохорова, доверился подписям. Сколько же вреда приносит вот такая личная честность, а по сути гражданская беспринципность!

Он поднялся и протянул на прощание руку:

— Спасибо.

Быстро направился к выходу.

Сергей Александрович пересказал Валерии Николаевне весь разговор. Выслушав, она сказала:

— Ничего нового, я все это хорошо знала. Важно, что и вы убедились.

В тот день они nobывали еще у трех членов комиссии. Двое из них, как и первые два, подписали выводы, никакого понятия о существовании дела не имея. А третий... Валерия Николаевна сказала, что с ним будет особенно интересно побеседовать. Это старый, всеми уважаемый учитель сельской школы Станислав Макарович Макаров.

Крылов назвал себя, раскрыл папку с документами и только хотел задать свой стандартный вопрос — что именно он установил лично, — как старик, тяжело вздохнув, заговорил первым:

— Опять? — Он смотрел не на Крылова, а на бумагу. — Но так же нельзя. Я уже десять раз давал объяснения. — Руки у него подрагивали не то от старости, не то от волнения. — Могу повторить только то, что сказал товарищу Прохорову и всем, кто с этой бумагой приходил: подписать не могу.

— Позвольте, разве вы не подписали? — Крылов быстро взглянул на выводы и только сейчас увидел, что против фамилии Макарова подписи не было. — Извините, — растерянно сказал он, — я не обратил внимания.

Станислав Макарович, точно не слыша Крылова, горячо говорил:

— Меня же никто не спросил, могу ли участвовать в работе комиссии или нет. Просто поставили в известность, да и то когда принесли эти выводы. Поймите, мне много лет и нет у меня сил заниматься всем этим...

— Станислав Макарович, дорогой, я совсем по другому поводу...

Но Макаров, ничего не желая слушать, твердил свое:

— А я, извините, никогда не пользовался чужим трудом, не могу я удостоверить то, чего не знаю. Не сомневаюсь, люди это установили, но не я, понимаете?

Крылов уже не перебивал старого учителя, дал ему высказаться до конца. Когда тот умолк, объяснил, зачем приехал. Выводы вызывают сомнения, убедился: люди подписывали их, не зная существа дела, — и ему теперь важно, как Прохоров заставлял подписывать, кто еще приходил с этими выводами.

Станислав Макарович слушал, чуть приоткрыв рот. Потом взмолился:

— Увольте меня, ради бога, от этой истории. Ничего решительно не знаю, не знаю, кто приходил, и не втягивайте меня, старого человека, в это дело. Не могу в нем участвовать ни в каком качестве...

— Нехорошо я все-таки поступила, — сказала Валерия Николаевна, выслушав Крылова. — Я его еще по школе знаю, нашего доброго Макарыча, училась у него. Честный и чистый человек.

— Почему же плохо? — не понял Крылов.

— Потому что знала — расстроится. Сознательно пошла на то, чтобы подвергать его новым испытаниям.

— Вы здесь ни при чем. Все равно поехал бы к нему. Я обязательно побеседую с каждым членом комиссии... А на сегодня хватит. Домой, а?

— Как хотите. Могу завтра взять отгул и снова сопровождать вас, благо знаю, кто где живет. А можете на моей таратайке поездить сами.

— Люди неблагодарны, — улыбнулся Крылов. — Машина так преданно служит вам, а вы... Если всерьез, Валерия Николаевна, то я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Только знаете, мне обязательно надо в обком, но мне не терпелось встретиться с вами.

— Я польщена.

— Вы меня не так поняли.

— И вы меня не так поняли.

— Хорошо, перейдем на понятный для обоих язык. Мне придется еще разыскать неких Забарова и Артюхова. Вы не знаете таких?

— Нет.

— Не хочется просить машину в обкоме, да и не уверен, что дадут. Поэтому, если не возражаете, действительно воспользуюсь вашей.

— Но не бескорыстно. — Она лукаво взглянула на него. — К членам комиссии вы можете ездить сами, но в одну поездку обязательно возьмите меня. Правда, это не член комиссии, но без меня он вам ничего не скажет. А факты такие... они перевесят свидетельства всех членов комиссии, вместе взятых.

— Хорошенькая корысть! — рассмеялся Крылов. — Да за такое я вам платить должен... Что же за факты?

— Пока секрет. Хочу сюрприз вам сделать.

— Секретов всегда боюсь, — серьезно сказал Сергей Александрович. — Скажут тебе что-нибудь по секрету, а он окажется таким, что о нем кричать надо. Да молчишь, слово дал.

Не только двумя сахарными заводами и свекловодческими совхозами славился Липанский район. Свекольные поля занимали едва ли половину его территории, а дальше за небыстрой речкой почти до самого Лучанска тянулись густые, некогда скрывавшие партизан леса с болотами и коричневыми блестками торфяных озер.

На поляну выбежала косуля, раздувая поздри, испуганно вздрагивая, прислушиваясь к доносившимся с разных сторон крикам загонщиков, топталась на месте, не зная, куда броситься. Крики раздавались сзади, справа и слева — она рванулась вперед через поляну, туда, где виднелся еще покрытый утренним туманом лес.

Две темные фигуры притаились за деревом.

— Ваша, стреляйте, Артем Савельевич! — послышался шепот.

Медленно поднялся ствол ружья.

— Какая красавица! — восхищенно сказал человек и нажал спусковой крючок.

Грохнул выстрел. Косуля упала, забилась в предсмертных судорогах и затихла. Четыре человека с ружьями вышли из лесной тени и собрались возле бездыханного тела животного. Молча осматривали трофей.

— Чистая победа, Артем Савельевич! — нарушил молчание один из охотников.

— Что значит чистая? — спросил тот, к кому были обращены слова.

— Чистая? В боксе это нокаут, в борьбе — на лопатки, на охоте — в голову. Вот так, как вы... Пошли.

Вслед за ним, а это был Петр Елизарович Гулыга, двинулись начальник главка Артем Савельевич Ремизов, директор сахарного завода Юрий Алексеевич Прохоров и секретарь райкома Степан Андреевич Исаев.

Происходило это дней через десять после приезда в Лучанск Крылова.

После удачной охоты отправились в баню, находившуюся поблизости. Петр Елизарович забрался на самый верхний полок, подстелив махровое полотенце, и раньше, чем у других, залоснилось потом его уже тучнеющее тело. Чуть ниже тоже на махровой, сложенной четверо простыне блаженствовал Артем Савельевич. Внизу рядышком расположились Прохоров и Исаев. В перерывах между смачным кряканьем и ударами веников вели они неторопливый разговор.

— Строители меня подводят, — вздыхал Исаев. — С них как с гуся вода — «объективные причины», а песочить в обкоме будут меня.

— Говори прямо, что нужно, — благодушно откликнулся Ремизов.

— Как всегда: стройматериалы.

— На район дать не могу, — решительно сказал Артем Савельевич, — и так перебрали, другие районы уже в глаза мне тычут... — И, помолчав, добавил: — Разве что объединению? Надеюсь, договоритесь с Петром Елизаровичем?

— Как будет себя вести... — отозвался Гулыга.

Это, разумеется, была шутка, но недаром говорится: в каждой шутке...

И будто сговорившись, все начали хлестать себя вениками, крикая, издавая нечленораздельные звуки восторга. И снова вытянулись на лавках в блаженной истоме.

— Все же, Артем Савельевич, — вздохнул Гулыга, — план Прохорову придется скорректировать.

— Раньше о чем думали? — недовольно ответил Ремизов. — Раньше, когда обязательства давали?

— Обязательства на бумаге, а свекла — она в поле растет. Неграмотная.

— Сколько там получается? — смягчился Ремизов.

— Девяпосто три, больше не вытянем. Загрязненность большая, сахаристость низкая, — начал оправдываться Прохоров.

— Загрязненность... — В голосе начальства добродушная насмешливость. — Бандиты, очковтиратели. Нужен, ох как нужен вам добрепкий дяденька — Артем Савельевич, одним росчерком пера сбросит план процентов на десять, вот вам и премия, и знамя переходящее, и почет.

— Если не скорректировать — все объединение план завалит, — настойчиво продолжал Гулыга.

— И район в целом, — добавил Исаев.

Ремизов неодобрительно взглянул на него, сказал с укором:

— Если бы на план наваливались так дружно, как на меня... Попробую, пишите. Только мотивируйте поумней, не так, как в прошлом году. — И обернулся к Прохорову: — Между прочим, долго я буду жалобы на вас разбирать?

— Недовольные всегда будут, если твердую линию проводить.

— Липия линией, но надо уметь работать с людьми.

— Это вы о чем, Артем Савельевич?

— О Голубеве, например...

Исаев насторожился, разговор начал приобретать неприятный характер.

— Пора окунуться. — Он слез с полка, захватил простыню, вышел.

— А что с Голубевым? — удивился Прохоров. — С ним все в порядке.

— Теперь в порядке...

— Кстати, как там наш щелкопер поживает? Не в курсе, Артем Савельевич? — поинтересовался Гулыга. — Говорят, с работы его выгнали...

— По слухам, в какой-то многотиражке подвизается, жена от него ушла.

— Кто же с таким допухом жить будет, — откликнулся Прохоров. — Закатилась его звездочка.

— Да-а, — вздохнул Гулыга. — А ведь какую карьеру мог сделать человек.

— Хорошо бы кваском поддать, — перевел разговор на другое Артем Савельевич.

— Бу сделано, — соскользнул с полка Прохоров.

Над каменкой взметнулся ароматный пар, пополз в стороны, повис клубящимся туманом.

— Хорошо у вас. — Артем Савельевич снова взялся за веник. — Отличный денек. И охота удачная, не как в прошлый раз. — И неожиданно с чувством продекламировал: — Роняет лес багряный свой убор...

Пока шла эта мирная беседа, по лесной дороге неслась забрызганная грязью «Нива». Узкая лента изрядно побитого асфальта прорезала старый, густо заросший подлеском бор. Машина свернула на просеку, перегороженную шлагбаумом. Из-за кустов вышел егерь в форменной фуражке, вопросительно взглянул на шофера:

— Путевка есть?

Водитель обернулся в сторону сидевшего сзади пассажира:

— Павел Алексеевич...

Пассажир поклонился вперед, и егерь поспешно снял шапку:

— Виноват, товарищ Хижняков, не признал. Машина вроде ваша, а шофер... — И отпустил веревку шлагбаума.

— Выгнал, — буркнул Хижняков. — Разложился, сукин сын. Ты его, если сунется, не пускай больше... С охоты давно вернулись?

— Часа полтора будет.

Хижняков нетерпеливо ткнул водителя в спину:

— Давай, поехали.

Вскоре стена леса расступилась, и взгляду открылась озерная гладь. На взгорке у самой воды стояла большая рубленая изба. Над высоким крыльцом — побитая ветром и дождями вывеска «Охотхозяйство». За домом стояли четыре черные «Волги». Чуть дальше под навесом Чепыжин свеживал подвешенную за ноги тушу косули. На ступеньках крыльца сидел здоровенный парнюга, чистил шомполом ружье. Он посторонился, пропуская Хижнякова в дом.

— Здорово, Семен. Там? — кивнул на дверь Павел Алексеевич.

— Все четверо.

Хижняков быстро миновал помещение конторы с канцелярской мебелью и развешанными по стенам охотничьими плакатами, вышел в коридор, остановился возле неприметной двери, осторожно приоткрыл ее и заглянул в образовавшуюся щель.

За дверью была большая комната, отделанная с неожиданным для этой избы шиком. Из стереоколонок, укрепленных на покрытой лаком стене из узенькой вагонки, лилась тихая, умиротворяющая музыка. В мягком свете скрытых от глаз светильников на добротных диванах полулежали четыре завернутые в махровые простыни фигуры. В руках пивные кружки. В центре между диванами — стол, густо уставленный бутылками и закусками.

Хижняков знаками стал вызывать Гулыгу в коридор. Петр Елизарович сидел боком к двери и, увлекшись разговором, не замечал его.

— А Любочка ваша, — обратился он к Артему Савельевичу, — произвела на ректора хорошее впечатление. Умница.

— Да? — прищурился Ремизов. — Была бы умницей, не завалилась бы в Москве... Родители избаловали. Сто раз говорил сыну: не давай девчонке поблажек. Да где там — единственная доченька. Вот и результат...

— Не все ли равно, где поступать — в Москве, в Лучанске, очный, заочный... Через год организуем перевод — и что на салазках под гору, — подмигнул Гулыга.

— Спасибо, братцы, очень выручите.

— В единстве наша сила, закон жизни.

— За это стоит и выпить, — предложил Прохоров.

— Пора, пора, — кивнул Гулыга на дверь.

Прохоров быстро встал, распахнул дверь, крикнул

— Семен!

Тут наконец Гулыга заметил энергично подающего ему знаки Хижнякова.

— Ты что, Павел, заходи.

— На пару слов, Петр Елизарович.

— Да заходи, чего ты? — повторил Гулыга и обернулся к Ремизову. — Опять его совхоз первое место занял.

Артем Савельевич рассмеялся:

— На то он и Хижняков, а ты его начальник.

Но тут вошел Семен — между пальцами у него торчали зажатые веером шампуры с шашлыками, — все взгляды обратились к нему. И только Хижняков продолжал твердить:

— Да на пару же слов, Петр Елизарович.

— Что у тебя стряслось? — недовольно бросил Гулыга. — Пожар? Где горит?

Хижняков вошел, помялся и почему-то шепотом сказал:

— Крылов в Лучанск приехал.

— Кто? — переспросил Исаев.

— Журналист. Тот самый. Крылов Сергей, не помню, как по батюшке.

— Александрович, — подсказал Гулыга. — Точно знаешь?

— Сам видел.

Все переглянулись.

— Ну и пускай себе гуляет, — махнул рукой Гулыга. —

Ты-то чего нервничаешь?

— В управлении КГБ был.

— А в обкоме? Не знаешь?

— На обкомовской машине туда приезжал, значит, и в обкоме был.

— Неймется дураку, — зло сказал Гулыга и задумался. Неожиданно рассмеялся весело, беззаботно: — А пошел он... Тудыть его растудыть! В гробу его, в белых тапочках... А ну все к столу!

Расселись, кутаясь в простыни. И Хижняков присел.

— Будем! — лихо поднял стопку Гулыга.

Чокнулись, выпили. Стали разбирать с подноса шашлыки. Но аппетит, похоже, пропал. Настроение было испорчено.

Позже, когда собрались разъезжаться, когда в машину Ремизова погрузили завернутую в пленку тушу косули, ящик с копченой рыбой, банки с соленьями и водители стали заводить двигатели, Исаев остановил направлявшегося к своей «Волге» Гулыгу.

— Петр Елизарович!..

Тот оглянулся. Они были одни, никто не мог их слышать.

— Положа руку на сердце: в этой истории с Панченко все чисто? — Он пристально посмотрел Гулыге в глаза.

Петр Елизарович не отвел взгляда, смотрел на секретаря райкома не моргая.

— На выводах комиссии Прохорова твоя виза стоит.

В его голосе Исаеву почудился вызов.

— Понимаю, — серьезно и задумчиво протянул Исаев. — Это я понимаю. Но ты все же ответь: па тебе ничего нет? Совсем ничего?

Гулыга едва заметно усмехнулся. Чуть ли не весело сказал:

— А вдруг есть?

— Не шути! — Слова прозвучали угрожающе.

Но Гулыга, должно быть, не придавал им значения.

— Очень интересно знать, что бы ты в этом случае сделал. — Выждав, глядя на Исаева испытующе, и продолжал: — Не первый год работаем вместе. На моих дрожжах твоё тесто возшло. Теперь по одной реке плывем, одну воду пьем. И авторитет у нас с тобой высокий. А жизнь, Степан Андреевич, на авторитетах держится. Это ты не хуже меня знаешь. Ну, допустим, был за мной грешок сто лет назад... Что же нам с тобой теперь делать? Авторитеты ломать?

Исаев смотрел на него растерянно.

— Шучу, шучу, — сказал Гулыга. — Не бойся — шучу. Ничего за мной нет. Этот Панченко был гадом и жизнь свою как гад ползучий закончил. — Злобно сплюнул. — Вы поезжайте, я тут немного задержусь. — Повернулся и пошел в сторону леса. Шел быстро, не оглядываясь.

Исаев смотрел ему вслед.

Машины разъехались. Только «Волга» Петра Елизаровича оставалась возле дома. Водитель за рулем терпеливо ждал хозяина.

25

Первый секретарь обкома партии Владимир Михайлович Званов встретил Крылова добродушным упреком:

— Мы вас уже пятый день ждем, товарищ Крылов.

Оказалось, Герман Трофимович звонил ему, в общих чертах обрисовал суть дела, просил оказать максимальное содействие.

Приглашающим жестом Званов указал на стул:

— Прошу садиться... Слушаю вас, товарищ Крылов.

Сергей Александрович внимательно посмотрел на секретаря обкома. Была у Крылова привычка: впервые увидев человека, пытаться определить его характер, даже биографию. Потом, хорошо познакомившись, проверял, в чем ошибся, какие черты угадал правильно.

— Может быть, будет короче, если вы ознакомитесь с этой запиской? — И он положил на стол копию своего объяснения.

— Давайте, — согласился Званов. Уселся поудобнее и стал читать.

Сергей Александрович изучающе смотрел на него. Раздражало то, что Званов часто отвлекался — то говорил по телефону, будто не мог сказать секретарше не соединять его, то подписывал какие-то бумаги, судя по всему, не такие уж срочные, а двоим даже дал поручения, с которыми можно было повременить. Разговаривал с людьми как-то нерешительно, поручения давал словно извиняясь, будто не уверен, согласятся ли их выполнять.

Нет, не понравился Званов. Не то чтобы внешность неприятная, напротив, симпатичный, улыбчивый, добродушный, только не эти качества хотелось в нем видеть. Поставить бы на его место человека с мужественным, волевым лицом, крупного роста, чтобы и по кабинету ходил, сознавая свое высокое служебное положение, свои огромные возможности и права, действовал бы решительно и быстро. Да, зная, не судьба.

По ходу чтения Званов задавал какие-то вопросы, по мнению Крылова, несущественные, и невеселые мысли лезли в голову. Сумеет ли этот человек разобраться с его делом, где жизнь тугим узлом связала героическое и подлое? Захочет ли? Разоблачение Гулыги и на него тень бросит. Ну пусть не тень, но все-таки в его области проходимец занимает высокий пост...

Закончив с запиской, Званов пригласил к себе председателя партийной комиссии Чугунова.

— Ознакомьтесь с этим документом, Николай Петрович, — протянул он бумагу. — И с автором этого сюрприза, — указал на Крылова.

Пока Чугунов читал, он успел поговорить с несколькими руководителями партийных организаций и предприятий. Когда Чугунов закрыл папку, Званов вызвал секретаршу, мягко сказал:

— Меня нет. Буду через полчаса, минут через сорок. — И обратился к Чугунову: — Заводите персональное дело.

— Да... но... требуется заявление.:? Потом, товарищ Крылов не у нас на учете.

— Разве? — Он иронически улыбнулся. — А Гулыга? Наш передовой генеральный директор. — И в этих словах Сергею Александровичу послышалась ирония.

— Ясно, — с готовностью сказал Николай Петрович и как бы осекся. — Видимо, начнем с того, что попросим товарища Крылова написать нам официально... Для персонального дела нужен формальный повод.

— Вам виднее. А формальный повод, дорогой Николай Петрович, тут и повод по существу. Разве справка из архива Министерства обороны не основание для разбирательства? А это? — кивнул Званов на записку Крылова. — Адресовано, правда, не нам, но речь идет о наших людях. — Не дожидаясь ответа, уже другим, официальным тоном сказал: — Давайте лучше обговорим, чем займемся в первую очередь.

Чугунов быстро извлек из кармана блокнот. Владимир Михайлович сидел, думал. Потом очень тихо, как бы про себя:

— Одного не могу понять. Если все так, как здесь написано, почему Дмитрий Панченко не обратился к нам? В другой области живет? Все равно, напиши он в местный партийный орган, нам бы сообщили. А Голубев?.. А Зарудная?.. По всякой чепухе десятки писем люди пишут, а тут?

Сергей Александрович молча пожал плечами.

— Ну ничего, разберемся, — уверенно закончил Званов.

Е последнее время Сергею Александровичу так не везло, что и в обком пошел излишне настороженным. Возвращался окрыленным.

Нет, не так прост этот улыбчивый секретарь обкома. Целую программу надиктовал Чугунову: дать задание областному управлению КГБ проверить деятельность Ивана Саввича Панченко в период оккупации, установить, за что он был исключен из партии, через Комитет ветеранов войны и другие организации проверить деятельность Гулыги, как командира партизанского отряда, потребовать у Прохорова факты, на основании которых были сделаны выводы его комиссии. Голубева Званов велел пригласить в обком, решил сам с ним поговорить. Предложил побеседовать с Зарудной и Дмитрием Панченко. И все это — прежде чем потребовать объяснения у Гулыги. Казалось, ему, Крылову, уже здесь больше делать нечего. Ехать домой, набраться терпения и ждать. Но этого-то он, собственно, и боялся. Боялся, что Званов, мило попрощавшись с ним, именно так и скажет. Робко

попросил разрешения самому встретиться с Забаровым и Артюховым, рассказав о письмах.

— Конечно, — согласился Владимир Михайлович. — И вообще хорошо бы вам здесь задержаться и помочь нам, коль вы эту кашу заварили.

Сергей Александрович и сам не мог бы объяснить почему, но он ничего не сказал в обкоме о своих беседах и поездках с Зарудной. Что-то мешало. Но выйдя из обкома, он тут же позвонил ей по автомату. Условились на следующий день отправиться за секретом, о котором «надо кричать».

Выехали из города в отличном настроении. Вспоминая беседы с членами комиссии Прохорова, Сергей Александрович сказал:

— Вы обратили внимание, Валерия Николаевна, как каждого по-своему опутывали! Хитро действовали.

— Не очень хитро, — возразила она, — напролом шли, потому что все сходит с рук. Никого не боятся.

— Почему же вы все молчите? — не сдержался Крылов. — Почему никуда не обращались?

— Да десять раз обращались!

— Куда все-таки мы едем, Валерия Николаевна? Завезете куда-нибудь и бросите.

— Оказывается, вы пугливый...

Несколько минут ехали молча. Сергей Александрович ловко обходил ухабы или мягко переваливал через них, набирая большую скорость там, где позволяла дорога.

— Мне кажется, никогда не научусь ездить так, как вы, — обиженно сказала Валерия Николаевна.

— Поначалу всем так кажется. — Задержал на ней взгляд, упустив из виду дорогу.

Машину сильно трянуло, их подбросило вверх и в сторону, Валерию Николаевну прижало к нему, и она никак не могла принять нормальное положение, пока он не помог ей.

— Так и я умею, — насмешливо сказала, усаживаясь наконец поудобнее.

— Чертова дорога, извините, пожалуйста.

— Я тоже всегда дорогу виню...

И оба рассмеялись.

«Запорожец» быстро петлял по преселочной дороге. Крылов любовался: по одну сторону траченный осенью золотисто-багряный лес, по другую — холмы и поля только всаханые или в ярко-зеленых побегах.

— Уже близко, — нарушила молчание Валерия Николаевна, — видите, во-он деревушка показалась, — вытянула она руку.

— Где? — наклонился он в ее сторону.

— Да вон же, — наклонилась и она. — Неужели не видите?

Ее волосы коснулись его лица, и он на мгновение зажмурился.

— Вижу, теперь вижу.

Ему вдруг стало грустно. Она скользнула взглядом в его сторону, задумалась. До самой деревни ехали молча.

— Теперь куда? — спросил он, когда оказались на широкой улице.

Она объяснила, и вскоре он затормозил у ворот старого, почерневшего от времени дома. Едва вошли во двор, как выскочила навстречу не по годам бойкая старуха, всплеснула руками:

— Боже мий! Валерия Миколавна, дорогая, вот не гадала! — И обернулась к Крылову. — Заходите, заходите.

Валерия Николаевна уверенно шла впереди. Миновав кухню, остановилась в большой комнате.

— Вот Иван Саввич, — показала на большой портрет в простой деревянной раме.

— Саввич, — подтвердила старуха.

Крылов с интересом смотрел. Красивые, волнами волосы, могучий лоб. Черные вразлет брови. Добрые и чистые глаза, едва наметившаяся улыбка, тоже чистая, бесхитростная. Может ли быть такой человек предателем? И женщины смотрели на портрет, любуясь, будто впервые увидели.

— В самом деле сюрприз, — оторвался наконец Крылов от портрета.

Валерия Николаевна лукаво улыбнулась:

— Сюрприз еще предстоит...

— Та шо ж я стою, — спохватилась старуха, — сидайте к столу. — Она засуетилась, поправляя скатерть.

— И я хороша, знакомьтесь, пожалуйста. Крылов Сергей Александрович, журналист. А это жена Ивана Саввича, Марфа Григорьевна.

— Рад познакомиться, — подошел к старухе Крылов, протягивая руку.

А она, хотя и подала руку, насторожилась, насупившись, взглянула на него, бесцеремонно отвела в сторону Валерию Николаевну, зашептала:

— Який це Крылов? Той самый?

— Успокойтесь, Марфа Григорьевна, все будет хорошо. Покажите, пожалуйста, письмо Братченко.

Старуха метнула взгляд на Крылова. Комкая фартук, громко сказала:

— Яке письмо? У меня ниякого листа нема.

— Вы не поняли, письмо секретаря подпольного обкома.

— Ни-ни, не чула, не знаю про такой лист.

Валерия Николаевна выразительно взглянула на Крылова, и он вышел.

Марфа Григорьевна набросилась на Зарудную:

— Шо це вы надумали: забере листа — и поминай як звали.

— Вы верите мне? — Голос Валерии Николаевны прозвучал властно.

Столь же властно ответила старуха:

— Вам вирю, а йому — ни. В руки листа не дам.

— Вот мне и дайте, я только прочту ему. В руки не дам.

Недовольно ворча, Марфа Григорьевна направилась к комоду. Валерия Николаевна открыла дверь, позвала Крылова.

— Садитесь вот здесь, — показала ему на табуретку, — и слушайте. — Аккуратно развернула сложенный вчетверо обветшалый и пожелтевший листок.

Марфа Григорьевна встала поближе к ней, готовая к любым действиям.

— Это записка погибшего впоследствии секретаря подпольного обкома партии Братченко, — пояснила Валерия Николаевна. — Адресована Ивану Саввичу Панченко в ноябре сорок второго года. Он пишет: «Саввич! Заканчивай быстрее со снабжением отряда Гнедого. Через три дня ты должен отправить его. Второе. Не затягивай с назначением нового командира в Бушуевском отряде. Думаю, справится коммиссар, но тебе виднее. Жду информации. Братченко».

Крылов в волнении заходил по комнате. Неожиданно резко остановился возле Зарудной.

— Как же вы не сказали мне этого раньше? — Укоризненно покачал головой, протянув руку за письмом. С нестарческой поспешностью Марфа Григорьевна схватила письмо и быстро засемила в другую комнату.

— Вы должны понять ее, Сергей Александрович, — она ведь под впечатлением вашей статьи.

— Понимаю... Но давайте хоть сфотографируем его.

Валерия Николаевна молча пошла за хозяйкой дома, а Крылов — в машину, где остался фотоаппарат. Он уже ус-

пел вернуться, а женщины все еще возбужденно шептались. Наконец появилась Валерия Николаевна с письмом в руках. Следом семенила старуха.

Сияв фотокопию письма, они уехали. На каком-то ухабе машину подбросило.

— Держись! — крикнул он, только сейчас заметив совсем близко еще одну выбоину. — А черт, па том же самом месте.

Для нее не осталось незамеченным, что своим «держись» он как бы перешел на «ты».

— Документ этот Прохорову предъявляли? — попытался снять неловкость Крылов.

— Дмитрий Иванович показывал, а тот высмеял: филькина грамота, говорит, да и та — копия.

— Есть же оригинал.

— Побоялся. Ищи ветра в поле.

— Ну так я сам! Такой ему документ покажу... Глаза на лоб полезут.

— Вы хотите встретиться с Гулыгой?!

— Обязательно. В глаза хочу посмотреть, когда он прочтет. Только бы инфаркт не хватил... Как у него с сердцем, не знаете?

— Гм... с сердцем, — ухмыльнулась она. — Чего-чего а этого можете не опасаться. Нет у него ни сердца, ни души, ни принципов, ни морали. Только корысть. Только себе и своей камарилье. Они неуязвимы, никакой документ не прошибет.

— Так уж совсем неуязвимы?

— Представьте, так. Гибки, изобретательны, умны...

— Отличные качества.

— Смотря в чьих руках нож — у хирурга или бандита.

Они миновали рытвины и ухабы и теперь ехали по гладкой, хорошо укатанной дороге. После небольшой паузы Крылов сказал:

— Может быть, вы теперь? — И кивнул на руль. — Без практики никогда не научитесь.

— Нет, потом буду тренироваться. Пока мне еще дорога ваша жизнь.

— Пока?

— Ну и придира же вы, — рассмеялась она. — Я ведь не смогу разговаривать, сидя за рулем.

— Ладно, говорите, — шутливо разрешил он.

— Да, мне хочется объяснить, почему неуязвимы. Для своей корысти они приспособили нашу Конституцию, наш гуманизм, даже самое святое — заботу о человеке, о фронто-

вике. Спекулируя нашими лозунгами, извращая их, нападают, нашими лозунгами защищаются, под теми же лозунгами грабят. Они широко провозглашают: «Один за всех и все за одного». Куда благородней! Но понятие «все» у них ограничивается очень узким кругом. Этот лозунг низвели до круговой поруки.

— Да, по...

— Минутку, минутку, — не дала она себя перебить. — Это правственные дезертиры. Их не трогает, что делается на предприятиях и в учреждениях, где работают, что происходит в стране или в мире. Они действуют под лозунгом «жизнь дается один раз». Красиво, да? Но вкладывают они в это понятие отнюдь не то, что провозгласил Николай Островский.

— Не через край ли? — прищурился Сергей Александрович.

— Даже не до края. — Она говорила горячо и страстно. — На весь район и дальше, чуть ли не до Москвы, разнесли как подвиг Гулыги — якобы в ущерб себе помог ветерану войны капитально отремонтировать дом.

— Чумакову? — живо спросил он.

— Вот видите, даже вы знаете... И в самом деле помог, хотя никак не в ущерб себе — уже через день на его дачном участке было вволю и стройматериалов и рабочей силы. Он покупал Чумакова, а не заботился о нем. Слишком много знает Чумаков, и надо было заставить его молчать. И заставили.

— Хорош, значит, и ваш Чумаков.

— Чумаков что? Ему под восемьдесят, а над ним крыша течет. Судите его, а я не могу. Но разве только Чумаков! Они морально растлевают массу людей — лаборантов, весовщиков, сторожей, всех, кого вовлекают в свою орбиту, организуя завышенную загрязненность свеклы и заниженную сахаристость...

После всего, что Крылов узнал о Гулыге, он допускал любые преступления с его стороны. Верилось и словам Зарудной. Слушал ее вроде бы с иронией, как бы не веря, побуждая ее полностью излить душу. Когда умолкла, подзадоривал новыми вопросами.

— И никто не видит? — спросил с папукным гневом.

Валерия Николаевна грустно посмотрела на него. Заговорила устало, с какой-то безнадежностью:

— Все видят и все молчат. Одни потому, что получили как благодеяние то, что давно им положено по закону, вроде

Чумакова, вторые — боясь расправы, как Голубев, которого выгнали с работы, прикрываясь лозунгом борьбы с прогулками, хотя человек имел бюллетень, третьи... — И осеклась на полуслове.

— Что третьи?

Валерия Николаевна не ответила.

— Что все-таки третьи?

— Третьи вроде моего бывшего мужа. Мне, говорит, в доме нужна жена, а не донкихот в юбке... Это, заметьте, благополучный мужик так рассуждает, что ж говорить о женах — цепями схватывают мужей, только бы ни во что не ввязывались.

Ударило в сердце. Это же про Ольгу.

26

Сергей Александрович ходил из угла в угол своего маленького номера. Не ходил — метался. Раздирали противоречия, хотя все было ясно. В его руках два документа: справка из архива Министерства обороны и письмо секретаря подпольного обкома партии. Еще многое туманно, еще не до конца все выяснено, но сейчас это уже особого значения не имеет. Два документа полностью разоблачают Гулыгу.

Овладело непреодолимое желание положить их на стол перед Гулыгой. Не ругать, не обвинять — только показать документы. Спокойно положить перед ним два листка — ознакомьтесь, пожалуйста, Петр Елизарович...

Конечно, это была жажда мести. И скажи это кто-нибудь Сергею Александровичу, он бы просто рассердился: при чем здесь месть? Это профессиональная необходимость подвести черту, поставить точку, довести дело до конца. Не исключено также, что припертый к стенке Гулыга выдаст что-нибудь новенькое, еще неизвестное...

Короче говоря, он позвонил Гулыге. Сухо, официально, даже строго. А тот встретил радостно, как старого приятеля. Будто ничего не случилось, будто не писал он в редакцию своего письма. Охотно согласился на встречу, предложил пообедать вместе или поужинать... Новый «Поплавок» на берегу, рядом красивый большой парк... Ну что ж, согласен и просто в парке, тоже хорошо, подышать свежим воздухом, на воздухе почти не бывает, текучка, дела заели... Даже очень хорошо, совместим приятное с полезным...

— Негодяй! — вырвалось у Крылова, когда он положил трубку.

С берега во всем великолепии открывалась яркая равнина, засиженная дымкой на далеком горизонте. Внизу, прямо под ногами, бесшумно скользили яхты и лодки. В такт музыке, едва доносившейся из зависшего над водой ресторана, покачивались поплавки, и их хозяева неодобрительно провожали глазами тоненькую фигурку на водных лыжах.

В прибрежном парке взлетали качели, прогуливались мамы с колясками, в тени старых лип стучали костяшками домино.

К уединенной скамье подошли Крылов и Гулыга, только что встретившиеся у входа в парк. Уселись, и началась мирная беседа. Так, по крайней мере, могло показаться со стороны. На коленях у Крылова лежала тонкая папка.

— Давненько мы с вами не виделись, Сергей Александрович.

— Давненько, Петр Елизарович.

— Как дела? Здоровье?

— Отлично.

— Да? А по виду не скажешь.

— Внешность обманчива, это вы хорошо знаете... А как ваша жизнь?

— Как на Марсе — нет жизни, только работа. — Он засмеялся, глядя на Крылова, точно приглашая и его посмеяться. — Зато плац опять перевыполнили... В Москву то и дело мотаюсь, то в Совмин, то в Госплац... Общественные дела замучили — совещания, выступления, встречи с трудящимися, отказать нельзя. Устаю.

— Ничего, скоро отдохнете...

— Отдыхать только на пенсии придется, да пока не собираюсь.

— Я не о пенсии.

Гулыга промолчал. Только с недоумением посмотрел на него. Выжидал, наблюдая, как вертит в руках папку. Папка эта все время приковывала его взгляд, понимал: неспроста принес ее.

Под ноги им подкатился мяч. Подбежал мальчишка:

— Дяденька, ноги...

Гулыга постороился, паренек нырнул под скамейку, вылез с мячом и убежал.

— Неподходящее место мы выбрали, Сергей Александрович. Действительно, как два пенсионера сидим здесь. Что нам — поговорить негде? — Гулыга кивнул на ресторан. — А? Посидим по-человечески, выпьем по рюмке. Что бы там ни было, какая бы кошка ни пробежала между нами — разбе-

ремся. Оба мы с вами фронтовики, вы ведь, помнится, говорили, тоже воевали.

— Воевал.

— По интендантской части, в тылах? — спросил без укора, даже одобрительно.

— Нет, был редактором дивизионной газеты. Но и в тыл приходилось ходить, в немецкий. Только не дошел, тяжелое ранение получил.

— Вот видите, — обрадовался Гулыга. — Значит, оба кровь за родину проливали.

— Нет, за родину — один...

— Вы же только что сказали, что были ранены.

— Я-то был, а вы... В анкетах до сорок шестого года писали: «Ранений и контузий не имею». А спустя год после войны впервые появилось у вас: «тяжело ранен»... Разве что на охоте? Так это не за родину.

— А вы что, теперь моими анкетами заинтересовались?

— Нет, теперь только вспомнил. Смотрел, когда очерк писал, но тогда не зафиксировалось.

— Эх, Сергей Александрович, неблагодарным вы делом занялись, — ничуть не смутился Гулыга. — Не очень-то мы во время войны медицинскими справками запасались. Вы в Музей боевой славы сходите! — повысил он голос и, спохватившись, спокойно закончил: — Там все описано.

— Был, еще весной читал. И в статье своей отметил, из районной газеты взял, — как громили вы на танке врага в его тылу.

— Так в чем же дело?

— Есть одна заковыка. Вы ведь в триста двенадцатом полку были? Танковым взводом командовали?

— Верно.

— А помните, как в сорок первом, в июле полк перебазировался?

Гулыга задумался.

— Напомнить?

— Ну-ну.

Сергей Александрович раскрыл наконец свою папку.

— Вот, почитайте. — И подал ему копию архивной справки Министерства обороны.

— Что, опять донесение гестапо? — сказал насмешливо, шаря по карманам. Достал очки, не торопясь протер платком и начал читать.

Крылов смотрел на него. Ни один мускул на лице не дрогнул. Ни растерянности, ни даже смущения. Только слиш-

ком долго читает, а впрочем, наверное, давно прочел, обдумывает. Наконец, горько усмехнулся:

— Вы с какого года воевали?

— С сорок первого.

— Значит, знаете, что тогда творилось. В какие архивы, скажите мне, в какие гроссбухи занесено, кто на поле боя заменил убитого командира, а кто из технарей пересел на танк? Какой это, интересно, архивариус мог угнаться за моим танком, проследить, кто где был в той кровавой каше? Как это люди берут на себя такую ответственность, да еще и бумажки выдают? Где эти архивно-бумажные души были, когда мы стояли насмерть?.. А танкистом, верно, недолго я был, но кому это важно, в каком качестве человек истреблял врагов? Важно, что уложил их немало.

Гулыга говорил, все больше возбуждаясь, говорил, казалось, искренне и честно.

— ...взрывали мосты, пускали под откос эшелоны... А командир танкового взвода?.. Ну, что ж, подбили, в тылу оказался и с новой силой принялся громить фашистов.

Крылов вдруг понял, что факт, который он считал убийственным, на самом деле не так страшен. Ведь действительно, воевал же человек, в тылу врага воевал, командиром партизанского отряда был... Однако интуиция, поведение сегодняшнего Гулыги, методы, которыми он действовал, подсказывали, что перед ним крупный, изворотливый негодяй. Третий калач, его так просто не осилить, не положить на лопатки. Неожиданно даже для самого себя спросил:

— Мне просто любопытно, хотя бы из спортивного интереса: как вы можете в глаза мне смотреть? Как поднялась рука такую клевету обо мне сочинить?

— Хм, — иронически хмыкнул Гулыга. — Интересно... любопытно... клевета... — И вдруг резко, зло: — Не бросайтесь словами, а главное — в душу не лезьте! Не лезьте своим сапогом в чужую душу. Что я вам плохого сделал?! Не стали бы соваться не в свои дела — и сами бы в луже не оказались. А теперь что? Я вам не помощник, сами и выпутывайтесь. И знайте — чего бы еще вы там ни придумали, поверят мне, а не вам... Так что не советую...

Наглость сразила Крылова. Он сидел молча. А Гулыга по-своему понял молчание Крылова. Сменил гнев на милость, добродушно сказал:

— Не тужите, старина. Помните, философ сказал: все проходит.

Совершенно автоматически Крылов поправил:

— Философ не так сказал..

— А плевал я на ваших философов, — прервал его Гулыга. — Опять к чепухе вяжетесь. Мысль-то правильная... Как и все, что я вам говорю.

Крылову хотелось взять реванш,

— И насчет Панченко правильно?

— Этого ублюдка?! — Гулыга уже полностью пришел в себя. — Жаль, сам не добрался до шакала! Вы с Ржановым говорили?

— Говорил.

— Ну и что? Что он сказал?

— То же, что и вы.

— Так чего же вы еще копаетесь! — Гулыга позволил себе повысить тон.

— Чтoб докопаться. — И извлек из папки вторую бумагу. — Ознакомьтесь, Петр Елизарович.

— Давайте-давайте, — презрительно махнул он рукой. Не глядя на нее, поманил пальцем мальчишку, игравшего с мячом, подмигнул ему: — Ну-ка дай пас.

Паренек улыбнулся, ткнул ногой мяч. Гулыга отфутболил его не по годам лихо и совсем по-мальчишески закричал:

— Го-ол! Один ноль в мою пользу. — И многозначительно посмотрел на Крылова. Неторопливо достал очки и углубился в чтение.

Читал с интересом. И вдруг взорвался смехом. Едва успокоившись, вытер платком глаза.

— Ох, Сергей Алексаныч, Сергей Алексаныч, дорогой же вы мой, хороший. Ну где вы найдете подпольщика, который не уничтожил бы такое письмо, как только прочел? Где такие подпольщики производятся, откройте секрет? И какой же прозорливый историк, какой летописец прятал его столько лет, бережно сохраняя для вас?

Неожиданно в голосе его послышались угроза и негодование.

— Чистейшей воды липа! Я вам скажу, кто их производит. Я вам точно скажу: сыночек Панченко. Только он мог такую фальшивку состряпать. Признайтесь — он вам дал?

— Нет, не он.

Гулыга почувствовал неуверенность в голосе Крылова.

— Извините, не верю. Не он — так сестра, не сестра — так мамаша, все равно его рук дело.

Крылов промолчал. Поощренный этим, Гулыга наступал:

— Думаете, раз-два — и задавили Гулыгу? Да я, если что... весь мой отряд... все боевые партизаны, немало их еще

осталось... в Москву, единым строем... Да я к самому Антону Алексеевичу не постесняюсь, к Ржанову Федору Максимычу пойду... Нет, — забормотал он как бы самому себе, — Федя в обиду нас не даст... Так что, дорогой товарищ писатель, — неожиданно подобрел он и, приобняв Крылова за плечи, добавил: — Гулыгу, Сергей Александрович, голыми руками не возьмешь.

Пока он говорил, настроение у Сергея Александровича портилось. Убедительно говорил. В самом деле, как мог сохраниваться такой документ десятилетиями? И не скажи Гулыга: «Федя в обиду нас не даст...» — кто знает, не поколебался ли бы в своих убеждениях Крылов. Он хорошо помнил разговор с Ржановым. Нет, не те у них отношения, чтобы Гулыга мог его Федей называть. Один раз только и виделись. Значит, шантаж. И он с большим интересом спросил:

— А если не голыми, Петр Елизарович? А? Как вы думаете, если попробовать не голыми?

27

Едва заметными тропами Гулыга шел по лесу, пробиваясь через заросли. Машину он оставил близ охотхозяйства и, ничего не сказав шоферу, пошел. Это был какой-то другой, незнакомый Петр Гулыга — походка другая, движения, лицо другое, заострившееся, хищное.

Шел, расталкивая кусты, раздвигая ветки. Шел, казалось, без всякой цели, куда ноги несут. Но было место, к которому он стремился, может быть, подсознательно, помимо воли. И чем ближе подходил к нему, тем отчетливее всплывали в памяти те давно отзвучавшие слова и звуки...

Остановился у большого скалистого выступа. За ним виднелась огромная квадратная яма с плоским, поросшим травой дном. И вот уже нет ямы, вместо нее — землянка, а в ней, просторной, с обитыми досками стенами и потолком, идет гульба. Потолок увешан окороками, у стен — ящики, мешки с сахаром, крупой. В углу большой горкой насыпана картошка.

Гуляют парни и девки. Перепоясанный ремнями, с «вальтером» на боку, играет на баяне Гулыга. Молодой, чубатый — залюбуешься. Он поет, и ему подпевают. И песня эта о том, что живет человек на земле один раз и должно у него хватить ума выжить, выжить любой ценой, а там все порастет быльем, и звучат в ушах слова припева: «Все воронки зарастают...»

Вбегает Хижняков, тоже молодой, здоровый, с автоматом и гранатами за поясом, громко кричит:

— Староста с Луговым!

— Не пускать! — командует Гулыга, отбросив нервно всхлипнувший баян, и выскакивает из землянки.

Он пошел навстречу приближающимся Панченко и парню с деревяшкой вместо правой ноги. Еще издали вызывающе бросил:

— Опять агитировать пришел!

Иван Саввич молча посмотрел на него. Потом твердо, с достоинством сказал:

— Не я агитирую, партия призывает.

— Ты партией не козыряй, тебя из партии выгнали.

Панченко переступил с ноги на ногу.

— Уже восстановили, но не обо мне речь. Когда к партизанам уйдешь? Месяц назад говорил — завтра, так завтраками и кормишь. Может, и пообедать пора? Или опять скажешь — завтра?

Гулыга насмешливо улыбнулся:

— Не-е, не скажу. Сытого гостя нечего потчевать. Что это я, боевой танкист, капитан, в какой-то отряд пойду! Я сам теперь командир, у меня свой отряд.

Иван Саввич покачал головой:

— Танкистом, может, ты был боевым, а сейчас дезертир. Ты вот кто, — показал на дерево. В стволе, где вырвало осколком дыру, шевелился клубок. Не то червей, не то насекомых. — Мародерствуешь, на народе паразитируешь, вот как они.

Гулыга с ухмылкой посмотрел на него.

— Ну и дальше?

— Дальше? Предупреждаю в последний раз. Срок тебе два дня. Не пойдешь — собственными руками расстреляю.

Подались вперед, приблизились Хижняков, Чепыжин и еще кто-то. Панченко круто повернулся и пошел. За ним, стуча деревяшкой, спешил Луговой...

— Петро!

Петр Елизарович обернулся. Сзади за его спиной стоял Хижняков. Молодой Хижняков, увешанный оружием.

Гулыга зажмурил глаза. Когда он открыл их, Хижняков уже стал сегодняшним, постаревшим.

— Будь ты проклято! — неизвестно в чей адрес выругался Гулыга. — Ты что, шел за мной?

— Ага. Машину твою увидел... Куда это, думаю, его понесло на ночь глядя?.. Смотри, — он указал на большое чер-

гое пятно посередине ямы, где когда-то была землянка. — Так и не заросло... Сколько лет прошло.

— Не все воронки зарастают, — задумчиво сказал Гулыга, — не все. Вот в чем беда...

Помолчав, хлопнул по плечу Хижнякова.

— Ничего, зарастут. Мы посеем травку там, где она сама не всходит.

Крылову не терпелось повидаться с Чугуновым. Есть ли новости? Николай Петрович был занят, просил подождать немного.

— Можете пока ознакомиться с объяснением Голубева... Вот запись его рассказа товарищу Званову. — Он дал Крылову диктофон, сказал, чтобы шел в зал заседаний и прослушал.

В пустом зале он включил аппарат и услышал голос Голубева:

«В начале войны мы попали в окружение. Выходили из него трудно, просачиваясь через лес группами и по одному. Из нашего маленького отряда мало кто уцелел. Блуждал я по лесам, бог знает чем питался, пока не выбрался к большому селу. Весь заросший, в рваной гимнастерке, изодранных штанах, долго высматривал — следил из леса за селом. Ходили там люди, а немцев, похоже, не было. Надо, подумал, до темноты идти, ночью, может, патрули какие ходят. Автомат свой в лесу надежно спрятал и пошел. Только спустился с косогора, у первых хат заметил двух полицейских и юркнул в полуразрушенную трубу под насыпью.

Заметил я их поздновато — увидели меня. «Вылазь! — кричат и грохочут по трубе прикладами. — Вылазь, а то в трубу стрелять будем!» Что оставалось делать — вылезая.

Повели меня, подталкивая прикладами. Затолкали в какой-то дом, кричат наперебой: «Партизана поймали!» За столом, смотрю, мужик, здоровый, широкоплечий, с огромными ручищами. Справа от него на столе туго скрученная нагайка. За поясом маузер без кобуры. Глянул он зло на меня, а этим паразитам улыбается. «Молодцы, ребята, — говорит и как рывкнет на меня, схватившись за нагайку: — Партизан, сукин сын?» Я молчу, а он опять к ним: «Продолжайте, ребята, обход, а я разберусь, что за птица... Отвечай, сволочь!» И замахнулся на меня нагайкой.

Полиции ушли, а у меня душа стала закипать. Зубы зажал, но сдерживаюсь, знаю — хуже будет. «Нет, не парти-

зан, — говорю, — а против фашистов воевал, сержантом был». — «Врешь, стерва! — заорал он, и зисвистела его нагайка чуть ли не по лицу. — Не сержант ты! Вижу тебя насквозь!» И не выдержал я. Ах ты, думаю, фашистская гадина, мне ли, командиру Красной Армии, перед тобой, продажной пикурой, юлить! И — будь что будет! Да, говорю, не сержант, а старший лейтенант, начальником штаба дивизиона был. И понесло меня, будто разум потерял. Три курса, говорю, Военно-инженерной академии имени Куйбышева прошел, не успел кончить, а с фашистами кончим, таких, как ты, вешать будем... Еще что-то рвалось из меня, а он — глазам своим не верю — улыбнулся, руки ко мне тянет. «Так дорогой же ты мой, — говорит, — ты же мне позарез нужен, у меня же нет таких грамотных, как ты. Вместе будем фашистов вешать».

Опешил я и слова сказать не могу. А потом засомневался. «Как же, — говорю, — если ты против фашистов, первому встречному раскрываешься?» А он опять улыбается: «Чудак ты, парень, ты тут такое наговорил, что впору на виселицу. Значит, ненавидишь их, как и я, а надо будет — и на смерть пойдешь, как же тебе не поверить».

Тут зашли Хижняков и Чепыжин. Тогда я их только первый раз увидел. «Вот, — сказал Хижняков и полез в карман. — По приказу коменданта пришел партбилет сдавать». И протягивает его Ивану Саввичу. «Ах ты гадина! — закричал Панченко и со всего размаху отвесил ему пощечину. — Собственными руками расстреляю!» И схватился за маузер. А Хижнякова и Чепыгина и след простыл. Скрылись они, по хуторам прятались. А месяца за три до освобождения объявились в отряде Гулыги».

Дальше Голубев подробно рассказывал о подпольной работе вместе с Саввичем, и это совпадало с тем, что говорил в гостинице Дмитрий Панченко.

Судя по записи, Званов ни разу не прервал Голубева. Только когда он закончил, спросил: «Как же он мог так безрассудно поступать? Эти-то двое могли на него донести». — «Горячая голова был человек, — ответил Голубев. — Предателей ненавидел люто, больше, чем гитлеровцев. Не раз бывало — не сдерживался. И на рискованные, очень рискованные дела шел. Однажды схватили партизана с наганом. Схватили полицаи, но и немец из комендатуры это видел. Так Саввич что придумал? Допрашивает партизана и говорит ему: «Значит, ты по приказу коменданта отправился сдавать оружие, которое случайно нашел, нес открыто, не прятал его, а полицаи тебя схватили?» Парень поначалу

растерялся, а потом быстро заговорил: «Да, да, так и было, никакой я не партизан, нес наган сдавать». Саввич все объяснил пемцу, сказал — хорошо знает человека, надежный человек, Советской властью притеснялся, вполне можно верить. Так и спас человека».

Выключив аппарат, Крылов задумался. В ином свете предстали Хижняков и Чепыжин. Но трибунал... Как объяснить приговор военного трибунала?

Уже потом, когда вместе с Чугуновым пошли к Званову, когда рассказали Крылову о первых итогах расследования органов госбезопасности, этот мучительный вопрос возник с новой силой. Было установлено, что Панченко схвачен гестапо вместе с группой подпольщиков в конце сорок второго года. Ни массовых расстрелов, ни угонов людей в Германию при нем не было. В ходе проверки работники обкома партии нашли нескольких человек, избежавших гибели только благодаря «ротозейству» бургомистра. Однако трое жителей Липани подробно рассказали, как вели на казнь бургомистра, слышали приговор, где говорилось о его карательных акциях, о личном участии в расстрелах людей. Чем же все это объяснить?

Сергей Александрович рассказал Званову о своей беседе с Ржановым. Сообщил и о последних встречах с Зарудной и Гулыгой. Положил на стол фотокопию письма Братченко, передав, как реагировал на него Гулыга.

Судя по лицу Званова, он не одобрил этих встреч, но смолчал. Долго смотрел на письмо, с грустью сказал:

— Огромного таланта и мужества был человек. Ему бы жить и жить... Проверьте подлинность письма, — протянул его Чугунову.

Тот взял бумагу, повертел в руках.

— Трудно очень, Владимир Михайлович. Никого, кто работал с ним, кто знал бы почерк, в живых не осталось.

Владимир Михайлович поднял на него глаза:

— Это вы серьезно?

Чугунов молчал. А Званов уже другим тоном, как бы извиняясь за свой вопрос, пряча неловкость за недогадливость человека, объяснил:

— Возьмите в партархиве из личного дела Братченко его автобиографию, написанную от руки, и вместе с письмом передайте в институт криминалистики. Эксперты и установят. Кстати, пусть определяют, когда оно написано — десятилетия назад или, как утверждает Гулыга, в наши дни.

Сергей Александрович еще раз подумал: «Нет, не так

прост и наивен этот секретарь, как показалось при первой встрече. Вот ведь как повернул вопрос, озадачивший Чугунова. Всю дорогу в обком мучился: может, прав Гулыга? А до чего же просто — проверить подлинность записки экспертизой. Что-то она покажет?»

Эх, не сидеть бы сейчас Крылову в Лучанске, а мчаться в Среднюю Азию, к искусственному озеру Чирчик, где обосновался любитель-пчеловод и руководитель военно-патриотической работой, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Федор Ильич Зыбин. Тот самый Зыбин, кто, будучи полковником, выводил из окружения свой отряд, кто предал трибуналу бургомистра Панченко и утвердил смертный приговор.

Откуда мог знать об этом Крылов! Откуда он мог знать, что обком партии уже разыскал его и отправил ему письмо.

28

Большой отряд нестройно шел через лес — может, двести человек, а может, и триста. Вперемешку — пехотинцы, танкисты, моряки. Не сразу различить их форму — измятые, с белыми, засохшими разводами пота гимнастерки, жеванные, со следами глины и земли штаны. Кто в сапогах, кто в ботинках, и видно — не по асфальтовым дорогам, лежал их путь. Гнулись бойцы под тяжестью противотанковых ружей, натужно тащили тяжелые пулеметы. Не шли — плелись. Плелись и кони, запряженные в повозки с поклажей.

Навстречу отряду, тоже по лесной просеке, выскочили три всадника. На них такая же выдавшая виды одежда. Остановились возле командира отряда полковника Федора Ильича Зыбина. Соскочил с коня лихой чубатый парень. По годам уже не парень, лет тридцать пять — по повадкам боек. И по-боевому доложил:

— Товарищ полковник! Село огромное, дворов двести. Немецких гарнизонов нет. Охранение выставил, посты расставил, можно спокойно располагаться.

— Давно ушли из Липани? — спросил полковник.

— Они тут не останавливались. Только комендатура и то километров за пятнадцать отсюда. Здесь только староста да полицаи.

Отряд Зыбина выходил из окружения. Сначала он был немногочисленным. По пути подбирали других окруженцев, но была это не просто толпа отчаявшихся людей. Их вел талантливый кадровый командир, сумевший вселить веру в

потерпевших поражение людей, сплотить их, выделить из массы стойких командиров. Нет, это была не толпа. Были и батальоны, и роты, и отделения, была суровая дисциплина, был и военный трибунал, созданный приказом командира.

Особое значение Зыбин придавал разведке. И знал он, командир Зыбин, где сосредоточены значительные силы гитлеровцев, делая большие крюки, обходил их, вел свой отряд без боев, а там, где столкновение оказывалось неизбежным, принимал бой. После каждого боя отряд уменьшался, но вскоре вновь рос, вбирая в себя группы окруженцев.

На ночлег довольно часто останавливались в селах, где не было немецких гарнизонов. Старост и полицаев, если их руки не были в крови, не трогали, а уж если лютовали, пещадил их трибунал.

В Липань отряд пришел перед вечером. Расположились по избам. В одной — командир отряда Зыбин, начальник штаба Кротов и комиссар Бойченко. Поужинав, разложили на столе карту. Отпустили пояса, расстегнули гимнастерки.

— Пробиваться будем вот здесь, — ткнул пальцем Зыбин в карту.

В комнату вошла пожилая женщина.

— Может, еще чайку, не стесняйтесь.

— Куда ж еще?

— Спасибо, мамаша.

— Ну-ну, а то горячий, в печке стоит. — С тем и ушла.

— Какой остался запас патронов на бойца? — спросил Зыбин начальника штаба.

Кротов задумался, подсчитывая в уме, перебирая губами. А комиссар с укоризной:

— Ты все, Федор, о боеприпасах печешься, верно, конечно, без них — труба... А только сегодня последние запасы доедаем, уже из резерва.

— Интересной информацией вы меня снабжаете, — бросил на стол карандаш Зыбин и заходил по комнате. — Я-то этого, конечно, не знаю. — И уже без иронии: — Какие предложения?

— Пройти по домам, другого выхода не вижу, — не задумываясь, ответил Кротов.

— Опять по домам? — вздохнул комиссар.

— Товарищ полковник! — появился на пороге постовой. — Старосту поймали. — Он отступил, пропуская в комнату Панченко.

— Не «поймали», а сам пришел, не убегал, — спокойно и с достоинством поправил вошедший. — Да, старо-

ста, бургомистр, можно сказать, Панченко **Иван Саввич**.

Все трое с интересом посмотрели на него.

— Смелый ты, прихвостень. — Полковник прошелся по комнате. — Или хитрый очень. Что это ты сам в руки даешься?

Смолчал староста. И опять же с достоинством смолчал, не склонив головы.

— Отведите его к Стрельцову, пусть разберется, — приказал Зыбин.

Уже вышли было, когда комиссар крикнул:

— Эй, минутку! Если ты такая важная птица — хозяин района, можешь накормить людей?

— Могу.

Нет, этот предатель положительно чем-то нравился комиссару. То ли привлекательной внешностью, умными глазами, то ли спокойствием и достоинством, с каким держался.

— Нас много. Чем располагаешь?

— Видел, что много. Муки мешков пять могу, пшеница, гречки, одного быка... Только при условии, что дадите расписку.

«Что за чертовщина? шутит он или затеял что-то?» — это не сказал, только подумал полковник. А сказал резко:

— Условия буду ставить я! Понял?.. Где все это добро?

— В лесу. Только без меня не найдете.

— А-а, — недоверчиво протянул полковник и обернулся к постовому: — Проводите во двор, а ко мне срочно Стрельцова и Павлова.

И вот он уже их инструктирует:

— Скорее всего ловушка, Стрельцов. Смотри не попадись. Не поддавайся на пчелкин медок, у нее и жало есть. А ты, — обернулся к Павлову, — пошуруй хорошенько, разузнай, что за зверь. Что жители о нем говорят.

Вскоре из глубокой лощины, густо заросшей деревьями и кустарником, где, кажется, не ступала нога человека, люди Стрельцова вели быка и тащили тяжелые мешки.

Его доклад командиру был для Зыбина неожиданностью. Не верилось, что все так просто. Не поколебал его сомнений и Павлов, доложивший, что ни один житель ничего плохого о старосте не сказал. Тем не менее полковник приказал отправить его под арест.

Когда люди разошлись и остались только командир с комиссаром, Бойченко решительно запротестовал. Как же так, человек добровольно явился, сам предложил продуктов дать, люди хорошо о нем говорят — и под арест.

— А как же ты думал! — рассердился Зыбин. — Бросил нам кость, правда жирную, чтоб надежнее шкуру свою спасти.

— Зачем же Павлова посылал? — прицелился на него взглядом комиссар.

— А что Павлов? Люди напуганы и запуганы, понимают — мы уйдем, а его уберем или нет, не знают. Вот и боятся против него слово сказать. Нет, зря бургомистрами немцы не назначают. А этот — ты ведь тоже доклад Павлова слышал — еще когда из партии был исключен.

— Благородно поступаешь, командир, — с издевкой сказал Бойченко, — с умом действуешь. Продукты взяли, толку от него больше нет, можно и под арест... А перед уходом и шлепнуть на всякий случай — для спокойствия.

— Шлепнуть не шлепнуть, а торопиться выпускать не будем. К утру, может, цену какую за свою шкуру предложит... Утро вечера, как говорится... Давай спать. Зря шлепать не станем, чего ты взъелся.

Около часу ночи постовой разбудил полковника:

— Товарищ командир! Арестованный просится, говорит, паиважнейшее неотложное дело.

Зыбин сел, потянулся за папиросой, встряхнул головой, сбрасывая остатки сонных бактерий.

— Веди, черт с ним.

Еще с порога Панченко сказал:

— Дело у меня важное, неотложное, но говорить могу только с глазу на глаз.

Полковник взглянул на постового, и тот вышел.

— Вот что, товарищ полковник. — Панченко сел не спрашиваясь. — Не староста я и не бургомистр. А чувствую — затеяли вы против меня недоброе. Как понимаете, предвидеть вашего прихода не мог. — Он взглянул на часы. — Через десять минут начнется подпольное собрание. Пойдемте со мной, сами все увидите.

Полковник молча смотрел на Панченко. Так ничего и не ответив, крикнул постового:

— Отведите арестованного, а ко мне — Стрельцова!

Через несколько минут Зыбин и Панченко шли, пересекая огороды. На некотором расстоянии от них, рассеявшись подковой, двигались автоматчики, человек десять, во главе со Стрельцовым. Шли, не выпуская из виду своего командира и его спутника. А те вошли в одиноко стоявшую, должно быть, брошенную хозяевами избу. Автоматчики безмолвно окружили ее.

Полковник и Панченко прошли через тускло освещенные сени, где сидел какой-то человек, староста распахнул дверь в комнату. Она тоже была слабо освещена, но опытный взгляд Зыбина ничего не упустил. Окна расположены высоко, с улицы не заглянешь, да и занавешены надежно. Вокруг длинного стола — человек двенадцать. Все без оружия. Староста прошел к пустому месту у торца стола, отодвинул стул и указал на него полковнику:

— Прошу садиться. — Потом обратился к собравшимся: — Это командир части, остановившейся у нас. Говорить при нем будем все. — Тон у него был спокойный, уверенный. Видать, знал человек цену своему авторитету. Оглядев собравшихся, продолжал: — На повестке дня сегодня у нас один вопрос — мое устное заявление об освобождении меня от нагрузки старосты.

Люди неодобрительно загудели. Жестом успокоив их, снова заговорил:

— Первая причина. Не выдерживают больше нервы. Вы знаете — снова сорвался, при Чепыжине ударил Хижнякова. Они где-то прячутся и молчать не будут. При первой возможности донесут. Вторая причина. Бергер стал ко мне относиться настороженно, боюсь, учуял что-то.

Снова неодобрительно зашушукались люди.

— Спокойно, товарищи, — поднял он руку. — Это только на пользу делу. Берусь правдоподобно обосновать Бергеру свою просьбу об освобождении, подставив кандидатуру, которую сейчас наметим...

— Не получается, Иван Саввич, — поднялся человек с деревянной ногой. — Понимаешь, не получается без тебя. Ты нас всех соединил, — обвел он рукой присутствующих, — ты организовал и отправил отряд Гнедого, а главное — тебя подпольный обком знает и признает. Как же без его ведома!.. А Хижнякова и Чепыжина запросто в расход пустим.

— Как же в расход! Ты что говоришь, Луговой, — с упреком сказал Панченко. — Я только подозреваю, что они меня продадут. Что же, за одно подозрение?

— Тут уважительная причина у Саввича одна...

Зыбин обернулся на старика, коренастого, крепкого и, судя по всему, авторитетного, ибо все умолкли, гул стих.

— Только одна, — повторил он, — как поднять авторитет Саввича у немцев. Только о том и должны мы сейчас толковать. Хижнякова и Чепыжина припугнем, они как рыбы молчать будут. А чтобы полное доверие Саввичу у коменданта... можно и пожертвовать чем. Подумать надо.

Зыбин смотрел на людей, слушал. Нет, не спектакль — подпольщики. Его взгляд остановился на Панченко. Видать, героический человек. Полковника осенило. Он поднялся, заговорил. Его план, достаточно сложный, был призван надежно укрепить в глазах врага веру в бургомистра. Зыбин предложил инсценировать казнь Панченко как верного служаки гитлеровцев. Коменданту, конечно, донесут, а сам Панченко доложит, как удалось избежать казни.

29

Не шантажировал Крылова Петр Елизарович, когда говорил: «Гулыгу голыми руками не возьмешь». Знал, что говорил. Где там голыми — щипцами не ухватишь. И в ступу загопишь, а пестом не попадешь — извернется! Защищенный высотой своего поста, обросший надежными связями, заранее подготовивший сильные аргументы, оправдывающие любые его корыстные дела, имея за спиной немало людей, готовых свидетельствовать в его пользу, он и в самом деле уверенно обходил все рифы.

Два работника обкома партии точно установили: ремонтная мастерская 312-го танкового полка при передислокации сделала короткий привал на опушке леса близ Липани. Во время привала и «пропал» без вести Гулыга. Сверили числа — в тот же день он появился в своем селе, в родном доме.

Никаких сомнений — дезертирство.

Это обвинение обидело, оскорбило Гулыгу — он пришел в благородное негодование. Шутите, что ли! Во время той остановки отошел в лес, для того и останавливались, когда уже возвращался, увидел группу гитлеровцев, довольно многочисленную группу, двигавшуюся параллельно шоссе. Не будь приказа: ни в коем случае не ввязываться в бой, — нашел бы, что делать. Но приказ есть приказ. Пришлось затаиться. А они, как назло, неподалеку от него остановились. Когда пошли дальше, выскочил на шоссе. А от подразделения и след простыл. Попробуй догони! Какое же это дезертирство! Кто видел? Кто может подтвердить такое нелепое обвинение? Будь это дезертирство, и в справке так бы указали, а то видите — пишут: пропал без вести. И тяжелый, неподдельный вздох — сколько их, верных сынов отчизны, пропало без вести! Ну что ж, зачисляйте их в дезертиры, валяйте, пишите, чего уж там церемониться.

Оправданиям Гулыги не верили. Тем более знали — когда полк еще стоял на месте, не раз говорил товарищам: родное

село совсем рядом, сбегая туда, гостинцев притащу. Но мало что не верили. Вы попробуйте докажете! Всякое на войне случалось. И люди уже не могли с уверенностью говорить о его дезертирстве.

Каждую улику он опровергал, выставляя свидетелей, подвластных ему, или таких, что повязали по рукам и ногам незаконно розданными квартирами, должностями, машинами, или связанных с ним общими, далеко не стерильными делами. В его пользу говорили и люди, чье служебное положение и личное благополучие зависели от того, останется ли он на своем высоком посту или будет разоблачен.

Почти два месяца шла проверка. Пятьдесят пять дней настойчивой исследовательской работы представителей обкома, органов безопасности и других организаций. И не было у них помощника более энергичного и цепкого, чем Крылов. Целыми днями и вечерами он просиживал в партийном, государственном, военном и партизанском архивах, перечитал многотиражные газеты военного времени — и гитлеровские и подпольные, выпускавшиеся патриотами Лучанской области, — разыскал рукописную историю 312-го танкового полка. По адресам, выявленным обкомом, летал в разные уголки страны, куда разбросало оставшихся в живых участников событий тех далеких дней в Липани. Самую большую радость доставила встреча с Зыбиным.

Шаг за шагом проступала правда. Давалась она ценою огромных усилий. Гулыга отрицал все. Ему показали выводы экспертизы: письмо, адресованное Панченко, написано и подписано собственноручно секретарем подпольного обкома. Не признал: «Экспертиза буквы разглядывала, а я злодеяния бургомистра своими глазами видел. На свои глаза свидетелей не ставлю. Эксперты тоже не святые, и они ошибаются».

Доводов его не приняли, по ряд обвинений, в обоснованности которых никто не сомневался, Гулыге удалось ответить — нет документальных доказательств.

И настал день, когда Званов назначил заседание бюро обкома с одним вопросом: персональное дело Гулыги П. Е.

Многие лица в зале заседаний были знакомы Крылову, иных видел впервые. Члены бюро сидели за длинным столом, приглашенные — вдоль стен. Задержал взгляд на Зыбине. Впервые он увидел его на пасеке. Застал за любимым занятием — возился в пчельнике, гостей не ждал, на нем меш-

ковато сидел тренировочный костюм. И похож он был на старого пасечника, будто всю жизнь только и занимался пчелами. Но сейчас он в полной военной форме. На груди — Звезда Героя и внушительные ряды орденских планок. Крупное, чуть красноватое лицо, на котором тяготы военной жизни навсегда оставили свой след. Дальше два незнакомых человека, а за ними — Валерия Николаевна. Склонила голову, нервно теребит на коленях платочек. Рядом сам Крылов. Как получилось, что они рядом? Он не стремился к такому соседству, она тем более. Само собой получилось. По другую сторону от Крылова — Голубев, Никита Нилович. Не по себе ему. Трет руки, сидит беспокойно. И понять его можно.

Степан Луговой — одна нога согнута в колене, другая, искусственная, вытянута вперед. Два раза резали эту теперь не существующую ногу — один раз по колено, потом чуть не до самого бедра. Рядом другой инвалид войны, Горохов, бывший командир 312-го танкового полка, героического полка, высшей славы достигшего в сражении на Курской дуге. Чуть дальше совсем дряхлый старик с живыми, молодыми глазами — Гаврила Чумаков. Еще дальше Забаров и Артюхов. Так и не удалось встретиться. С ними беседовали представители обкома.

Не в силах сдержать нервного напряжения, ерзал на стуле Прохоров. Ремизов демонстрировал чувство собственного достоинства. Не получалось. Предательский страх то и дело проскальзывал в глазах.

У противоположной стены сидел один Гулыга. Сидел в одиночестве. Лицо спокойное, руки — на толстой палке бумаг.

Первое слово Званов предоставил председателю партийной комиссии Чугунову. Он начал с сути дела — как оно возникло, как велась проверка и что она показала. Из сухих, официальных слов вдруг начал вырисовываться и предстал перед слушателями делец крупного масштаба, вся жизнь которого — сплошной обман.

Затем слово получил Гулыга.

Наступил момент, к которому он тщательно готовился. Готовился не один и даже не столько он, сколько его правая рука, его надежнейший помощник Станислав Арбин, безраздельно преданный Гулыге, без которого тот шагу не делал. Широко эрудированный юрист, опытный адвокат, он занимал в объединении скромную должность юрисконсульта. Обладая гибким умом и феноменальной памятью, он держал в голове множество фактов, цифр, исторических событий, фа-

милый, биографий людей, номеров телефонов и еще бог знает каких данных, хранил все это на невидимых мозговых полочках, чтобы использовать в нужный момент. Он, казалось, мог выпутаться из самой густосплетенной сети, выгородив злостного нарушителя государственной дисциплины, обвинив при этом невинного, подтасовав факты, извратив истину, умело и тонко вуалируя законом беззаконие. Практически все аморальное, корыстное, что совершил Гулыга, апробировалось Арбиным. Верил ему безгранично, ибо щедро, куда как щедро оплачивал услуги своего юриста.

Когда Гулыгу впервые вызвали в обком партии для объяснений, он не придавал этому особого значения, ибо еще в полной мере верил в собственную безнаказанность, — лишь мельком сообщил Арбину о состоявшейся беседе. Но тот своим волчьим нюхом учуял всю серьезность нависшей угрозы.

К черту браваду! Оценить, понять опасность! Но и никакой паники. Только холодный рассудок.

К слову, Арбин поведал ему одну историю, хотя не был убежден, что это не анекдот. Знаменитый русский адвокат Плевако однажды зашел в камеру подзащитного и сказал: «Не беспокойтесь, я неопровержимо докажу, что убийца не вы. Но чтобы мне легче и надежнее было строить защиту, до мельчайших подробностей расскажите, как именно вы совершили убийство».

«С этого и начнем, Петр Елизарович, — предложил Арбин. — Расскажите мне во всех деталях не только то, что удалось узнать обкому, но и до чего они не докопались. Опустите все, что я знаю, и расскажите то, о чем не знаю и я».

Каждая новая встреча в обкоме — а их было четыре — обсуждалась и тщательно анализировалась. Было точно установлено, что именно известно обкому партии, что можно будет опровергнуть, какие факты придется признать, как объяснить их, чем мотивировать.

Заранее были взвешены все обстоятельства дела, все возможные повороты в ходе разбирательства. До деталей продумано, как надо будет вести себя, определена тональность выступления в зависимости от того, о чем в данный момент будет говорить, какие эмоции брать на вооружение. Подверглись обсуждению характеры членов бюрс, определены методы воздействия на них. Одних можно разжалобить, других взять раскаянием, третьим вселить веру в него как в человека пусть ошибавшегося, по способного сделать правильные выводы, извлечь уроки из своих ошибок и в дальнейшем еще принести большую пользу обществу.

Выступление Гулыги на бюро обкома партии, его заключительное слово и возможные вопросы и ответы на них написал Арбин. Главная задача Гулыги — не оторваться от текста. Что бы там ни говорили, следовать только тексту. Пусть десять раз будут выворачивать из него душу — значит, десять раз отвечать одно и то же. Не дать сбить себя. И никаких эмоций, кроме запрограммированных. На всякий случай запомнить генеральное направление: обойти острые углы и выложить свой главный козырь. Без эффектного жеста, по рассказать о своей двухлетней партизанской борьбе, не выпячивая себя лично, и так поймут: ведь командиром отряда был он. Рассказать о своем личном вкладе в дело победы над фашизмом, но опять-таки умело, скромно, как говорят о своих подвигах истинные герои. И как бы между прочим, вроде бы не специально, а к слову, но привести внушительные цифры уничтоженных его отрядом гитлеровцев, их техники, назвать фамилии бывших своих партизан, героически погибших, впечатляюще обрисовать, как пускали под откос вражеские поезда, нет, не он лично, но мельчайшим штришком, никак не выпячивая себя, но все-таки дать понять, что и он там был, а ведь он — командир, значит, поймут: под его руководством свершались эти подвиги. Поди теперь проверь, попробуй!

Точно талантливый режиссер, Арбин отработывал с Гулыгой жесты, мимику, голос, выражение глаз.

30

И вот настал момент. Получив слово, Гулыга поднялся, тяжело вздохнул, невидящим взглядом обвел сидящих за столом. Заговорил растерянно, виновато:

— Не знаю, товарищи члены бюро обкома, — оглядел сидящих за столом, — не знаю, с чего начать. Надеюсь, вы понимаете мое состояние, мое волнение и не взыщите, с пониманием отнеситесь к тому, что мое выступление не будет носить стройного характера — слишком тяжелы мои ошибки.

Он умолк, словно собираясь с мыслями, и после короткой паузы продолжал:

— Прежде всего должен выразить свою благодарность областному комитету партии, лично товарищу Званову, товарищу Крылову, всем товарищам, которые раскрыли мне глаза и помогли оценить свои поступки в их истинном неприглядном свете.

Званов поморщился, но не прервал его. От Гулыги не ус-

кользнуло недовольство секретаря обкома. Не смутился — благодарность каждому приятна, если даже не покажет виду.

— И поверьте, — прижал он к груди руку, — я в полной, исчерпывающей мере осознал свои ошибки, каждой клеткой ощутил всю их глубину, и горькое раскаяние, охватившее меня, понимаю, не может смягчить моей вины. Не стану искать оправданий, хотя кое-что и мог бы привести, и лишь надежда, что вы поверите в мою искренность, поддерживает меня сейчас.

Гулыга говорил, умело обходя серьезные обвинения, которые ничем не мог объяснить или опровергнуть, иные представлял мелкими, совсем не значащими, словно недоумевая, как можно такие мелочи предъявлять через столько лет. И, перечисляя обвинения, и в самом деле не главные, мимоходом называл и весьма серьезные, будто и они из того же ряда мелких промахов.

Начал с того, что признал обман, подлог в биографии, другие проступки, которые, впрочем, называл лишь ошибками молодости, да и то совершенными из лучших побуждений. Упирали на свою бескорыстность и постепенно свел их на нет, так что перед человеком непосвященным вырастала фигура боевого партизанского командира, правда имевшего некоторые промахи — а у кого их нет, — но честного, верно служившего родине.

В зале стояла напряженная тишина. Гулыга говорил тихо, слова его звучали искренне, в них чувствовались боль и горечь.

— Да, — продолжал он, — мой полк попал в окружение, я выбрался и организовал подполье и партизанский отряд. Важно, что я — не кто иной — создал в районе невыносимые условия для врага. Да, я назвал себя боевым танкистом, капитаном, но это исключительно из патриотических побуждений. Время было тяжелое, паи менее стойкие начинали терять ориентиры, и надо было вселить в людей веру, заставить пойти за собой. Вот я и назвал себя командиром танкового взвода. А потом это уже перешло в документы... Сейчас-то я осознал всю порочность своего поведения. Владимир Ильич не раз указывал, что людям надо говорить правду, какой бы невыносимо горькой она ни была. Но в моей тогда молодой, почти мальчишеской голове все представлялось иначе: только бы пошли за мной на святое дело защиты родины. Подумайте, товарищи, не для оправдания говорю, хочу лишь объяснить свой поступок — разве в то время, когда

на каждом шагу нас подстерегала смерть, мог ли я, молодой и горячий, думать о какой-то корысти. Да и никакой корысти не извлек я, кроме той, что люди пошли за мной на смертельные схватки...

Гулыга и Арбин все предусмотрели. Спокойная, без эмоций изложенная информация Чугупова, даже не выводы, а только факты, должна была произвести на членов бюро сильное впечатление, отнюдь не в пользу Гулыги. Ему, быть может, и удастся смягчить, сгладить это впечатление. Но вот, оказывается, не все предвидели. Не зря, ох не зря здесь столько посторонних. Для него-то они не посторонние, может быть, только этот генерал со Звездой Героя, а остальных, односельчан да и других, прискакавших сюда из разных городов, откуда только их выкопали, знал, хорошо знал. Со всем не посторонними они были для него когда-то. И не в качестве зрителей их пригласили. Будут говорить, и им есть что сказать. Значит, другого выхода нет, надо каяться. После каждого отвергаемого им обвинения рефреном звучало его покаяние.

Закончив, он тяжело опустился на стул. Несколько секунд исподлобья обегал глазами зал. Взгляд не задержался на ненавистных ему свидетелях, только чуть-чуть на Голубеве и Чумакове. Как они поведут себя? Пока шла проверка, с каждым из них успел поговорить, объяснил, в каком неприглядном виде предстанут перед бюро, если в третий раз изменят свою точку зрения. И пусть не лелеют надежду, что против них не возбудят персонального дела. Недвусмысленно обещал новые блага, если проявят благоразумие. Не проsto им сейчас. Что они скажут?

Зато Прохоров, Ремизов, — эти не подведут. С ними он не дипломатничал, не церемонился, сказал как отрубил — если не будут активно защищать его, проявляя при этом инициативу и настойчивость, заложит их, разделет донага, и не удержат им своих партбилетов. А они знают — сказал слово, так на нем хоть дом строй. Крепкое у него слово. Выхода у них нет — будут рытаскивать. А остальные... Появление их на бюро — полная неожиданность. Нет, эти будут топить. Топить живого, безжалостно и злобно.

Раздумья Гулыги прервал Званов:

— Есть ли вопросы, товарищи?

Люди молчали.

— Вы объяснили, — обратился к нему Владимир Михайлович, — что называли себя танкистом, командиром, чтобы люди пошли за вами, несмотря на вашу молодость.

— Верно, — с готовностью подтвердил Гулыга.

— А мемуары?

— Что мемуары? — насторожился Гулыга.

— Вы описали множество своих подвигов в боях, когда якобы были танкистом. Писали много лет после войны, отнюдь не в молодые годы.

Гулыга в смущении развел руками:

— Это, извините, вопрос не мне... Редакторы приписали... Опыта в этом деле у меня не было, сказали, даже в документальной литературе всегда допускается вымысел, но я все равно резко протестовал. А они — уже все сверстано, правку делать поздно, вы сорвете нам план, большой коллектив рабочих типографии лишится премии и так дальше. Что мне оставалось делать?..

— Нет! — прервал его Званов. — Мы смотрели рукопись, там только стилистическая правка.

Гулыга не знал, что ответить. Стоял молча.

— Еще вопрос, товарищ Гулыга, — нарушил молчание Званов.

— Позвольте, позвольте, разрешите уж ответить, — с обидой развел руки Гулыга. — Видимо, вы смотрели издательский экземпляр. Я знаю, точно знаю, там сохранился мой оригинал, прошу, Владимир Михайлович, послать за ним, пусть все члены бюро убедятся... Просто, если будет дозволено так говорить на бюро обкома, во имя истины я настаиваю на этом.

Всю жизнь Гулыга шел напролом. Шел на неправоое дело с открытым забралом, удивительным образом совмещая это с чистыми, невинными глазами и тихим голосом. Шел порою по краю пропасти и не боялся, ибо немислимый гибрид безграничной наглости и наивных чистых глаз, заслонявших ее, заставлял людей верить ему. Рисковал чудовищно, но не безрассудно. Вот так же, как и сейчас, — а вдруг пошлют за рукописью, пригласят редактора? Что тогда? Нет, с расчетом рисковал. Не пошлют — никто не станет прерывать заседание, никто в данный момент не будет заниматься проверкой, а судьба его решается сейчас. Пусть потом проверяют, найдется выход.

Не все предусмотрел Гулыга, не все учел.

Скептически взглянув на Гулыгу, Званов мягко сказал:

— Зачем же так усиленно настаивать, пожалуйста. — Он взял одну из папок, лежавших перед Чугуновым, раскрыл и показал: — Видите, надпись «Авторский экземпляр». И только стилистическая правка.

— Странно, — забормотал Гулыга. — Какое-то недоразумение... какая-то ошибка...

— Пойдем дальше. — Званов положил папку на место. — В каком полку вы служили и как попали в родное село?

— Я уже говорил, — приободряясь, начал Гулыга. — Служил в триста двенадцатом, это и в архивной справке отмечено. В окружение наш полк попал близ моего села...

— Минуточку, — прервал Званов. — Вот документ из архива танковых войск. В нем говорится, что триста двенадцатый полк за всю войну в окружении ни разу не был. Значит, просто сбежали?

— Ничего не понимаю, — пожал плечами Гулыга. — В тыл я попал из окружения.

— Товарищ Гулыга, — не меняя своего мягкого тона, сказал первый секретарь, — призываю вас хотя бы здесь, на бюро обкома, быть искренним. Говорите правду.

— Я правду и говорю.

Званов не ответил на реплику, задал новый вопрос:

— Сколько времени вы командовали партизанским отрядом?

— Больше двух лет, — последовал быстрый ответ.

— По данным органов госбезопасности, совпадающим с архивными материалами штаба партизанского движения республики, боевые действия вы начали за два месяца до освобождения района Советской Армией и они не носили сколько-нибудь заметного характера.

— Ошибка, — мгновенно ответил Гулыга. — Недоразумение, прошу еще раз проверить.

— И последний вопрос. Вы ничего не сказали о подлогах с занижением сахаристости, повышением загрязненности свеклы и корректировке планов, о чем докладывал товарищ Чугунов.

Не пряча смущения, Гулыга сказал:

— Относительно свеклы, видимо, точнее скажет товарищ Прохоров, как я понял товарища Чугунова, это на заводе делалось. Однако и с себя вины не снимаю, обязан был знать все, что делается на заводе. Недоглядел. Что касается корректировки планов, то здесь, очевидно, более компетентен товарищ Ремизов. Как видно из сообщения товарища Чугунова, корректировал планы начальник главка. Но и в этом деле, товарищи, не могу остаться только свидетелем. Планы-то корректировались на сахарных заводах, входящих в объединение, где директор я. Значит, за все, что там происходило, и я в ответе.

Это был серьезный просчет Гулыги. И Прохоров и Ремизов намеревались выводить его из-под удара. Может быть, не столько ради него, сколько в собственных интересах. Теперь его слова поразили обоих. Если он начал с того, что закладывает их, пусть пеняет на себя.

Вопросов было много, и отвечал Гулыга так же, как на последний вопрос Званова, — он-то не виноват, виноваты другие, или его молодость, или неопытность в данном деле, или обстоятельства чуть ли не форсмажорные, но все равно вины с себя не снимает, хотя, сами понимаете, ну абсолютно он здесь ни при чем.

Когда покончили с вопросами, начались выступления. Один за другим поднимались люди, живые участники событий, члены бюро, изобличая Гулыгу во лжи, разоблачая его преступные действия. И понимал, все отчетливее понимал — загнан в угол, откуда не выбраться. Он сидел неподвижно, но лихорадочно билась мысль — должен же быть какой-то выход. И только глаза его бегали, метались, точно пытались найти, увидеть наяву этот выход из любого положения.

Почти все, о чем говорили люди, Крылову было известно. И все-таки из каждого выступления узнавал что-то новое. В частности, удивило выступление Лугового. Обрисовав подпольную деятельность Ивана Саввича, он сказал:

— Что касается Гулыги, тут и моя вина. Я первым распространил версию о нем как о героическом танкисте.

Присутствующие с недоумением обернулись на него. А он продолжал:

— Однажды увидел, как вышел из лесу парень в военной форме с сорванными петлицами и, озираясь, стал спускаться с косогора. Спрятался за куст — наблюдаю. Он направился к самой крайней избе. Выскочила оттуда женщина, бросилась на шею, обнимает, плачет. Соседи повысунулись, повыскачили, тоже обнимают, так гурьбой и вошли в избу. Поставил я с полчаса — не выходит обратно. Дай, думаю, и я пойду посмотрю, что за человек. А он уже изрядно выпил — на столе закуска, самогон — и рассказывает о том, как его танковый взвод громил фрицев. В последней схватке, увлекшись, углубился далеко в гитлеровское расположение, уничтожил, растоптав гусеницами, много техники, но и его подбили. С трудом удалось выбраться. И вот пробирается, догоняет свой полк. Рассказывал человек так, что гордость за него брала. И завидно стало: он-то найдет свой полк, а я что — без ноги?..

Это и был Петр Гулыга в своем родном селе. Я поска-

кал к Саввичу, рассказал ему и другим подпольщикам. Все радовались, гордились таким героем из своего села. Потом день за днем проходил, он все собирался идти дальше искать свой полк, но задерживался — мать не пускала, плакала, да и сам не торопился. Так и прошел месяц, а то и больше. Саввич стал сердиться, предложил ему к партизанам идти — как раз отряд Гнедого создавался. Отнекивался, говорил: танкист на танке должен воевать, обязательно найдет свой полк, — а еще через месяц согласился. Согласился, а не пошел...

Подробно рассказал Луговой и как уже открыто Гулыга отказался идти к Гнедому, ссылаясь на то, будто свой отряд создал, а фактически стал привольно жить с друзьями в лесу. Саввич, конечно, не допустил бы этого, но тут его схватили гестаповцы.

И еще одно выступление вызвало большой интерес у Крылова. Партизанский отряд Гнедого нарвался на засаду и был почти полностью истреблен. Тяжело контуженный Артюхов прибил к какому-то хутору, там его укрыли и долго выхаживали. Постепенно вернулся к нему слух, но говорить не мог. Тут дошла до него молва, будто в липанских лесах действует партизанский отряд Гулыги. Разыскал тот отряд, было в нем человек десять. Как мог на пальцах объяснил, чего хочет, его и оставили там. Помогал повару, колол дрова, убирал в землянках. Шло время, а он все больше поражался: отряд и не думает воевать — шкуру свою спасают. Стал упрекать их. Поняли его и ему дали понять: если не заткнется — убьют. Тогда он сбежал. А вскоре Липань освободили советские войска. Вот тут Артюхова чуть не хватил удар. Смотрит, человек тридцать с красными партизанскими ленточками во главе с Гулыгой встречают воинов криками «ура», шапки вверх бросают. Стали бойцы обниматься с партизанами, собрались все вместе. Подбежал поближе к ним и Артюхов. Слышит, капитан спрашивает Гулыгу: «Ваша работа?» — и показывает на разбитые железнодорожные вагоны, видневшиеся на насыпи. «Наша, — улыбнулся Гулыга, — это шестнадцатый по счету, пущенный нами под откос». А вагоны те давно валялись, их еще гитлеровцы разбили, когда наступали.

Бросился Артюхов к капитану — к тому времени уже начал понемногу говорить, — но от волнения и ярости слова сказать не может, только мычит, размахивая руками. «Уведите его, — скомаедовал Гулыга, а капитану пояснил: — Рехнулся человек». И увели. Два дня держали взаперти, пока далеко не ушли наши войска добивать врага.

Заседание бюро обкома шло бурно. Если во время выступления Гулыги люди молчали, сдерживая свое нарастающее негодование, то сейчас они дали волю словам. То и дело раздавались реплики, даже выкрики, и Званову с трудом удавалось сохранять порядок.

Выступили четырнадцать человек, когда решили прекратить прения.

— Вы хотите еще что-нибудь сказать? — обратился Званов к Гулыге.

Медленно и тяжело поднялся. Невидящим взглядом обвел зал, лишь на секунду задержав его на своих бумагах. Он почти на память выучил свое заключительное слово.

— Трудно, тяжело говорить, товарищи. Некоторые из вас меня неправильно поняли, многое наслоилось на подлинные факты — тяжелые факты моих тяжелых ошибок. Не буду к этому возвращаться. Хочу лишь сказать — какое бы решение вы ни приняли, товарищи члены бюро обкома, какое бы суровое наказание ни вынесли, я приму его безропотно как заслуженное и справедливое возмездие за содеянное мною. Смысл моей дальнейшей жизни будет заключаться в том, что, на какой бы участок вы ни поставили меня, сумею своим трудом, трудом, не знающим ни дня ни ночи, хоть в малой мере искупить свою вину. Десятилетиями накопленный опыт, свои знания, все свои силы и энергию я приложу к тому делу, на которое буду поставлен.

Гулыга говорил теперь не робко, а с большой убежденностью, останавливая взгляд поочередно на членах бюро, словно только к каждому в отдельности обращаясь.

— Не словами, — уверенно звучал его голос, — слова мои потеряли силу, а на деле я докажу, что способен извлечь уроки из трагедии в моей жизни и сделать подлинно партийные выводы из всего происшедшего. У меня нет документа, который мог бы положить перед вами в подтверждение моей искренности, но прошу поверить, что мое раскаяние — это не слова, а крик души, сама моя открытая перед вами душа глубоко осознавшего свою вину человека, по-новому глядящего на хорошо известные факты, по-новому, по-партийному оценивающего события, приведшие меня в столь плачевное состояние.

Он умолк. Остался стоять, глядя куда-то вверх.

— Вы кончили? — спросил Званов.

— Да. Кончил, — вздохнул Гулыга. — Хочу лишь про-

сить вас, товарищи, не применять ко мне высшей меры наказания. Жизнь вне рядов партии для меня — политическая смерть. Не казните.

Грузно, точно подкосились ноги, сел.

— Будем подводить итоги, — поднялся Званов. — Кошунственно прозвучала здесь в устах товарища Гулыги ссылка на слова Ленина. Уж если обращаться к Ленину, то следовало бы в первую очередь привести его высказывание, наиболее подходящее для данного случая. Владимир Ильич говорил, что надо... — Он вытащил закладку из книги и прочитал: — «...судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что на самом деле пропагандируют». Следовательно, — продолжал он, — о товарище Гулыге мы будем судить не по блестящему мундиру героического танкиста, который он сам на себя надел, не по высокому званию партизанского командира, которое он сам себе присвоил, а по тому, как он поступал всю жизнь — обманывал общество — и что пропагандировал и насаждал — моральное растление.

В зале стояла напряженная тишина. Все смотрели на оратора, и только один человек сидел опустив голову, и она дергалась как от ударов, склоняясь все ниже. Никто сейчас не обращал на него внимания. Слушали.

— Пример с Гулыгой, — продолжал Званов, — это убедительная иллюстрация к одному из теоретических положений социализма. Есть ли в нашем социалистическом обществе острые конфликты и столкновения? Да, есть. Но здесь они не носят, как в буржуазном обществе, социальный характер. Это не классовые столкновения, это противопоставление эгоистических, сугубо корыстных интересов отдельных лиц интересам всего общества. Именно с таким примером мы и столкнулись и должны сделать для себя серьезные выводы. Там, где не проявляется настоящей заботы о формировании здорового общественного климата, и создается благоприятная почва для прорастания таких социальных сорняков. К каким только ухищрениям не прибегал Гулыга! Подкуп, взятки, облаченные в самые различные, отнюдь не стандартные, завуалированные формы, лесть, подхалимство, шантаж, незаконная раздача квартир, должностей, машин точно каменной стеной ограждали его от критики и разоблачений, ибо жалобы на него попадали чаще всего к тем, кто пользовался этими незаконными благами. В их архивах, как в тине, топули тревожные сигналы. К сожалению, причастен к это-

му оказался и работник обкома, с которым мы уже распрощались и исключили из партии. Только потому, что мы не занимались надлежащим образом формированием здорового общественного климата, в руках Гулыги оказалась, по существу, экономика целого района. Он организовал на первый взгляд неуязвимую систему казнокрадства, втягивал в нее и тем самым разлагал морально множество людей от рабочих до командиров производства. Их служебное и материальное положение в значительной мере зависело от него, его симпатий, благосклонности, капризов и произвола, то есть всего того, что почерпнул этот деятель в прошлом, на чем держался и держится ныне мир воинствующего мещанства. Такие, как Гулыга и его ближайшее окружение, персональные дела которых нам предстоит еще разбирать, особенно опасны, ибо, как отмечала «Правда», подобные социальные сорняки там, где им удается угнездиться, как моль, дырявят ткань социалистических общественных отношений, и борьба против них должна быть непримиримой, а наказание неотвратимым.

Званов помолчал и после паузы добавил:

— И на нашем сегодняшнем бюро он остался верен себе: ни грама искренности, юлил, изворачивался, бесстыдно извращал истину. Таким, как Гулыга, нет места в партии. Я поддерживаю предложение товарищей — исключить его из партии, возбудить уголовное дело. Есть другие предложения?

Зал молчал. Званов медленно обвел взглядом стол.

— Нет других предложений? Ставлю па голосование. Кто за то, чтобы Гулыгу Петра Елизаровича исключить из партии? (Все сидящие за столом подняли руки.) Кто против?.. Нет. Воздержавшиеся?.. Нет. Принято единогласно.

Теперь взгляды людей обратились к Гулыге. Он сидел согнувшись, неподвижно лежали руки на папке с бумагами. В полной тишине прозвучал голос Званова:

— Товарищ Гулыга, прошу сдать партийный билет.

Гулыга вскинул голову как от удара в спину.

— То есть как сдать?

Званов не ответил. Голова Гулыги обреченно опустилась. В зале, где находилось столько людей, стояла противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо растерянного Гулыги. Он озирался вокруг, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи. По мере того как он поворачивал голову, те, кто смотрел на него, отводили взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение, — проговорил он наконец, едва произнося слова. — Наваждение какое-то...

Поднялся Званов. Несколько секунд молча смотрел на него, сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно. — И обернулся в сторону председателя парткомиссии. — Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к Гулыге, и тот начал медленно доставать из бокового кармана бумажник. Медленно вытаскивал партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранил в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой не рассматривая, не раскрывая и предъявлял у входа. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взносов, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листал странички. Год за годом перед глазами проходила жизнь. Сколько же секретарей сменилось. Теперь сменил и его. Другой будет генеральным, в его кресло сядет... Еще уголовное дело, ишь чего захотели! Нет, тут не перекочат, забурятся... А с работы снимут, какую-нибудь должностешку кинут с грошовым окладом...

Перевернул еще страничку... Зарботки приличные были, а с премиями куда больше. Тоже придумали — из премий взносы брать... А это?.. Да, это за мемуары... внушительная сумма. Правда, не всю сумму получил, пришлось этому щелкоперу платить. Наглец, половину гонорара требовал. За что, спрашивается? Все ему растолковал, рассказал, садись и пиши. Можно сказать, техническая работа... Вот уже чистые странички пошли. Значит, что? Все? Нет, отдавать партбилет нельзя, куда без партбилета? Правда, и беспартийные специалисты получают прилично и взносы не платят... Беспартийные... Что же теперь — беспартийный? Не просто беспартийный — исключенный из партии. Ну нет, этого не будет!

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загремел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на Званова, Гулыга выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, взду-

лись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засверкали глаза. — Вы мне его давали, я спрашиваю?! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам! Апеллировать буду!

Не вставая, Званов властно сказал:

— Вы положите на стол партбилет немедленно! А апеллировать — ваше право.

32

Через день после заседания бюро обкома Гулыга отправлялся в Москву. Он шел по перрону, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, никому не уступая дороги. Шел уверенно, косясь на немсра вагонов. Вот и его спальный вагон прямого сообщения.

Не поспевая за ним, с портфелем и чемоданом торопился Хижняков. Чуть позади — Семен, тоже с чемоданом, но поувесистей. Хотя здоровяк парень, а несет, сгибаясь набок.

— Ты что отстаешь? — недовольно обернулся к нему Хижняков. — Видишь? — кивнул на ступившего на подожку Гулыгу.

— А ты что суетишься? — не ускоряя шага, насмешливо ответил Семен. — Сейчас-то какой толк? Все, кранты!

Хижняков остановился.

— Эх, Семен, Семен, молод ты еще, зелен. Гулыгу не знаешь. Ох не знаешь...

Может быть, случайно, но в двухместном купе Гулыга ехал один. Мелькали пристанционные постройки, лесок, сменявшийся полем, а вдаль — большое село. Обычно, проезжая это место, он не упускал случая заметить невзначай попутчику: «Раньше село было, а теперь поселок. Это благодаря тому, что здесь построен один из моих сахарных заводов».

Теперь он не хочет смотреть туда, резко отвернулся, вышел в коридор. А зря. Поезд проходил близко от Липани, и можно было разглядеть огромное скопление людей на площади. Они собрались вокруг высокого обелиска. Двое молодых ребят водружали на обелиске большой портрет красного человека — Ивана Саввича Панченко. Обаятельная улыбка, высокий лоб, черные вразлет брови, выющиеся волосы. Как живые благодарно смотрят на людей его умные, добрые глаза.

Не вытирая обильных слез, улыбается Марфа Григорьевна, вдова Саввича. Не отрывает платка от глаз Зарудная. Смахнул слезу Герой Советского Союза генерал-полковник Зыбин.

В сторонке стоял Сергей Александрович Крылов. Стоял, как солдат, по стойке «смирно», точно отдавая последний долг герою, чувствуя собственную вину перед ним. Нет, он еще не искупил своей вины. Но искупит, обязательно искупит. Как бы ни сложилась дальше его собственная судьба — будет книга о героическом подпольщике.

Валерия Николаевна вытерла наконец глаза, увидела Крылова, обойдя людей, подошла к нему, встала рядом. Он благодарно пожал ей руку.

1983 г.



МАШИНИСТЫ

Повесть

Глубокой ночью пассажирский экспресс мчался навстречу неизбежной катастрофе.

В будке машиниста никого не осталось. Никем не управляемый паровоз и тринадцать пассажирских вагонов неслись под уклон со скоростью девяносто шесть километров в час, а навстречу по тому же пути тяжело тащился нефтеналивной состав. В середине его было несколько цистерн с крупными надписями: «Пропан». И именно в эти трагические минуты перед самой катастрофой на площадке между шестым и пятым вагонами разыгралась поразительная сцена, которую можно будет понять, если вернуться к событиям и давно и недавно минувших дней.

ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ

Из Тамбовской губернии крестьяне шли в Сибирь. Андрей Чеботарев тоже решил идти. Если безлошадная голытьба выбивается там в люди, то он и подавно про нужду забудет.

За свою десятину и дом он получил немалую сумму, и ему хватило не только полностью расквитаться за недоимки, но еще и остались кое-какие деньжата.

В Сибири травы в рост теленка, и столько их, что ни выкосить, ни съесть стадам. Жирные черноземы пустуют, а рыбу в реках и озерах берут корзинами. Дома там пятистенные, лесу — тайга непролазная: иди и руби.

Так говорили люди, а люди зря не скажут. Сколько их в Сибирь ушло, и никто назад не вернулся. Значит, живут сытно.

Андрей выехал со двора, крестясь. На дне телеги с высокими бортами лежали наглухо зашитые три мешка семян, сверху домашняя утварь, между которой разместились трое детей, а впереди — отец Андрея с вожжами в руках. Сам Андрей и его жена шагали рядом.

На Великий Сибирский тракт выбрались возле Казани, нигде не сбившись с пути. А дальше дорогу искать не надо, верстовые столбы покажут.

В первый месяц пути шли быстро, верст по тридцать в сутки. Досыта наесться не приходилось, зато берегли харч и корм — путь только начинался. Но больше всего берегли кобылу. Теперь на телегу сажали ребят по очереди, когда они сильно уставали. Деду тоже пришлось идти пешком.

На исходе второго месяца кончились запасы. Телега полегчала, по лошади все равно тянула ее с трудом, потому что сильно исхудала, не хватало корму. И попасешь лошадь не везде, приходилось уходить от дороги. В поселках и у других переселенцев начали менять па еду кое-что из вещей. А переселенцев было немало.

Они шли по Великому Сибирскому тракту. Шли курские, калужские, рязанские, тульские... Шли не ропща, считая верстовые столбы. Шли, не ведая, где останутся, где пристанут, но каждый, кто шел, знал: там, в Сибири, в обетованных Барабинских степях, травы в рост теленка, жирные черноземы пустуют, рыбу берут корзинами, дома пятистенные.

Шли озираясь, чтобы никого не пропустить вперед, не отстать, успеть занять получше кусок этой жирной, как масло, земли.

Андрей понимал: земля у него будет, значит, надо довести кобылу. Пусть хоть тощая, но дойдет. Пусть хоть кости свои донесет до вольной земли. Там станет гладкой. И он вспорол мешок семян.

Часть вещей сняли с телеги. Даже шестилетнему Грише и восьмилетней Кате пришлось нести узелки.

Однажды возле верстового столба Андрей увидел холмик, а па нем крест: не дотянул какой-то горемыка. Имени па

кресте не было. Наверно, не потому, что люди не уважали покойного, а просто не нашлось грамотного человека.

Потом кресты стали попадаться чаще, и не по одному, а по нескольку сразу, и чем дальше, тем гуще становились кресты.

За могилками некому было присмотреть, да и делали их, видно, на скорую руку, поэтому многие кресты наклонились или подгнили и совсем упали, на иных холмиках крестов не было, но все равно видно было, какая могила здесь уже много лет, какая только перезимовала, а которую вчера засыпали.

Когда семена были съедены — а надолго ли их хватит, если и лошади падо и вся семья только ими и питается, — Андрей снял оглобли и борта от телеги и бросил у дороги. Зачем тащить их в Сибирь, если лесу там вволю... Сундук тоже бросил. Раньше в нем лежали пожитки, а теперь он ни к чему.

Андрей вытащил из сундука гвозди, вывинтил шурупы, снял петли и все это бережно завернул в крепкую тряпку. Это пригодится. Там, в Сибири, он сделает сундук получше.

Телега стала легкой, и незачем было впрягать в нее кобылу. Скотина и так едва держалась на ногах.

Андрей смастерил лямки, впрягся в них вместе с женой, лошадь привязал сзади.

В начале Великого Сибирского тракта Андрей обгонял многих переселенцев. Теперь его обходили люди, особенно каторжники. Хотя и они двигались медленно, но жандармы не давали им зевать по сторонам и задерживаться лишнее на привалах. Жандармы торопились скорей пройти свой этап и сдать каторжников, которых дальше поведут другие, и можно будет, наконец, отдохнуть от этой проклятой дороги и покормить своих лошадей.

На исходе третьего месяца пути Андрей поставил первый крест: похоронил отца. А еще через неделю в один день померли Гриша и Катя. Им он поставил один крест на двоих. Тут же Андрей бросил телегу: не к чему было тащить пустую повозку.

Когда кобыла издохла, семья вволю поела, отобрав лучшие куски. Немного мяса удалось обменять на зерно, немного взять с собой, а остальное бросили, потому что присолить нечем было и мясо в дороге испортилось бы.

По тракту шло много переселенцев и каторжников. Но могло показаться, что их мало. Ведь Великий Сибирский тракт пересекал почти всю страпу и тянулся на много тысяч

верст. 4. переселенцы и каторжники не скапливались в одном месте, а тоже шли по всей России, растянувшись на много тысяч верст. Со стороны можно было подумать, что все, кто идет по тракту, сплошь каторжники. Все они были похожи друг на друга — голодные, прокопченные, одичалые, в пропыленных лохмотьях. Правда, у каторжников на ногах были цепи, а у переселенцев кандалов не было, но и они от переутомления передвигали ногами, точно закованные. Ошибиться можно было и потому, что все пели одну и ту же песню, и она тоже слышалась на тысячи верст:

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандалный...

Под конец пути уже не все пели. Из-за усталости люди только шептали, облизывая пересохшие губы:

Динь-бом, динь-бом,
Путь сибирский дальний...

Но большая часть людей и шептать перестала. Они шли молча, но не могли избавиться от навязчивых, тягучих слов:

Динь-бом... динь-бом... динь-бом...

Великий Сибирский тракт... Андрей Чеботарев не знал, что по этому тракту прошло уже много смелых и честных людей России. Мимо тех же верстовых столбов гнали в ссылку Радищева, вели на каторгу декабристов, ехали вслед за мужьями героические русские женщины... Братья Бестужевы, Муравьев, Лунин, Кюхельбекер... Волконская, Трубецкая... Везли на поселение Чернышевского, Короленко. Этот путь проделали русские ученые Чекаповский, Пржевальский, Штернберг... Где-то здесь останавливался Чехов, совершая свое знаменитое путешествие на Сахалин.

Не слышал об этих людях Андрей Чеботарев, не знал, что только за десять лет до постройки железной дороги по Великому тракту в Сибирь прошли два миллиона переселенцев. А сколько добралось до места, никто не знал, потому что на крестах и могилах не писали, кого под ними схоронили — переселенцев или каторжников. Может быть, и правильно делали, что не писали, ведь все это — люди. Всем хотелось лучшей жизни. Кто с боем хотел ее брать и попадал в Сибирь, а кто сам шел туда. И когда одни кончали свое путешествие или умирали, другие только начинали путь по тракту. Люди шли и шли, будто широкая река текла. А кто сможет остановить реку!..

В конце четвертого месяца пути Андрей добрался до

Каинска. Это почти самый центр Барабинских степей. Дальше идти было незачем. Многие каторжники тоже остановились здесь: их заключили в знаменитую каинскую тюрьму.

Переселенцы увидели, что их не обманули. Куда ни глянь, на тысячи верст стояли высокие, в рост теленка, густые травы, блестели на солнце озера, где рыбу, наверно, корзинами можно брать; а то, что домов не видно, оно и лучше — любое место свободно, и начальство разрешало брать любую землю.

Многие переселенцы давно уже пришли сюда, но от радости и по неопытности никак не могли выбрать то, что им было нужно. Близ тракта травы оказались в болотах. Стали обходить, а там новые болота, и не было им конца.

Кое-кому удалось все же меж болот напасть на сухие участки земли. Построили пока что землянки и начали обрабатывать поле. Но с первыми дождями болота, будто того и ждали, двинулись на сухие участки, засосали, залили, затопили землю. Те, кто похитрей, стали рыть канавы, чтоб вода стекала. Но они не знали, что в Барабе некуда стекать воде — степь ровная, как стол. И канавы скоро затянуло тиной: только болот прибавилось.

После дождей некоторым все же удалось найти незалитые земли. Начали обживать их, рыть колодцы, но па беду вода оказалась соленая, а без воды какая жизнь!

Три тысячи озер и несчетное количество болот Барабинской степи преградили путь к заветным пашням и лугам. Где они, эти пашни, эти черноземы пустующие? Их ведь тысячи и тысячи десятин. Они здесь, в Барабинской степи. Показал бы кто... Да кто ж покажет! Каждая семья металась, каждая в отдельности. И туда, где одни натыкались на болота и молча уходили, шли другие, третьи, десятые, сотые.

Кто знает, куда идти? Как выбраться из болот? Как обойти соленые озера, в которых рыба не живет?

Не мог выбраться и Андрей Чеботарев.

Люди стали искать поселки. Некоторым удалось попасть на работу в мастерские, на солеваренные и винокуренные заводы. Повезло наконец и Андрею. Его вместе с женой взяли на строительство Великой сибирской магистрали. Им объяснили, что берут их из жалости, и пусть уж работают, не привередничая, не высчитывая время.

Но им сказали неправду. На строительство железной дороги требовалось много народу, и переселенцев здесь только и подстерегали. Видят, что людям некуда деться и нечего есть, вот и берут за харч.

Строилась Великая сибирская магистраль, и вдоль нее не было крестов, потому что ставить кресты близ полотна не разрешалось. Покойников уносили далеко в сторону. А если некому было этим заниматься, тайком закапывали, тут же, где люди умирали, в каменоломнях, но только крестов не ставили.

СТАРЫЙ ОБХОДЧИК

Пока строилась железная дорога, Андрей работал на укладке пути, а потом стал путевым обходчиком. Его сын тоже поступил на железную дорогу.

О собственной земле, о своем хозяйстве Андрей давно перестал думать. Ни к чему это было. О своей давнишней мечте, с которой отправлялся в Сибирь, вспоминал только при встречах с переселенцами. А шло их сюда, как и в прежние годы, немало.

Андрей подолгу смотрел на каждую партию новых переселенцев, на их лица, полные страха и надежд, и грустно покачивал головой. Когда-то и он с таким же страхом и надеждой пришел в эти края.

Что ждет людей? Пройдет месяц-другой, и больше половины переселенцев, вконец разорившихся, раздетых и голодных, тронутся в обратный путь, торопясь, чтобы не застигла сибирская зима. Кое-кто из оставшихся устроится на фабрику, на завод или на чугунок. И только единицы, те, кто доvez сюда корову или деньги, осядут на земле.

Переселенцы, только ступив на сибирскую землю, начинали расспросы о жизни в этом богатом краю. Но что мог он рассказать? Разве о том, как его сын вот уже десять лет под тягучую команду артельного таскает рельсы, песок, камни и тяжелые шпалы? Или поведать о своей жизни? Но что о ней скажешь?

Он — путевой обходчик. Он осматривает одну версту двухпутного участка, и других дел у него нет. Он шагает по шпалам и смотрит, не лопнул ли где-нибудь рельс, не ослаб ли болт на стыке, не выскочил ли костыль.

Одна верста — это четыре версты рельсовой нити, и надо ощупать глазами каждый вершок, иначе не увидишь трещину. Одна верста — это три тысячи двести шпал, больше семи тысяч рельсовых подкладок и накладок, тридцать одна тысяча болтов и костылей. Надо осмотреть каждый болт, каждую накладку и подкладку, каждый костыль и шпалу.

Он шагает по шпалам между рельсами и, чтобы увидеть

обе нити, смотрит то вправо, то влево. Каждые полсекунды поворачивается голова: вправо-влево, вправо-влево...

По одну сторону железной дороги тянется красивый густой лес, по другую — луга, о каких он мечтал на Тамбовщине. Но ему неинтересно смотреть на леса и луга...

Заслышав стук колес, он отойдет на правую сторону по ходу поезда, вытащит из кожаного чехольчика флажок и будет держать его впереди себя па вытянутой руке, пока не пройдет последний вагон. Потом повернется лицом к уходящему поезду, отставит руку в сторону и будет так стоять, пока поезд не скроется из глаз. И машинист, который сидит за правым крылом паровоза, и главный кондуктор, и вся поездная бригада будут знать, что путь исправен.

Пропустив поезд, обходчик пойдет дальше. Если попадется лопнувший рельс или случится другая беда, он воткнет в землю красный флажок и побежит, считая шпалы. Отсчитав тысячу шестьсот штук (это будет ровно верста), положит на правый рельс петарду — металлический кружок, похожий на баночку от цинковой мази, пробежит еще тридцать шпал и на левой нити положит вторую петарду и еще последние тридцать выпал, чтобы положить третью на правом рельсе. Не передохнув, бросится назад, к красному флажку, на ходу доставая из-за спины болтающийся на веревочке духовой рожок. Он остановится возле своего красного сигнала и начнет трубить тревогу: длинный, три коротких; длинный, три коротких: «Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту...»

Он будет стоять и трубить в рожок, пока, может быть, услышит кто-нибудь из случайных прохожих железнодорожников. А в это время поезд налетит на петарды, и они не принесут никому вреда, это просто хлопущки, но это приказ машинисту немедленно остановиться.

Такие случаи бывают редко. Чаще всего путевой обходчик шагает по шпалам и, если увидит высунувшийся костыль, ударит его по головке узким путевым молотком, который несет в руках; заметит ослабший болт — достанет перекинутый на ремне через спину, точно винтовка, тяжелый ключ и подверпет гайку.

И снова пойдет по шпалам, и снова вправо-влево, вправо-влево...

Андрей не может идти ровным, размеренным шагом. Шпалы лежат то ближе одна к другой, то дальше, и его прыгающие шаги тоже то короткие, то подлиннее, и в такт шагам толкает в спину тяжелый гаечный ключ.

Когда зайграют в глазах зайчики, он остановится и закроет глаза, чтобы они отдохнули и могли снова видеть костыли, болты, гайки...

Он шагает по шпалам, навьюченный сигнальными знаками, петардами, путевым молотом, гаечным ключом, и держит в руках фонарь. Где-то его застанет ночь, и запрыгает в ночи огонек: вправо-влево, вправо-влево...

Он идет днем и ночью, не чувствуя непогоды. Он ни о чем не думает. Не знает, когда начался этот круговой путь по шпалам, когда кончится. Идет между двумя рельсами, и другого пути у него нет.

Он прошел много тысяч верст, но остался на своей версте, и путь его бесконечен, как у слепой лошади, что идет по кругу и вертит мельничный жернов.

Исхлестанная дождями, прокаленная солнцем кожа на его лице и на шее потрескалась и отвердела. Старый обходчик ни о чем не думает. И не поймешь, отчего, не успев вздремнуть после какого-нибудь тяжелого обхода, он вдруг поднимется с постели и, озираясь, чтобы не увидела жена, пойдет в сарай, достанет спрятанный под дровами узелок, развернет истлевшую от времени тряпку и долго будет смотреть на проржавевшие гвозди, шурупы и петли от старого тамбовского сундука, брошенного когда-то на Великом сибирском тракте. Он перебирает шурупы и петли, и на ладонях остается шелуха ржавчины. Он ни о чем не думает. Механически растирает желтую шелуху, и она превращается в пыль. Это прах умершего металла...

Что мог сказать Андрей переселенцам? Не видать им земли в Сибири, как и на Тамбовщине. Пусть идут на чугунку. Но не в путевые обходчики. Работа легкая, платят за нее мало. Пока молоды, можно и в чернорабочие податься. Там нутро надорвешь, зато заработок будет.

Все это твердо знал Андрей Чеботарев. Но не видел он, стоя с зеленым флажком, что в поезде мимо него уже увозили в глубь Сибири Ленина, что в составах, которым он показывал сигнал «Путь свободен», угоняли на каторгу, в ссылку, на поселение лучших сынов народа... Не знал старый путевой обходчик, что по всей России взойшло уже семя, брошенное Лениным. Не растоптать его, не угнать в Сибирь!

И не сбылись слова Андрея Чеботарева. Не пошел его внук Владимир в чернорабочие. В Российском уставе железных дорог был перечеркнут параграф, который гласил: «Железная дорога может быть продана ее владельцем по своему усмотрению или с аукциона».

Не может быть больше продана железная дорога ни «по своему усмотрению», ни «с аукциона». Была в том заслуга и отца Володи, погибшего за Советскую власть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУЧОК

Володе хотелось быть машинистом. Это желание пришло вдруг, вскоре после окончания начальной школы.

Поздно вечером он возвращался домой из деревни. Было темно, и, может быть, поэтому так ярко блеснули два луча, вырвавшиеся из-за поворота. То ли от темноты, в которой многое кажется таинственным, то ли от того, что он начался страшных рассказов, но приближавшийся поезд представился ему тяжело дышащим живым существом с огненными глазами. Огромное чудовище грохотало, шипело, билось о рельсы.

Когда паровоз поравнялся с Володей, он увидел сквозь раскрытую дверь и окно багровое прыгающее зарево, и на этом фоне черные фигуры людей тоже прыгали и казались фантастическими марсианами.

Зарево шло от раскрытой топки, будто из огненной пасти, и веером уходило в небо. Прямо против пасти весь освещенный огнем человек с длинной пикой на изготовку откатнулся назад, увернувшись от нападавшего зверя, и ударил пикой прямо в зев. В тот же миг животное заревело. Видно, в самую глотку вонзилась пика. Пасть захлопнулась, погасло зарево. И уже не лязг вагонов, рванувшихся быстрее вслед за паровозом, а хруст костей по всему хребту до самого хвоста послышался Володе.

Заскрежетало зубами, зашлось в стоне израненное животное. С тяжелой и частой одышкой, извиваясь, уползало оно в гору, оставляя в воздухе три кровавых луча.

Володя смотрел в темноту, пока слышался стон, пока не скрылись три красных сигнальных огонька на последнем вагоне. И уже издали, из черной пустоты, словно эхо, еще раз донесся рев животного, и все смолкло.

Кругом было тихо, но разбушевавшаяся фантазия рисовала все новые картины битвы марсиан со страшным чудовищем. И каждый раз марсиане выходили победителями.

...Володе не спалось. Ему казалось, что он мчится куда-то в ночь на этой огромной, послушной его воле машине, мимо поселков, лесов, городов, заводов. Вот он, как вихрь, врывается на огромную, всю в огнях станцию и стопорит своего стального коня у самого перрона. Он идет через залитый све-

том перрон, и люди с восторгом смотрят на него, на утихшую машину, которая покорно будет стоять в ожидании хозяина...

В те секунды, когда паровоз показался Володе таинственным чудовищем, у него и появилась мечта стать машинистом. Впрочем, это не совсем точно. В тот вечер даже его возбужденная фантазия не смогла бы привести к такой смелой мечте. Просто что-то новое, неясное, волнующее шевельнулось в его душе.

Володя мечтал о паровозе. Но ведь мечта — это нечто созданное воображением, часто несбыточное или очень далекое, выношенное в себе, дорогое, о чем не скажешь всякому. Иначе это не мечта, а просто желание.

У Володи была очень странная мечта. Паровоз все еще представлялся ему фантастическим, сказочным, но вместе с тем он твердо знал, что в сентябре поступит в ФЗУ на отделение помощников машиниста. А пройдет немного времени, и он поднимется на паровоз с правом управления. Это была уже не мечта, а жизнь, нормальное, естественное явление, как переход из одного класса в другой. Многие ребята, окончившие школу раньше его, с которыми он вместе играл в поезда, уже работают на паровозах.

Езда на паровозе в сознании Володи никак не укладывалась в понятие «работа». Работают на ремонте пути, в цехах депо, на станции... А мчатся куда-то в ночь, сквозь пургу, врезаться в ущелья, пересекать реки, проноситься мимо ярко освещенных станций — да какая же это работа? Это счастье!

Скоро ему выдадут форменную тужурку с двумя рядами блестящих металлических пуговиц и синим кантом на петлицах, какую носят только паровозники. Как и все они, он будет брать с собой еду в специальном железном сундучке...

Сундучок паровозника! Он существует столько же, сколько и паровоз. Кто изобрел его, неизвестно. Нет и не было приказа об обязательном пошении сундучка. Он сам вошел в жизнь как совершенно неотъемлемая часть водителей поездов.

По всей необъятной стране, всюду, где есть хоть маленькая железнодорожная ветка, можно увидеть человека с сундучком. И в чем бы он ни был одет, как бы ни выглядел, ошибиться невозможно — этот человек водит поезда.

Паровозников — десятки тысяч. И каждый из них имеет сундучок одинаковой формы, с характерно изогнутой крышкой. Он может быть выкрашен в зеленый или синий цвет, может остаться неокрашенным вовсе, может быть чуть по-

больше или поменьше, но форма и даже внутреннее устройство одинаковы: отделение для бутылки молока, для кастрюльки или чугунок, для сахара, хлеба, масла... На боковых стенках несколько дырочек, прикрытых козырьками. Это вентиляция.

Сундучок имеют только паровозники. Покажись путеец или связист с железным сундучком — и это произвело бы такое же впечатление, как если бы они надели чужую форму.

Сундучок паровозника... Сколько заботливых женских рук, рук матерей, сестер, жен, и среди дня, и на рассвете, и глубокой ночью укладывают сундучки для людей, которые поведут поезда! Ни угольная пыль паровоза, ни мазут, ни вода не проникнут в сундучок. Ему не страшны толчки паровоза, и будь даже крушение, в нем все останется как было. И где бы ни довелось поесть машинисту — в пути ли, на долгой стоянке или в доме для отдыха бригад, — он найдет в своем сундучке самое любимое блюдо, найдет чай или соль именно в том месте, где им и положено лежать.

Сундучок паровозника — это не только удобная тара. В нем что-то символическое, в нем профессиональная гордость. Приобретение сундучка не просто обновка. Это шаг в жизни, это новый ее этап.

Когда юноша приходит домой с сундучком, еще не бывшим на паровозе, посмотрит мать на сына, вздохнет, погладит по голове: «Ведь вот еще вчера бегал по улице, а уже с сундучком».

Потом постоит немного и снова вздохнет: «Пусть принесет оп тебе счастье, сынок!»

А соседи, увидев такого юношу, одобрительно скажут:

«Этот самостоятельный, вон с каких пор уже с сундучком».

Часто бывает и так. Старый машинист, сидя у себя в садике, поправит очки, достанет из жилетного кармана казенные часы на тяжелой цепочке и, глядя на них, чтобы скрыть от людей набегающую слезу, скажет сыну с напускной суровостью:

«Новый сундучок не заказывай — мать соберет тебе мой. Я уже отъездился. Береги его. Он послужил мне тридцать лет, побывал и за левым крылом и за правым, видел маневровые паровозы, товарные, пассажирские. Старенький он, и люди его знают. Где ни появишься с ним, всякий скажет, чей ты сын. Не забывай про это».

Володе хотелось по праву носить сундучок. Он уже ясно видел себя на мягком сиденье левого крыла. Небрежно по-

ложив руку на подлокотник, обрамленный тяжелой бахромой, высунувшись немного из окна, он мчится по стальной магистрали, то поглядывая назад — в порядке ли поезд, то зорко всматриваясь в огоньки сигналов, то бросая взгляд на манометр...

Потом картина меняется: он видит себя в темную ночь с горящим факелом, масленкой и ключом в руках возле паровоза.

И опять ночь. Он лежит на своей постели, и к его окну подходит человек. Человек легонько стучит палкой в окошко и громко говорит: «Помощник машиниста Чеботарев! Вам в поездку на три ноль-ноль».

Володя и сам знает, что в три часа ночи ему в поездку, но так уже заведено на транспорте, что часа за два до отправки в ясный ли день или в ночной буряк паровознику придет рассыльный, чтобы разбудить его, напомнить о поездке, убедиться, дома ли человек, не болен ли, готов ли ехать.

Эти мысли тоже наполняют сердце Володи гордостью. Это специально за ним придет человек в любую погоду, в любое время суток, чтобы он, Владимир Чеботарев, повел поезд с важными грузами или людьми.

Потом его мысли уносятся еще дальше, и он уже смотрит на огромную, во всю стену, доску, разграфленную на сотни прямоугольников. В каждом из них металлическая пластинка, подвешенная на гвоздиках без головок. Володя отыскивает пластинку с четко выведенной масляной краской надписью: «В. А. Чеботарев». Она висит в графе: «На отдыхе». Ему слышится голос дежурного по депо, обращенный к нарядчику:

«А где у нас Чеботарев?»

«Сейчас посмотрим».

Нарядчик пробегает глазами графы: «В поездке», «В командировке», «В отпуске»... На доске много граф, и они точно скажут, где в данную минуту находится любой из сотен паровозников.

Жизнь Володи в эти дни была ясной и радостной. На пути к цели он не видел никаких преград, да их и не было: Барабинское ФЗУ принимало без экзаменов всех, окончивших семилетку. А школу Володя окончил хорошо.

За месяц до начала занятий в училище он вскрыл свою копилку, добавил немного денег из тех, что дал отец, и втайне от всех пошел к жестянщику — к лучшему мастеру паровозных сундучков.

Председатель приемной комиссии просмотрел аккуратно сложенные документы Владимира и сказал:

— Будете приняты. Занятия начнутся первого сентября, но явиться надо дня на два-три раньше. Получить обмундирование.

И хотя ничего другого Володя и не ждал, но радость скопала его, и он, так ничего и не ответив, тихо пошел к двери. Он уже готов был переступить порог, когда председатель окликнул его:

— Э-э, молодой человек, — сказал он, глядя поверх очков, — исправьте свое заявление или лучше перепишите его. Не на паровозное отделение, а на слесарное.

Володя удивленно и тревожно посмотрел на председателя:

— Да, но я прошу на паровозное...

— Голубчик, — уже раздраженно ответил человек в очках, — ведь на двери аршинными буквами черным по белому написано — на паровозное отделение приема нет. Возьмите вот, перепишите. — И он протянул Володе лист бумаги.

Володя не смог подойти к столу.

— А кто повесил это объявление? — наконец выдал он.

— Как — кто? — удивился председатель. — Я, приемная комиссия.

И опять Володя не знал, что делать.

— Берите же, — с нетерпением сказал председатель, потряхивая листом бумаги, — и не задерживайте меня.

— Я сейчас, я сейчас зайду, — забормотал Володя, — я должен сам прочитать объявление.

Он вышел и прочитал объявление. Затем спустился по ступенькам с крыльца и куда-то пошел, потому что ему теперь было все равно куда идти. Он ничего больше не ждал от жизни. Она была безжалостно разрушена и растоптана. Рухнуло все, о чем он мечтал больше трех лет, о чем думал почамп, что представлялось уже не мечтой, а самой близкой действительностью.

Нет, слесарем он не будет. И пикем другим, кроме паровозника, не будет. Но ведь это похоже на упрямство первоклассника. «Не будет, не будет». А что делать? Если бы его одного не приняли, он добивался бы, мог даже до начальника железной дороги. А понадобится, и самому наркому мог жаловаться. Но ведь просто приема нет. Никого не приняли, ни одного человека.

Володя шел вдоль путей в сторону депо. И вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком, вынырнувшим из-под вагона. В руках у того был сундучок. Володя остановился.

Сундучок! Что он скажет жестянщику? Ему вспомнились слова этого старого мастера: «Молодец, парень, коль уже сундучок заказываешь». Как объяснить старику, что сундучок теперь не нужен? Ведь это не просто — заказал вещь, а потом передумал. Это все равно что заготовил себе командирские петлицы, а в командиры тебя не произвели. Зачем же он так поторопился? Нет, к жестянщику он не пойдет. Пусть лучше его деньги пропадут, пусть его сундучок достанется другому, более счастливому человеку.

Володя повернул в сторону от депо. Он боялся теперь встретиться с людьми, которые несут сундучки. Далеко за выходным семафором сел на бугорок, обнял колени и долго сидел, покачиваясь, ни о чем не думая, смотрел на проносящиеся поезда.

Когда стемпело, так же не думая, спустился с насыпи и уныло побрел домой. Он медленно ступал по шпалам и вдруг, как три года назад, увидел вырвавшиеся из-за поворота два ярких огня. Володя остановился. Неясно, лениво, не задерживаясь, проплыла мысль: он стоит на том же пути, по которому идет поезд. Огни приближались быстро, слепили глаза, а он стоял и смотрел на них, не в силах оторвать взгляда или сойти в сторону. Он стоял будто под гипнозом этих притягивающих огней, и ему не было страшно. Снова неясно и лениво напомнила о себе тревожная мысль, но оборвалась от грохота, грома, света, навалившихся сзади. Володя шарахнулся в сторону и только тогда понял, что по второму пути в противоположном направлении промчался паровоз. Теперь мимо него неслись вагоны, грохоча на стыках. И опять подумалось: если бы не встречный паровоз, он так и не смог бы уйти с пути и сейчас лежал бы под этими грохочущими вагонами. Он поспешно отошел подальше от путей, будто угроза еще не миновала, и решительно зашагал в сторону станции. Почему именно туда — он не знал, но ему было ясно, что надо действовать.

На станции, как и всегда, стоял бесконечный и беспорядочный гул. Десятки паровозов гудели на разные лады, надрывались, хрипели, и в эти голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Для Володи это не был хаос звуков. Каждый паровозный

гудок выражал определенную, ясную мысль и имел точный адрес: между машинистами и станционными работниками шел деловой разговор. Чаще всего это был согласный разговор, и обе стороны оставались удовлетворенными. Но порой возникал спор, и тогда сигналы нервничали, надрывались, пока какая-либо сторона не уступит.

Даже в такую тяжелую минуту Володя не мог не остановиться и не послушать, о чем говорят паровозы.

Кто-то неистово требует, чтобы его пропустили на канаву для чистки топки. А вот этот уже вернулся из поездки и спешит на деповские пути на отдых. Его гудки просящие, жалобные: «Я, конечно, понимаю, что всем вам некогда, но и меня поймите, ведь я устал, отдохнуть хочется».

Тонкие голоса маневровых паровозов, мечущихся по всем путям, крикливо сообщают о своем маршруте: то им надо на третий путь, то на тринадцатый. И те, кто стоит возле стрелок, у входа, на эти пути отвечают рожком: пожалуйста, можете не кричать, стрелка вам сделана.

А заезвается стрелочница, «маневрушка» поднимет такой шум, чтобы ее сигналы начальник станции услышал: видите, дескать, как плохо ваши люди работают.

Где-то сбоку, на запасных путях, еще одна трудолюбивая «кукушка», повторяя приказы составителя, заладила только три сигнала: «вперед», «назад», «тише». И, подчиняясь этим сигналам, действительно снует взад-вперед то быстрее, то тише.

В западном парке у товарного Эм не ладится с тормозами. Он все время сигналист: «затормозить», «отпустить».

Откуда-то издали доносится оповестительный гудок. Это паровоз предупреждает всех: «Я приближаюсь к поездом, для меня открыт семафор, еще раз проверьте, все ли в порядке, не попаду ли я на занятый путь, остановилась ли «маневрушка», да и вообще я уже почти на станции, так что все, кому положено, пусть выходят меня встречать».

А с противоположной стороны несутся гудки группам по три длинных, протяжных, вызывающих: машинист требует, чтобы поездная прислуга немедленно затянула ручные тормоза. Он идет с уклона и, видимо, на одного себя не надеется.

И все эти гудки, свистки, сигналы сливаются в общий бесконечный гул, который кажется непосвященному человеку страшным хаосом.

Станция жила обычной, будничной жизнью. Володя постоял немного на путях, будто окунулся в нее, и пошел

дальше, в депо. Еще несколько минут назад он не смог бы ответить, зачем идет туда. А вот сейчас прояснилась и мысль. Он хочет посмотреть на слесарей, хочет увидеть, как они работают.

Странные вещи бывают в жизни. Его тянуло в депо, будто он знал, как важно для него в эту минуту, именно в эту минуту оказаться там.

На деповских путях было меньше света, чем на станционных. Часть территории совсем не освещалась. Но и здесь шла своя жизнь. На всех путях стояли паровозы. Издали возле каждой машины виднелся только человек с факелом и исходящий от него огненный круг. Володя знал, что там делается. Вот фигурка с факелом и масленкой. Это помощник машиниста смазывает подшипники. Вот в огненном круге человек с молотком. Это машинист принимает паровоз. Вот факел вырвал из темноты фигуру у тендерных колес. Это кочегар осматривает буксы. Паровозная бригада готовится к поездке.

Рядом другой паровоз. Факелы поднимаются вверх, в будку машиниста, и там гаснут. Значит, все приготовления закончены, факелы опущены в бидон с мазутом. Здесь они хорошо пропитаются, и когда снова понадобятся, их просунут в дверцу топки, и они вспыхнут ярким светом.

Володя вошел в депо. Возле одного из паровозов возился слесарь.

— Черт знает что творится, тьфу! — услышал Володя голос позади себя и обернулся.

Перед ним стоял его сосед по квартире, старый мастер депо.

— А ты зачем сюда так поздно, тоже в машинисты метишь?

Володя опешил. А старику, видно, хотелось излить душу безразлично перед кем, и он зло заговорил:

— Сопли не умеют утереть, а на паровоз лезут — потому так и получается.

— А что получается? — с недоумением спросил Володя.

— Как — что? Видишь, на канаву загнали, — показал он на паровоз. — Насос, понимаете, испортился. А что в нем испортилось? Пуговка от стержня оторвалась, вот и все. А он, нате вам, в депо гонит, — возмущенно развел старик руками. — Все потому, что скороспелок готовят. Раньше, бывало, ты годков пять — десять слесарем поработай, все нутро руками прощупай, посмотри, где что находится, а потом и на паровоз можно. А теперь что? Расскажут мальчишкам те-о-

ре-ти-чес-ки, куда гайки крутятся, — и уже машинист! А ты руками пощупай, попробуй, куда они крутятся, покрути-ка их. То-то, брат... Вот и получается: чуть что, он в депо лезет, а случись какая малость в пути, вспомогательный паровоз требует. Тьфу! — сплюнул он еще раз и, не обращая больше внимания на Володю, пошел в свою конторку.

Весь следующий день слова старого мастера не выходили из головы Володи. Разумом он понимал, что надо сначала на паровозного слесаря выучиться, действительно узнать все нутро машины, но велика ли сила воли в пятнадцать лет! Он решил сразу учиться на помощника машиниста в Омском ФЗУ, где был подбор на паровозном отделении.

Несколько дней ходил Володя с мятущейся душой. В день отъезда ему особенно было не по себе. Поезд отправлялся в три часа ночи, впереди целый свободный день. Его тянуло в депо, хотя он твердо решил не ходить туда.

Он пошел в депо. Долго стоял возле паровоза, из которого вынули «нутро». Смотрел, как слесари ловко и уверенно на ощупь откручивают болты с невидимых деталей, спрятавшихся где-то под приборами.

«Действительно, эти люди по-настоящему знают паровоз», — подумал Володя, и эта мысль была ему неприятна. Ведь вот известно им, что где-то внизу надо нащупать болтик, отвернуть его, отвести в сторону пластинку, наклонить ее, и тогда она снимется...

Он с нетерпением ждал вечера. Он гнал от себя мысли, навеянные старым мастером, о машинистах-скороспелках, но отвязаться от них не мог. В нем шла борьба, в которой разум и неокрепшая воля робко выступали против юношеской фантазии, против романтики мчащегося паровоза, покоренного им. Он старался думать только о том, как будет водить курьерские поезда, он ловил себя на предательски разъедающих его сомнениях.

«А случись какая малость в пути, они вспомогательный паровоз требуют». Эта фраза мастера, как навязчивый мотив, не выходила из головы.

...В половине третьего ночи он пошел на вокзал. На перроне почти никого не было. Дежурный по станции, в красной фуражке, с фонарем в руках, встретил поезд и поспешил к себе в помещение. Важно шагая, проследовал главный кондуктор с кожаной сумкой через плечо. Какая-то старушка, толкаемая собственными сумками и мешочками, никак не могла влезть в вагон. Но вот и она исчезла...

Володя не торопился занять свое место. Вещей у него

нет, успеется. Он шагал по пустынному ночному перрону вдоль поезда и думал: «Почему только из трех вагонов вышли проводники? На станции полагается открывать все двери. Наверно, спят...» Мысли как будто улеглись, успокоились.

Раздались два звонка. Значит, до отхода поезда — две минуты. За это время успеет дойти вон до того вагона и вернуться обратно.

Главный с бумажкой в руках торопливо пошел к паровозу. Наверно, это предупреждение машинисту о том, что на таком-то километре надо ехать с ограниченной скоростью... Слова появился дежурный в своей красной фуражке. В дверях всех вагонов показались проводники с белыми огнями фонарей... Оказывается, люди не спали...

Свисток главного застал Володю возле тамбура седьмого вагона, в котором он должен ехать. Теперь осталось время только дойти до середины вагона, до таблички с надписью «Владивосток — Москва», и вернуться назад.

Поезд тронулся, когда Володя подходил к подножке своего вагона. Надо бы ускорить шаг, но он продолжал идти спокойно, и она медленно проплыла мимо. Вот уже подножка следующего вагона. Он посмотрел на поручни, на нижнюю ступеньку. Никаких усилий не надо, чтобы встать на нее. Но и она проплыла... Поезд набирал скорость. Осталась еще одна возможность — вскочить на последнюю подножку. Это вагон номер двенадцать. Но ведь у него билет в седьмой... Володя горько усмехнулся: каким он стал точным!

Он обернулся, провожая глазами поезд. Все уменьшаясь и тускнея, струились три красных луча удалявшегося последнего вагона. Он вспомнил:

«Ночью хвост поезда ограждается тремя фонарями, показывающими назад три красных огня...»

Дежурный открыл свой фонарь, задул свечу и направился в здание. Больше на перроне никого не было.

«Теперь все», — подумал Володя.

Идти домой не хотелось. Машинально пересек пути и направился по проселочной дороге вдоль опушки леса. Далеко за городом близ монастыря, где размещался теперь детский дом, увидел силуэты трех парней, стоявших к нему спиной. До него донеслась фраза:

— А теперь ты узнаешь красивую жизнь. Пошли.

Встреч с детдомовцами Володя избегал. Не потому, что боялся, а как-то не по душе они ему были. Из нескольких ребят, с которыми он был знаком, нравился только Витя Ду-

бравин. Тихий, хороший парень, не похожий, как Володе казалось, на детдомовских головорезов.

Трое зашагали в сторону города, и среди них Володя узнал Виктора. Он был в компании мальчишки по прозвищу Нэпман и еще какого-то грузного парня. «Значит, Витька тоже такой», — подумал Володя, и те трое глядя на ночь пошли искать «красивую жизнь».

ПРИВИДЕНИЕ

В монастыре появилось привидение. Это не просто кому-то померещилось. Белый саван видели многие. Как он возникал, никто не знал. Приходить с кладбища, расположенного поблизости, привидение не могло: чугунные монастырские ворота на ночь запирались, а высокая каменная ограда была утыкана сверху большими осколками разбитых бутылок.

Почерневшие и изъеденные временами своды и стены в коридорах освещались тусклыми керосиновыми лампами. От недостатка кислорода они мигали и коптили. В кельях ламп не было. Те, кому удавалось раздобыть что-то вроде масла, зажигали у себя тощие фитильки старых лампадок.

После отбоя, когда бывшие беспризорники расходились по своим кельям, именуемым спальнями, заведующий детдомом и воспитатели задвигали изнутри тяжелый засов главного входа, вешали на него замок и начинали обход. Они шли через многочисленные узенькие коридоры с большим фонарем, заглядывали в каждую спальню, осматривали все уголки и, убедившись, что везде должный порядок, поднимались в свои комнаты.

Разместить в келье по два топчана было негде, поэтому ребята спали по двое, «валетом». Спали чутко, настороженно: ожидали привидения в белом саване. И оно являлось, возникая словно из воздуха, и с глухим стоном устремлялось в первую попавшуюся келью. Вихрем вылетали оттуда ребята, и их крик гулким эхом разносился под сводами. Мгновенно оживал весь детдом.

Несколько парней старшего возраста выбегали первыми, но привидение успевало исчезнуть. Особое стремление поймать Белый Саван проявлял Колька Калюжный, по прозвищу Нэпман, и его друг Антоц, у которого прозвища не было.

Шестнадцатилетнего Нэпмана уважали и боялись. Большой силой он не отличался, но был бесшабашно смел и удивительно ловок. В любой драке оказывался позади противника и безжалостно пользовался этим преимуществом.

Красивый, с мягкими вьющимися волосами, Нэпман был одержим страстью шикарно одеваться. Носил модные брюки-дудочки, остроносые ботинки «джимми», клетчатый пиджак, из-под бортов которого виднелся кремовый жилет. Он любил, чтобы все видели, как щегольски извлекает он из жилета часы на тонкой длинной цепочке, как небрежно опускает их обратно в карман.

Нэпман с презрением отказывался от серой мешковатой одежды детдомовцев, благо никто не настаивал на том, чтобы он получал ее, потому что одежды не хватало. Когда в монастырском дворе назревали драки, в ладони у Нэпмана неожиданно появлялась плоская черная рукоятка. Она словно выскальзывала из рукава. Несколько секунд он перебирал ее пальцами, потом неуловимым движением нажимал какой-то рычажок, и с металлическим щелчком из нее выскакивало тонкое лезвие кинжальной формы. Безучастный ко всему, он начинал старательно чистить лезвием ногти. И все знали: еще одно слово против него — и он ударит ножом.

Порой Нэпман исчезал из детдома, но через день-два возвращался, объясняя воспитателям, как случайно встретил родную тетю, которая ехала на съезд женделегаток в Москву и, увидев его, сошла с поезда, чтобы побыть немного со своим племянником. Или оказывалось, что приезжал его родной дядя, который имеет собственную пуговичную фабрику, и тоже хотел повидать своего любимого племянника. В доказательство демонстрировал их подарки — большие свертки с продуктами, модные брюки или другую одежду.

Едва ли не половину своего времени заведующий детдомом тратил на Нэпмана. За каждую провинность строго наказывал, часами взывал к его совести и сознанию, угрожал, что отправит в исправительный лагерь, и действительно собирался это сделать. Нэпман понимающе кивал головой, соглашался со всеми доводами, обещал исправиться, искренне обижался за то, что воспитатели не верят в мифических родственников и их подарки.

После каждой отлучки вел себя примерно, помогал воспитателям, добросовестно работал в детдомовской столярной мастерской. И только на огороде ничего не хотел делать. Но тут его выручал Антон — деревенский парень, на год младше Нэпмана, неповоротливый и медлительный, обладавший большой, не по годам силой. Грядки были распределены между детдомовцами, и Антон успевал обрабатывать и свой участок и грядку друга. Он охотно подчинялся каждой при-

хоти Нэпмана, понимал его взгляды, принимал их как приказ, слепо и радостно шел за ним на любое дело. Их боялся весь детдом. Боялись черной рукоятки и тяжелых, как гири, кулаков Антона.

Когда привидение появилось впервые, Нэпман похвастался, что поймает его во что бы то ни стало. И не просто пырнет ножом, а схватит живое, в таком виде, как оно является. И действительно, на крик они с Антоном успевали первыми, но все же опаздывали. Иногда дежурный видел их в коридоре после отбоя и радовался, понимая, что они вышли на охоту за Белым Саваном.

В угловой келье жил маленький и юркий Витька Дубравин со своим старшим братом Владимиром. Как и все в детдоме, они боялись Белого Савана. И когда среди ночи скрипнула тяжелая дверь, Володя, лежавший с краю, успел прошмыгнуть в коридор, а Витька, сжавшись в комочек, застыл на месте, боясь пошевелиться, и не дыша смотрел на высокое, в полтора человеческих роста, белое чудовище. Оно медленно приближалось, словно плыло, шевеля крыльями, похожими на плавники. Привидение стало склоняться к нарам, и Витька увидел под кисеей совершенно человеческую форму головы. Сами по себе сжались мышцы во всем теле, он рванулся в каком-то неестественном прыжке и вцепился в горло привидения.

В ту же секунду его отшвырнуло к стене, он больно ударился головой и услышал радостный голос:

— Вот он! Наконец-то! Молодец, черт возьми!

Белая кисея была сброшена. На плечах у Антона, закинув ноги за спину, сидел улыбающийся Нэпман. Он соскочил на пол и серьезно, даже сурово сказал:

— Ты мне очень пужен, парень. Я давно ищу такого маленького и смелого.

Из коридора донесся нарастающий гул голосов.

— Молчи! — властно сказал Непман, подфутболив кисею под топчан. Он выскочил в коридор вместе с Антоном, и уже оттуда Витька услышал его голос: — Опять опоздали, черт побери. Только что здесь было. Вот парень в келье видел. Ни жив ни мертв, слова вымолвить не может.

Витька никому ничего не сказал, даже брату. Не потому, что боялся. Он не понимал, что произошло, не представлял, что будет дальше, но радостное чувство, ощущение чего-то таинственного переполняло его. Он всегда с восхищением смотрел на Нэпмана. Не красивая одежда и не сытая жизнь,

какую ухитрялся вести Нэпман среди голодных ребят, привлекали Витьку. Он завидовал его бесстрашию, ловкости, власти над всем детдомом. Теперь Витька словно приобщился к миру Нэпмана. У них появилась общая тайна.

На следующий день, как и обычно, после завтрака начались занятия. Витька сидел спокойно, казалось, слушал урок, но из головы не выходило ночное происшествие. И то, что во время завтрака он дважды почти столкнулся с Нэпманом и тот не обратил на него внимания, не только не расстроило, но вызвало гордость. Это же неправда, будто он не обратил внимания. На какой-то неуловимый миг прищуренные глаза Нэпмана задержались на Витьке и закрепили их союз. И ни одна душа не могла этого заметить или понять. Витька тоже теперь будет делать вид, будто ничего общего с Нэпманом не имеет. Только так и надо сохранять тайну. Пусть знает Нэпман, что парень он не дурак и положиться на него можно.

После окончания уроков был свободный час до обеда. В этот час, разбившись на группы, детдомовцы вместе с воспитателями уходили за монастырские ворота, в лес или к речушке, протекавшей у самой ограды.

Хорошее настроение не покидало Витьку. Он перешел речку вброд и побежал по лесу, то сшибая с дороги сосновые шишки, то высоко подпрыгивая, чтобы достать ветки деревьев. На душе было легко.

...Чувство голода заставило Витьку вернуться к реке. Опоздаешь на обед — стащат твою пайку хлеба, и никакой силой ее не вернуть. А главное в обеде — хлеб. На завтрак и ужин давали по маленькому кусочку, зато к обеду — триста граммов. Кроме хлеба полагается суп, который тем и славился, что был горячий.

На опушке увидел Нэпмана и Антона. Они сидели под вербой и играли в «ножички».

— Садись, — пригласил Нэпман.

Витька почувствовал, что говорят с ним как с равным. Ему было это приятно. Он смотрел и удивлялся, как плохо играл Нэпман. Нож у него падал плашмя, не врезаясь в землю. Антон легко выиграл. Коль так, то и Витьке не стыдно сразиться. Он многих обставлял в детдоме.

— Сыграем? — спросил Нэпман.

Предстояло вонзить нож в землю из семи положений. Когда Витька бил с четвертого, Нэпман еще не мог осилить второго.

— Пропал мой хлеб, — вздохнул Нэпман.

— Почему? — не понял Витька.

— Так мы ж на хлеб играем. В первый раз, что ли?

Витька не мог признаться, что на хлеб — в первый раз. Преимущество было явно на его стороне, по веру в выигрыш он почему-то потерял. И действительно, хотя с большим трудом, но победил Нэпман. Отказаться от следующей партии не хватило духу. Теперь игра шла на ужин. Витька решил выиграть во что бы то ни стало. Первым, как победитель в предыдущей партии, бил Нэпман. С легкостью жонглера он шесть раз вогнал нож в землю, а седьмой раз — в дерево с большого расстояния.

Витька опешил.

— Я научу тебя владеть ножом, — покровительственно сказал Нэпман, вытирая травой лезвие.

С чувством неизмеримого превосходства над всем окружающим миром Нэпман направился к монастырю. Антон последовал за ним. Витька смотрел им вслед и понимал, как он ничтожен.

Обедали в бывшей молельне, где разместились и столовая с посудными полками, и учебные классы с книжными шкафами. Длинные столы в две доски и скамейки ребята сделали сами. И за всеми столами сидели детдомовцы и ели хлеб с супом. Многие, чтобы не портить вкуса хлеба, съедали его отшельно, а потом принимались за свои миски.

Хлеб всегда выдавали несвежим. С него обильно сыпались крошки. На этот раз, впервые, он словно дышит. Хорошо выпеченный, мягкий, поздреватый, как живой. Витька взял лежащую перед ним горбушку и не увидел, а почувствовал грозные взгляды Нэпмана и Антона. Он крепче сжал ее в руке, по это машипальное движение. Горбушка больше не принадлежит ему. Он положил ее на стол, а она, точно губка, расправилась, приняла прежнюю форму.

Хлеб! Ароматный, теплый, вкусный. Сколько раз, глотая слюну, думал о нем Витька. Сколько раз видел во сне большие куски, целые краюхи, буханки, штабеля караваев. Круглые, поджаристые, пахучие, с бугристой полопавшейся корочкой сбоку, где оплыло и зарумянилось, запеклось тесто. Он явственно ощущал этот пи с чем не сравнимый запах свежего черного хлеба и никак не мог взять хоть один кусочек в онемевшие, безжизненные руки. Он тяжело стонал во сне, и плакал от обиды, и просыпался, и злился, что прервал такой чудесный сон. Он тянул носом, стараясь уловить этот живой запах, который только что так явственно ощущал, и вдыхал пыль товарного вагона или гнилой воздух мусорной свалки, где случайно заснул.

Но то были сны, видения, а теперь перед ним хлеб, его собственный, его доля, его пайка, положенная ему по праву.

За всеми столами ели. Молча, сосредоточенно, как пожилые крестьяне. Даже самые маленькие не торопились, не хватали, смаковали каждый кусочек, следя, чтобы не уронить крошку. Ели все. И только он один хлебал суп, не отрывая глаз от своей горбушки.

Если схватить ее и быстро-быстро большими кусками захватить в рот, отнять не успеют. Да можно и не спешить. Нэпман отнимать не станет. Даже внимания не обратит. А вечером будут бить. Накинут на голову одеяло и будут бить. Кричать нельзя. Если закричишь, тяжелые и частые удары в рот заставят замолчать. Хочешь сохранить зубы, терпи молча, без криков, без стонов. Бьют по справедливости, за дело — значит, нечего артачиться. Будешь вести себя честно, и они выдержат все законы «темной». Никто не ударит ногой или в запретные места. Когда упадешь и они увидят, что не притворяешься, оставят в покое.

— Витя, почему не ешь хлеб?

Перед ним стояла воспитательница Елена Евгеньевна.

— Сладкое на закуску, — не растерялся Витька.

Она потрепала его по волосам, улыбнулась, прошла дальше.

Разделавшись с супом, взял горбушку, чтобы сунуть ее за пазуху и после обеда незаметно для других отдать Нэпману. Когда он поднес ее к вороту рубахи, аромат хлеба, должно быть, вскружил ему голову. Со злостью оторвал зубами большой кусок и начал жадно есть.

Пусть бьют. Не в первый раз.

У него не хватило воли взглянуть на Нэпмана, не хватило выдержки не торопиться. За обеими щеками у него был хлеб, и он глотал непережеванные куски, низко нагнувшись над столом.

Весь остаток дня Нэпман ни разу не посмотрел в его сторону; и это было плохо, но все равно свой ужин Витька тоже съел сам. Семь бед — один ответ.

Вечером старшие ребята, несколько воспитателей и директор уехали на станцию за продуктами. Отправился с ними и Витькин брат. А Нэпман и Антон остались. Они заболели. У них поднялась температура. Девять легких щелчков по головке градусника, и температура будет тридцать восемь и шесть. Сильно бить нельзя — может разорваться ртутный столбик. Нэпман не мог доверить такое дело Антону. Он сам поднимал температуру на обоих градусниках.

Витька рано ушел в свою келью. Он знал, что придет Нэпман. Пусть уж лучше скорей это кончится. Ждал со страхом и упрямством. И Нэпман пришел. Заложив руки в карманы, широко расставив ноги, сказал:

— Ну как?

Витька молчал. Напряженно ждал первого удара. Но Нэпман медлил. Он смотрел на свою жертву, наслаждаясь предстоящей сладостной мезью. Он словно выбирал место, куда ударить, чтобы было красиво, неожиданно и сильно. Но он не такой простака, чтобы первым ударом лишить сознания. Сначала надо позаботиться, чтобы страх перед ним остался надолго. Легкая пощечина обратной стороной ладони, потом вторая, так, чтобы раздражить, разозлить — авось огрызнется. Вот тогда и оглушить кулаком. Подождет, пока придет в себя, и снова — по щекам.

Такое ощущение было у Витьки, так он понимал эту молчаливую стойку Нэпмана.

— Бей! — зло сказал он. — Ну, бей же!

Нэпман стоял в той же позе и смотрел, и это было невыносимо. Потом сказал:

— Пока еще рано. Сразу после обхода иди к забитым дверям возле кухонной лестницы.

Резко повернувшись, он вышел.

Значит, не хочет бить в келье. Ну что ж, придется идти. Надо расплачиваться. Винить некого, знал, что делал.

Он разделся, лег и стал ждать обхода. Вскоре появилась Елена Евгеньевна с двумя воспитательницами.

— Ты сегодня один, Витя? — спросила она.

— Да.

— Не боишься?

— Нет.

— Ну, молодец! Спи.

Как только за ними закрылась дверь, быстро оделся. Подождав несколько минут, никем не замеченный, пробрался в назначенное место. Под лестницей у забитой двери было темно. Он видел, что там никого нет. Прислонился к двери. Послышался шорох. Обернувшись, увидел, как отделились от стены два темных силуэта. Он узнал их. Он так и думал: придут оба.

Нэпман отпер ключом дверь, молча подтолкнул к ней Витьку. Все знали, что эта дверь забита. Оттого, что Нэпман так легко открыл ее собственным ключом, а потом запер спаружи и спрятал ключ в задний карман, Витька еще больше напугался.

Но куда они его ведут? Впереди Антон, сзади Нэпман. Значит, не просто бить. Что-то задумали. Зря пошел. В келье хоть отлежался бы. Если броситься в сторону или поднять крик, могут пырнуть ножом.

Молча прошли через кустарник к высокому дереву у самой ограды. На дерево Антон полез первым. И опять без единого слова Нэпман подтолкнул Витьку, и когда тот стал взбираться на суковатый ствол и услышал глухой удар о землю, понял, что Антон уже на той стороне.

Держась за толстую ветку, Витька нащупал на ограде место, свободное от осколков, встал на него и прыгнул вниз. Не успел еще подняться с земли, как рядом оказался Нэпман.

— Раз ты не побоялся съесть мой хлеб, — сказал он, — и, не распуская соплей, пришел сюда, — значит, ты не трус. Ты мне подходишь. Но если тебе придет в голову еще раз меня обмануть, я ее расшибу. Понял?

— Понял, — быстро ответил пораженный Витька, догадываясь, что бить его не будут.

— А теперь ты увидишь красивую жизнь. Пошли.

Витька не узнал в пареньке, прошедшем мимо, Володю Чеботарева. Его тело обмякло, и он почувствовал сильную усталость. Но так продолжалось недолго. Радость все больше охватывала его, и это была уже радость не оттого, что не будут бить, а перед чем-то новым, таинственным. Он верил в Нэпмана, гордо шел рядом с ним.

Спустя час они были в городе, а еще через пятнадцать минут Витька увидел красивую жизнь.

Маленький зал ресторана сверкал. Играла музыка, в зеркалах отражались люстра и хрустальная посуда, с начищенными подносами бегали официанты. Шумели, веселились, смеялись красиво одетые, холеные люди. Низенький человек в черном костюме, с черными усиками танцевал возле скрипача и пианиста, сидевших на возвышении, то и дело нелепо выбрасывая вперед живот, и каждый раз это вызывало громкий хохот и аплодисменты. Большая компания в самом центре зала, помогая музыкантам, нестройно пела:

Зазвенело, как звенело раньше, до войны.

За полтинник купишь шляпу, а за два — штаны...

Это великоление ошеломило Витьку. Восхищенными глазами он посмотрел на Нэпмана, который со скучающим лицом, как человек, пресытившийся всем этим, искал глазами свободный столик.

— О, Николь, прошу, давно не заглядывали, — подбежал

к нему толстяк с большой лысиной. Он дружески взял Нэпмана под руку и повел, указывая место. На его пальцах сверкали перстни.

— Хозяин ресторана, — многозначительно шепнул Антон Витьке.

Они уселись за столик. Нэпман небрежно раскрыл меню. Витька украдкой глянул в большое зеркало. Ему хотелось придать себе такой вид, как у Нэпмана и этих шикарных людей. Но вид не получался. Сверкающие разноцветные бокалы, ножи и вилки с непомерно большими ручками, накрахмаленные салфетки, будто остроконечные шапки, уложенные на тарелках, белоснежная скатерть, к которой боязно прикоснуться, — весь этот блеск подавлял его. Он увидел, какие у него грязные руки и неподходящий костюм.

А потом было хорошо. Как большой знаток, Нэпман заказал еду с непонятными названиями и графин красивого красного вина. Витька не знал, как приступить к еде. Есть вилкой не привык, а ложку ему не дали.

Нэпман налил вино, сказал: «За наше дело», чокнулся с Витькой и Антоном и залпом выпил. Витька тоже выпил залпом, хотя с первого глотка понял, что это подкрашенный самогон. Кусок мяса, занимавший всю тарелку, оказался тонким, как картоп, и очень жилистым. Но Витька сразу проглотил его. Нэпман снова предложил выпить, и веселье охватило Витьку, и он понял, как хорошо можно жить на свете.

Потом видел плачущую женщину, на которую кто-то кричал, и видел, как красиво танцует Нэпман, как много у него друзей и как все они ему улыбаются.

Кто-то подсаживался к их столику, о чем-то шептались с Нэпманом и громко смеялись. Витьке тоже хотелось о чем-нибудь поговорить, но он никак не мог придумать, с чего начать. Потом придумал. Он спросил, зачем Нэпман устраивал привидение.

Тот солидно объяснил, что готовится к очень важному делу, которое даст возможность уйти из детдома и жить, ни в чем не нуждаясь. Но для этого ему, кроме Антона, нужен еще один помощник, который был бы маленьким и, главное, очень смелым. Он и решил взять того, кто не испугается привидения.

И снова гордость охватила Витьку, и он сказал, что ничего в жизни не побоятся.

Расплачивался Нэпман, должно быть, щедро. Официант долго благодарил его, раскланивался, приглашал приходить почаще.

Домой попали перед рассветом через ту же «забитую» дверь. Когда Витька проник в свою келью и улегся на топчан, он старался не спать, чтобы лучше насладиться своим счастьем.

Завтрак проспал. Разбудила его Елена Евгеньевна. Она была встревожена, спросила, не заболел ли он, приложила ко лбу ладонь. В детдоме никто никогда не просыпал завтрак. Она думала, что-нибудь случилось.

Витька сказал, что у него сильно болит голова, и это была правда. Елена Евгеньевна ушла, а через несколько минут вернулась с его завтраком. Она велела до обеда не вставать и еще раз попробовала, нет ли у него жара. Ему приятно было ощущать теплую мягкую ладонь Елены Евгеньевны, и ему хотелось, чтобы она скорее ушла и он мог бы свободно начать думать о вчерашнем вечере.

Как только за ней закрылась дверь, он начал вспоминать... Было обидно, что никто из ребят не видел его в этом шикарном ресторане, где находились только взрослые и красиво одетые люди, среди которых он чувствовал себя хорошо и свободно, как и подобает солидному человеку в таком обществе. Витька забыл, как поначалу растерялся, а если и помнил, то думать сейчас об этом ни к чему. Перед ним встала картина, как он подходил к музыкантам и просил сыграть «Позабыт, позаброшен» и как радостно они согласились, только показали на пальцах, сколько надо платить. Потом они все же сыграли, после того как Нэпман угостил их вином. Хорошо бы в следующий раз иметь деньги. Пусть играют то, что захочется ему.

В келью заглянул и вошел Нэпман. Витька обрадовался, рассказал о приходе Елены Евгеньевны, которая ни о чем не догадывается. Ему хотелось поговорить о вчерашнем вечере, и он сказал:

— Здорово было, а?

— Да так, чепуха, — пехотя и безразличным тоном ответил Нэпман. — В субботу будет веселее.

Витька не знал, что бы еще сказать. Он подумал: может быть, Нэпман опять возьмет его с собой.

— Но к субботе надо подготовиться, — заговорил Нэпман шепотом, — Тебе как раз будет тренировка перед большим делом. Пока это пустяк. — И он рассказал свой план.

Возле комнаты заведующего находится кладовка. Отпирать ее не Витькина забота, она будет открыта. Пока идут уроки, надо подняться туда, забрать шестнадцать пар новых ботинок, которые лежат в мешке, выйти через «забитую»

дверь (она тоже будет открыта), и спрятать мешок в крапиве возле высокого дерева. Вот и все. Бояться нечего. И ребята и воспитатели на занятиях. Заведующего нет. Вернуться надо через ту же дверь. Нэпман будет охранять ее внутри монастыря, а Антон — снаружи. Если кто-нибудь случайно пойдет, они сумеют его задержать и отвести в сторону. Дело всего на пять минут.

— Понял? — закончил Нэпман.

— Понял, — машинально ответил Витька.

— Давай быстрее, пока идет урок. — И он исчез за дверью.

Витька все хорошо понял, по ему что-то мешало. Какое-то неясные мысли. Он злился на эти свои непонятные мысли, которые неизвестно отчего привязались к нему. Не трус же он. В конце концов он избавился от них. О чем тут думать, когда так нахвастался своей храбростью. Да и не обязан Нэпман всегда платить за него. А в субботу надо идти в ресторан...

Все было, как сказал Нэпман. Кладовка оказалась открытой, он легко отыскал мешок с ботинками, быстро спустившись по ступенькам, прошел через «забитую» дверь, которая тоже оказалась незапертой, и юркнул в кустарник. Теперь уж никто не мог его заметить. Он шел согнувшись, хотя в кустах все равно его не было видно.

Вдруг сквозь ветки увидел какую-то фигуру. Шмыгнул в сторону, сунул мешок под куст и едва успел выскочить на дорожку, как показалась женщина. Это была повариха. И что ей только здесь надо? Шляется неизвестно чего. Небось наворовала продуктов, пока все на занятиях, и отнесла куда-то.

Витька стоял с независимым видом, спиной к кусту. Повариха внимательно посмотрела ему в глаза. Наверное, вид у него был более независимый, чем надо. Уже пройдя мимо, обернулась, опять внимательно посмотрела на него и спросила:

— Что ты здесь делаешь? Почему не на уроке?

— А тебе какое дело? — обозлился Витька и быстро пошел к дому. Пусть эта дура видит, что он просто гулял.

Повариха направилась к главному входу, единственному открытому входу в монастырь, и, когда она завернула за угол, Витька юркнул в «забитую» дверь. Откуда-то возник Нэпман и запер ее.

Витька пошел на занятия. Ему хотелось быть среди ребят и не хотелось видеть Нэпмана. Он вспомнил, что в спеш-

ке оставил раскрытой дверь в кладовку. В том же коридоре — комната Елены Евгеньевны. Значит, о пропаже узнают сразу. Поднимется шум на весь детдом.

После уроков пошел в столярку. Яростно и зло строгал доски. Здесь его и отыскал Нэпман.

— Куда дел? — грозно спросил он. — В крапиве нету.

— Спрягал.

— Куда?

— В кусты.

Недобрыми глазами посмотрел Нэпман.

— После отбоя принеси к большому дереву у ограды.

Понял?

— Понял.

Витька знал, что за обедом объявят о пропаже и начнется кутерьма. Репил идти обедать со спокойным и независимым видом. По дороге дал подзатыльник маленькой девочке, можно сказать, ни за что, растолкал соседей по скамейке, которые оставили ему мало места, придрался еще к кому-то. Потом вошла Елена Евгеньевна и призвала всех к порядку, сказав, что должна что-то сообщить ребятам, а перекричать всех не может.

Витька не заметил, как низко склонился над своей миской. Он искоса поглядывал на воспитательницу и не мог понять, почему она так часто смотрит в его сторону. Ведь он сидит тихо. Шумят совсем за другим столом.

Когда все стихли, она сказала:

— Вот что я должна объявить вам, ребята...

Она почему-то умолкла, и Витька замер, перестал жевать, и ложка остановилась у самого рта.

— Так как старших ребят нет, — продолжала она, — на вас лягут дежурства по кухне.

Дальше она объявила, кто должен дежурить. В числе дежурных был назван и Витька. Только теперь он обратил внимание, что все продолжают есть, а он один сидит как неживой. Ему показалось, будто и Елена Евгеньевна это заметила. Он стал есть быстро и опять подумал, что это не дело: все едят нормально, и только он один то сидит как истукан, то хватает.

Во время «мертвого часа» в келью к Витьке пришла Елена Евгеньевна с Верочкой и сказала:

— Мы посидим у тебя, Витя. Хорошо?

Верочке девять лет. На вид ей лет пять. Ее отец — красивый командир — погиб на фронте. Она никогда его не видела. Она видела, как махновцы убили ее мать. С тех пор она

болеет. Никто не может определить, чем она больна. Верочка живет в одной комнате с поварихой и почти все время лежит в постели. У нее маленькое, бледное личико и очень большие черные глаза. Они будто не ее. Совсем взрослые. В них всегда удивление и упрек. Заведующий детдомом как-то сказал: «Когда смотришь ей в глаза, чувствуешь себя виноватым».

Елена Евгеньевна опустила на табуретку напротив Витьки, который сидел на топчане, привлекла к себе девочку и сказала:

— Верочка все просится во двор, а доктор не велит. Но там сейчас и неинтересно. Вот и Витя не выходил сегодня. — Она помолчала немного, потом спросила: — Ты ведь сегодня дома сидел, Витя? Или выходил?

Как-то странно она говорит. Очень настороженно, медленно, глядя ему в глаза. Он не мог выдержать этого взгляда и не знал, что сказать. Она ждала. Он ответил:

— Нет.

— Вот видишь, Верочка, Витя сегодня тоже не выходил.

Витька смотрел исподлобья и злился. Может быть, поэтому Верочка сказала:

— Я пойду домой.

Она ушла. Елена Евгеньевна молчала. Витька тоже молчал. То, о чем он думал, говорить было нельзя. Он думал: «Вот навязалась на мою голову».

— Мне очень жаль Верочку, — заговорила она. — Сегодня доктор разрешил ей выходить во двор. Но уже сыро, а у нее нет ботинок...

Витька перестал дышать.

— Кто-то забрал из кладовки всю обувь. Мы решили каждую пару выдавать на двоих, а Верочке — одной. Ни у кого больше нет такой маленькой ноги. Заведующий специально для нее доставал. Это было очень трудно... Напрасно я ей сказала об этом. Теперь она все время просит ботиночки. Просит хоть показать ей...

Витька искал, к чему бы придрататься, чтобы нагрубить ей и чтобы она уходила отсюда ко всем чертям. Как раз в это время начали бить в рельс — значит, окончился «мертвый час».

— Я пойду, Витя, — сказала она. — У тебя уже совсем пропшла голова?

— Угу, — буркнул Витька.

После «мертвого часа» надо было идти в столярку. Он не пошел. Он долго сидел на топчане и мысленно ругал Елену

Евгеньевну. Потом незаметно пробрался в кустарник, рыскал среди грубых солдатских ботинок маленькую пару, держал ее в руках, рассматривая со всех сторон, и бросил обратно в мешок, обернулся по сторонам и побежал прямо в столярку. Его отругали за опоздание, но потом похвалили, потому что работал он очень усердно до самого ужина. И здесь, за работой, твердо решил, что делать дальше. За несколько минут до отбоя он выйдет через главный вход, отнесет мешок к высокому дереву у ограды, и пусть Нэпман делает с ним, что хочет. А ботинки Верочки заберет и подкинет под ее дверь. Нэпман ничего не узнает. Подумает, так было...

За несколько минут до отбоя, когда дверь еще не была заперта, по почти все находились уже в кельях, а воспитатели — в канцелярии, Витька пробрался в кустарник и вынул маленькие ботинки. Они лежали сверху. Потом вытащил мешок, но ему мешали Верочкины ботинки. Он опять положил их на место, взвалил мешок на плечи и, уже не думая больше, смело пошел к главному входу, не таясь, не прячась, не пригибаясь.

Он едва успел проскочить в дверь, как раздался сигнал отбоя. В коридорах никого не было. Еще издали увидел на кладовке замок. Не останавливаясь, прошел мимо и у комнаты Елены Евгеньевны положил свою ношу.

По дороге в келью натолкнулся на группу воспитателей.

— Уже был отбой, Витя, — сказала Елена Евгеньевна.

— Зайдите в свою комнату, — грубо оборвал ее Витька и побежал, не желая давать объяснений.

Не раздеваясь, лег и стал думать, что сказать Нэпману. Не лежалось, не думалось. Он встал. И тут вошла Елена Евгеньевна. Она молча прижала Витькину голову к груди, поцеловала в висок и не оторвала губ, а так и осталась стоять, склонившись к нему, глядя его худые лопатки и перебирая губами волосики на виске. И Витька прижался к ней, боясь, чтобы она не отошла и не увидела его слез.

...Не дождавшись Витьки и не найдя мешка, Нэпман пошел в город. Берегись, Витька, спуску теперь не будет.

Нэпман пил больше обычного, щедро угощал официантов и всех, кто подходил к столику.

Денег не хватило. Ему поверили. Знали, что на следующий день принесет.

Идти в детдом не было смысла. Все равно надо возвращаться в город — доставать деньги. Ночевал в какой-то хибарке на окраине, у скупщика краденого. Рано утром пошел

на рынок. Здесь, между возами, ударили чем-то тяжелым по голове, когда полез в чужой, туго набитый карман. Он зашатался, но не упал. Навалилась ватага спекулянтов и кулаков, мелькнули перед глазами двое из тех, кого так щедро вчера угощал. А потом уже ничего не видели глаза, заплывшие кровью.

Били не по законам «темной», не по справедливости. Били кулаками, как оглоблями, били ногами в низ живота и под ребра, чтобы не осталось следов. Били, когда обессиленные руки перестали прикрывать голову, когда рухнуло на землю тело.

Резкий свисток остановил одурманенную погапь. По дороге в больницу он скончался.

Его хоронили на монастырском кладбище. Он лежал в гробу в серой детдомовской рубашке. И не потому, что его модный костюм был изорван и окровавлен. Он лежал в простой детдомовской одежде, потому что никакой он не нэпман, а такой же детдомовец, бывший беспризорник, как и те, что шли за гробом. Теперь это видели и понимали все.

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Владимир Чеботарев оковчил училище, получив звание паровозного слесаря пятого разряда. Начав самостоятельную работу в депо, он не дал себе ни одного дня отдыха от занятий. Несколько месяцев проработал слесарем и решил, наконец, что пора сдавать экзамены на звание помощника машиниста.

Обычно перед экзаменами люди волнуются, в каком бы возрасте они ни были. Волнуются школьники, студенты, аспиранты, доктора. Волновался и Володя. Но не только потому, что боялся провалиться. Он знал: убеленные сединами машинисты-наставники, специалисты по тормозам, правилам, законам не любят слишком юного паровозника. Они прямо говорят: для того чтобы быть помощником машиниста, надо иметь волю, жизненный опыт, большую физическую силу. А где взять их в восемнадцать лет? И если юноша не в совершенстве постиг программу, пусть лучше не ходит на экзамен.

Испытание Володя выдержал. Экзаменаторы давно уже перешли за границы программы: уже задавались вопросы, на которые не всякий машинист ответит, но каждый раз следовал четкий и ясный ответ.

— Вот тебе и пикетный столбик! — сказал, улыбаясь, машинист-наставник. — Ну что ж, пусть ездит!

На этом опрос прекратился.

Владимир знал, что сразу его не пошлют на поездную машину, пока он не получит необходимую практику на маневровом или хозяйственном паровозе. Но вышло по-иному.

Время после экзаменов тянулось мучительно долго. Каждое утро он являлся в помещение дежурного по депо, протирал голову в окошко конторки и спрашивал:

— Скоро мне на дежурство, товарищ нарядчик?

— Вызовем, вызовем, — отвечал тот, не отрываясь от своих бумаг, едва взглянув на молодого помощника машиниста.

А Володя не уходил. Он смотрел сквозь окошко на огромную, во всю стену, заветную доску. Он искал среди сотен разноцветных пластинок только одну с надписью «Чеботарев В. А.». Она отчетливо представлялась ему. Так же как пластинки всех помощников, она будет окрашена в зеленый цвет, а фамилию выведут печатными буквами белой краской. Но ему не терпелось увидеть ее собственными глазами. Увидеть в графе «На маневрах», «На отдыхе» или лучше «В поездке», да в конце концов в любой графе, но только бы кончилась эта неопределенность. Прошло столько дней, а ничего не изменилось. Не передумали бы там...

Спустя неделю на свой обычный вопрос Володя вдруг услышал:

— А-а, Чеботарев! Собирайся, парень, в четыре часа ночи поедешь. До Чулымской резервом, а обратно поезд возьмете. Держись, брат!

Владимир и обрадовался и испугался. Не простое дело — сразу с поездом. Почему это так решили? Хотя иногда бывает. То ли заболел старый помощник, то ли нарядчик плохо людей распределил, но поезд надо вести, а помощника нет. Значит, посылают первого свободного человека.

Надо бы спросить, кто машинист, номер паровоза, но Владимир стоял и смотрел на нарядчика, пока кто-то не отеснил его от окошка. Он поспешил к выходу.

— Смотри отоспись хорошенько, Чеботарев! — вдогонку крикнул нарядчик.

— Да, да, обязательно, — отозвался он, ускоряя шаги.

Володя все рассчитал точно. Чтобы уехать в четыре, надо явиться к двум и не торопясь приготовить паровоз. Поэтому спать придется лечь в шесть вечера.

Придя домой, безразличным голосом сказал матери:

— Надо бы сундучок уложить, ночью ехать.

Вместе с нею старательно укладывал продукты, хотя са-

ми по себе они его интересовали мало. Когда все было собрано и сундучок отставлен к стенке, Володя приготовил рабочий костюм. Собственно, костюм был давно приготовлен, он просто снял с гвоздя штаны и тужурку, потрогал их руками, осмотрел и повесил на место.

Потом мать ушла, а он несколько раз открывал сундучок, проверяя, не забыл ли чего. Но все было на месте.

Спать лег, как и хотел, ровно в шесть. Но заснуть не мог, видно, потому, что в доме еще никто не ложился. Правда, раньше ему случалось укладываться первым, и он тут же засыпал, но сегодня, наверно, сильно шумели. Когда легли все, ему опять не спалось, по это и понятно: разве уснет человек, когда перебили сон...

А потом у него нашлось занятие: он стал ждать рассыльного. Он прислушивался к лаю собаки во дворе, к шагам на деревянном тротуаре, проходившим под окнами, к звукам на улице.

Он хорошо знал, что рассыльный придет, но на всякий случай решил на него не полагаться, а следить за временем, чтобы не проспать. Теперь то и дело поднимался, шел на кухню, где висели ходики. Но и с ними что-то случилось. Последний раз смотрел на циферблат с полчаса назад, а вот стрелка передвинулась только на семь минут.

Он снова лег, твердо решив не подниматься до прихода рассыльного и немного поспать. Но теперь ему не спалось, видно, оттого, что уже скоро вставать.

Шорох под окном послышался совершенно ясно. Володя затаил дыхание. И вот — осторожный стук палочкой по стеклу... Он продолжал лежать не дыша, не шевелясь. Стук повторился. Чуть-чуть громче.

— Кто там? — раздался голос матери.

— Помощнику Чеботареву Владимиру в поездку на четыре ноль-ноль, — послышалось с улицы.

— Володя... хорошо, хорошо, сейчас, — невпопад отвечала она, не зная, то ли будить Володю, то ли самой говорить с рассыльным. Быстро поднялась с постели, зажгла свет на кухне.

— Вставай, Володя! — позвала громко.

— А? Что? — будто спросонья отвечал он. — А сколько сейчас времени?

— Половина второго, ехать в четыре, поднимайся.

— Вот еще, рано как вызвали, вполне мог еще полчаса поспать, — недовольно бормочет он, но так, чтобы мать слышала.

— Сколько спать можно! — удивляется она. — Ведь в шесть часов лег.

Володя ничего не говорит больше. Он деланно зеваает, но одевается быстро. Два ряда металлических пуговиц блестят на тужурке.

Наступает торжественный момент. Небрежно поднимает сундучок, смотрит, хорошо ли закрыта крышка на щеколду, и солидно говорит:

— Ну, я пошел, вернусь, наверно, завтра к вечеру...

Он идет с сундучком по деревянному тротуару, и гулко стучат ослабшие на гвоздях доски. То ли от ночной прохлады, то ли от возбуждения вздрагивает. Отчетливо слышны паровозные гудки.

Близ станции и на путях много движущихся фонариков. По тому, как они покачиваются, Володя угадывает, кто идет, определяет походку. Вот мелькает, подпрыгивает огонек. Он движется то медленнее, то быстрее, взмахи его очень короткие. Это определено девушка: списчица вагонов, может быть, стрелочница...

Вот большие, широкой дугой взмахи. Это идет молодой сцепщик, или дежурный по станции, или составитель. Настроение у него явно веселое, вишь, как размахался. Шаги уверенные, крупные.

А этот фонарик то и дело переходит из одной руки в другую. Взмахи неровные, зигзагами. Человек нервничает. Вот его огонек поднялся вверх, отошел в сторону, снова опустился. Человек мысленно с кем-то спорит, жестикулирует, доказывает свою правоту.

Дальше виден фонарик, будто на тихих волнах. Он качается размеренно, спокойно. Сомнений не может быть: идет главный кондуктор. У этого всегда все хорошо уложено, он ничего не забудет дома, точно рассчитает время. Торопиться ему некуда, он никогда не опаздывает.

По огоньку можно узнать, куда направляется человек.

На работу идут быстрее, домой медленнее, усталой походкой. Чистые, досуха протертые стекла в фонарике — значит, идет на службу. Закопченные, грязные — на отдых.

Вот понеслись огоньки к только что прибывшему составу. Вслед за ними еще несколько фонариков. Они уже мелькают вдоль всего поезда. Это осмотрщики вагонов и автоматчики.

Так издавна называются слесари по ремонту автоматических тормозов. Все они торопятся. Поезд стоит на станции недолго, и надо успеть проверить ходовые части и тормоза всех вагонов.

И только паровозники, даже в самую темную ночь, ходят без фонарей. Но их легко узнать по сундучкам.

Чем ближе Володя подходил к станции, тем больше встречалось людей. Ночью железнодорожный поселок живет почти такой же жизнью, как и днем. В служебных помещениях беспрерывно трещат телефоны, передаются сводки, пазначаются свидания, спорят извечно враждующие представители различных служб.

Круглые сутки работают столовая, душ, красный уголок. И глубокой ночью и на рассвете стонут столы от могучих ударов костяшками домино: одни ждут своего поезда, чтобы вести его, другие, чтобы осмотреть вагоны, и у всех находится свободное время для игры в домино.

Неумолкающий гул голосов в помещении нарядчика паровозных бригад. Время от времени из-за перегородки крикнет дежурный по депо или нарядчик, чтобы не мешали работать, и на несколько минут шум утихнет...

Никто не обратил внимания на Владимира, протискивавшегося к окошку. Нарядчик сообщил ему фамилию машиниста и номер паровоза. Потом Володя увидел, как нарядчик достал из ящичка пластинку и повесил на доску в графу «В поездке». На пластинке четкими буквами было написано: «Чеботарев В. А.».

Он отыскал свой паровоз возле депо, поднялся в будку и осмотрелся.

Тускло горели две коптилки: у манометра и водомерного стекла. Под ногами трещал разбросанный по всему полу уголь. Пахло едким дымом и мазутом. Машина словно дремала.

Сколько раз во время учения и практики он бывал на паровозе! Что нового мог здесь увидеть? И все же новые, неизведанные и волнующие чувства охватили его. На этом паровозе поедет он!

Сегодня откроется счет километрам. Когда этот счет достигнет пятидесяти тысяч, он получит право сдавать экзамен на машиниста.

Поставил сундучок под сиденье, под свое сиденье за левым крылом, и снова осмотрелся.

— Эй, кто там? — послышался голос снизу.

Владимир выглянул в окно. В свое окно за левым крылом.

— Помощник машиниста, — как можно солиднее ответил он.

— Ну, принимай! — И человек с лопатой полез в будку.

Владимир знает: это деповский кочегар. Пока нет бригад,

он чистит топку паровозов, следит за огнем, за уровнем воды. Теперь надо принять у него топку, и он больше сюда не придет до следующего рейса.

Владимир потянул за рукоятку, и тяжелые чугунные дверцы топки легко разошлись на две стороны. Внимательно оглядел все внутри. Трубы не подтекают, связи и болты в порядке. Медленно тлеют огоньки по всей колосниковой решетке. Ни одного синего язычка, ни одного обугленного «блина» — значит, шлага нет, топка вычищена хорошо.

— Ну, я пошел, — сказал кочегар, видя, что претензий к нему нет.

Владимир подбросил в топку и захлопнул дверцы. Еще с минуту стоял, оглядывая все вокруг, потом решительно снял тужурку, повесил на крючок позади своего сиденья и приступил к делу.

Захватив ключи, масленку и факел, спустился вниз. Предстояло смазать около ста точек. Он работал быстро и внимательно, но дело шло медленно.

Владимир нервничал. Ему хотелось все закончить до прихода машиниста, а стрелки на светящемся циферблате больших деповских часов бежали как сумасшедшие. Весь он перемазался и очень торопился.

Вскоре явился кочегар, здоровенный парень из близлежащей деревни. Поздоровался с Владимиром и полез наверх. Работы у него немного. Топит паровоз помощник, а не кочегар. К паровозу он отношения не имеет, его дело — тендер. Набрать в тендер воду и уголь, когда машинист подъедет к колодке и эстакаде, следить за тендерными буксами, заполнять углем большой железный лоток по мере того, как помощник выбирает оттуда уголь и забрасывает в топку, да еще выполнять мелкие поручения машиниста и помощника.

Владимира немного покорило, что кочегар не остановился возле него, не спросил, что делать. Он велел кочегару хорошенько убрать в будке, хорошенько осмотреть тендерное хозяйство, хорошенько проверить уровень смазки в буксах. Кочегар выслушал Володю и добродушно, немного удивленно сказал:

— Ну, а как же? Я думал, тебе чего другого надо, а это я сам знаю.

Владимиру стало неловко. И чего, действительно, лезть со своими указаниями, если человек работает давно и много знает, пожалуй, лучше помощника?

Машинист пришел, когда у Владимира было почти все

готовое. Взяв молоток, пошел вокруг паровоза, тщательно постукивая по бандажам колес, по клиньям, валикам.

Потом все поднялись наверх, и машинист, дав сигнал, тронулся на контрольный пост, откуда почти без задержки выехал на главный станционный путь.

Здесь, не дожидаясь указания механика, Владимир прицепил к заднему левому фонарю красный флажок — знак того, что паровоз пойдет резервом, и удовлетворенно отметил про себя, что машинист одобрительно следил за ним. Потом Владимир попросил маршрутный лист, чтобы отметить у дежурного по станции. И снова увидел, что машинист доволен его действиями.

Вскоре и сам дежурный вышел на перрон и вынес жезл — разрешение ехать. Паровоз тронулся и начал быстро набирать скорость.

Было совсем светло. Владимир сидел за левым крылом паровоза, и хотя сиденье оказалось немягким, а подлокотник не был обрамлен тяжелой бахромой, но счастье разливалось по сердцу. Время от времени он подбрасывал в топку уголь, подкачивал воду, по мере надобности открывал и закрывал цилиндрические краны. И все, что он делал, приносило ему радость.

Состояние у него было возбужденное, радостное и вместе с тем тревожное: давление пара никак не поднималось выше десяти, когда норма двенадцать. Чтобы увеличить тягу, он открыл сифон, но машинист велел закрыть!

— Куда тебе пар! — недовольно сказал он. — Ведь резервом едем, только уголь зря жечь.

Владимир и сам понимал, едут они налегке и десяти атмосфер вполне достаточно. Но все же ему хотелось видеть стрелку манометра на красной черточке — указателе предельного давления.

До Чулымской ехали долго. Паровоз держали почти на всех станциях, пропуская поезда. Добрались туда к середине дня.

Сдав машину деповскому кочегару, все вместе пошли отдыхать. Владимир старался идти степенно, солидно и не глядеть на людей, не выставлять напоказ свой сундучок, будто впервые взял его в руки. Но как-то так получалось, что его взгляд не пропускал ни одного прохожего, пока не дошли до дома для отдыха поездных бригад. Здесь отдыхают в ожидании поездов паровозные и кондукторские бригады. Здесь тихие, затемненные спальни, красный уголок, горячий душ, камера храпения. Едва ли не центральное место занимают

кухня и прилегающая к ней столовая с длинным столом, обитым цинком. Здесь все приспособлено для того, чтобы люди могли приготовить то, что им хочется. В их распоряжении большой набор посуды, горячая вода.

В столовой и на кухне можно узнать все новости с любой из десятков станций участка. Здесь обстоятельно, авторитетно обсуждаются крупнейшие международные события и внутренняя жизнь страны.

Владимир вместе с машинистом и кочегаром помылись в душе и пошли на кухню варить суп.

Наступила минута, о которой тоже когда-то мечтал Владимир. Есть старая традиция паровозников: в доме для отдыха варить суп. И какая бы ни была поездка, тяжелая или легкая, какие бы ни сложились отношения между машинистом, помощником и кочегаром, но на отдыхе открываются сундучки и на столе появляются сало, крупа, картошка, лук — все, что требуется для супа паровозника. В приготовлении этого блюда паровозники достигли предела совершенства и не сменяют его ни на какие блюда.

Обычно готовит помощник машиниста или кочегар. А машинист нет-нет да и откроет кастрюлю, попробует, даст указание получше поджарить сало или помельче нарезать лук, а то и сам, набрав соль в ложку, высыплет в кастрюлю и старательно размешает. Потом кастрюлю торжественно ставят на стол, подложив деревянный кружок, и первую миску наливают машинисту.

Каким бы разным ни было материальное положение членов бригады, суп готовят и едят вместе. Второе блюдо дело каждого. У любого паровозника в сундучке припрятано его любимое, приготовленное специально для него.

Владимир признался, что варить суп не умеет. Ему поручили чистить картошку и лук, а готовить взялся сам машинист. Он охотно открывал Владимиру тайны кулинарии, комментируя каждое свое действие.

Пообедав, легли спать, и на этот раз Владимир заснул, едва лег. Он не повернулся на другой бок, пока не разбудили в поездку.

Паровоз готовил уверенно, внимательно следил за топкой и к выезду под поезд нагнал двенадцать атмосфер пару. Воды было три четверти водомерного стекла, тоже — норма. К поезду подъехали в полной готовности.

И этот первый рейс Володя провел отлично. Была в нем удивительная природная хватка. Он быстро улавливал все новое, впитывая в себя опыт старших, и в месяц постигал то,

что другим давалось за полгода. Еще будучи на практике, легко освоил и искусство топить паровоз, что помогло ему в скором времени пересесть на пассажирскую машину.

Мечта Володи — стать машинистом — на глазах превращалась в реальность. Прошло менее двух лет, когда по комсомольской путевке его послали на курсы машинистов.

И ВСЕ ИЗ-ЗА ЗВОНКА

Из детдома Виктора Дубравина направили в железнодорожный техникум. Учиться ему не хотелось. Решил уйти с первого курса. До каникул дотянуть, уехать, а обратно не возвращаться. Но тогда его удержали. Хитростью удержали. А вот сейчас, когда он уже на втором курсе, когда начали, наконец, изучать паровоз — эту удивительную машину, — его выгоняют.

На первом курсе, за неделю до зимних каникул, он выписал положенный ему, как железнодорожнику, бесплатный билет в Москву. Там не пропадешь.

Проездные документы не выдали. Сказали, что вызывает начальник техникума Николай Кузьмич Масленников. Значит, успел как-то пронюхать. Он всегда все знает.

Будь это не Николай Кузьмич, можно бы и наплевать. Без билета ехать не в первый раз. Но начальник мужик стоящий, и Виктор его уважал. Должно быть, потому, что у него два боевых ордена: за Перекоп и еще за какой-то особый героизм. А возможно, и по другой причине: он не похож на начальника. Здороваётся за руку, на переменах забегает в курилку, и если случается, нет у него папирос, не стесняясь, просит у ребят. За ним не пропадало.

Особенно хорошо он относился к бывшим беспризорникам, которых кое-кто сторонился. Их было шесть человек, и все они очень остро переживали любое напоминание о своем прошлом. С Николаем Кузьмичом получалось как-то по-иному. Он охотно рассказывал им о гражданской войне и сам с удовольствием слушал об их собственных «подвигах». Они его не стеснялись.

Виктор решил явиться на вызов и не мудрить, а как только спросит, честно признаться, что учиться не будет. Но оказалось, он вызвал всех шестерых. «Я, — говорит, — вам сюрприз приготовил. Вот путевки на экскурсию в Ленинград, с полным питанием на месте, а вот деньги на дорогу. Стипендию приберегите, после каникул пригодится».

Все обрадовались. Отказаться Виктору было неловко. Да и почему бы не съездить в Ленинград?

Только в поезде спохватились, что за путевки директор велел расписаться, а за деньги — нет. И стипендию и всякие ссуды выдавал только кассир. И всегда надо было расписываться и проставлять сумму прописью. А тут выдал сам, без всякой ведомости. Как-то нехорошо получилось.

Бросать техникум сразу после возвращения из Ленинграда было и вовсе неудобно. Решил потянуть месячишко. Когда снова собрался уходить, как назло, Николай Кузьмич позвал всех шестерых к себе на день рождения. «По возможности, — говорит, — принесите подарки. Подготовить успеете, впереди еще целая неделя». Он объяснил, что подарки принимает только контрольными работами с оценкой «хорошо» или «отлично». «Если не получится, — предупредил он, — тоже не страшно, можно и так прийти. Но не вздумайте покупать что-нибудь. Выгоню».

Все знали: не выгонит и даже не упрекнет. Только покраснеет. Странный человек. Если ему нанесут обиду или оскорбят, он краснеет от стыда. Даже непонятно, как он ордена за героизм получил.

Портить ему настроение в такой день не хотелось. И без подарка являться было стыдно. Виктор злился на Николая Кузьмича и мысленно ругал его.

На вечере, куда пришли преподаватели и много другого народа, ребятам было не по себе. Кто-то сказал, что зря позвали сюда беспризорников. Они не слышали этого. Они это чувствовали. Если человек говорит даже очень вежливо, улыбается, но думает о них как о беспризорниках, они это чувствуют и уже сами не могут спокойно разговаривать.

Всем было неловко — и ребятам и другим гостям. Только Николай Кузьмич ничего не замечал. Он произнес тост за Виктора и его товарищей, за их отцов, которые отдали жизнь за революцию, за всех здесь присутствующих. Он поднял вверх шесть контрольных работ, на которых стояли оценки «отлично» и «хорошо», и сказал, что гордится своими питомцами и верит в них, потому что они, хлебнув немало горя, не пошли по легкому пути в жизни, а стараются быть достойными своих отцов. И он каждому из них в отдельности пожал руку. Преподавателям тоже захотелось пожать им руки, и неловкость, которая была вначале, как-то прошла.

После такого вечера сразу бросать техникум было совершенно невозможно. И еще был подходящий случай уйти наконец, и опять получилось так, что помешал Николай Кузьмич. А вот теперь, когда самое трудное позади, когда он уже на втором курсе, его исключают.

Откровенно говоря, единственное, чего ему жалко, это паровоз. Те, кто не понимает, думают, будто ничего особенного в этой машине нет. Они не представляют, какая в ней таится сила. Она вырабатывает в час около двадцати тысяч килограммов пару. Если этот пар сразу выпустить, его хватит, чтобы окутать всю Дворцовую площадь в Ленинграде вместе со всеми дворцами. Это целое небо. Но его загнали в один котел. Пар распирает котел с силой пять тысяч тонн. Он так давит на воду, что она не может кипеть. Она закипает только при двухстах градусах.

Виктор забросил остальные предметы. Снова появились «хвосты», от которых он едва избавился. Зато на уроках по курсу паровоза он просто бог. У него не хватает терпения плестись вместе с классом, и он ушел далеко вперед. Целые ночи просиживал над книгами о паровозе.

Так было и перед тем злополучным днем. Он засиделся за «Историей локомотива» и лег спать только на рассвете. Утром его едва растолкали. Первые два урока была математика. Он совершенно не подготовился. Не имел понятия о том, что задано. Сидел на уроке и ждал звонка.

Сорок пять минут идет урок. Это две тысячи семьсот секунд. И каждую секунду могут вызвать к доске.

Какая ни с чем не сравнимая мука — ждать звонка. Ждать, хотя урок только начался и еще не взялся за журнал математик, чтобы выбрать первую жертву. Никогда не бывает в классе такой настороженной тишины, как в эти нестерпимо томительные секунды.

Преподаватель медленно достает из кармана футляр, аккуратно извлекает очки, щурясь, смотрит на них против света и, подышав на стекла, начинает тщательно протирать их. Наконец надевает очки, с отвратительной медлительностью прилаживая за ушами дужки. Обводя долгим взглядом переставший дышать класс, торжественно раскрывает журнал.

Он тяплет, будто нарочно, будто издевается, наслаждаясь своей властью. Он словно хочет продлить ее и мстит за все огорчения, что порой причиняют ему здесь. Все замерло, и слышно только, как шелестят журнальные страницы.

Виктор следит за глазами математика. Они медленно скользят по алфавитному списку. Уже первые буквы пройдены. Вот взгляд задержался. Дубравин опускает голову... Секунда, вторая, третья... Тишина. С надеждой поднимает глаза. Миновало. Уже где-то на «С».

Наконец фамилия названа. Будто вырвался общий вздох облегчения. Будто фотограф сказал «Готово». Расслабили на-

пряженные мышцы, все задвигались, заерзали. Скрипнул стол, упала книга, кто-то кашлянул, кто-то шмыгнул носом. Послышался шепот.

Наступает передышка минут на десять — пятнадцать. Хотя нет. Вызванный к доске уже через несколько минут допускает ошибку.

— В чем ошибка, скажет нам... — Преподаватель обводит глазами класс.

Виктор ниже склоняется над тетрадью.

— ...Скажет нам Дубравин.

Виктор медленно поднимается. Смотрит на доску, вглядывается, шевелит губами: «...логарифм... икс... та-ак...»

Ну откуда ему знать, где ошибка? И кому нужны эти логарифмы и кто только их выдумал! На паровозе логарифмов нет...

— Садитесь.

До конца урока остается тридцать семь минут. Успеет еще десять раз спросить с места и вызвать к доске... Нельзя так часто смотреть на часы. От этого время тянется медленнее. Надо о чем-нибудь думать.

Какое странное это явление — звонок. Кажется, ничто в мире не может доставить такой радости, так быстро преобразить подавленного и притихшего человека, как звонок. Хочется выкрикнуть какое-нибудь нелепое слово, щелкнуть по стриженному затылку товарища или закричать «ура». И уже нет сил усидеть на месте даже лишнюю минуту, дослушать до конца фразу преподавателя.

Какое странное это явление — звонок. Гремит, как барабанный бой врага, как сигнал бедствия. И целые толпы будто под гипнозом покидают веселые коридоры и добровольно идут на расправу. Звонок с урока — коротенький и тихий. О конце перемены он возвещает так, что могут лопнуть барабанные перепонки. Подойти бы да грохнуть по этому молоточку, по чашечке, чтобы разлетелись вдребезги... Снова долгие сорок пять минут. Две тысячи семьсот секунд...

Надо думать о чем-нибудь интересном. И он вспоминает. Почь. Огромная станция забита поездами. Где-то среди эшелонов затерялся нефтяной состав. Сюда его гнали на большой скорости, а вот здесь будет дожидаться очереди часа полтора.

На паровозе все замерло. Задвинув окна, дремлют на своих мягких сиденьях машинист и помощник. Безжизненная, спит машина. Только лениво и беззвучно перебегают огоньки в потемневшей топке, да время от времени, точно испугав-

шись во сне, всхлипнет насос. И снова все тихо. Сзади, на угольном лотке, сидит кочегар Виктор Дубравин. Он практикант. Это первая его практика. Но на паровоз лишних людей не пускают. Он член паровозной бригады, без которого нельзя обойтись. Он нужен здесь. Вместе с машинистом и помощником он водит поезда с грузами пятилетки.

Теперь оба они спят. Он принимает на себя полную меру ответственности за паровоз и всю полноту власти над ним. Это ничего, что никто его не уполномочивал и спрос с него самый маленький. Не в каждую поездку выпадает случай похозяйничать на паровозе.

В будке десятки маховиков, рукояток, рычагов, приборов. Ими управляют машинист и помощник. Кочегару ничего не достается. Он только и делает, что без конца швыряет уголь из тендера в лоток. Даже в топку он не имеет права подбросить. Топить паровоз — дело тонкое и входит в обязанность помощника. Но управлять приборами он может. Откровенно говоря, теоретически он знает больше этого помощника. Он знает о таких вещах, которые редкому машинисту известны.

Виктор сидит на лотке и сторожит стрелку манометра. Она уже возле красной черточки. Еще немного, и тонко запышет струйка пара на котле, сожмутся могучие стальные пружины предохранительного клапана, и, как огнем, ударит в небо раскаленный пар, которому уже некуда деться в котле. Не будь этого клапана, котел разнесло бы на мелкие куски.

Но Виктор не допустит, чтобы пар без пользы уходил из котла. Стрелка манометра вот-вот закроет красную черточку. Пора.

Он подходит к приборам. Вид у него солидный, какой и положено иметь опытному паровознику. Повертывает одну рукоятку, приподнимает другую. Раздается щелчок, и с резким скребущим звуком вода устремляется в котел. Холодная вода в бурлящий котел. Она собьет пар, снизит давление.

При первом же звуке инжектора схватывается помощник, резко повертывает голову машинист. Инстинктивно они бросают взгляд на водомерное стекло и манометр. Словно сговорившись, без единого слова оба устраиваются поудобней и тут же засыпают.

Виктор воспринимает это как похвалу. Он все делает правильно, на него можно положиться, можно спокойно спать.

Паровозники могут спать в любом положении, под любой грохот. Они не проснутся, если на соседнем пути будут бить

молотком по буферным тарелкам. Но стоит мальчишке, бегущему мимо, из озорства шлепнуть ладошкой по тендеру, и машинист насторожится.

...Но почему смеется весь класс? На всякий случай он тоже смеется, и это вызывает бурный хохот.

— Я уже в третий раз обращаюсь к вам, Дубравин, — спокойно говорит преподаватель. — Прошу к доске.

подавив тяжелый вздох, Виктор поднимается. Ну что они от него хотят? Он идет, думая о звонке. Сколько осталось? Посмотреть на часы не успел, а теперь неудобно. Заметит. Единственное спасение в звонке. Если осталось немного, есть смысл тянуть. Можно долго и тщательно вытирать доску, аккуратно, не торопясь, писать условие примера или задачи, перепутать что-нибудь и, когда преподаватель поправит, «по ошибке» стереть все. Потом начинать сначала. Когда условие будет написано, можно повторить его. Хорошо бы, конечно, выйти в коридор намочить тряпку...

Он вытирает доску левой рукой, чтобы видеть часы. Остается тридцать минут. Эх, звонок-звончек, не дожидаться тебя...

Написав, наконец, условие примера, Виктор бодро говорит:

— Мы имеем логарифм дроби. Логарифм дроби равен логарифму числителя минус логарифм знаменателя.

— Правильно, — одобрительно кивает головой преподаватель.

— Приступаем к логарифмированию, — так же бодро продолжает Виктор.

Оказывается, логарифмировать нельзя. Оказывается, в числителе многочлен. Надо сначала преобразовать его. Как это сделать, он не имеет даже отдаленного представления... И для чего это надо делать, тоже непонятно. Его вполне устраивает и многочлен. И какой там многочлен, когда всего $x^2 - y^2$. Ему говорят, что это просто формула. Он и сам видит, что это формула. И что же?..

— Вы совсем ничего не знаете, садитесь.

Обиженный, понуро идет на место. Раскатисто звенит звонок.

На втором уроке Виктор спокоен. Теперь преподаватель уже не спросит с места, не вызовет к доске. Можно продолжать «Историю локомотива». Вчера прервал на самом интересном месте.

Урок в разгаре. На коленях — книга. Виктор незаметно, беззвучно листает страницы, ищет, где остановился. Вот

смешная выдержка из «Горного журнала». Он уже читал ее, но слова пробегает.

Первая авария на транспорте. Паровоз наскочил на телегу с маслом и яйцами. Против паровоза поднята страшная кампания. Стефенсон изобретает гудок, чтобы предупреждать о движении поезда.

Идет урок. Кто-то отвечает, кто-то рвется к доске, кто-то трепетно ждет своей участи. Виктор далек от всего этого. Он не замечает, как поглядывает на него преподаватель, не слышит, как наступает тишина. Настороженная тишина перед вызовом очередной жертвы.

«Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный паровозом воздух будет убивать пролетающих над ним птиц, сохранение фазанов и лисиц станет невозможным, дома близ дороги погорят, лошади никому не будут нужны, овес и сено перестанут покупать...»

И в полной тишине настороженного класса Виктор громко хохочет.

— Выйдите за дверь!

Да, это ему. Он даже пригнулся. Преподаватель гневно повторяет свое требование.

Тихо и пустынно в коридоре. Как не сообразил захватить книжку?! Теперь за ней не вернешься... Ужасно неприятно одному в пустом коридоре. В классах идет жизнь. За этими дверьми смех. А вот здесь слышен только голос преподавателя. Должно быть, объясняет новое.

Побродив по коридору, Виктор спустился вниз. Над степными часами, под самым потолком, — звонок. Подвел сегодня, чертов звонок. Висит себе, как святой. А сколько людей сейчас думают о нем, ждут его. До конца урока одиннадцать минут. Человек десять во всех классах успеют получить «неуды». В среднем по одному «неуду» в минуту. Сколько нежданного счастья может принести этот бездушный звонок. И как это просто. Повернул выключатель — и готово: ни одного «неуда».

Какой-то толчок, вспышка безрассудной удали, и звонок раскатисто понесся по этажам.

...Кто-то растерянно смотрел на часы, кто-то пытался удержать на месте людей. Но велика и непререкаема, как государственный закон, сила звонка. Ринулись в коридоры веселые потоки. Не удержать их.

Виктор и шагу не успел сделать, как подлетела к выключателю сторожика.

— Ах ты, беспризорник проклятый, погибели на тебя нету! — кричала она, потрясая кулаками.

Прокатилась по телу и хлынула к горлу горячая волна, захлестнув дыхание. Виктор размахнулся, но какая-то не его, чужая, сила будто схватила за руку.

— У-у, старая... — слово вырвалось отвратительное, страшное, и уже не вернуть его.

Женщина зажмурилась, зажала ладонями уши...

Теперь его исключают. Все об этом знали. Ждали педсовета, который только формальность. Они думают, что он пойдет просить. Никуда он не пойдет, никого умолять не собирается. Жаль, конечно. Не хватило выдержки. Но все равно ни одного слова нотаций выслушивать не будет. Ваше дело исключить, а поучать хватит. По самое горло сыт поучениями. И никаких извинений у нее просить не будет. Пусть не лезет.

К начальнику его вызвали вечером. Ни за что не пошел бы, не будь это Николай Кузьмич. Хороший он человек, только очень навязчивый. Виктор все время у него в долгу. То путевка в Ленинград или день рождения, то премия за производственную практику и лучшее место в общежитии, и еще черт знает сколько всяких поощрений. Постоянно чувствуешь себя обязанным ему.

Виктор хорошо знал, что ждет его в кабинете начальника. Николай Кузьмич не повысит голоса, не скажет грубого или обидного слова. У него будет даже виноватый вид; ничего больше сделать не может. Посоветует, как дальше жить, на прощание подаст руку. Чего доброго, еще покраснеет. И все это будет нестерпимо, и не будет возможности его не слушать.

Уж лучше бы вызвал завуч. Тот берет криком. Начинает разговаривать спокойно, а через минуту орет как сумасшедший. С ним легче. Послать его про себя ко всем чертям и хлопнуть дверью. Кричи на здоровье.

А вот как быть сейчас? И почему так не безразлична ему эта последняя встреча?

Виктор шел озлобленный, все больше накаляясь и настраивая себя против Николая Кузьмича, не в силах придумать, как отвечать на его спокойный тон. Несправедливый в своем озлоблении, он понимал это, злился еще больше и переступил порог кабинета начальника, готовый к любому безрассудному поступку.

Как и ожидал Виктор, тон у Николая Кузьмича был спокойный.

— Вещи собрал?

— Собрал.

— Когда едешь?

— Да хоть завтра... Общежитие могу освободить сегодня.

Николай Кузьмич откинулся на спинку кресла и каким-то колючим, незнакомым Виктору голосом сказал:

— Завидую тебе. Легко по жизни пройдешь... В душу мне наплевал и с эдакой легкостью попрыгунчика: «Да хоть завтра!» А отмывать кто будет?! — неожиданно закричал он и стукнул кулаком по столу. — Мне куда от людей глаза прятать? Или на всю жизнь, как короста, твои плевки прирастут ко мне!

Он вскочил и быстро заходил по кабинету.

— Нет, брат, шалишь! Ты походи, помучайся да каждый день в глаза сй посмотри... Не исключу я тебя. Понял? — Он схватил со стола лист бумаги, напечатанный на машинке, и, тряся им перед носом Виктора, злорадно заговорил: — Это приказ о твоём исключении. На подпись принесли. Видел? — И он в ключья разорвал бумагу. — А теперь убирайся! Иди к сторожике, собери всех преподавателей и студентов, плюнь им в лицо: «Что, исключили? Ну-ка, выкуси! У меня здесь своя рука — сам Николай Кузьмич. Что хочу, то и делаю! Я вам еще не такое устрою. Вы у меня все запляшете! Сторонись, Дубравин идет!»

Тяжело дыша, он опустил в кресло. Обессиленный, бесстрастно и тихо сказал:

— Не могу я тебя исключить, Виктор. Понял? Ни одного из вас шестерых не могу. Не прощу себе потом. Иди. Поступай, как велит тебе совесть.

Виктор быстро и молча вышел из кабинета, потому что опять этот проклятый комок подступил к горлу. Да и всё равно не мог бы он теперь ничего сказать, не мог бы выразить охвативших его чувств. Ни разу не мелькнула мысль о том, что его не исключили. Что-то очень большое заслонило эту маленькую радость. Могучие руки, как в детдоме, поддерживали его и не давали упасть.

Не в силах разобраться в собственных мыслях и чувствах, он машинально двигался по коридору. Закончилось какое-то собрание, и шумная толпа ринулась в раздевалку. Виктор шел, и люди смотрели на его странный, растерянный вид, на устремленный куда-то взор и расступались, и каждый, кто взглянул на него, уже не мог оторвать глаз и не мог понять, что с ним происходит.

Он вошел в раздевалку и остановился перед сторожкой.

Она тоже встала, взяв в руках что-то пальто и шапку. Они глядели друг на друга.

Самый большой задира, упрямый и сильный, с болезненным самолюбием, ни перед кем не склонявший головы, он стоял расслабленный и беспомощный, и покорные глаза и подрагивающие губы — все существо его молило: «Прости меня, мать!»

Выпали из рук пальто и шапка, женщина рванулась к нему, встряхнула, взявши за плечи, зашептала:

— Ну что ты, дурачок, да я уже к начальнику ходила, это я во всем виновата, не бойся, он обещал...

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СВЕТ

После окончания техникума Виктор Дубравин легко сдал испытания на должность помощника машиниста. Он знал: пройдет не больше года, и так же легко получит он право управления паровозом.

Перед первой поездкой Виктор нервничал. Его производственная практика, начиная с первого курса, проходила в депо или на маневровых паровозах. А теперь предстояло вести товарный поезд.

Состав был длинный и тяжелый. В голове стояли вагоны с оборудованьем для Беловского цинкового завода и гигантскими деталями прокатного стана для Кузнецкого металлургического комбината, а в хвосте — фермы к новому мосту через Ангару. На первом вагоне висело красное полотнище с надписью: «Ни на минуту не задержим грузов второй пятилетки».

Машинист тоже заметно нервничал. На Омскую дорогу он перевелся недавно с одной из южных дорог, где паровозы отапливались нефтью. Как топить углем, знал только понаслышке, а на молодого помощника не надеялся. Он часто заглядывал в топку, предупреждал Виктора:

— Смотри же, парок держи, состав тяжелый!

Волновался и Виктор. Ему все казалось, будто в топке мало угля, и он, пока не тронулись, то и дело подбрасывал, хотя знал, что наваливать много тоже нельзя.

От него не укрылись сомнения машиниста, и от этого еще больше волновался.

Но вот, наконец, главный дал отправление, и машинист умело тронул состав с места. Поезд пошел, тяжело набирая скорость. Виктор не спускал глаз со стрелки манометра. Она крупно вздрагивала, но возвращалась на красную черту пре-

дельного давления. Потом увидел, как она задрожала мелко-мелко и уже не вернулась на место, а сместилась немного влево: давление упало на четверть атмосферы.

Он быстро поднялся, взял лопату, раскрыл топку.

Пока паровоз стоит, тяги почти нет. Но в пути чем больше нагрузка, тем сильнее тяга. Каждый выхлоп отработанного пара выхватывает воздух из топки.

Виктор взглянул на огонь. Трудно было понять, что там творилось. Пламя бушевало, билось из стороны в сторону, и в каждые четверть оборота колеса, с каждым выхлопом бросалось в трубы, будто частыми рывками его заглатывала пасть огромного животного.

Поезд шел на подъем медленно, тяжело, и так же тяжело вздыхала топка: чч-ах! ччч-ах! ччч-ах!

Виктор хорошо знал: разбрасывать уголь надо равномерно по всей колосниковой решетке. Слой должен быть ровным. Но он очень боялся прогаров — оголенных мест. Если останется хоть одно место, не покрытое углем, пусть даже маленькое, величиной в ладонь, пару не хватит. Струя холодного воздуха, как из брандспойта, будет бить по трубам, охлаждая их, охлаждая всю топку. Но и толстый слой ненамного лучше. Пока он схватится, пока раскалится, пар сядет.

А где в этой бушующей топке можно увидеть прогары или завалы? И первые несколько лопат Виктор бросил наугад, в самую середину, где сгорание идет интенсивней. После каждого броска он на секунду перевертывал лопату, и поток воздуха, стремящийся в топку, разбиваясь о лопату, расходился широким веером, срезая пламя. В эту секунду становилось виднее, что делается в топке, и он присматривался, куда бросать уголь.

Ему никак не удавалось топить в раструску. Ему всюду мерещились прогары, и он швырял туда уголь, ложившийся кучками, как мокрая глина.

Обдаваемый жаром, обливаясь потом, швырял одну лопату за другой, пока не услышал окрик машиниста:

— Вприхлопку давай, вприхлопку!

Виктор в изнеможении стукнул дверцами. Да, так долго нельзя держать их открытыми. Взглянул на манометр. Где стрелка? Он слишком долго бросал уголь, охлаждая топку, значит, давление должно еще больше упасть.

После яркого пламени рябило в глазах и ничего не было видно. Он извлек из-под своего сиденья чайник, жадно прильнул к носику, глотая холодную воду и боязливо поглядывая на манометр. Глаза привыкли к темноте, и он увидел стрел-

ку. Мучительно заняло сердце: одиннадцать атмосфер вместо двенадцати!

В ту же секунду раздался характерный щелчок: машинист закачал воду на свой инжектор. Сейчас она идет в котел. Холодная вода — в кипящий котел. Значит, пар еще больше сядет.

Взглянул на водомерное стекло. Да, механик прав, надо качать воду, иначе потом не наверстать упущенного.

Виктор плюхнулся на свое сиденье, высунулся в окно, все еще тяжело дыша открытым ртом. Ветер охлаждал разгоряченную грудь. Но сидеть нельзя. Поезд идет на подъем, значит, надо подбрасывать уголь каждые полторы-две минуты. Да, надо топить вприхлопу, хотя это трудно.

Теперь самый страшный враг — холодный воздух. Откроешь топку, и он врывается туда, охлаждая поток, стены, трубы. Надо не пускать воздух в топку. Вполне достаточно той порции, что идет через поддувало.

— Давай! — бросил он кочегару и взялся за лопату.

Лопата с силой вонзается в угольный лоток, она уже полная, и он размахивается ею в закрытые дверцы. Еще доля секунды — и она ударится о чугунные плиты. Но именно в эту долю секунды кочегар рванет рукоятку и дверцы раздвинутся.

Он стоит посередине будки, широко расставив ноги. Слева топка, справа угольный лоток. Левая нога — на паровозной площадке, правая — на тендерной. Между ними изогнутая металлическая плита, как между пассажирскими вагонами. И так же «играет» эта плита.

Положение Виктора шаткое, неустойчивое, и уголь летит не туда, куда надо. В одно и то же место он с яростью бросает несколько лопат.

Бросок лопаты — удар захлопываемой дверцы. Бросок — удар! Бросок — удар! Бросок — удар! Еще лопату, еще вон в то место, и вот здесь, кажется, прогар. Еще последнюю... Но сил уже нет.

И снова холодная вода из чайника полощет горло, порывы ветра охлаждают грудь. Снова боязливые взгляды на стрелку, на водомерное стекло. Уже десять атмосфер — и только четверть стекла воды. Она приближается к указателю «Наинизший уровень». Но фактически ее еще меньше. Поезд идет на подъем, и она собралась над потолком топки. Как только машина начнет спускаться с уклона, вода убежит в переднюю часть котла, потолок оголится, расплавятся пробки.

— Воду! — кричит машинист, и Виктор приподнимает рукоятку инжектора: снова холодная вода стонит пар.

Каждые полторы-две минуты подбрасывает в топку и качает воду. Он больше не вытирает пот. Только облизывает пересохшие губы, механически глотая смоченную соленым потом угольную пыль, а глаза прикованы к манометру и водомерному стеклу. Пара все меньше и меньше. Кричит, проклиная помощника машинист.

Ччч-ах! ччч-ах! ччч-ах! — ухают выхлопы. Это уже не отдышка. Это предсмертные стоны.

Любой машинист взялся бы за лопату, помог бы молодому помощнику. Но этот и рад бы, но сам знал только нефтяное отопление. Он лишь без толку то и дело заглядывал в топку, разводил руками, беспомощно метался по будке.

Виктор без конца швыряет в топку уголь и каждый раз, обессиленный, бросается на свое сиденье к окну, жадно глотая воздух. Теперь почти все повороты пути, все кривые загнуты в его сторону. Машинисту не видны сигналы, и Виктор обязан особенно зорко следить за ними. Но его ослепленные глаза ничего не видят. Он вглядывается вперед. Он ищет семафор. Уже четыре станции проехали без остановки. Скоро опять станция. Надо искать сигнал.

И он увидел огонек входного семафора. Предательский зеленый огонек. Значит, разрешается въехать на станцию. Всматривается дальше, за границу станции. Там должен показаться огонь выходного сигнала.

Как жаждал увидеть он красный свет, перед которым надо остановиться. Спасительный красный свет! Можно будет спокойно заправить топку, накачать три четверти стекла воды. Можно будет, наконец, перевести дух..

Должен же быть когда-нибудь красный свет! Куда их так безостановочно гонят? Ведь существует старшинство поездов. Курьерские и пассажирские пропускают в первую очередь.

Виктор находит, какое место по старшинству занимает их поезд. Восьмое. Неужели же ни один из старших поездов их не догнал? Тогда бы они встали на запасный путь и с полчаса подождали, пока тот пройдет.

Виктору невдомек, что график движения поездов и составляется в зависимости от старшинства поездов, и если расписание не нарушено, то и курьерский не догонит ни одного грузового.

Он мысленно ищет новых возможностей остановки.

Могли бы поддержать, например, у входного семафора.

Ведь часто бывает так, что некуда принимать. Могли бы, наконец, остановить, чтобы выдать предупреждение: на таком-то километре ехать со скоростью не выше пятнадцати километров. Впрочем, предупреждение могут дать и с ходу, не останавливая поезда, как передают жезл. Ну, пусть хоть букса бы загорелась в вагоне. Тогда придется постоять, пока она остынет, потом тихонько доехать до станции и отцепить больной вагон. Да мало ли поводов для того, чтобы хоть немного постоять. А их все гонят и гонят...

Он всматривается вперед, он ищет красный свет выходного сигнала. И видит: ярко лучась, горит зеленый огонь. Значит, опять на проход, опять без остановки. Покачиваясь, идет к лотку, лопата врзается в уголь. Бросок — удар, бросок — удар... И снова ослепленными глазами ищет красный свет...

ЧТО ТЫ НАТВОРИЛ?..

Почти с пустым водомерным стеклом, при давлении в девять атмосфер дотянулись до станции, где предстояло брать воду. Здесь стоянка двадцать минут. Уже перекрыт регулятор, и машинист притормаживает у водоразборной колонки. Кочегар, спрыгнув вниз, подводит ее хобот к тендеру и громко кричит:

— Ха-ро-о-ош!

Резко шипит воздух, выходя из тормозных приборов.

Виктор чуть-чуть открывает сифон, чтобы дым не шел в будку, и раздвигает дверцы топки. Но что тут творится? Будто прошел ураган. В одних местах навалены горы угля, в других прогары до самой колосниковой решетки. То там, то здесь вспыхивают синие язычки от шлака. Откуда же взяться пару?

Он достает из тендера резак — толстенный железный стержень длиною в два его роста с загнутым плоским концом. Это паровозная кочерга. Пробивает слой угля до колосниковой решетки. Теперь резак скользит по ней вперед, ломая спекшиеся глыбы шлака. Он делает три такие дорожки, открывая доступ воздуху из поддувала. Огопь сразу ожгла, и Виктор заулыбался.

Эх, Витя, Витя, что ты натворил?

Мокрая рубаха плотно облегает тело. От жаркого пламени пот с одежды испаряется, и пары уносит в топку. Но новые струи увлажняют ее, а огонь сушит. Мокрой остается только спина. Спереди рубаха коробится, на ней остаются

белые неровные полосы соли. Витя сдувает пот с верхней губы, облизывается, часто моргает и стряхивает струи с лица.

Он отбрасывает на тендер резак и достает скребок — инструмент, похожий на тяпку, с такой же, как у резака, длинной железной рукояткой. Скребок качает его из стороны в сторону, но, к счастью, никто этого не видит: машинист внизу осматривает машину, а кочегар стоит на тендере, наблюдая, чтобы вода не пошла через край.

Виктор разравнивает уголь и до отказа открывает сифон: пусть сильнее будет тяга. Теперь в топке гудит, идет парообразование, но пар не расходуется. Виктор хватается за ключи, масленку, факел и быстро спускается вниз. Надо успеть добавить мазута хотя бы в поршневые и центровые подшипники, посмотреть, не греются ли они. Остальное проверит на следующей остановке.

Несколько раз вскакивает наверх, чтобы подбросить в топку и подкачать воду. Черными от угля и мазута руками вытирает пот с лица. На душе немного легче. Пар поднимается, прибавилось воды. Просто радостно стало, когда на слова подошедшего главного: «Поехали, механик!» — тот ответил: «Сейчас, дорогой, чуть-чуть парку поднагоним». Значит, он не поедет, пока не будет двенадцати атмосфер и достаточного количества воды в котле.

Но вскоре прибежал сам дежурный и закричал:

— Механик, вы уже опоздали против графика на сорок минут. Диспетчер сказал, если сейчас же не поедете, отставит вас до утра, пока не пройдет основной поток.

— А я готов, — отвечает машинист и медленно поднимается в будку. Дает протяжный сигнал отправления, но трогаться с места не торопится. Он выгадывает время. Пусть побольше будет пару. Подумав немного, дает два коротких свистка. Это сигнал поездной прислуге — оттормозить. Сигнал ему фактически не нужен. Все для того, чтобы выгадать еще несколько минут.

Виктор радуется. Ему кажется, что теперь все будет хорошо. Но как только выехали, давление начало падать катастрофически. Он взглянул в топку — и обомлел. Вся поверхность угля покрылась синими язычками. Они прыгали, подмаргивали ему, переливались разными цветами, плыли. Кончики их становились зеленоватыми, потом появлялся голубой оттенок. Они очень красивы, эти страшные огоньки зашлакованной топки. Не знал он, что эти язычки породил сам в ту минуту, когда взялся за резак. Шлак, который он перемешал с углем, расплавился и, как стекло, залил колосники-

вую решетку. Теперь никакого пара не будет, пока не почи-
стят топку.

Он бросил несколько лопат угля и вскоре открыл дверцы. Топливо пересыхало, обугливалось и, лишенное кислоро-
да, не сгоревшее, улетало в трубы.

Он снова проходит резаком по всей колосниковой решет-
ке. Появляется красно-белое пламя, но это ненадолго. Шлак,
поднятый наверх, опять расплавится, зальет колосники. Викто-
тор понимает: это все! Дальше ехать нельзя.

С опустошенной душой и подавленной волей смотрит на
манометр. Стрелка мелко дрожит и ползет, ползет вниз. Он
злится на эту проклятую стрелку. Он не знает, что делать.
Ему уже все равно. Никаких сил больше нет. Пусть бы ска-
зал кто-нибудь, что делать, и он не сдался бы. Он может бо-
роться, пока не умрет. Но как бороться?

Виктор не отрывает глаз от манометра. Слышит крик ма-
шиниста, но не понимает слов. И не старается их понять. Все
кончено.

...Стрелка, стрелочка, дорогая, ну что же ты? За что ты
меня, а? Молчишь, стрелочка? Дрожишь и, как вор, кра-
дешься, ползешь вниз. Ну, ползи! Ползи, подлая! Можешь
врезаться мне в самое сердце. Можешь повернуться там.
Больнее не будет. Эх, стрелка, стрелочка..

А вода? Ее тоже все меньше и меньше. Также подлая!..
Вот она, стихия, покоренная им!

Но что же он стоит? Ведь проехали только половину пу-
ти. Машинист орет, угрожая сбросить с паровоза. Конечно,
так и надо сделать. Его столкнут и вслед бросят сундучок.
Поезд умчится, а он будет лежать. Он поднимется и уйдет
куда-нибудь далеко-далеко. А сундучок не бросит. Сундучок
еще пригодится.

Чччч-ах! чччч-ах! ччччч-ах! — бухают выхлопы, готовые
вырвать и унести в трубу всю топку вместе с колосниковой
решеткой. Четверть оборота колеса — выхлоп. Колеса вра-
щаются медленно, они едва движутся, и нет сил стерпеть
муку, с какой выдавливается каждый выхлоп. Он так же му-
чительно и гулко отдается в сердце, тоже готовом вырваться.

И вдруг с бешеной скоростью завертелись колеса. Завер-
телись на одном месте, не в силах тащить состав, будто то-
чилом шлифуя рельсы, спиливая бандажки. И выхлопы нес-
лись каждые четверть оборота сумасшедше вертящихся ко-
лес, сливаясь, будто пулеметная дробь: ча-ча-ча-ча-ча-ча-..

Из топки вырвало и вынесло в трубу обугленную массу.

Густые клубы поднялись к небу и черным градом застучали по обшивке, завихрились в будку едкой пылью.

Машинист перекрыл пар, и буксование прекратилось. Но и так небольшая скорость еще уменьшилась. Лево́й руко́й машинист медленно открывает регулятор, снова пуская пар в цилиндры, а правую держит на рукоятке песочницы. Снова тяжело бухают выхлопы, и снова неудержимая гонка колес, пулеметная дробь и черный град.

— Песок, песок лопатами! — в отчаянии кричит машинист. То ли трубки песочницы засорились, то ли он уже вообще ни во что не верит.

Помощник и кочегар, схватив лопаты, бросаются вниз. Они бегут слева и справа от паровоза и впереди него и швыряют на рельсы песок с путей. До перевала осталось не больше тридцати метров. Дальше уклон. Это спасение. Но надо еще вытянуть эти тридцать метров. А если нет? Если встанет? Горе тогда. Машинист затормозит состав и даст долгих три гудка для кондукторов. Да они и без сигнала поймут, что случилось, затянут ручные тормоза, подложат под колеса башмаки и пойдут ограждать поезд. За километр от хвостового вагона поставят красный сигнал, положат петарды.

Как взмыленные, будут биться у топки все трое паровозников, пока не вычистят ее, не нагонят пару.

А дежурный по станции, откуда они недавно выехали, и диспетчер станут без конца звонить на соседнюю станцию:

«Прибыл, наконец, к тебе этот проклятый состав?»

«Нет, не слышно».

«Провалился бы он сквозь землю, хоть путь освободил бы!»

А поезда будут идти и идти, скапливаться на станции, пока не забьют все пути, кроме главного.

Но, пагнав и полное давление пара, машинист не сможет тронуться с места на подъеме. Состав расцепят посередине, и главный кондуктор отправит половину поезда. Потом вместе с паровозом вернется за второй половиной.

А поезда все будут накапливаться, стоять. Но пассажирские держать нельзя, их отправят по неправильному, по левому пути. По этому единственному свободному пути успеют проходить попеременно в обе стороны только пассажирские. А грузовые начнут скапливаться и с противоположной стороны. И все, от стрелочника до начальника отделения, будут проклинать машиниста. И ветер будет развеивать полотнище с надписью: «Ни на минуту не задержим грузов пятилетки».

Вся эта картина промелькнула в голове Виктора, и его охватил ужас. Он с яростью швырял песок на рельсы, поглядывая вперед. Вот уже осталось метров пятнадцать, двенадцать, десять...

Буксование, наконец, прекратилось, поезд пошел ровнее. С трясущимися руками Виктор поднялся на паровоз. Но впереди снова два зеленых сигнала: входной и выходной. Значит, опять пускают на проход.

Виктор смотрит на машиниста. Что же он собирается делать? Ведь пару только восемь атмосфер. Проезжая мимо дежурного по станции, который встречал с белым огнем в знак того, что можно ехать дальше, машинист дал три коротких сигнала: остановка.

— В чем дело, механик? — крикнул дежурный.

— Топку будем чистить, — мрачно ответил машинист.

И вот поезд стоит. Кочегар подтягивает с тендера резак, скребок и огромную лопату.

Чистка топки — тонкое дело и входит в обязанности помощника. Виктор открывает дверцы и берется за резак, хотя силы покидают его.

— Давай я, — говорит кочегар тихо, — я умею.

Виктор в нерешительности. Но из этого состояния его выводит механик.

— Машину смотри! — кричит он злобно. — Без тебя почи- стим!

Помощник еще минуту продолжает стоять, а кочегар уже сует резак в топку.

Захватив ключи и масленку, Виктор зажигает факел и спускается вниз. Значит, его отстранили: один из жалости, другой из недоверия. Горькая обида подступает к горлу. Но на кого обижаться?

Кочегар сгребает жар к передней стене, к самым трубам, и очищает от шлака середину. Работает очень быстро.

Топка сильно охлаждается, а в котле пар и бурлящая вода. Могут потечь трубы или связи. Он торопится, на нем намокла одежда, пот струится с лица, по ему не до этого. На очищенные от шлака места подгребают жар.

Шлаком уже забито все поддувало. Его тоже надо чистить. Это обязанность кочегара. Обычно помощник чистит топку, а потом кочегар скребком выгребают из поддувала. Но сейчас машинист, сбросив вниз скребок, кричит:

— Эй, выгребай поддувало, да поживей!

Окрик звучит оскорбительно, но делать нечего. Виктор молча берет скребок и сует в поддувало. Мимо него, видимо

возвращаясь с гулянья, шумно идут трое ребят. Ну и пусть гуляют. Ему надо выгребать горячий вонючий шлак, от которого даже на воздухе угорают. Он может совсем отбросить скребок и грести голыми руками...

Спустя полчаса на колосниковой решетке ярко горел ровный слой угля, раздуваемый сифоном. Закончив свои дела, Виктор поднялся, взял лопату, чтобы подбросить.

— Не тропь! — заревел машинист. — Уходи с левого крыла, топить будет кочегар.

— Да нет, теперь хорошо, он справится, — смущенно забормотал кочегар.

— Видели, как он справлялся, с меня хватит! — зло ответил механик, и кочегар умолк.

В депо приехали в одиннадцать часов утра.

Сейчас Виктор больше всего боялся, как бы знакомые не увидели за левым крылом кочегара. Ему было стыдно.

Стояла хорошая солнечная погода, и его это раздражало. Ему хотелось бы идти домой ночью или в дождь, чтобы никому не попадаться на глаза. Будь он хоть без сундучка и без этих блестящих пуговиц, еще ничего, а сейчас чувствовал себя как в чужой одежде, будто чужую славу присвоил. А тут еще кочегару оказалось по пути с ним, и тот шагал рядом. Оба молчали. Как назло, один за другим попадались знакомые.

«Привет, Витя!», «Здорово, механик!», «Поздравляю, Витя!» — только и слышалось со всех сторон.

Молодой слесарь, с которым Витя вместе учился, узнал его, когда уже прошел мимо, и на ходу спросил:

— Как съездил, Витька?

Не успел Виктор и рта раскрыть, а на помощь ему пришел кочегар.

— Здорово съездили, хорошо! С него причитается. — И кивнул на Виктора.

Но это уже было совсем неумоготу.

— Плохо съездил, завалился! — крикнул он вдогонку слесарю.

А тот по-своему понял эти слова, обернулся и, погрозив пальцем, сказал:

— Это ты брось, не отвертись, все равно потребуем.

Виктор шел, глядя далеко вперед, чтобы заранее увидеть врага. А врагом теперь казался каждый знакомый.

Вскоре он заметил идущую навстречу уборщицу общезжития. Он знал ее как надоедливую и болтливую женщину. Уж она наверняка остановит, начнет расспрашивать. Но, на

счастье, кочегар стал прощаться. Ему надо было перейти на противоположный тротуар и свернуть в сторону. Воспользовавшись этим, Виктор сказал:

— Пожалуй, и я пойду по той стороне, там идти удобнее — тротуар лучше. — И он направился вслед за своим спутником.

Но когда судьба издевается над человеком, жалости в ней нет. Она бьет, пока человек не упадет, потом бьет лежащего, бьет обессиленного, и чем меньше он сопротивляется, тем сильнее ее удары.

Не успел Виктор ступить на тротуар, как из-за угла показалась Маша. Эта девушка работала на материальном складе, куда он заглядывал не только по делу. Когда лишь мечтал о паровозе, именно ее хотелось ему встретить после первой же поездки. Но сейчас!.. Уж пусть бы лучше он не переходил на эту сторону, пусть бы хоть час терзала его болтливая уборщица, но только бы не встретить Машу.

Остановиться у него не хватило сил. Растерянно поздоровавшись, он неестественно быстро прошмыгнул мимо.

К вечеру у Виктора начался жар. Врач выписал лекарство, велел потеплее укрыться на ночь и дал бюллетень на три дня.

То-то посмеются над ним в нарядной. Машинист, конечно, рассказал, как он съездил, а то, что сказано в нарядной, распространяется быстрее звука. И уж ни один машинист не согласится его взять.

Наутро ему стало лучше, но вставать не хотелось. Он лежал лицом к стене и думал. Думал только об одном: как быть дальше? С паровоза он не уйдет. Но и позориться так больше невозможно и подводить машиниста нельзя. Впрочем, ведь его и не возьмет никто. Интересно, как ездят другие?

Он обернулся и, убедившись, что в комнате никого нет, быстро оделся и вышел. Температура еще не совсем спала, его немного мутило, кружилась голова.

Виктор шел в сторону депо, ни от кого не прячась, поглощенный своими мыслями. И когда увидел шедшего навстречу старого машиниста-наставника, которому сдавал экзамены, спокойно отметил про себя: этот уже все, конечно, знает, а ведь он не любит молодых помощников. Наверно, торжествует сейчас.

И как ни странно, его не испугал предстоящий разговор, хотя он понимал, что разговор будет неприятный. Уже первые слова наставника подтвердили опасения Виктора.

— Ну что, герой, — иронически сказал наставник, когда они поравнялись, — завалился? Расскажи-ка!

Виктор молчал. Ничего больше не говорил и старик.

Виктору приходилось не раз бывать на собраниях, он знал, как достается бракоделам, и ему хотелось, чтобы наставник уже поскорей выругал его и отпустил. Молчание стало невмоготу, и он спросил:

— Рассказать, что произошло?

— Что произошло, я тебе расскажу! — неожиданно резко ответил наставник. — Ничего не произошло. Понял? Ничего! Теперь уж действительно Виктор ничего не мог понять.

А тот продолжал:

— В каждом деле всегда разобраться надо. Понял?

— Понял, — с готовностью ответил Виктор.

— Так вот, падать духом тебе рано. Почему? А вот почему. Уголь вам дали один тощий, шлакующийся, а надо бы немного жирного подкинуть. Это раз. Теперь. Машинист не очень в топке углем разбирается. Это два. Так? Да к тому же паровоз ваш последний рейс перед капитальным делал. Там только накипи на трубах с палец толщиной. Это три. Значит, зови хоть самого Стефенсона или обоих Черепановых, пару не будет.

Виктор ушам своим не верил. И хотя старался спрятать радость, но лицо расплывалось в улыбке. Наставник не смотрел на него и продолжал:

— Только и радоваться тебе нет причин. Главное все-таки в том, что топить ты не умеешь. Это четыре. Но с первого раза и никто не умеет. Понял? Научись. Машину ты знаешь хорошо, а это главное.

...Виктора назначили на маленький паровоз Ов, работавший на ветке. Она соединяла несколько леспромхозов со станцией Чулымская.

Работая на маленьком паровозе, Дубравин прежде всего учился топить. Узнал характер и повадки всех марок и видов топлива: жирного, тощего, длиннопламенного, шлакующегося, коксующегося... Узнал, что одни угли надо хорошо смачивать, другие надо лишь опрыскивать, а третьи вообще не переносят воду. Он видел, к какому топливу нельзя прикасаться резакон, а какое, наоборот, не будет гореть, если его не взрыхлять.

Теперь открывал шуровку уверенно, как настоящий хозяин паровоза. Он видел все, что делается на каждом сантиметре колосниковой решетки. Понял, что значит наиболее выгодный режим огня. Уголь у него ложился тончайшим

слоем по всей поверхности и раскалялся в несколько мгновений.

Он виртуозно овладел узкой и длинной лопатой на короткой рукоятке, лопатой паровозника. Казалось, каждый крошечный уголек летел именно в то место, которое предназначал для него Виктор.

Вскоре Виктор Дубравин выехал с ветки на главную линию Великой Транссибирской магистрали и пересел на мощный товарный паровоз.

Теперь каждая поездка приносила радость. Радость больших скоростей. Он возненавидел красный сигнал семафора, сигнал остановки.

Виктор все чаще поглядывал на правое крыло, все внимательнее присматривался к действиям механика. Машинист многому научил своего помощника и время от времени уступал ему место за правым крылом. Пока Виктор вел поезд, механик стоял рядом, чтобы мгновенно предупредить малейшее неверное действие.

Виктор познал устройство и ремонт паровоза. Но для того, чтобы стать машинистом, этого было мало. Предстояло изучить более тысячи различных правил, положений, законов, норм, размеров, сигналов. Все это тоже одолел Дубравин.

Теперь он смог бы управлять паровозом. Но только паровозом, без поезда. А машинист, естественно, должен водить составы. Это тоже целая наука. Не освоив ее, человек не сможет стронуть поезд с места, не подтянет его к колонке, обязательно разорвет на первом же перегоне.

Ведь вагоны не стоят вплотную друг к другу, как книги на полке. Состав сжимается и разжимается наподобие гармошки или звеньев цепи. Вагоны могут толкать друг друга. Да кому не знакома эта картина на станциях, когда вдруг загромыкает, залязгает состав, и вагоны, каждый в отдельности, тычутся взад и вперед, и не поймешь, в какую сторону пойдет поезд? Даже сидя в пассажирском вагоне, можно ощущать эти толчки в противоположные стороны.

Так вот, вести состав, в котором каждый вагон действует «самостоятельно», нелегко. Уметь хорошо стронуть с места тяжеловесный состав — тоже искусство, особенно зимой. И все-таки пришло время, когда Виктор решил сдавать экзамены на машиниста. Испытание тяжелое. Те, кто выдает права управления паровозом, скидок не делают.

Четыре дня его экзаменовала депонская комиссия. Когда ему сообщили, что на все семьдесят три вопроса он ответил

хорошо, это означало, что окончился первый подготовительный этап испытаний и ему предоставляется право на пробную поездку.

Дубравин вместе с машинистом-наставником пришел на первый подготовленный к отправке поезд, на чужой паровоз и встал на правое крыло. Наставник молча наблюдал за каждым движением будущего механика: как тот осматривает паровоз, что говорит помощнику, как готовится к отправлению. Так же молча следил за движением рук Дубравина, когда тот трогал с места поезд, преодолевал подъем, спускался с уклона, тормозил. Он следил за глазами машиниста, чтобы определить, когда тот начинает искать световой сигнал, правильно ли пользуется приборами, не нервничает ли.

Наставник, на которого ложилась ответственность за любое происшествие в этом рейсе, ни разу не вмешался в действия Дубравина, не сделал ему ни одного замечания. Пробная поездка прошла отлично. Это означало, что он получил право предстать перед экзаменационной комиссией Барабинского района. И здесь он отвечал на множество вопросов, и испытания прошли хорошо.

Так закончились все подготовительные этапы, и Виктор получил командировку в Омск, в управление дороги, где и предстоял настоящий экзамен.

ПИДЖАК, ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ...

В управление прибыл днем, когда испытания уже шли полным ходом. Человек, отметивший ему командировку, велел явиться на следующее утро. От нечего делать Виктор решил побродить по городу, а засдно заглянуть в технический кабинет, посмотреть, как сдают люди из других депо.

Экзамены на железных дорогах распространены как пидже. Ежегодно каждый работник, служащий, инженер, начиная от сторожа до министра, сдают Правила технической эксплуатации и должностные инструкции. Кроме того, непрерывно идут испытания на более высокую квалификацию. Кочегары сдают на помощников, помощники на машинистов, машинисты четвертого класса постепенно добиваются третьего, второго, первого. Вокзальные уборщицы экзаменуются на стрелочниц, стрелочницы на операторов, операторы на дежурных по станции — и так в любой службе.

Казалось бы, люди могли привыкнуть к экзаменам, относиться к ним спокойно. Но ведь любой, сдающий испытания, сколько бы лет ему ни было, всегда становится школьником.

Поэтому никого и не удивляет, что порой убеленный сединами старик, боязливо озираясь по сторонам, сует кому-то шпаргалку или солидный начальник со звездами на петлицах украдкой листает под столом учебник.

В коридоре перед техническим кабинетом, куда пришел Виктор, былолюдно и шумно, как в вузе во время сессии. Кто-то заглядывал в щелку чуть-чуть приоткрытой двери, кто-то нервно и быстро листал записи в последний раз перед тем, как идти отвечать, кого-то уже вызвали, и он, подбежав к урне, часто-часто засосал папиросу, не в силах оторваться от нее. Счастливики, уже сдавшие экзамены, делились своими впечатлениями.

Особенно шумно было возле какого-то парня, который сильно жестикулировал. Его голос слышался по всему коридору. Еще издали Виктор узнал в нем Владимира Чеботарева.

— А что вы смеетесь? — продолжал тот. — Я вам верно говорю: идешь на экзамен — надевай жилет! Я потом разьясню, зачем он, а сейчас не перебивай. Так вот, я и говорю, самое главное — расположить к себе комиссию. Это совсем нелевое дело, если психологию людей понимать. Ведь они, бедняги, сидят целыми днями, и все время перед ними измученные, перепуганные, страдающие люди. И сами они должны быть грустными, озабоченными и серьезными. А им давно все опостылело вот аж до каких пор, — резанул он ладонью по шее. — Им бы поболтать, развлечься хоть немного, а нельзя. Другой вспомнит что-нибудь смешное и даже улыбнуться не имеет права. Значит, понимать это надо, сочувствовать людям, разрядку им дать. Я как зашел, как глянул на их тоскливые лица, мне аж жалко стало: сидят, бедные, друг перед другом, да и перед нами марку держат. Ну, глянул я и говорю: «Уж, видно, жарко мне будет, разрешите для начала холодной водички напиться, а то потом руки дрожать будут». Так, верите, минут пять все смеялись. Они в таком безвыходном положении, что им любую глупость скажи, все равно засмеются. И не от того, что ты скажешь. Кто на законном основании про свои дела будет смеяться, кто просто засиделся и с полным правом на стуле повертится, разомнется. Им ведь и минутная передышка дорога. А мне все равно, главное — уже людей к себе расположил, на свою сторону поставил, и у них пропал интерес меня сыпать.

— Ну, а если ты все-таки ничего не знаешь? — спросил кто-то.

— А ты не забегай вперед, все поясню, — отрезал рассказ-

чик. — Ну вот, — продолжал он, — дадут тебе, например, «Устройство крана машиниста системы Казанцева» и скажут, чтобы посидел, подумал, подготовился. А что ж готовиться, когда на охоту идти? У хорошего хозяина должно быть заранее все приготовлено. Значит, садись и смотришь на руку под столом. — И он показал исписанную химическим карандашом ладонь левой руки. — Тут оглавление, видите, тринадцать глав, по числу моих карманов. В них — шпаргалки по всему паровозу. Значит, и ищи то, что надо. Кран машиниста надо, вот и ищи тормоза. Против них, — он провел пальцем вдоль ладони, — стоит «ЖЛН», значит — «жилетный, левый нижний». Ну, лезу в указанный жилетный карман...

Все грохнули от смеха.

— А ну, перестаньте смеяться! — притворно рассердился он, но тут же продолжал: — Спросят тебя, скажем, паровую машину, ты опять в оглавление. Против паровой машины, видите, стоит «ППН», значит — «пиджак, правый наружный», ну и так далее. К следующему экзамену я себе френч сошью, чтоб больше карманов было, и на штанах второй задний карман прорежу.

Все слушали, улыбаясь, а он, поощряемый общим вниманием, с еще большим жаром выкладывал свои секреты.

— Самое главное, — говорил он, — чтоб комиссия не поняла, когда ты в тушик зашел. Иной обрадуется легкому вопросу, важности на себя напустит, как индюк, и отвечает, будто профессор, а на второй вопрос — тыр-пыр, тыр-пыр, и вся спесь пропала. И веры в него больше нет. Рядом со мной сдавал один, так сначала он не говорил, а изрекал, солидно, так, знаете, басом: «карр-карр-карр», потом слышу, уже чирикает — «чирик-чирик-чирик», а дальше только — тютя-тютя-тютя», едва бормочет.

Самое страшное дать себя забить! Задали тебе вопрос, на который не знаешь ответа, делай вид, будто самого вопроса не понял, переспрашивай хоть десять раз, они и начнут пербивать друг друга, стараясь попроще объяснить вопрос, а ты пытай их без жалости, пытай до тех пор, пока не проговорятся. Обязательно кто-нибудь проговорится. А уловил ответ, улыбнись так удивленно — ах, вот, мол, о чем вы толкуете, так это же совсем просто. И отвечай так, чтоб рельсы гудели.

— Но не всегда падо так! — быстро проговорил он, будто спохватившись. — Вот задают тебе вопрос: «Какое давление воздуха должно быть в магистрали, чтобы тормоза счита-

лись подготовленными к действию?» Ну, другой хотя и не знает, но для важности выпалит, как пулемет: «Для того чтобы тормоза считались подготовленными к действию, давление воздуха в магистрали должно быть...» — и осекся, буд-то на скаку перед тобой яма выросла. И никто не подскажет. А надо заставить комиссию подсказать, надо ее измором взять.

— Да как же ты ее изморишь? — рассмеялся сосед Виктора.

— А очень просто. Отвечай так: «Для того чтобы тормоза...» — и замолчи, вроде слово забыл. Тебе по закону сейчас же кто-нибудь из комиссии подскажет: «...считались...», а ты подхватывай: «...считались подготовленными к действию, давление в...» — и снова замолчи. И опять тебе подскажут: «...магистрали...», значит, твоя очередь продолжать: «...в магистрали должно быть...» Ну, уж тут обязательно, у кого нервы послабей, ляпнут: «...пять...», а ты только добавишь: «...атмосфер». Если будешь так тянуть, они все время пороят подсказать тебе, как здоровый человек зайке.

— Ну, а если никто не подскажет? — не выдержал Виктор.

— Витька, ты?! — удивился Чеботарев. — Ну, слушай, ума набирайся. Если никто не подскажет, все равно выход есть! Тут уж на крайние меры иди: попробуй сообразить сам. Трудно это, конечно, но не скажешь же ты «двадцать атмосфер». Допустим, скажешь «четыре». По лицам видишь, что не попал, и сразу перестраивайся. «Хотя точно не помню, говори, — ведь человеческая память не совершенна». Тут все и рассмеются. А ты лицо такое невинное делай, мол, и с вами может случиться, на другие-то вопросы я хорошо отвечаю. Значит, снова разрядку дал и в честные люди вышел: забыл человек, так прямо и говорит, не мудрствуя. Или вот еще...

Но в это время раскрылась дверь техкабинета, и секретарь комиссии вызвал очередного экзаменуемого. На вызов никто не откликнулся. Секретарь повторил фамилию и, не получив ответа, назвал следующего кандидата. И опять то же самое. Все молчали.

И вдруг Виктор почувствовал, как холодная волна прокатилась от грусти к ногам и снова поднялась вверх. И прежде чем выкристаллизовалась неясно промелькнувшая мысль, он выпалил:

— Разрешите мне?

— Откуда? — сухо спросил секретарь.

— Из Барабинска. Виктор Дубравин.

В большой комнате, увешанной плакатами, схемами, чертежами, загроможденной различными паровозными деталями, оказалось много людей. Четверо экзаменующихся склонились над своими листками и что-то первно писали, готовясь к ответам, один стоял у доски. Семь человек восседали за столом экзаменационной комиссии. Лица у них были напряженные, сосредоточенные, хмурые, точно такие, какими их только что описывал в коридоре Владимир. «Эх, рассместить бы их чем-нибудь, расположить к себе, как советовал тот», — подумал Виктор, но только мысленно махнул рукой и решительно направился к столу председателя.

Сорок минут отвечал Дубравин и вышел с каким-то странным чувством не то облегчения, не то пустоты.

— Ну как? — набросились на него стоявшие у двери.

— Наверно, сдал, — неуверенно сказал Виктор, — вопросы попались легкие, вроде на все ответил.

РАЗЪЕЗД БАНТИК

Права управления паровозом Виктор Дубравин и Владимир Чеботарев получили в один и тот же день. И на работу их послали в одно и то же депо. Но дружбы между ними не было. Тихий и скромный Виктор недолюбливал Владимира за хвастовство, за то, что где только мог показывал свое превосходство над другими. Владимир чувствовал холодок в отношениях к нему бывшего беспризорника, но это его не трогало. Он ни с кем не дружил и, казалось, ни в чьей дружбе не нуждался. Паровоз он любил, содержал его в отличном состоянии, легко перекрывал нормы, и его фамилия то и дело появлялась в приказах, где отмечали лучших, и он откровенно любовался своим портретом на доске Почета.

Виктор близко сошелся с Андреем Незыба — начальником крошечного разъезда со странным названием Бантик. К этому названию Андрей имел прямое отношение.

Еще будучи выпускником института инженеров транспорта, он проходил практику на комсомольской стройке. От главной магистрали комсомольцы вели ветку через лес, где были обнаружены залежи какого-то важного стратегического сырья. Один из трех разъездов на этой ветке и было поручено строить Андрею. Работа легкая и простая: по готовым чертежам собрать из готовых щитов маленькое служебное здание, похожее на барак.

— Приезжать сюда мне некогда, — сказал ему начальник

участка Бабаев, — надеюсь, ты и сам справишься с таким делом, тем более что ребят тебе выделил хороших, работать умеют.

Проект здания Андрею не понравился. Он давно мечтал о самостоятельной работе, ему хотелось создать что-нибудь оригинальное, красивое, даже выдающееся, а тут просто барак. Вечером засел за чертежи. Сначала переделал крышу, потом окна, увлекся и от старого проекта ничего не оставил. Утром показал своей бригаде эскиз рубленого домика, выполненный в красках, и все ахнули.

— Да ведь это же из сказок Апдерсена, — восхитился Хоттабыч. Так прозвали здесь единственного старого человека, очень доброго, трудолюбивого и веселого. Он побывал на других комсомольских стройках, и его энергии и жизнерадостности могли позавидовать многие молодые рабочие.

Домик не походил на служебное железнодорожное здание. Никто об этом не думал. Он был красивый. Может быть, поэтому так придирчиво отбирали лес, подгоняли бревна одно к одному, рамы и двери зачищали пемзой, тщательно выкладывали ступеньки. Трудились, забывая покурить, и к сроку соорудили чудо-домик. Позади него и с боков не срубил ни одного дерева, впереди не разбили скверика и симметричных клумбочек. Пусть все останется, как сотворила природа, в диком лесу.

Выкрашенный масляной краской цвета свежего меда, под красной черепичной крышей, выглядывавший из лесу домик и в самом деле походил на сказочный теремок. Люди смотрели на творение своих рук, искренне удивляясь, как это они сработали такую игрушку. И как раз в это время приехал Бабаев.

Несколько мгновений Бабаев стоял пораженный, глядя на домик, а вся бригада, переполненная радостью, смотрела на Бабаева. Потом он обернулся, ища Андрея. Тот стоял, скромно опустив глаза, и медленно отделял узенькие ленточки от широкой стружки. Не в силах больше скрыть счастливой улыбки, поднял, наконец, голову.

— Вон отсюда! — заревел Бабаев. — Это... это... — начал оп заикаться, не находя нужного слова, — это сумасбродство, это хулиганство, это черт знает что!..

Девять молодых парней и Хоттабыч растерянно смотрели на Бабаева и на Андрея. Им было стыдно за начальника участка, который так кричит, и обидно за Андрея. Он молча и зло рвал на кусочки стружку поперек волокон. Бабаев продолжал кричать, и все попяли: сюда едет начальник

строительства Тимохин. И действительно, вскоре у разъезда остановилась его дрезина.

Как и Бабаев, он несколько секунд смотрел на странное сооружение молча.

— Это что же за бантик такой? — обратился он, наконец, к Бабаеву.

Вид у того был несчастный. Он молчал. Вперед выступил Андрей.

— Это не бантик, товарищ начальник. Это разъезд «Седьмой километр».

Тимохин рассмеялся:

— Откровенно говоря, чудесный домик.

Кто-то предложил объявить Незыбе благодарность.

— Если каждый практикант будет строить то, что ему вздумается... — Он умолк, не закончив фразы.

На следующий день Бабаеву был объявлен выговор, Андрея отстранили от работы. А домик так и остался. Не ломать же, коль он построен.

Название «Бантик» прикилось к разъезду. Иначе его никто и не называл. Когда дорога была сдана, он стал так именоваться во всех официальных документах.

После окончания института Андрея послали на одну из крупных станций. Работа поглощала все его время. Так продолжалось, пока он не поступил в заочную аспирантуру. Совмещать службу с учебой стало трудно. Руководители дороги предложили ему перейти на одну из станций с меньшим объемом работы. Андрей попросился на разъезд Бантик, где оказалось вакантное место.

Движение к тому времени увеличилось: ветку протянули дальше рудников, и она соединила две магистрали. Пассажирские поезда там не останавливались. Да и грузовые чаще всего проносились мимо.

Андрей сошел на станции Матово в пяти километрах от разъезда и пошел пешком. С обеих сторон близко к полотну, как стена, подступал лес. Неожиданно из лесу показались несколько девушек. Они несли нивелир с треногой и рейку. Андрей, которому не терпелось скорее увидеть свой домик, быстро догнал их и безразличным тоном спросил:

— Далеко еще до будки?

— До какой будки? — удивились девушки.

— Ну, до разъезда, что ли. — В его тоне слышалось явное пренебрежение.

— Хорошенькая будка, — рассмеялась та, что несла рейку.

Перебивая друг друга, девушки стали рассказывать, какой это сказочный домик.

Ему было приятно слушать. Чтобы определить, как вести себя дальше, осторожно спросил, почему разъезду дали такое несолидное название.

— Этого мы не знаем, — последовал ответ.

Андрей хотел было рассказать историю Бантика, но заговорила Валя. Так звали девушку с рейкой.

— Почему дали это название, неизвестно, а кто строил, знаем.

— Кто же? — вырвалось у Андрея.

— Очень хороший человек строил, — убежденно ответила она.

Андрей смутился.

— Построил и уехал, — продолжала она, — и никогда, наверное, не увидит своего разъезда.

— Ну и фантазерка вы! Почему же не увидит? — улыбнулся Андрей. Ему и в самом деле стало смешно. Поблагодарив девушек, он размашисто зашагал по шпалам.

Андрей увидел, что все осталось по-прежнему. И краска такая же, и никаких фигурок с веслами или тепписными ракетками. Он ненавидел эти неестественные серебряные фигуры — обязательную принадлежность почти всех станций.

Он стоял, глядя на дом, и радовался. Солнце заходило, но было похоже, что наступает утро. Возможно, от тишины и свежести леса, а может быть, от щебетания птиц, какое обычно можно услышать только ранним утром.

Тишину нарушил сигнал приближавшегося поезда. Сняв со стены большое проволочное кольцо на рукоятке, дежурный по разъезду заправил в нее жезл — разрешение машинисту следовать дальше — и вышел на платформу. Свесившись на подножке, помощник машиниста ловко подхватил на руку протянутое кольцо. Дежурный подобрал сброшенный жезл предыдущей станции и направился к себе.

Широко улыбаясь, бежал к нему Андрей.

— Принимать разъезд приехал? — улыбнулся тот, пожимая ему руку. Они вошли в здание и долго беседовали. С радостью узнал Андрей, что здесь в качестве стрелочника работает Хоттабыч. У него и поселился Андрей.

Андрей любил скрипку и хорошо играл. Почти каждый вечер уходил в лес, на свою любимую полянку, и играл.

Иногда приглашал Валу. Она была студенткой техникама, находившегося в Матово, и на разъезде проходила геоде-

зическую практику. Ему было приятно, что Валя любит и понимает музыку.

Все шло хорошо, пока не появился какой-то страшный сигнал. Он раздавался через сутки в самые различные часы. Обычно перед разездом машинисты давали только сигнал бдительности: один короткий гудок и один длинный. Так они предупреждали, что идет поезд, чтобы дежурный вовремя встретил и вручил жезл. Другие сигналы на разъезде и не требовались, хотя существует их множество.

Паровозный язык выразителен. Сочетание коротких и длинных гудков дает возможность машинисту передать поездной бригаде и станционным работникам все необходимое. Каждый сигнал люди знали, точно буквы алфавита. И как не может человек по своей прихоти придумать новую букву, так не придет в голову машинисту изобретать новый сигнал. А это был, бесспорно, новый сигнал: короткий, длинный, два коротких. В служебной инструкции таких нет.

Кроме официально установленного значения, в сигналах есть нечто выработанное самими машинистами в течение десятилетий. И многие сигналы даются не так, как они записаны в инструкции. Даже школьнику из железнодорожного поселка известно, например, что сигнал остановки — это три коротких гудка. Но если он услышит просто три коротких, поймет, что на паровоз забрался новичок. Опытный машинист даст этот сигнал так: «Тут-ту-тууу!» Все три гудка будут разной тональности и продолжительности. Правда, иной раз можно услышать три совершенно одинаковых коротких и нетерпеливых, даже нервных «Ту-ту-ту!», но это будет не просто остановка. Это значит, что машинисту уже в который раз дают сигнал куда-то ехать, а он топку чистит, или еще что-то мешает ему тронуться с места. И каждый железнодорожник поймет машиниста: «Слышу, слышу, не приставайте, никуда не поеду. Подойдите сами и все увидите».

А послушайте, как машинист дает тот же сигнал остановки у закрытого семафора перед станцией. Какие там короткие! Целую минуту гремит. И станционные работники поймут его: «Эх вы, зашились, даже на станцию впустить не можете! Из-за вас и пережог топлива и простой паровоза... Вот и выполняй с вами план!..»

Постоит машинист минут десять, слова даст сигнал остановки. Но значение его будет уже другое: «Ну, сколько держать будете? Или хотите, чтобы я пачальнику отделения пожаловался?» На станции опять поймут его, бросят в сердцах: «Ори сколько хочешь», а все-таки нач-

нут торопиться, чтобы поскорее избавиться от этого крикуна.

Новый сигнал ни на что не был похож. Сначала не придали ему значения, но, когда он стал регулярно повторяться, забеспокоились: дорога шла мимо разработок руды и имела специальное назначение.

Вскоре было установлено, что дает сигналы комсомолец Владимир Чеботарев.

Каждый машинист, как и положено, на разъезде снижал скорость. А Владимир будто парочно неся так, что казалось, вот-вот кувырком полетят вагоны. Стоять с жезловым кольцом близко от несущегося поезда страшновато, а порой и небезопасно.

При очередном рейсе Андрей воткнул под жезл записку, предупредив, что, если в следующий раз скорость не будет снижена, он остановит поезд. Под жезлом, который Владимир сбросил на обратном пути, Андрей нашел ответ: «Если вы не справляетесь с работой, уступите ее другому».

Была у Андрея и более веская причина с неприязнью относиться к Владимиру. Ему часто приходилось бывать на станции Матово. Как-то в ожидании попутной дрезины домой Андрей вместе с Виктором сидели в станционном буфете. Туда же вошла группа паровозников, среди которых был Володя. Продолжая какой-то спор, компания шумно расселась. Разговаривали громко, не обращая внимания на других посетителей. Неожиданно в дверях появилась Валя. Она была в легком ярком платье, стройная, загорелая. Опустив глаза, подошла к буфету. Паровозники умолкли вдруг, проводив ее взглядом. Валя взяла мороженое и села близ буфетной стойки.

— Вот это да-а! — протянул кто-то из паровозников. — К такой не подступишься.

— Подумаешь, невидаль, — с пренебрежением сказал Владимир. — Захочу — в два счета познакомлюсь.

— Пари!

— Пари! — протянул руку Чеботарев.

— Надо подойти к ней, чтобы прекратить эту сцену, — поднялся Андрей. — Впрочем, пусть пахал останется в дураках. — И он снова опустился на стул.

Пари состоялось. Условия жесткие: Володя должен сесть за Валин столик и угостить ее фруктовой водой. Если она охотно примет угощение и будет активно вести разговор, а на прощание подаст руку — значит, знакомство состоялось. Окончательное заключение вынесил арбитр, один из компании, в объективность которого все верили.

Ничего зазорного в том, что девушка выпьет стакан воды, предложенный соседом по столику, Андрей не видел. Но он знал: Валя этого не сделает.

Владимир подошел к ней и что-то сказал. Она ответила небрежным кивком головы, не скрывая недовольства его приходом. Сев напротив, он снова заговорил. Она продолжала есть мороженое, точно слова его относились не к пей. Потом стала есть быстрее, и Андрей сказал:

— Сейчас уйдет. Как только поднимется, я пойду на-встречу.

— Не стоит обращать на себя внимание, — посоветовал Виктор.

— Верно, — согласился Андрей. — Да и интересно посмотреть, с каким видом он вернется за свой столик. Там уже хихикают.

Не успел Андрей закончить фразы, как ложечка в руках Вали замерла на полпути. Она взглянула на Владимира и улыбнулась. Сначала едва заметно, потом широко и, наконец, рассмеялась, откинувшись на спинку стула.

Андрею нравилась улыбка Вали и ее смех. Но Виктор видел, что ему стало больно смотреть. А Володя уже демонстративно требовал у официанта воду. Он налил ей и себе, и она, отпив несколько глотков, сама стала что-то рассказывать. Улыбка не сходила с ее лица, и глаза были обращены к Володе.

— Неинтересно смотреть, что делается за чужим столиком, — сказал Андрей, резко поднявшись.

На следующий день, взяв скрипку, он ушел на свою полянку один, хотя должен был зайти за Валею. И вообще он старался не встречаться с ней.

Спустя недели две по дороге домой Андрей остановился у переезда, пропуская пассажирский состав. Когда промчался последний вагон, Андрей увидел по другую сторону Валию. Она смотрела вслед поезду, провожая его грустным взглядом. Пройти мимо было неловко. Андрей поздоровался. Она ответила рассеянно и, не поворачивая головы, сказала:

— Не могу спокойно смотреть на поезда. Мне кажется, поезд — это всегда судьба. Промчался он, и не догнать его. И будто из жизни что-то ушло. Почему-то жаль себя становится. Окончу техникум, уеду далеко-далеко...

Андрею надо было что-нибудь сказать. Он сказал:

— Это со стороны так кажется. А в поезде все обыденно.

— Все равно судьба, — возразила Валя. — Вот едет человек в Москву, торопится, дни считает, а за окном от него

убегают поселки, города, люди... И летит, быть может, от своего счастья все дальше и дальше и никогда не узнает, где проскочил мимо.

Помолчав немного, Валя сказала:

— Почему вы не берете меня больше с собой, когда уходите играть? И почему мы стоим? Проводите меня немного.

Они пошли. Андрей сослался на занятость, на то, что и сам теперь редко ходит в лес.

Почти у своего дома, без всякой связи с предыдущим, Валя сказала:

— Недавно я очень смешно познакомилась с одним машинистом...

— Знаю, — перебил Андрей. Он сказал, что видел их вместе в буфете, умолчав о пари. Но она заговорила об этом сама. Оказывается, Владимир рассказал ей правду.

— Почему же вы поддержали его в этом... — он замаялся, подбирая слова помягче, — в этом не очень красивом пари?

— Потому что душа у него красивая. Открытая, простая, понимаете? Иной бы на его месте на всякие уловки пошел, а он сразу же во всем признался. «Сгоряча, — говорит, — сболтнул, а когда предложили пари, не хватило духу отказаться... Протягивая руку, я понимал, что глупо все это, что вернусь к столу посрамленный, по назад уже хода не было. Если вы скажете: «Уходи», уйду немедленно. Вид у него был расгепранный, наивный, он не мог в глаза смотреть. Мне стало...

Она неожиданно оборвала фразу и забормотала:

— Извините, я забыла... Мне срочно надо вернуться...

Не попрощавшись, быстро пошла назад, в сторону разъезда, и, едва скрывшись за деревьями, побежала. Андрей видел, как она побежала. В его ушах еще звучал только что раздавшийся сигнал: короткий, длинный, два коротких...

Андрей лег спать поздно. Эта история не выходила из головы. До случая в буфете он относился к Вале довольно равнодушно. Так, по крайней мере, казалось ему. После странного знакомства девушки с Владимиром Андрей стал чаще думать о ней. А теперь этот сигнал потряс его. Значит, при первой же встрече договорились... Но, может быть, это случайное совпадение? Возможно, у нее действительно было срочное дело?

Весь следующий день Андрею было не по себе. А еще через день рассеялись все сомнения. Во время его дежурства где-то далеко раздался этот новый сигнал. С тяжелым чувством он вышел на платформу. Поезда еще не было. Андрей смотрел вдаль, на блестящие рельсы... Старые сосны ограж-

дали их с обеих сторон, точно гигантские стены. Возле семафора, стоявшего на насыпи, лес отступал в сторону. И именно здесь, на высоком взгорке, появилась вдруг девичья фигурка. Почти одновременно показался поезд. Высунувшись из окна паровозной будки, подавшись вперед всем корпусом, сияющий Владимир кричал ей что-то, энергично жестикулируя, а она приветствовала его, медленно и плавно покачивая рукой.

Андрей видел только фигуру Вали, только ее силуэт, но знал: она улыбается.

С этого дня его не оставляло мучительное, щемящее чувство ожидания. Он ждал гудков. Помимо своей воли он будет знать теперь о каждой свидании Вали и Володи. Он обречен быть незримым участником этих свиданий.

Движение напряженное, густое. Каждые полчаса раздаётся сигнал бдительности: короткий, длинный. Он ждал ещё двух коротких. Сидя за чертежами, при звуке гудка прекращал работу. Ложась спать, прислушивался.

И Валя ждала сигналов, хотя не уславливалась о них, как думал Андрей. Все получилось само собой. Дня через два после знакомства с Володей, переходя пути возле семафора, она услышала серию гудков...

Отец Вали был машинистом. Она выросла в железнодорожном поселке на станции Матово и хорошо знала паровозный язык. Как и все дети поселка, по звуку определяла, какой паровоз дает сигнал. По гудку могла угадать даже настроение машиниста. Длинный сигнал иногда звучит гордо, победным кличем, а порой похож на жалобу, на плач. Короткий гудок можно дать бесстрастно, как ставят точку в конце фразы. А можно властно, будто восклицательный знак. Паровозный гудок может многое сказать...

В незнакомом сигнале, который она услышала возле семафора, было что-то зовущее, призывное. Валя невольно обернулась. Она увидела в паровозном окне Володю, который радостно махал ей рукой. Спустя несколько часов сигнал повторился. Поняла: он возвращается в свое депо. Это специально для нее дает сигналы.

С тех пор Валя часто слышала эти гудки. Теперь они раздавались далеко от разъезда: он заранее предупреждал о себе. Если в такие минуты она находилась поблизости, обязательно шла к семафору. Валя видела, как радуется это Володю. И самой ей было интересно. Их коротенькие и такие оригинальные свидания казались очень романтичными. По-

степенно привыкла к ним. Если долго не было сигнала, пачинала беспокоиться.

Шли дни. Два человека жили на разъезде в ожидании сигнала, тщательно скрывая это друг от друга. Встречались теперь редко.

В очередное дежурство Андрея день был пасмурный. Около шести часов диспетчер передал по селектору:

— К вам идет шестьсот первый. Поставьте на запасный путь. Сначала пропустим пассажирский и два порожняка.

— Пóнято! — ответил Андрей и, позвонив стрелочнику, передал распоряжение диспетчера.

А через несколько минут раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

Андрей пошел встречать поезд. С какой радостью отказался бы он от этой неизбежной служебной обязанности. Он старался не смотреть в сторону входного семафора. Он знал: она там. У него хватило воли на несколько секунд. Бросил взгляд на стрелку: переведена ли на запасный путь — и медленно, с затаенной надеждой повернул голову к семафору... Как ей не стыдно! Будто на посту. Стоит ждет.

Поезд приближался. Андрей развернул красный флажок: никуда теперь не уедет Чеботарев часа полтора, пока не пройдут пассажирский и два порожняка.

Доложив диспетчеру о прибытии шестьсот первого, Андрей посмотрел в окно. Он увидел Чеботарева, бегущего к семафору. Навстречу ему шла Валя...

Андрей встречал и провожал поезда. Механически поворачивал рукоятку жезлового аппарата, механически извлекал и передавал машинистам жезлы. Точно автомат, принимал распоряжения диспетчера и докладывал о движении поездов. Он все делал правильно и бездумно.

Неожиданно и очень громко раздалось в селекторе слова диспетчера:

— Можете отправлять шестьсот первый.

Казалось, только теперь он начал волноваться. Состояние как перед катастрофой. Он взглянул на циферблат. Час сорок минут они были вдвоем... Зачем он подсчитывает их время?

Разбудив главного кондуктора, дремавшего на тарубетке в соседней комнате, Андрей вручил ему жезл. Как и положено, вышел проводить поезд. Главный, кутаясь в большой брезентовый плащ, торопился к паровозу.

Вскоре раздался долгий, тревожный сигнал отправления. Андрей знал: Чеботарева на паровозе нет. Это помощник

зовет своего машиниста. Прошло еще минут пять, и сигнал повторился. Протяжный, тоскливый. Эхо долго пробивалось сквозь лес и где-то растаяло. И снова все тихо.

Андрей сразу увидел Владимира, потому что смотрел на то место, откуда он и должен был появиться. Перескочив кювет, тот побежал по шпалам к паровозу. Поезд тронулся резко, с сильным грохотом и быстро набрал скорость. Андрей смотрел вслед, ожидая прощальных гудков Вале. Когда длинная красная змейка вагонов скрылась в лесу, донесся далекий сигнал: короткий, длинный... Сигнал бдительности. Должно быть, по путям шел случайный прохожий.

Тихо и безлюдно на разъезде. Медленно и бесшумно падают желтые листья. Шагает по дощатой платформе Андрей. Он смотрит на тропку, уходящую в лес. Здесь должна показаться Валя. У края перрона останавливается, стоит минуту и шагает назад. Он не хочет оборачиваться, пока не достигнет конца платформы. Должно быть забыв об этом, делает несколько шагов и поворачивает голову... Напрасно так долго остается в лесу. Сыро, одета совсем легко...

Он увидел ее на опушке. Она шла, опустив голову. Наверное, поссорились.

Через час Андрей сменился. Он пришел домой, сел за рабочий стол и начал ждать. Перед ним лежали схемы, чертежи, расчеты. Но у него теперь было неотложное дело: ждать сигнала. Что будет потом, он не знал. Ему важно было дождаться сигнала, когда Чеботарев поедет обратно.

Он просидел за столом сколько мог и пошел на разъезд.

— Чеботарев не проезжал назад? — спросил он своего сменщика.

— Проехал, паразит. Несся так, что чуть стрелки не разворотил.

Четыре дня Андрей не видел Валу. Он работал, прислушиваясь к гудкам. Сигнала не было.

Узнав, что у нее грипп, он встревожился и в тот же день навестил ее. Она обрадовалась. Оказывается, грипп прошел, но осложнение на ухо. Оно забиштовано. Под глазами черные круги.

— Ничего не слышу, — улыбнулась она. — Понимаете, даже паровозных гудков не слышу.

Она слышала гудки. Она замирала при каждом их звуке. Ждала. Боялась пропустить сигнал.

Андрей пришел на следующий день. Повязки на ухе не было.

— Вам лучше? — обрадовался оп.

— Да-а, то есть нет, но я не могу больше ничего не слышать.

Ей казалось, будто порою слух пропадает совсем. Иногда она слышит гудки, а бывает, что целыми часами их нет. Не может быть, чтобы поезда так долго не ходили. Она просила посидеть подольше и проверить, все ли гудки она слышит. Казалось, ей безразлично, что он подумает.

Андрей сидел долго. Никогда еще не было так велико желание услышать этот ненавистный сигнал. Гудков было много, но не тех, которых они, втайне друг от друга, ждали.

Андрей ушел, когда стемнело. Моросил мелкий дождик. Домой не хотелось. Оп не знал, куда идти. Возле закрытого семафора пытел паровоз.

— Почему не пускают? — крикнул из будки знакомый машинист.

— Не пускают? — растерянно переспросил Андрей и вдруг рассмеялся. — Сейчас пустят.

Он ловко взобрался на паровоз.

— Сейчас пустят, — повторил он. И хотя топ и вид Андрея показались машинисту странными, он ничего не сказал, когда тот взялся за рукоятку сигнала.

Над разъездом, над поселком, над лесом прокатились могучие гудки: короткий, длинный, два коротких.

КУКЛА

По пятницам в красном уголке депо созывалось оперативное совещание, на котором разбирались все происшествия за неделю.

Первые два ряда занимали машинисты-инструкторы и механики высшего класса — водители тяжеловесных и курьерских поездов. Это умудренные жизнью и трудом люди, солидные, медлительные, с подчеркнутым видом собственного достоинства. Скажите им, что есть профессия интереснее машиниста, и они смолчат. Только взглянут на вас с сожалением и сочувствием, как смотрит взрослый на неразумное дитя.

Машинист — профессия гордая. В сутолоке перрона не всякий обратит внимание на человека в паровозном окне. Но всмотритесь: властный взгляд, уверенность, воля, даже величие в этой фигуре.

Не только по петлицам можно узнать машиниста в группе железнодорожников. В его облике как бы отражаются чувства особой ответственности за судьбы тысяч людей, до-

веряющих ему жизнь, гордость за это доверие, вера в собственные силы.

Первым на оперативном совещании докладывал молодой машинист, недавно получивший права управления. В пути у него заклинило диск золотника. Пока он безрезультатно пытался сдвинуть диск, пока вызывали вспомогательный паровоз, пока вытаскивали по частям состав, было задержано шесть поездов.

Машинисты задали несколько вопросов, и картина стала ясной. Дело не в плохом ремонте, как докладывал молодой механик, а в том, что по его халатности или неопытности воду из котла бросило в цилиндры. И зачем только он говорил неправду! Разве проведешь этих зубров, сидящих впереди!

Совещание единодушно решило: перевести машиниста в помощники сроком на два месяца и организовать среди паровозных бригад беседу на тему «Как предотвратить бросание воды в цилиндры».

Следующим разбирался случай, вызвавший большое оживление. Одаренный машинист Гарченко, поставивший уже не один рекорд, в день Первого мая приладил на своем паровозе красный флаг с надписью: «Вперед, товарищ Гарченко, за миллион тонно-километров!»

Так он проехал по всему участку, вызывая недоумение и улыбки людей.

— Ну, за что вы меня ругаете? — наивно спросил Гарченко, когда ему предоставили слово для объяснения. — И в домах, и на улицах — везде праздник. Ну пусть хоть раз и на паровозе будет международный смотр сил. Вот если бы министр путей сообщения приказал флаги вывешивать, вы бы что сказали? «Забота о живом человеке», — сказали бы. А если Гарченко, — значит, легкомыслие. Да будь моя воля, я бы в такой день на всех дрезинах флаги поразвесил.

В задних рядах рассмеялись.

— Или вот лозунг, — повысил он голос, чтобы его слышали все. — На станциях и депо висят призывы бороться за миллион тонно-километров. Это же для одного человека написано. Для начальвика дороги, потому что это цифра плана всей дороги, за которую он отвечает. А как мне за нее бороться, объясните, пожалуйста? Приятная и радостная цифра, а уму непостижимо.

Теперь рассмеялись все.

Многие из присутствующих ничего страшного в этом происшествии не видели, но знали: первые два ряда не спу-

стят. Поднимется кто-нибудь из маститых и скажет: «Как может машинист — гордость транспорта, костяк рабочего класса железных дорог — позволять себе такое мальчишество и позорить всех паровозников!»

Первым взял слово старший машинист Виктор Дубравин.

— Нам хочется видеть все здание, куда мы кладем и свой кирпичик, — сказал он. — Мне непонятно, почему общая цифра плана неинтересна для Гарченко.

Дубравин сурово осудил его поступок, но неожиданно предложил взыскания не накладывать, потому что во многом Гарченко прав.

— Возьмите дом, что строится за кондукторским резервом, — продолжал он. — На нем лозунг, призывающий строителей дать к сроку шесть тысяч квадратных метров жилой площади. Как же они, бедняги, должны бороться за шесть тысяч, когда во всем доме не больше пятисот метров? Ведь это наверняка план всего района. Для кого же лозунг? Вот так и у нас. А ты дай цифру для всей дороги и на одного машиниста. Тогда это будет не просто красивая картинка, а обращение партии лично к каждому. И каждый будет знать, где недобрал и где поднажать.

Люди были склонны приять предложение Дубравина и не тратить больше времени на обсуждение этого вопроса, когда попросил слова Владимир Чеботарев.

Это вызвало движение в зале. Кто-то покачал головой, кто-то переменил позу, кто-то шепнул соседу: «Так я и знал». Все понимали: если Дубравин сказал «белое», значит, Чеботарев будет доказывать «черное».

Отношения между ними резко ухудшились. Когда на железных дорогах страны появились первые тяжеловесники, начальник депо решил, что и у него в депо должен быть рекордсмен. Выбор пал на Чеботарева. Машинист он, бесспорно, хороший и ездил лихо. Но условия ему были созданы особые. Его рекорды готовили десятки людей.

Последние экземпляры дефицитных деталей никому не отпускались — может быть, понадобятся Чеботареву. Когда он выезжал «под уголь» или за песком, его не задерживали лишней минуты. Да и уголек хорошему механику надо дать пожирнее.

Ремонт его машины делали лучшие бригады слесарей, они приносили отборные запасные части, хромировали и никелировали детали. Ремонт шел под особым наблюдением не только мастеров, но и начальника депо. Заглядывал в будку ремонтируемого паровоза секретарь парткома.

Когда выезжал Чеботарев, к селектору приходили все руководители, вплоть до начальника отделения. И по всей линии шли депеши: приготовиться, поезд ведет Чеботарев, пропускать без очереди.

Деповские инженеры написали за него брошюру и подготовили технический доклад о его опыте.

И казалось, так это и должно быть, потому что хороший работник должен иметь хороший инструмент, с его пути должны быть устранены все помехи, его опыт следует обобщать и всячески помогать ему в работе.

Но постепенно у людей укоренилось чувство особой ответственности за машину и за рейсы Чеботарева. Едет Владимир, и гудят провода, несется в эфире: «Поезд ведет Чеботарев».

Раньше времени выходят из своих будок стрелочники, торопятся дежурные на станциях и блок-постах, готовят обратный маршрут диспетчеры.

Едет Чеботарев, и по всей линии, от края и до края, горят зеленые огни.

Едет Чеботарев, и уже не хромом или никелем покрыт номер его локомотива, как было прежде, а литые в бронзе слова «Машинист В. Чеботарев» под тяжелым бронзовым гербом Советского Союза горят на паровозе как монумент, как памятник при жизни.

Бронзу отливали по специальному заказу Министерства путей сообщения. Да и весь локомотив капитально ремонтировали на заводе специально для него. Конечно, это такой же типовой локомотив, как и все другие, но только чуть-чуть лучше пригнаны и отшлифованы детали, только больше лаку добавили в краски, только немного тщательней принимали машину контролеры ОТК, только сам Чеботарев ездил за ней на завод.

А коллектив — организм чувствительный. Пропало у людей желание сделать для него все возможное и невозможное, охладели к нему люди. Но даже при новых условиях Владимир первенства не отдал и еще больше утвердился в своей мысли о превосходстве над другими. Так, может быть, и впрямь было в нем что-то исключительное?

Все объяснялось просто. Линия на протяжении почти трехсот километров на запад и на восток привыкла к тому, что поезда Чеботарева должны проходить в особых условиях, пусть даже в ущерб другим.

Рейс в один конец и обратно занимает не больше восьми часов. Это очень удобно. Каждая из трех бригад, закреплен-

ных за локомотивом, находится в поездке нормальный рабочий день, а пробег локомотива превышает норму.

Но бывает и так. Прибыл поезд в оборотное депо, паровоз отцепляют, но назад везти нечего. Бригаде дают два-три, а то и пять часов отдыха. Но кому интересно отдыхать в оборотном депо! Да и простой локомотива получается большим, не вырабатывается норма. Поэтому все стремятся ехать «с оборота», то есть прибыть в оборотное депо, взять другой поезд и ехать домой.

Так вот, приехал Чеботарев на конечный пункт, машину отценили и послали «с оборота». Когда он уже собрался трогаться в путь, к нему подошел машинист Евтубин и сказал:

— Совесть у тебя есть? Ты же знаешь, что я приехал раньше тебя, а второй наш локомотив торчит здесь уже полдня. Твоя очередь третья, а ты что же делаешь?

— А я здесь при чем! — возмутился Владимир. — Сам, что ли, я отцеплялся? Послали, я и поехал.

Формально Чеботарев прав. Он действительно не просил, чтобы его отправили без очереди. Он лишь полностью использовал современную технику. На его локомотиве, как и на многих других, стоит рация. Он может разговаривать с управлением дороги, с министерством, с кем угодно. И как только выехал из своего депо, тут же соединился с диспетчером. Он ни о чем не просил, только весело поздоровался, только сказал, что ведет поезд — он, Владимир Чеботарев. И этого было достаточно: диспетчер давно привык отправлять его раньше всех, вот и отправил.

Все это, конечно, знал Владимир. Знал, что противозаконно поступил диспетчер, что обидел его товарищей. Но это его не трогало. Он спокойно дал сигнал и уехал, и еще долго возмущался в пути, что к нему посмели предъявить претензию. Да и в самом деле никакая официальная комиссия не установила бы здесь его вины.

Только два машиниста, оставшиеся в оборотном депо, смотрели укоризненно на удалявшийся поезд, а когда он скрылся, Евтубин сказал:

— Хорошо, что у нас один Чеботарев, а то совсем езды не было бы.

Владимир, казалось, не обращал внимания на недовольство товарищей. Неприязнь к нему объяснял завистью. И тут произошел случай, к которому он не имел отношения, но тем не менее окончательно подорвавший его авторитет.

...У окошка нарядчика паровозных бригад всегда шумно.

Одни вернулись из поездки и оформляют маршрутный лист, другие ожидают подхода своей машины, третьи пришли узнать, когда предстоит ехать в очередной рейс, а то и просто послушать деповские новости.

И действительно, все новости, приказы, происшествия прежде всего узнают здесь. Тут завязываются споры о топкостях локомотивного дела, и маститые механики поучают молодых, а молодые изощряются друг перед другом в каверзных вопросах из теории и практики вождения поездов. Здесь идут горячие схватки острословов, и несдобровать тому, кто попадет к ним в немилость.

Такая обстановка и была в нарядной, когда вошел туда Дубравин. Обсуждалась последняя новость: начальник дороги приказал передать соседнему депо три паровоза. Два из них были приняты, а третий, сопровождаемый Николаем Ершовым, вернули обратно.

— Загнал свою машину на канаву Николай, — рассказывал Чеботарев, — а сам — в сторону, вроде ему и неинтересно, как припимать будут. Обошел мастер слева, ничего не сказал. «Ну, — думает Николай, — самое главное пронесло». Справа вроде все в порядке, забавится он, наконец, от своей гробины. А тут подзывает его мастер и так заинтересованно спрашивает:

— Знаешь, где у нас поворотный круг?

— Знаю, — отвечает Николай, а сам чувствует — не иначе, подвох.

— Это хорошо. Давай скорей на круг и дуй без оглядки домой. Мы тебе «зеленую улицу» схлопочем, может, и не успеет по дороге машина развалиться. А дураков в других депо понщите.

Стоявшие рядом паровозники рассмеялись.

— У Николая и так кошки на душе скребут, — продолжал Владимир, — а тут подходит какой-то слесаренок в кепочке козырьком назад и говорит: «Што вы, хлопцы, на цьому паровози воду грили чи шлак возили?» — Владимир громко расхохотался.

— Что же ты зубы скалишь? — не выдержал Дубравин.

— А тебе что! — огрызнулся Володя. — Николая жалко? Так возьми себе его машину. А? Или только болтать можешь, слезу пускать.

— Тьфу! — сплюнул Дубравин и вышел из нарядной.

Он шел и злился: забыл спросить нарядчика, когда ему ехать, хотя только за тем и приходил, злился на Владимира, на себя, что не смог как следует ответить этому зазнайке.

Возврат машины остро переживали все паровозники. И не потому, что начальник дороги объявил выговор начальнику депо и Николаю Ершову за попытку сплавить негодный паровоз. Этот факт получил большую огласку и лег на депо позорным пятном. Ведь паровоз хотели всучить своим же товарищам.

А с паровозом действительно творилось что-то неладное. Пережоги топлива, частые ремонты и вынужденные из-за этого простои резко снижали показатели работы и заработка трех бригад, прикрепленных к этому локомотиву.

Вернувшийся локомотив снова поставили на ремонт. Устранили все неполадки, но в первом же рейсе машина словно взбесилась. Ни пару, ни воды не держала, грелись подшипники, и Ершов едва дотянул до своего депо. Не заходя домой, пошел к начальству. Пусть делают с ним, что хотят, но ездить больше на этой гробине не будет.

...Виктор Дубравин решил не возвращаться к парядчику, а зайти в контору и оттуда позвонить. Он все еще не мог успокоиться после стычки с Чеботаревым. Да и машина тоже... Что она, заколдована, что ли?

И пока он шел и злился, случайно мелькнувшая мысль вытеснила все остальные. Раздражало только, что этот зазнайка подумает, будто свое решение принял по его подсказке. Но решение теперь было твердое, и Дубравин направился к начальнику депо. Попросил принять у него паровоз, один из лучших во всем отделении, и дать ему машину Николая Ершова. И оставить всех членов бригад этого локомотива, будь они даже нарушителями трудовой дисциплины.

Просьба Дубравина смутила руководителей депо. Он достоин самого большого доверия, но тем более нельзя его подводить. Он просто не рассчитал своих сил.

На следующий день ему предложили взять один из худших паровозов, но не машину Ершова, чуть ли не аварийную, которую раньше срока решили отправить в заводской ремонт. Дубравин стоял на своем. Просьбу удовлетворили.

Многие машинисты не скрывали своего удивления. Кто-то сказал:

— Это безумие — отдать такой золотой паровоз и взять рыдван.

Дубравин не очень прислушивался к таким словам. Через его руки прошла не одна машина, и, какой бы строптивой ни казалась, он находил способ обуздать ее.

После первой поездки Дубравин не пошел домой. Почти всю почь провел возле локомотива, проверяя, измеряя, вы-

слушивая узлы и детали. Нашел, наконец, почему бьет реверс и, кажется, причину грохота в дышлах. Этот грохот, разносившийся далеко вокруг, просто угнетал его. Ему стыдно было ехать на паровозе. Подъезжая к станциям в своей первой поездке, он прятался в будке, откуда наблюдал, как озираются на паровоз железнодорожники...

Домой вернулся в пять утра. Ни о чем не спросила его жена Маша. Она все видела, все понимала. Он заговорил сам:

— Теперь хоть стук в дышлах прекратился. Нашел, в чем там дело. А то совестно было людям в глаза смотреть.

Дубравину не терпелось скорее увидеть результаты своих первых побед над паровозом. Со двора видны огромный косогор и высокая железнодорожная насыпь. Здесь скоро должен проехать напарник. Виктор вышел, поднялся на крышу погреба, чтобы было виднее. Остановилась на крыльце Маша. Вскоре послышался шум поезда. В обычном грохоте паровоза выделялись резкие и частые удары, точно по дышлу били кувалдой. Те самые, которых, как казалось ему, уже не должно быть. Как набат, неслись они над косогором, над пролеском, над всем рабочим поселком.

— Спустился Виктор, — рассказывала на следующий день соседке Маша, — как глянула я на него — сердце зашло — такое лицо было у него...

Молча вошли в дом. Только в десять утра заснул. Через час вызвали в депо: какое-то срочное совещание. Не идти нельзя. Он член партийного бюро. После заседания, наскоро перекусив, побежал встречать свой паровоз. Он забросал вопросами напарника о том, как вела себя машина. И снова копался в ней, пока не пришло время отправляться в рейс.

После нескольких поездок, записав, что должны сделать слесари, Дубравин поставил машину в депо.

— Здесь мы ее уже видели, — усмехнулся кто-то из слесарей. — Ты ведь ездить взялся, а не в депо стоять.

Ничего не мог ответить Дубравин. Слесарь был прав.

С первыми деньгами, заработанными на новой машине, пошел в сберкассеу. Снял с книжки сорок рублей и добавил к получке.

— Вот видишь, Маша, — сказал он, придя домой, — заработок почти не уменьшился.

Ей хотелось сказать, что дело не только в заработке, но зачем же огорчать Виктора? Пусть хоть этим будет доволен.

Шли дни и ночи. Они смешались у Дубравина, и он потерял им счет. Весь смысл его жизни и жизни его семьи был

теперь в машине. Ему жаль было смотреть, как страдает Маша. Но скрыть от нее ничего не удавалось. Если он приходил домой, напустив на себя веселость, она говорила:

— Не надо, Витя, я ведь вижу. Что же ты от меня таишься?

Просыпаясь почью, он лежал не шелохнувшись, боясь разбудить ее. Но стоило ему открыть глаза, как раздавался ее голос:

— Спи, Виктор, еще рано.

Все дело наблюдало за борьбой Дубравина. Приходили старые машинисты-пенсионеры, чтобы помочь ему. Забегал на паровоз секретарь партийного бюро. Предлагали свою помощь комсомольцы. Кое-кто выжидал: «Ну-ну, посмотрим».

Чеботарев в присутствии группы машинистов сказал: «Говорят, на старую машину запросился, а?»

За помощь и сочувствие благодарил Виктор, насмешки спосил молча.

Прошло два месяца. Шестьдесят тяжелых дней. Шестьдесят бессонных ночей.

В очередную получку Дубравин впервые за эти месяцы не взял денег со сберкнижки.

Вечером он присутствовал на городском партийном активе.

В конце своего доклада секретарь горкома сказал:

— Успех нашего движения вперед не в том, чтобы ставить рекорды, создавая для этого особые условия отдельным людям. Успех зависит от таких людей, как Виктор Дубравин, взявший на свои плечи тяжелую и, по мнению других, невыполнимую задачу. — И он рассказал историю с паровозом Дубравина, занявшего первое место в депо.

— Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза, — закончил он, обеда взглядом зал, — поручил мне поздравить вас, Виктор Иванович, с большой победой.

Раздались дружные аплодисменты. Люди смотрели по сторонам, ища Дубравина. Он сидел в предпоследнем ряду. Когда была названа его фамилия, он испугался. Он не знал, что делать.

— Встань! — толкнул его локтем сосед.

Он встал и начал неловко кланяться. Теперь весь зал смотрел на него и аплодировал ему. Это было мучительно радостно. Он подумал: «Маше бы послушать в награду за все ее муки».

— Товарищи! — сказал секретарь горкома, наклонившись

к самому микрофону. — Я думаю, не страшно, если мы немного нарушим обычный порядок собрания. Есть предложение дополнительно избрать в президиум товарища Дубравина.

И снова грянули аплодисменты. Секретарь еще что-то говорил, слов не было слышно, но по его жесту Дубравин понял: приглашают в президиум.

— Иди же, — снова подтолкнул его кто-то.

Он выбрался из своего ряда и удивился, какая длинная ковровая дорожка ведет к сцене. Он шел один по этой широкой и мягкой дорожке через весь зал, и гремели аплодисменты, и люди поворачивали головы, провожая его, и он не мог решить, быстро ему надо идти или медленно.

Конечно, торопиться нельзя, будто только и ждал, как бы быстрее попасть в президиум. Но двигаться медленно еще хуже. Подумаешь, важность какая — плывет и задерживает все собрание. И в унисон своим мыслям он то замедлял, то ускорял шаг. И пока он шел через весь улыбающийся ему зал, так и не решил, куда ему надо смотреть. Идти, наклонив голову, как хотелось бы, неудобно. Люди приветствуют его, а он, гордыня, даже не взглянет на них. А смотреть всем в глаза — вот я какой герой, любуйтесь! — и вовсе нельзя.

Он злился на свои глупые мысли, но другие в голову не приходили.

Когда поднялся, наконец, по лесенке на сцену и хотел примоститься где-нибудь сзади, кто-то подтолкнул его в столу, в первый ряд президиума, где для него освободили место.

И тут в голову пришла уж совсем нелепая мысль. Он подумал, что его уже дважды подталкивал сосед, чтобы он встал и шел на это почетное место, и что давно-давно его тоже подталкивали, но не в президиум, а к «запертой» монастырской двери и к высокому дереву у каменной ограды, утыканной осколками бутылок, и какой он молодец, что все же вернул ботинки...

Во время перерыва его поздравляли знакомые и не то в шутку, не то всерьез говорили: пусть и не думает так отделаться, а сразу же после актива ведет в ресторан.

И тут к радостному возбуждению, в каком находился Виктор, примешалось вдруг что-то досадное. Будто чего-то еще не хватало, что-то было недосказано. Это мешало ему в полной мере насладиться счастьем.

Неожиданно Виктор решил купить Мане подарок, и от этой мысли стало легче на душе. Хорошо бы цветы. Он ни-

когда не дарил ей цветы. И не рвал для нее цветов. А когда доводилось им вместе бывать в поле, она собирала их сама. И вообще он ничего ей не дарил. День рождения или Восемое марта не в счет. Подарки в такие дни — обязанность каждого. Да и то они всякий раз вместе советовались, что именно он должен ей подарить. И она же давала деньги на подарок, потому что полочку он приносил ей, а брать в сберкассе было ни к чему. Часто получалось так, что коль скоро он идет в магазин, пусть заодно возьмет мыло — уже кончается, и, самое главное, пару катушек ниток, потому что белые давно вышли, а она все забывает купить, и просто стыд и срам — пуговицу пришить нечем.

Виктор приносил свой подарок в общем свертке с хозяйственными вещами, и это был уже не подарок, а неизвестно что.

...О цветах сейчас и думать нечего, их не достанешь. Да и вообще магазины уже закрыты. Он отошел в сторонку, чтобы меньше попадалось знакомых, и оказался возле большого книжного прилавка. На стене надпись: «Книга — лучший подарок». Ему не хотелось покупать книгу.

Он вспомнил, что тут же, в фойе, есть еще один прилавок, где торгуют местными кустарными изделиями. Здесь ничего хорошего не оказалось. Безвкусно сделанные шкапулки, уродливые статуэтки, гуси, похожие на кенгуру, и другие некрасивые безделушки. Его внимание привлекла лишь очень смешная куколка из пластмассы. Это был негритенок. Вернее, маленькая негритянская девочка. Она придерживала края широкой юбочки, похожей на пачку балерины, и казалось, вот-вот присядет в реверансе. Круглая мордочка и большие глаза с голубоватыми белками, и губы были надуты. Еще секунда — и она расплечется. На ее трогательную фигурку и лицо нельзя было смотреть без улыбки.

Он купил куколку. Продащица завернула ее, и он положил сверточек в боковой карман, перевернув его, чтобы куколка лежала не вниз головой, как ее подала девушка, а в нормальном положении.

Когда Виктор вернулся домой, Маша сказала:

— Сейчас разогрею ужин, — и отложила в сторону свое шитье.

И снова, как там, в зале горкома, Дубравину стало обидно за Машу. Он усадил ее на диван и стал рассказывать о совещании. Она слушала молча. На лице ее была радость. Когда Виктор окончил, она попросила, чтобы он еще раз и со всеми подробностями и не торопясь пересказал, как он

шел на сцену, и как весь зал аплодировал ему, и кто из знакомых там был.

— Ну что ты, Машенька, — взмолился он, вставая. — Вот поставь куда-нибудь. — И он достал из кармана свою покупку.

— Что это? — поднялась и она.

— Да так, безделушка, — небрежно ответил Виктор Иванович.

— Ничего не понимаю. В куклы у нас некому играть, да и где ты ее взял, не на активе же?

— На активе, — сказал он, словно оправдываясь. — Для тебя купил... Ничего подходящего не было, понимаешь?

— Для меня?.. Ты там подумал обо мне, да? — Лицо у нее стало серьезным, озабоченным.

— Ну да, вот видишь... совсем безделушка... пятьдесят копеек стоит... просто так... — Он говорил и видел, что Маша сейчас заплачет, и не знал, что еще сказать.

И она действительно расплакалась и, не выпуская из рук куколки, обняла его, а он не стал успокаивать ее или задавать вопросы, а только гладил ее волосы.

Потом она поставила куколку на комод и сказала:

— Будем ужинать.

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с чистой скатертью и в другом платье и начала накрывать на стол не в кухне, как обычно, а в большой комнате. То и дело поглядывала на комод, а когда выходила, на куколку смотрел Виктор. Он неожиданно заметил, что у куколки вовсе не обиженный, а просто удивленный вид и совсем не хочется ей плакать, а складки у губ, потому что она сейчас улыбнется. И как только ему могло померещиться, будто она обижена...

На следующий день Владимир Чеботарев узнал все, что говорил секретарь горкома. С тех пор он и стал придирается к Дубравину. Делал это очень умно и не грубо. Он был находчив и остроумен и умел безобидными на первый взгляд шуточками высмеять человека. Виктору трудно было сладить с ним, и он начал просто избегать Чеботарева. Но тот не сдавался. Стоило Дубравину выступить на собрании, как он находил повод, чтобы свести это выступление на нет. Когда обсуждался поступок машиниста Гарченко, вывесившего на своем паровозе лозунг, и Виктор предложил не наказывать его, все знали, что Чеботарев потребует сурового наказания. Так оно и оказалось в действительности.

Владимир говорил красиво и остроумно, решительно осуждая анархию, которая до добра не доведет. Он выразил

удивление, как мог столь авторитетный и всегда точный в своих действиях машинист Дубравин поддержать такую партизанщину, и предложил объявить Гарченко выговор.

Выступление не понравилось. Сам Чеботарев недавно был понижен в должности за лихачество, едва не приведшее к аварии. Не понравилось и потому, что машинисты его не любили. И все дружно проголосовали за предложение Дубравина.

ЗАПИСКА

Вскоре после памятного сигнала, который Андрей Незыба непродуманно дал, чтобы успокоить Валю, он снова навестил ее. Дсвушку нельзя было узнать. Еще за день до того черные круги под глазами делали ее лицо изможденным, страдальческим. Теперь они лишь ярче оттеняли ее сияющие глаза, точно мазки грима, положенные опытной рукой мастера.

Валя говорила без умолку, легко перескакивая с одной темы на другую, часто смеясь собственным словам. Андрей никак не мог поспеть за ее мыслями и не мог понять, почему ей смешно. Он устал. Ему было невыносимо смотреть на ее счастье, и не было сил подняться и уйти. С той самой минуты, когда он дал этот сигнал, в нем не прекращалась внутренняя борьба. Спачала ему было хорошо, как человеку, совершившему благородный поступок. В таком состоянии он пребывал до утра. Проснулся с тревогой в душе. Кто дал ему право вмешиваться в чужую жизнь? Хотел сделать приятное больному человеку? А если это принесет новые страдания? Да и чем все это кончится?

— Вы скоро пойдете на дежурство?

Это она спрашивала его. Андрей вскочил.

— Да, да, извините, — заторопился Андрей. — Действительно, расселся здесь...

— Нет, что вы, — смутилась Валя. — Вы не так меня поняли. Я просто спрашиваю. Вы ведь сегодня с шести?

Она не «просто спрашивала». Андрей видел это. Она стояла красная от смущения. Краска покрыла не все лицо, а выступила пятнами. Валя не могла на что-то решиться. Андрей попрощался и не уходил. Ждал, что она скажет.

— У меня к вам просьба, — выдавила она из себя наконец. — Когда будет проезжать Чеботарев, прошу вас, положите это под жезл. — И она протянула сложенную вчетверо записку.

— Хорошо, пожалуйста, с удовольствием, — забормотал Андрей, беря записку и тоже глядя на пол. Еще раз сказав «до свидания», неестественно быстро и пеловко вышел из комнаты.

Дома посмотрел на записку. Вверху надпись: «Владимиру Чеботареву». Чуть ниже в скобках: «Лично». Буковки кругленькие, каждая похожа на колобок.

Записка, несомненно, вызвана сигналом, который он так необдуманно дал, чтобы успокоить Валю. Но ведь Чеботарев и не подозревает об этом сигнале. Как же чудовищно можно подвести ее! Что он подумает о Вале, прочитав записку?

В голову приходит постыдная мысль, от которой он краснеет. Но другого выхода нет. Если прочитать это чужое письмо, станет ясно, что делать. Поступить иначе он не имеет права.

Андрей боязливо спускает занавеску, зачем-то бросает взгляд на дверь и садится к столу, на котором лежит записка. Он протягивает руку, но она сжимается в кулак. Когда же окончится эта мука? Надо решительно. Ведь это единственный выход. Он читает:

«Володя, если бы Вы знали, как я благодарна Вам за этот сигнал. Я рада, что Вы больше не сердитесь на меня.

Сейчас я больна (грипп) и еще целую неделю, наверное, не смогу прийти к семафору. Но прошу Вас, посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буду их ждать.

До скорой встречи, Валя».

Он снова посмотрел на письмо и увидел только одну строчку:

«посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буду их ждать».

Теперь она ждет. Начиная с шести, будет ждать каждую минуту. Она будет ждать весь вечер, и ночь, и следующий день, и так ежедневно.

Андрей пошел на дежурство.

Как только принял смену, позвонили из Матово:

— Могу ли отправить поезд номер пятьдесят три?

— Ожидаю поезд номер пятьдесят три, — ответил Андрей, облегченно вздохнув: номер двузначный — значит, поезд пассажирский. Чеботарев водит грузовые.

Следующий был тоже пассажирский, в обратном направлении со станции Зеленый Дол. И снова он обменялся с соседом стандартными фразами из инструкции. Только так могут разговаривать между собой дежурные. Это всегда раздражало его. Теперь радовало: не надо думать.

— Могу ли отправить поезд номер шестьсот сорок три? — запросило Матово.

— Ожидаю поезд номер шестьсот сорок три, — привычно ответил Андрей. Но мысли уже забегали. Номер трехзначный.

Из селектора раздался голос диспетчера:

— К вам идет тяжеловес на большой скорости. Пускайте на проход, маршрут готовьте заранее.

— Кто ведет? — выдохнул Андрей.

— Чеботарев.

Несколько минут Андрей сидел неподвижно. Потом поднялся. Позвонил в Зеленый Дол. Получив разрешение отправлять тяжеловес дальше, вынул из аппарата жезл. На нем выбито: «Бантик — Зел. Дол». Через пятнадцать минут эту надпись будет читать Чеботарев: машинист обязан убедиться, что ему вручен жезл того перегона, по которому едет. Если под жезлом лежит бумажка, машинист недоволен. Значит, опять предупреждение: на таком-то километре идет ремонт, ехать с ограниченной скоростью. Вначале Чеботарев подумает, что это предупреждение. Прочтет немедленно. Решит, что Валя ослышалась, и не устоит против ее зовущих и чистых слов. Вполне успеет дать сигнал. А если не захочет?

Андрей снял со стены проволочный круг, открыл зажим. Сюда надо вставить жезл. Но сначала — записку. Свернуть ее трубочкой, вставить в гнездо и прижать жезлом.

Раскатисто прозвучал сигнал бдительности. Думать больше нельзя. Чеботарев ездит как сумасшедший, через две-три минуты будет здесь...

Прошло несколько дней. Валя почти поправилась. Она еще раз убедилась, насколько правы врачи: если настроение хорошее, болезнь проходит быстро. Володя часто посылает ей сигналы. Завтра она обязательно сама пойдет к насыпи. Надо только не прозевать. Хорошо бы узнать график его дежурств. Андрей может это сделать. Что-то перестал заходить. С тех пор как передал записку.

Размышления Вали прервал Хоттабыч. Его прислал техник за дневником геодезических съемок. Когда старик уходил, Валя попросила передать Андрею, что, если сможет, пусть забежит на несколько минут.

— Вряд ли, — хмуро сказал Хоттабыч, — замаялся опять со своими думами.

Валя посмотрела с недоумением.

— Как Бантик свой строил, вот такой же сумной ходил. Должно, опять затевает чего-то.

— Какой Бантик? — почему-то испугалась Валя.

— Да наш. Разве не знаешь?

Хоттабыч охотно рассказал историю Бантика. Валя задумалась. Прошлыла перед глазами первая встреча с Андреем. Вспомнились ее собственные слова: «Очень хороший человек строил». Вот почему он тогда покраснел. Ей захотелось вдруг взглянуть на разъезд. И, неизвестно отчего, стало грустно. А старик уже рассказывал другую историю, должно быть, очень смешную, потому что самому ему было смешно. Валя не слушала.

— ...хе-хе-хе, — смеялся Хоттабыч. — Так и мается каждый день. Уйдет на станцию пешком, а обратно на паровозе едет. Как увидит входной семафор, так и просится у машиниста погудеть. Точно малое дитя... Гуди на здоровье, жалко, что ли. Да гудеть-то не умеет, хе-хе-хе. Все сигнал бдительности поровит дать — короткий, длинный, — а остановиться не может, и получается еще два коротких. Такого и сигнала не бывает.

Старик снова рассмеялся, но, взглянув на Валию, осекся. Она смотрела на него своими большими глазами, прижимая пальцами полуоткрытый рот, точно удерживая готовый вырваться крик.

— Побегу, — заторопился он.

Валя не ответила.

«Что это с ней?» — подумал Хоттабыч, осторожно выходя из комнаты. Но тут мысли его отвлеклись: на ступеньках он едва не столкнулся с Андреем.

Андрей решил уехать. Он попросил отпуск на месяц за свой счет. К его возвращению Валии уже здесь не будет, и кончится эта пытка. Теперь шел к ней, чтобы во всем признаться. Чем больше хотел помочь Вале, тем безнадежнее запутывался. Один неверный шаг — он проклял ту минуту, когда дал первый сигнал, — повлек за собой новые, непоправимые ошибки... А теперь уже ничего сделать нельзя. Ничего больше придумать он не может.

На стук Андрея послышался испуганный голос Вали:

— Да, — точно вздрогнула.

Валя не удивилась его приходу. Слово он и раньше был в комнате и только на минуту выходил. Казалось, она не может оторваться от своих мыслей и не замечает его. Так продолжалось несколько минут. Потом Валя как-то жалостливо, просяще посмотрела на него. Он решительно не мог придумать, с чего начать.

Совершенно спокойно, может быть, лишь немного устало глядя ему в глаза, сказала:

— Ничего не надо, Андрей, — и повторила: — Ничего. Я благодарна вам.

Он опустил на стул, подумав: «Зачем я сажусь?»

— Уезжаю завтра. — Помимо его воли слова звучали в тон ей, медленно, спокойно.

Она сказала:

— Это хорошо.

— Я зашел попрощаться. До свидания.

— До свидания, Андрей.

На следующий день за ним прислали дрезину. Проводить его до Матова пришел Хоттабыч. Дрезина тронулась, рывками набирая скорость. Андрей обернулся. Хоттабыч махал шапкой. Далеко позади показалась фигурка. Дрезина мчалась, и фигурка становилась все меньше. Временами ее заслонял Хоттабыч, который все еще махал шапкой. Потом оба они исчезли. И разъезд уже не был виден.

Навстречу по соседнему пути, только что пущенному в эксплуатацию, пролетел поезд. В паровозном окне мелькнуло задорное лицо Чеботарева. Сейчас они увидят друг друга.

Через минуту раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

— Вот и все, — грустно сказал Андрей.

Он не верил, что Валя сейчас помирится с Владимиром. Ведь тот совсем забыл о ней. А вот увидел и так, из озорства, снова посигналил.

После всего, что узнала Валя, ее неудержимо повлекло к разъезду. Она шла туда, думая об этом домике, и мысли ее были заняты. Может быть, поэтому не расслышала сигнала. Она услышала только паровозный гудок, только звук.

Вскоре, закончив практику, Валя уехала домой, в Матово. Владимир знал, что Вали уже нет на разъезде, но каждый раз, проезжая мимо, давал этот сигнал. Гудки звучали печально и жалобно, как стопы.

МАШИНИСТ ПЕРВОГО КЛАССА

У Виктора Дубравина было много планов, но их поломала война. Отныне все его стремления свелись к одному — перевозить много и быстро.

В поездах, которые он гнал на запад, были тапки, орудия, бомбы, снаряды. Марка мирных заводов непривычно выделялась на минометах и автоматах. На восток перевозил эвакуирующиеся заводы и раненых. Он хорошо видел и понимал, что делается в стране.

Во время войны он работал как все советские люди: не зная отдыха, недосыпая и недоедая. И на душе у него было как у всех: тяжело и тревожно. Но особенно тяжелый день выдался в феврале сорок второго года.

Деревянный тротуар скрипел от мороза. К вечеру мороз забирал с новой силой. Подул легкий ветерок, он обжигал лицо. Виктор пришел домой, когда стемнело. Решил хорошо отоспаться, потому что в предыдущую поездку его вызвали раньше времени и он не успел отдохнуть. Часов в двенадцать ночи проснулся от ветра, который бился в окно. Прислушался и понял, что, кроме ветра, в стекло стучится человек. Он знал, что это рассыльный, хотя так скоро не должны были вызывать в поездку.

Виктор поднялся, зажег свет, впустил рассыльного.

— Ехать, Виктор Иванович! — сказал тот, вздыхая. — Совсем зашились, все паровозы позастревали, а твой вернул-ся. Хотя отдых тебе не вышел, но велели вызывать.

— Во сколько?

— Нарядчик сказал — как можно скорей, помощника и кочегара я уже направил, — говорил он, растирая руки над еще теплой печью.

— Что, холодно? — спросил Виктор.

— Мороз не так уж большой, сорок один, да ветер про-клятуший полосует.

Поднялась Маша, молча стала собирать сундучок.

Виктор быстро оделся, взял легонький сундучок, как всегда, поцеловал жену, сказал: «Запирай двери», — и вы-шел.

Ветер завывал, обжигал лицо, качал в разные стороны.

Возле паровоза суетились помощник и кочегар.

— Что успели сделать? — спросил он, поздоровавшись.

— Да мы только пришли, Виктор Иванович!

— Давайте быстрее, ребята. В буксы добавляйте подо-гретой смазки, на параллели и кулисный камень тоже по-догретой. Проверьте, хватит ли песку, не смерзся ли он. По такой погоде без песку ни шагу.

Прибежал дежурный по депо, еще на ходу крича:

— Давай скорей, Виктор Иванович, давай, дорогой, там уже скандал на всю дорогу!

Это был тяжелый месяц для сибирских машинистов. Не-скопчаемым потоком шли на запад танки, орудия, воинское снаряжение, а навстречу — оборудование эвакуирующихся заводов с рабочими, эшелоны с ранеными, нефть, металл. Почти все поезда в обоих направлениях были литерными,

то есть подлежащими пропуску без очереди, на правах курьерских или пассажирских.

...Дубравин дал сигнал и выехал на контрольный пост.

С высоты паровозного окна огромного и мощного ФД он видел забитую поездами станцию, и ему казалось, что такого скопления здесь еще не бывало... «Зашили станцию так, что и к поезду не проберешься», — бормотал он, выезжая с контрольного поста. Возле стрелки его остановили, и он пришел в ярость. Как же не зашить станцию, если и поезда сформированы, и паровоз готов, а их держат! Но он ничего не мог поделать. Без разрешения нельзя даже трех метров отъехать... Спят они, что ли? Дать бы сейчас сигнал тревоги, сразу зашевелятся.

— Почему держите? — крикнул он стрелочнице, показавшейся из будки. — Под поезд хоть пустите, тормоза опробую.

— Пока нельзя, — ответила стрелочница. — Двойной тягой отправят, ваш паровоз головной. Вот сейчас подойдет второй, пропущу его, а потом вас.

Дубравин не выдержал и пошел на станцию. Почему это при такой нехватке паровозов двойной тягой?

Ветер гнал снежную пыль вдоль вагонов, как по трубам, глухо ударял в пустые цистерны и, взвихряясь, тонко завывал в проводах.

В помещении дежурного по станции было много народу и стоял сильный шум. Без конца звонили телефоны; из наушников, лежавших на столе, то и дело доносился голос диспетчера.

Виктор Иванович поздоровался, но ему почти никто не ответил. Каждый был занят своим делом. Тут же находились военный комендант станции, различные представители, «толкачи» и заместитель начальника Омской дороги Василий Тихонович Кравченко.

Оказывается, надо было срочно отправлять три поезда особого назначения — два нечетных на запад и один на восток. А депо могло выдать только два паровоза. Решили поэтому нечетные два поезда сцепить и отправить их двойной тягой, а как быть с третьим составом, придумать не могли. Об этом и шел разговор.

Через несколько минут после прихода Дубравина с контрольного поста сообщили, что вышел второй паровоз.

— Давай скорей, Виктор Иванович, — обратился к нему дежурный, — ты пойдешь ведущим. Не застряй бы только вам где-нибудь на подъеме, махину такую даем, что и конца не видно. Не знаю, как и с места ее стронете.

Дубравин стоял, прикрыв глаза, и его высокая фигура едва заметно и неравномерно покачивалась, будто он дремал. Трудно было понять, то ли разомлел человек с мороза в этом жарко натопленном помещении, то ли сковала вдруг усталость от непрерывной работы и недосыпания, или просто закружилась голова.

— Заснул, Дубравин? — окликнул его дежурный, и все обернулись к машинисту.

Тот поднял веки и, вытирая ветошью чистые руки, сказал:

— Прошу разрешить мне одному взять эти два состава. Тогда второй паровоз у вас освободится под...

— Перестаньте фантазировать! — перебил его дежурный. — Немедленно отправляйтесь!

— Подтолкнет сзади паровоз, и трону с места, а дальше поеду сам! — настаивал Дубравин.

— А если пару не хватит, встанете, кто подталкивать будет? — раздраженно возразил дежурный. — Кто за вас отвечать будет?

— Пар — это моя забота, я и отвечать буду! — повысил тон Виктор.

По лицу дежурного и по его нетерпеливым жестам было видно, что он скажет сейчас что-то резкое, но в разговор вмешался Кравченко.

— Вы поступаете как подлинный патриот, — обратился он к Дубравину, — но разрешить такую поездку нельзя. Во-первых, вы уже слышали, что это не обычные составы, а тяжеловесные. Во-вторых, его длина достигает километра, значит, в случае необходимости вы даже на станции не сможете встать, чтобы не задержать движения остальных поездов, потому что он не уместится ни на одной станции. А в-третьих, при таком морозе и ветре дай бог вам хоть двумя паровозами стронуть с места и вытянуть эту махину. Вот обстоятельства, которые надо учитывать, — закончил Кравченко и, помолчав немного, добавил: — Понимаете, если вы не вытянете на перегоне, значит, на два-три часа выйдет из строя все направление. Вот почему мы не можем рисковать.

В комнате стало тихо. Все смотрели на Дубравина.

— Ну, так вот, значит... — неопределенно протянул дежурный, давая понять, что разговор закончен.

А Виктор заговорил очень медленно, растягивая слова и как бы устало:

— Я это понимаю. Я все понимаю. Меня надо только подтолкнуть с места вторым паровозом и дать «зеленую улицу» до конца рейса... Я не подведу... Я ручаюсь...

Дубравин говорил тихо, казалось, даже неуверенно. В его словах не было ни пафоса, ни энергии, и почему они так подействовали на окружающих, сказать трудно. Но всем стало ясно, что надо разрешить ему вести этот немислимый километровый поезд, несмотря на мороз и ветер, несмотря ни на что. И хотя тон и вся его фигура казались вялыми, люди, слушавшие его, один за другим поднялись.

— Родина скажет вам спасибо, Дубравин, — крепко пожал ему руку Кравченко.

Виктор Иванович вышел в соседнее помещение отметить у оператора маршрут, и в комнате заговорили все сразу. Потом Дубравин услышал, как из шума вырвался чей-то окрик: «Тише!» — и все смолкли. Донесся голос Кравченко: «Я разрешил», и опять тихо. Ясно, что он говорил по телефону или по селектору. Через несколько секунд снова послышался голос за дверью: «Нет, отменять я не буду. Я беру на себя всю полноту ответственности за этот рейс».

ДРОЖЬ

Дубравин быстро шагал вдоль состава, который ему предстояло вести, поглядывая на рельсы, запорошенные снегом, на сцепления между вагонами. Он торопился. Время работало против него. С каждой минутой все сильнее застывает смазка в вагонных буксах и сковывает оси. Волокна подбивки примерзают к шейкам осей, держат их, точно клешнями, не дают вращаться. Снег на рельсах, мягкий и рыхлый, предательски хватает скаты будто тысячами магнитов, спрессовывается под колесами, и не передавить его. Смерзаются стяжки между вагонами, и весь состав превращается в одну сплошную массу, которую никакими силами не стронуть с места.

Он поднялся в будку, объяснил помощнику и кочегару, какой предстоит рейс. Пятнадцать атмосфер выдерживает котел паровоза ФД, и все пятнадцать надо держать до конца рейса. Дубравин заглядывает в топку. Ровный слой раскаленного угля покрывает всю колосниковую решетку. Полукруглый свод перед трубами, во всю ширину топки, выложен-

ный из огнеупорного кирпича, тоже раскален и кажется розово-прозрачным. Словно морево, струится вокруг него огненный воздух.

Снизу раздается знакомое, привычное: «Поехали, механик!» Пронзительный свисток главного — сигнал отправления.

Дубравин нажимает рукоятку свистка, и рев могучего ФД, заглушая вьюгу и станционный шум, разносится далеко вокруг и замирает где-то у угольной эстакады. Потом дает два коротких свистка: это приказ заднему паровозу начинать подталкивание. И откуда-то сзади, совсем издалека, доносится такой же сигнал: «Приказ услышан и понят, толкание начинаю».

Виктор медленно открывает регулятор. Издавая резкий скрип, один за другим трогаются с места смерзшиеся вагоны. Он открывает еще немного регулятор, прибавляя пару. Паровоз вздрагивает, гудит, у него не хватает сил тянуть все увеличивающуюся тяжесть. Еще секунда — и завертятся на месте колеса, заукает топка. Этого допустить нельзя. Словно от далекого залпа тяжелой артиллерии, доносится глухое эхо: буксует задний паровоз. Дубравин дает короткий свисток и через несколько секунд слышит ответный сигнал толкача. Теперь тот будет стоять, пока снова не получит приказ: «Начать толкание». Виктор тоже перекрывает пар, машина облегченно вздыхает и, заскрипев на снегу, останавливается.

Ясно, что так стронуть с места смерзшийся состав не удастся. Надо «раскачать» поезд, раздавить снег на рельсах. Машинист быстро переводит рычаг реверса в заднее положение и снова открывает регулятор. Паровоз движется назад, сжимая вагоны, а они скрипят, сопротивляются, и вот уже он уперся в них, точно в стену. Надо немедленно перекрыть пар, иначе колеса пачнут вращаться на месте.

Два раза раскачивал вагоны взад и вперед, пока снова не попросил машиниста толкача помочь ему. На этот раз дружными усилиями обоих паровозов удалось стронуть весь состав. Проехав метров сто, он дал сигнал толкачу, что тот ему больше не пужеп и может возвращаться.

Теперь все зависело только от него самого. Больше никто не поможет. И не знает машинист, какая беда ждет его. Он открывает еще немного регулятор и подтягивает к центру реверс. Поезд медленно набирает скорость..

Где-то далеко-далеко сзади плывет в морозном мареве белый огонек последнего вагона. В сторону станции он по-

казывает красный свет. И тот фонарик, что с левой стороны хвостового вагона, и тот, что внизу его, тоже показывают оставшимся на перроне красный огонь. Виктор Иванович знает: сейчас там стоят дежурный, все представители, уполномоченные, Кравченко. С надеждой и тревогой смотрят на эти красные огоньки. Они будут так стоять и смотреть, пока не скроется поезд и останутся только три красные точки в тумане. Виктор Иванович нажимает на рукоятку сигнала. Ревет ФД во всю свою мощь: длинный, короткий. Это сигнал бдительности. Пусть знают, что не дремлет механик. Пусть спокойно идут работать...

Он оборачивается в будку, освещенную двумя электрическими лампочками. Стрелка манометра подрагивает на красной предельной черточке — пятнадцать атмосфер. Воды — три четверти стекла. Смотрит, улыбаясь, на помощника, и тот, понимая его мысли, весело говорит:

— Сюда не смотри, Виктор Иванович, ниже красной не пуцу!

Дубравин знает, что так это и будет. Не зря помощник прошел его школу и уже поглядывает на правое крыло.

Ветер стих, и ясное небо все усыпано звездами. Провода телеграфных линий провисли от тяжести намерзшего на них снега.

Дубравин смотрит в окно. Правая рука на подлокотнике, левая на рукоятке песочницы. Вслушивается в работу машины. Он видит ее всю, от переднего бегунка до тендерной стяжки, будто под рентгеном. Дрожит, стучит, грохочет гигантская машина ФД — «Феликс Дзержинский».

Еще немного открывает механик регулятор и снова подтягивает реверс. Пока поезд идет по площадке, по ровной линии, он выслушивает машину. Но не всю сразу, а как врач больного: сначала сердце, потом легкие, каждый орган отдельно. Он как бы выключает все звуки, кроме тех, что определяют работу выслушиваемой детали.

Машина в полном порядке. Скоро начнется уклон, а потом подъем. Теперь надо выгодно использовать всю тяжесть поезда. Надо дать такую скорость, чтобы легко выскочить на гору. А потеряешь скорость до пятнадцати километров, ничем ее не наверстать, поезд неизбежно станет, не вытянет паровоз.

И пять тысяч шестьсот тонн воинских грузов, растянувшись на километр, несутся вниз. Но путь слаб, и надо тормозить. Как обидно, что нельзя дать хотя бы сто километров в час: быстрее и легче выскочил бы на подъем. Когда, наконец,

уложат такие пути, чтобы можно было ездить по-человечески!

Дубравин хорошо знает профиль пути. Знает все подъемы, уклоны, мосты, кривые. Без этого ехать нельзя. Ни один машинист не сможет вести поезд, если не знает профиля. Механика, пришедшего с другой дороги, не пустят на паровоз, пока он не изучит новый для него профиль. И даже после этого на первую поездку ему дадут проводника. Дубравин может ехать, не выглядывая в окно. По ходу машины с закрытыми глазами он определит, где находится.

Сейчас перед ним трудная задача. Поезд идет с уклона, а потом, почти сразу, — подъем. «Яму» состав должен проскочить или в сжатом состоянии, или в растянутом. Пока хоть один вагон в «яме», нельзя ни прибавлять пару, ни уменьшать. Иначе неизбежен разрыв поезда. Обычно Виктор дает нужный разгон и легко преодолевает подъем. Ну, а как быть с этим длинным составом?

В середине спуска он затормаживает поезд почти до полной остановки. Это тоже требует большого умения. Неопытный машинист может так затормозить, что вагоны начнут карабкаться друг на друга, полетят в сторону.

Уже на уклоне открыл регулятор, растянул состав и благополучно миновал обрывное место. Теперь надо преодолеть подъем.

Скорость упала до тридцати километров. Он решает сохранить ее до конца подъема. Но вот на кривой вздрогнула машина, посторонний звук вмешался в гул колес. Еще доля секунды — и паровоз забуксует. Значит, почти неизбежна остановка или большая потеря скорости, которая тоже приведет к остановке.

Он улавливает эту долю секунды, в которую надо дать песок на рельсы. Машина пошла спокойнее, но стрелка скоростемера чуть-чуть сдвинулась влево. Пора дать подкрепление из резервов. Он отпускает реверс на один зуб. Только на один: подъем еще велик, резервы потребуются.

Теперь все чаще вздрагивает паровоз. Левая рука — на рукоятке песочницы, чтобы не прозевать тот момент, когда ее надо открыть. Он высовывается в окно, чтобы слышать машину, чтобы уловить момент перед тем, как она вздрогнет. Пускать песок под колеса, когда они начнут буксовать, бесполезно, вернее вредно. Он будет действовать, как наждак, стачивая бандажи и рельсы.

Все тяжелее выхлопы. Виктор отпускает реверс еще на один зуб. Осталось только два. А потом?

И вот уже скорость двадцать пять километров и реверс отпущен до отказа. Все! Машине отдано все, что можно. Вывози, родимая! Ничего больше не может сделать механик.

Но уже головная часть на ровном месте, уже с каждой секундой паровозу легче; еще сто — двести метров — и вынырнет сзади, будто из ямы, белый огонек хвостового вагона. На площадке можно снова набрать скорость, накопить резервы.

Скоро покажется белый огонек. Машинист оборачивается назад и явственно чувствует, что сердце остановилось: в трех местах поезда струятся кроваво-красные круги. Это кондуктора, вращая фонарями, дают сигнал остановки. Это приказ, который надо выполнить немедленно. И в ту же минуту он слышит крик помощника:

— Букса горит! Останавливают!

Надо остановиться. Надо остановить весь этот воинский груз, закрытый чехлами, почти на гребне подъема. Это даже не танки и не пушки. Это что-то новое, секретное. Этого с нетерпением ждут на фронте. Надо остановиться. Через сколько же часов растащат по кускам этот бесконечный состав? «...Я понимаю, меня надо только подтолкнуть...» Вытаскивать придется одному, вспомогательного не дадут: нет паровозов. А на станциях в это время будут скапливаться другие воинские эшелоны, и поезда с эвакуирующимися заводами, и составы раненых... «Я понимаю... Я не подведу... Я ручаюсь...» Нет, это не кровь, это красные от бессонницы глаза заместителя начальника дороги Кравченко. Они смотрят на него: «Родина скажет вам спасибо, Дубравин».

Надо остановиться... Но нет сил протянуть руку к регулятору. Остановиться на подъеме с таким составом — значит, никакими силами его потом не взять. Надо вытянуть поезд на площадку.

— Горит! Огнем горит! Останавливайте! — слышит он снова.

— Нет! — властно кричит Дубравин, не то отвечая помощнику, не то своим мыслям. — Смотри, хвостовой сигнал, оба смотрите!

Сам он наполовину высовывается из окна, и глаза врезаются в темноту. Где же этот белый огонек? Или глаза, исполосованные морозом, ослепленные кровавыми сигналами остановки, перестали видеть? И будто в ответ ему закричали помощник и кочегар:

— Есть! Показался!

— Хвост виден!

Виктор с силой рвет на себя регулятор и резко тормозит. С шумом вырывается воздух из тормозных цилиндров. Поезд останавливается. Дубравин опускается на сиденье, откидывается на спинку. Помощник и кочегар застыли в каких-то неестественных позах.

Так проходит минута. Замолкло все, только нет-пет и всхлипнет автоматически действующий насос. Давление в магистрали должно пополниться до пяти атмосфер. Тогда насос выключится, тормоз готов к действию. Но кому нужен сейчас тормоз?

Дубравин поднимается. Лицо его серьезно и спокойно.

— Ну что ж, — вздыхает он, — смотрите машину, раз есть возможность.

Помощник и кочегар срываются с места.

Машинист снова выглядывает в окно. Вдоль поезда движутся два огонька: белый и красный. Белый — это главный кондуктор. Он скажет, что буксу сейчас перезаправят и можно будет ехать. Но как тронуться с места, он не скажет. Красный — поездной вагонный мастер. Он идет заправлять буксу.

— Почему так долго не останавливались? — еще издали кричит главный.

— Не мог, — отвечает Дубравин, — надо было вытащить на площадку хвост.

— Вот проклятые, чтоб им околеть! — в сердцах ругает главный тех, кто недосмотрел за буксой, и миролюбиво добавляет: — Пойду вызывать вспомогательный, вина не наша.

— Вызывать не надо, нет паровозов.

— По частям потащишь?

— Нет, все сразу.

Главный молчит: он не верит в эту затею. Но машинисту не хочется разговаривать, он просит лишь, чтобы поскорее покончили с буксой, пока поезд не замерз.

Спустя полчаса главный разрешил ехать.

Три раза Дубравин раскачивал вагоны назад и вперед, пока не решил, что пора попытаться стронуть с места весь состав. Он думает, что это возможно при одном условии: если ему удастся, действуя одновременно регулятором, реверсом и песочницей, в каждое мгновение трогать с места только один вагон. Нагрузка на паровоз будет возрастать постепенно, как и сила тяги машины, и, когда очередь дойдет до последних вагонов, паровоз уже продвинется метров на двадцать вперед, появится маленькая сила инерции, которая будет помогать ему.

Но как уловить эту ничтожную величину, на которую надо открывать окна цилиндров, чтобы скорость при трогании с места была одинаковой, пока не пойдет весь состав? Откроешь мало — у машины не хватит сил тянуть. Откроешь чуть-чуть больше — паровоз рванет, но состав всеми своими тысячами тонн будет упираться в рельсы, и машина забуксует. Если же превысишь это «чуть-чуть» на микроскопическую величину, поезд разорвется, как бумажный шпагат в сильных руках.

Где же эта граница, эта невидимая величина, единственно необходимая сейчас машинисту? Для каждого веса поезда она разная.

...Левая рука на регуляторе, правая на реверсе. Медленно сжимаются мышцы левой руки. Со скрипом от мороза, с глухим стоном трогаются с места смерзшиеся первые вагоны. За ними, все увеличивая скрип и стон, тянутся следующие. Тяжко и гулко грохнул выхлоп: ччч-ах! И вот уже напрягается, вздрагивает паровоз. Медленно, едва-едва поворачиваются колеса. Сейчас будет второй выхлоп. Но мелкая, словно судорожная дрожь пробегает по всему корпусу паровоза. Он угрожающе рычит, и нет у него больше сил. Надо дать новую струю пара, как задыхающемуся больному воздух из кислородной подушки. Но сколько же его надо дать, чтобы не завертелись на месте колеса, не грохнула, как от взрыва, топка?

Дрожит рукоятка регулятора, и эта дрожь передается на руки механика, на плечо, на грудь, на сердце. По этой дрожи он словно определяет пульс механизма. Кончики нервов механика будто простерлись по всему огромному корпусу машины, будто перешла к нему ее сила, и не в котле, а в груди его бьются все пятнадцать атмосфер. И он ощущает каждую деталь механизма, как удары собственного сердца. Он улавливает неуловимую долю мгновения, в которую надо вдохнуть новые силы паровозу, и ту величину силы, единственно необходимую для этого мгновения. Он чувствует миг, в который надо дернуть и поставить на место рукоятку песочницы, чтобы она выплюнула на рельсы именно ту порцию песка, который только на эту секунду должен увеличить сцепление колес.

И вот уже опасная секунда миновала, но поезд становится тяжелее, машина уже не дрожит, а содрогается всем своим могучим телом. И снова кончики нервов улавливают доли мгновения, и снова укрощает машину человек.

Сколько времени продолжалась эта борьба, Виктор не

мог бы сказать. Но вдруг его лицо, где каждая мышца будто сведена судорогой, становится мягче. Вес поезда перестал увеличиваться, значит, движется весь состав, значит, он взял с места, значит, кончился кошмар остановки. Он оборачивается на помощника и кочегара, видит их окаменелые лица и широко раскрытые глаза, и его лицо расплывается в улыбке. И только большая сила воли помогает сдержать восторженный крик, готовый вырваться из груди.

Помощник бросается к окну, смотрит назад и весело кричит:

— Плывет! Плывет хвостовой огонек!

Теперь Виктор Иванович смело прибавляет пару и подтягивает реверс. Надо ехать на самом экономичном режиме, надо готовить резервы.

Дубравин садится, сталкивает на затылок шапку, вытирает платком весь в испарине лоб.

Одна минута потребовалась на то, чтобы стронуть с места поезд, но за эту минуту сорок раз содрогался паровоз и сорок раз машиниста бросало в пот.

До конечной станции доехали хорошо. Паровоз пришлось протянуть чуть не к выходному семафору. Потом состав расцепили посередине, он проехал немного вперед и осадил на другой путь первую половину поезда. Теперь они стояли рядом, две половинки. Дальше каждую из них поведет мощный паровоз.

Заправившись водой, Дубравин поехал в депо и сдал машину деповскому кочегару. Потом все трое забрали свои сундучки и отправились в дом для отдыха паровозных бригад.

Отдых! Принять горячий душ, поесть — и в теплую постель. Ведь он не спит уже которые сутки!

По дороге им встретился дежурный по депо. Оказывается, он ищет их.

— Диспетчер говорит: может быть, поедете обратно? — обращается он к механику. — Стоит литерный особого назначения, а ехать некому.

Дубравин смотрит на помощника и кочегара. Те молчат, но по их лицам он видит: «Мы готовы, Виктор Иванович, как вы, так и мы».

— А какой вес поезда? — спрашивает он.

— Тяжелый, — вздыхает дежурный, — три тысячи тонн.

— Ну, такой мы увезем, только пусть получше топку вычистят. Пока будут чистить, можно поесть.

Теперь они идут уже не в дом для отдыха паровозных

бригад, а в деповский буфет, находящийся рядом. По маршрутному листу каждый получает триста граммов черного хлеба, сто пятьдесят граммов колбасы и десяток кругленьких, без оберток, конфеток. На маршрутном листе ставят штамп в рамочке: «Получено».

— Вот как здесь здорово снабжают, — говорит кочегар. — А в другое депо приедешь — один хлеб, да и тот сырой.

— Ну и люди! — улыбается Виктор. — Всегда чем-нибудь недовольны. Ведь это тебе сверх нормы дают, да еще по карточкам получишь. Чего же тебе еще?

Кочегар смущенно молчит.

Они садятся за стол и открывают сундучки. Там тоже кое-что имеется: молоко, вареная картошка, а у помощника даже кусочек сала.

Дубравин берет две конфетки к чаю, а остальные тщательно завертывает и прячет в сундучок. Колбасу разрезает на две равные части и половину тоже прячет.

Через сорок минут паровоз уже был под поездом.

Светало. Мороз упал до тридцати градусов. Телеграфные провода все так же прогибались под тяжестью снега. Утренний туман еще не рассеялся, и тускло-тускло мерцали огоньки стрелок и семафоров.

Снизу послышалось: «Пое-хали, механик!» Рев ФД прокатился по дремлющей станции. Дубравин опять трижды «раскачивал» вагоны, пока не тронулся с места весь «литерный особого назначения».

На этот раз тянулись долго. Поезд держали почти на каждой станции. В Барабинск приехали перед вечером.

Дубравин устал. Громко, на всю улицу говорил репродуктор. Передавали сводку Информбюро. Сводка была хорошая.

Он идет по деревянному настилу, держа в левой руке сундучок, а правой мнет ветошь, которую забыл бросить. Спихватывается, что идет медленно и его качает. Надо ускорить шаг, надо обязательно отоспаться. Ведь снова могут вызвать раньше времени.

Ему хотелось идти быстро. Он шел медленно, тяжело. Перед домом приободрился. В кухне Маша приняла у него сундучок и тяжелый ватный бушлат с блестящими пуговицами, для которого было отведено особое место, чтобы не пачкал стену у вешалки.

Он присел на минутку в кухне на сундук. Теплота разливалась по всему телу, глаза слипались. Хотел снять валенки, но не было сил.

— Раздевайся, Витя, сейчас дам горячей воды, — сказала Маша, выходя в сени.

Хотел разуться, но голова повисла, и он просто уперся руками в валенок, чтобы не свалиться. Он так и остался сидеть, пока не скрипнула дверь. Вошла Маша и поставила на плиту кастрюлю. Виктор стаскивал второй валенок, когда она сказала:

— Пока умоешься, как раз суп разогреется.

А он уже клонился на сундук, уже совсем слипались глаза.

— Только пять минут, Машенька, — просит он, — заметь по часам, я сейчас же встану...

— Да умойся хоть, Витя, покушай, ну что же ты?..

Но голова беспомощно стукнулась о доски, и Маше кажется, что это он со сна бормочет:

— Там, в сундучке, конфетки дочке... А ты колбаски поешь... хорошая колбаска... ты не ругайся, много дали, у меня осталось.

Тяжело вздохнув, она идет за подушкой, покрывает ее чистой тряпочкой и подкладывает под голову мужа. Потом подставляет табуретку под свисшие с сундука ноги. Она вытирает платком угольную пыль, оставшуюся в уголках его глаз, вытирает лицо. С минуту смотрит на мужа, снова тяжело вздыхает и выносит обратно в сени кастрюлю.

Теперь она будет прислушиваться к каждому шороху под окном... Только бы не стукнула по стеклу палочка, только бы не пришел рассыльный!

ПРОЩАЙ, МОЙ ТОВАРИЩ..

Дубравин был машинистом транссибирской магистрали. Но теперь эта магистраль превратилась в дорогу жизни всей страны, подобно тому как ледяной путь через Ладогу стал жизненным нервом для осажденного Ленинграда.

Виктор был машинистом первого класса на первой линии борьбы.

Когда кончилась война, Дубравин получил орден Ленина. В первые послевоенные выборы в органы власти стал депутатом Верховного Совета республики.

Трудно верилось в показатели, которых достиг Дубравин. И начальник Омской железной дороги издает приказ: командировать его во все депо. Пусть машинисты сами посмотрят на паровоз Дубравина, посмотрят, как трогается он с места, какие водит составы.

Спустя два месяца, возвращаясь домой, Виктор Иванович обратил внимание на какие-то странные квадратные ямы, выкопанные на равном расстоянии друг от друга вдоль всего пути.

Они виднелись и с левой стороны путей и уходили до самого горизонта, будто две толстые пунктирные линии по краям сплошных нитей рельсов. Дальше ямы были уже не пустые. В них оказались железобетонные тумбы, из которых торчало по четыре толстых штыря. И ему стало вдруг все ясно. Это фундаменты под мачты для электролинии. Через несколько километров показались и самые мачты.

Теперь никаких сомнений не было. Значит, после стольких разговоров действительно начинают электрифицировать участок.

Любая новая стройка в родном краю всегда радовала его. Он любил наблюдать ее от самого начала до конца. Вот он едет на паровозе и замечает, что на пустыре роют фундамент. А в следующих поездах смотрит, как быстро растут стены. Проходит два-три года, и кажется, что новое предприятие стоит здесь десятки лет, и странно, если бы его не было.

Особенно радовало строительство на железной дороге. Даже маленький кирпичный завод, даже новая баня.

И вот опять новая стройка, да не бани, а электрической железной дороги. Но эта стройка не вызвала радости. Даже как будто испортилось настроение.

Поезд шел быстро, и мачты мелькали, как частокол, ограждавший путь. В пейзаж, знакомый до каждого кустика и бугорка, врезалось что-то непривычное, чуждое. Будто отгородили машиниста от степей и лесов.

Чем ближе подъезжал к дому, тем хуже становилось настроение. От прежней приподнятости и радости не осталось и следа.

Ну зачем Дубравину пересаживаться на электровоз?

Паровоз принес ему уважение товарищей, почет, славу, полный материальный достаток. Он может проехать много километров без набора воды. Но электровоз работает вообще без воды, и это умение, выработанное годами и упорным трудом, уже никому не будет нужно. Он может дать огромную экономию угля. Но электровозу не нужен уголь. И звание мастера отопления паровоза тоже теперь ни к чему. И его искусство добиваться высокой степени перегрева пара, все его знания и опыт, все, за что он получил ордена, медали, все это никому больше не нужно.

Но главное не в этом. Что ему делать дальше? Он ведь никакого понятия не имеет не только об электровозе, но даже об электротехнике, без которой нельзя и приступать к изучению новой машины. Те немногие познания в области электричества, которые получил в техникуме, давно выветрились. Значит, начинать сначала, с голого места? И все это после того, как он достиг вершин мастерства!

Дома, кое-как перекусив, ушел в свою комнату, сказав, что будет работать. И действительно, он решил ответить на последние письма избирателей. Открыл пишущую машинку, заложил два листа — один с личным бланком депутата, второй чистый — и начал думать, как ответить на лежащее перед ним письмо. Но не мог сосредоточиться, потому что мешал Валерик. Мальчик сидел в соседней комнате за пианино и разучивал новую для него песню, напевая в такт ударам клавишей:

Я-а зна-а-ю-у, друзь-я-а, что не жить мне без мо-ря,
Как мо-ре мертво-о без ме-ня-а!

На слове «море» он фальшивил, начинал сначала и снова не мог найти нужную ноту.

Виктор Иванович прислушивался к звукам за дверью, с раздражением ожидая фальшивой ноты. Потом не выдержал и вышел к сыну:

— Неужели ты не слышишь? Мо-оре, мо-оре, а ты бьешь мо-ре-ее, — говорил он, ударяя одним пальцем по клавишам.

Он вернулся к себе, расправил под машинкой зеленое сукно письменного стола, напечатал: «Уважаемый товарищ!» — но тут раздался телефонный звонок — из горкома партии сообщали, что через день заседание бюро и его просят присутствовать.

Положив трубку, отодвинул и закрыл машинку.

Как же пересаживаться на электровоз, если это совсем другая машина? Почему он должен менять профессию? Да и сумеет ли освоить электровоз, к которому у него нет никакого интереса. Годы ведь ушли! На паровозе все ясно: в топке горит огонь, вода в котле кипит, и образуется пар, который толкает поршень в цилиндре то назад, то вперед. С помощью простых сочленений поршень соединен с колесом, и оно вращается. Этот процесс ясен любому, даже ребенку. Все это можно увидеть собственными глазами. А почему движется электровоз? Где-то, в сотнях километров от локомотива, вырабатывается никем и никогда не видимый ток, невидимо и бесшумно идет по тонким проводам, тая в себе ог-

ромную силу, которая заставляет вращаться двигатели. Здесь надо все только представлять в своем воображении, ничего нельзя увидеть. Фантастика какая-то! Ищи этот невидимый ток, если он вдруг пропадет или пойдет не туда, куда надо. Ему хочется сейчас же найти, по каким законам и куда движется ток.

Виктор Иванович резко поднимается, приоткрывает дверь, громко зовет:

— Вера!

Из кухни вбегает старшая дочь:

— Что, папа?

— Принеси мне скоренько твой учебник по физике, — говорит он, не глядя на нее.

...Он листает учебник. Законы Ома, Фарадея, Кулона, Джоуля... Ага, вот что-то о направлении тока. Это закон Ленца:

«Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, который является причиной возникновения этого тока».

Что это значит?

Он снова листает учебник, выхватывая наугад фразы.

«Для синусоидального переменного тока эффективное значение его меньше амплитудного в $\sqrt{2}$ раза...»

Сам черт ногу сломит.

Из-за двери доносится все тот же мотив: «Я-а зна-аю-у, друзь-я-а...»

Но это же немыслимо! Сколько можно разучивать одну музыкальную фразу? Теперь начался там какой-то спор.

Раньше ни шум, ни музыка, ни разговор за дверью не могли бы отвлечь его от работы. Напротив, ему приятно было ощущать жизнь семьи совсем рядом, этот шум был просто необходим, как певцу аккомпанемент, как машинисту грохот паровоза. Ведь этот грохот не только не мешает, а успокаивает, показывает, исправно ли работают механизмы. Сделайте паровоз бесшумным — и механик не сможет на нем ехать, он не будет слышать пульса жизни машины. Вот так же Виктору Ивановичу надо было ощущать жизнь семьи за дверью своего кабинета.

Но сейчас все его раздражало. Он стал прислушиваться к спору. Оказывается, пришла младшая дочь Тамара и потребовала, чтобы Валерка освободил ей место.

Виктор Иванович представляет себе ее лицо: задорный

носик, быстрые глазенки. Она решительно махнула рукой «Марш отсюда!» — и метнулись в сторону косички.

Как странно получается! Валерик старше ее, он мальчишка, но всегда и во всем уступает ей. То ли он такой тихоня, то ли девочка очень боевая.

...Конечно, на электровозе чище и легче работать. Там все готовое. Не нужны ни пар, ни вода, ни уголь — сел и поехал. Машинисты приходят туда, как служащие в контору, при галстучках и с бутербродами, завернутыми в газетку. В зимние холода незачем открывать окна. Стекла обдуваются воздухом и не замерзают. Щетка очищает их, как в автомобиле. Но мало ли есть удобных и красивых машин! Надо же знать их, уметь на них ездить.

Виктор Иванович с раздражением смотрит на дверь. Он слышит голос жены. Аккорд обрывается...

— Нет, все равно невозможно здесь сидеть.

Он поднимается, бессвязно объясняет Маше, что у него срочное дело, и уходит. Машинально направляется в депо, напевая застрявшее в голове: «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря...»

На двери дежурного по депо большой плакат. Сверху призыв: «Работать зимой так же, как летом!» Ниже надпись крупным шрифтом: «Как водить поезда в зимних условиях». А еще ниже — буквами чуть ли не в ладонь величиной: «Опыт работы машиниста В. И. Дубравина».

Он смотрит на свой портрет, обрамленный текстом его доклада. Плакат напечатали в Москве. Сюда его приклеили давно. Виктор Иванович так привык к нему, что не только перестал обращать на него внимание, но просто больше не замечал. А сейчас этот лист бумаги резанул глаза. Он попятился назад, быстро пошел в другую сторону.

Сняли бы хоть скорее, а то людям на смех. Теперь уже, наверно, печатают другие плакаты, в которых описывается лучший опыт электровозников.

И, как назло, глаза уставились в красное полотнище над воротами депо:

«Паровозники! Будем работать, как лучший машинист В. И. Дубравин».

Это тоже теперь уберут...

— Привет, Виктор Иванович! — слышит он чей-то голос и ежится, будто его застали за нечестным делом.

— Привет! — поспешно отвечает он, оборачиваясь.

Перед ним радостный, улыбающийся нарядчик.

— Дождались, Виктор Иванович! — говорит он, потирая

руки и не замечая смущения Дубравина. — В белых перчаточках теперь поезда будем водить, Виктор Иванович! Идите скорее в брехаловку, там все собрались...

— Да... конечно... — силится улыбнуться Дубравин, с облегчением замечая, что нарядчик проходит мимо, не собираясь останавливаться.

Нет, в нарядную он не пойдет! Надо сначала самому разобратся во всем, что происходит.

Он идет в сторону вокзала.

На перронелюдно. Только что пришел экспресс. Рядом стоит скорый «Ленинград — Хабаровск», прибывший немного раньше. Ярко горят станционные огни.

Сколько человеческих судеб! Сколько надежд, радости, горя везут люди в поездах!

Поток устремился в ресторан. А вот этот, в очках, смело пересекающий поток, ищет газетный киоск. Он купит все центральные газеты, если они остались, купит городскую, областную, районную, многотиражку и, если бы продавалась стенная газета, купил бы и ее. Когда поезд тронется, он, усевшись поудобней и предвкушая удовольствие, будет читать о том, как живут далекие для него люди Барабинских степей. С таким же интересом будет смотреть газеты, добытые на других станциях, о жизни в Кулундинских степях, о прокатчиках Новосибирска, студентах Томска. Он берет от своего путешествия все, что может.

А вот выскочили трое в расстегнутых пижамах, с беспокойными, блуждающими глазами. Расталкивая людей, глядя поверх толпы, они тоже ищут киоск. Это преферансисты. Они проводят в поезде бессонные ночи, успели истрепать свои карты и ищут, где бы купить новую колоду.

Но самое интересное — наблюдать гуляющих. Молодой человек шагает размеренно, чинно, о чем-то сосредоточенно думая. Наверно, только что окончил институт и едет к месту работы. Он понимает, что инженер, прибывший из столицы с путевкой за подписью министра, должен иметь солидный вид...

Вот медленно прохаживаются пожилые люди: муж и жена. Они стараются не удаляться от своего вагона, идут молча. Возможно, ездили в отпуск или в Ленинград, к сыну, а теперь возвращаются домой, полные впечатлений. Им не до разговоров. А вот эта парочка явно познакомилась только в вагоне. Они ходят от края и до края поезда. Оба очень молодые и очень стеснительные, держатся на почтительном расстоянии друг от друга. Интересно, о чем они говорят! Чем

окончится их знакомство? Может быть, через несколько станций кто-то из них сойдет и больше никогда они не увидятся. А может быть... Кто знает, что может быть, как сложится их судьба!

Как сложится судьба! Нет, судьбу надо складывать, а не ждать, пока она сама сложится... Надо прежде всего решить: идет ли он на эту чистенькую, но чужую машину.

Работы по электрификации шли полным ходом. Две группы монтажников от Чулымской и Барабинска тянули линию навстречу друг другу. В поездах, которые водил Дубравин, все чаще попадались платформы с мачтами и проводом для новой линии. С каждой поездкой все длиннее становился путь, огражденный частоколом мачт, накрытый паутиной проводов. Эти провода мешали ему, будто загородили от него небо, будто весь путь загнали в туннель.

При очередной командировке в Москву, на какой-то станции, как только к поезду прицепили электровоз, Виктор Иванович, спросив разрешения, поднялся в кабину. Он вошел и подумал: «Да, это, конечно, не будка, как на паровозе, а кабина, иначе ее не назовешь». Устанный линолеумом пол, стенки как в вагонах метро, электропечь с регулируемым нагревом. Чисто, тепло, уютно. Перед механиком — щиток с кнопками и две рукоятки на контроллере. Это приборы управления — словно в трамвае. Правда, кое-что перешло сюда с паровоза: знакомый, родной кран машиниста для торможения, песочница, скоростемер... Паровозники называют его «доносчиком». Он показывает и одновременно записывает на ленту не только скорость движения, но и каждый шаг машиниста. По ленте видно, когда, как и где, в скольких метрах от светофора, или стрелки, или разъезда начал тормозить механик, какую степень торможения дал, как ехал и на подъем и спускался с уклона, буксовала ли у него машина и сколько времени, где его действия были правильны, а где ошибочны. И если случится что-либо с поездом — только правду надо говорить, потому что «доносчик» все знает, все видел, все записал.

И автостоп здесь точно такой, как на паровозе. Если впереди покажется красный свет, где-то над головой возникнет удивительно противный звук, что-то среднее между скрипом ножа по тарелке и свистком футбольного судьи. Так будет продолжаться девять — двенадцать секунд. Если машинист никаких мер не примет, автостоп сам даст экстренное тормо-

жепие и остановит поезд. Этот нескромный прибор вмешивается в действия механика не только при красном свете. Он начинает свою «музыку» перед станциями, разъездами, всюду, где надо сократить скорость или призвать машиниста к бдительности.

Видно, не без задней мысли конструкторы дали ему такой противный голос: чем бы ни был занят машинист, он бросит все, только бы увячь автостоп, только бы заставить его замолчать.

Дубравин обратил внимание на то, как чисто одет машинист, как легко и спокойно ведет состав. Станным казалось, что впереди кабины ничего нет. Даже у шофера перед глазами часть машины, а тут рельсы бегут прямо под ноги. Зато как хорошо видно все, что делается впереди, и справа, и слева.

Виктор Иванович задал несколько вопросов механику, и о чем бы ни зашла речь, получалось, что здесь во много раз лучше и легче, чем на паровом.

По возвращении домой Дубравин увидел, что депо продолжает жить тревожной, настороженной жизнью. Ни один машинист не имел достаточного образования, чтобы начать изучение электровоза. Повсюду собирались паровозники, спорили, судили-рядили, как быть дальше. Бывший напарник Дубравина, прекрасный механик, так подвел итог одного из споров: «На мой век паровозов хватит. Пусть другие учатся». Эта фраза поползла по депо, звучала как призыв. Но многие механики сами побывали на электровозах, многие передавали то, что слышали от людей, и, когда началась запись на Омские краткосрочные курсы, десятки машинистов подали заявления.

Дубравин заявления не подал. А в депо только и говорили о новом виде тяги.

...По всей необъятной стране день и ночь идут угольные эшелоны. По всей стране разбросаны тысячи железнодорожных угольных эстакад. Круглые сутки бесконечной конвейерной лентой поднимаются на эстакады груженные углем вагонетки, соединенные тяжелой цепью, чтобы заполнить бездонные бункеры.

А внизу уже дожидаются, уже стоят в очереди, гудят ненасытные паровозы: давай уголь! И тысячи черных, как этот уголь, людей не успевают открывать бункерные крышки: каждая пятая угольная шахта в стране отдает всю свою добычу железнодорожному транспорту.

Пятьсот вагонов угля в час заглатывают пасти паровоз-

ных топок. И только двадцать из них расходуется с пользой.

Четыре процента! Таков в среднем КПД — коэффициент полезного действия — паровоза. А у электровоза — до семидесяти процентов.

...Есть ли у него право не идти на электровоз? Он кадровый рабочий, дважды «Почетный железнодорожник», депутат, коммунист. Что же, бежать от новой техники в другое депо? Но ведь электровоз догонит. Да и бегал ли он когда-нибудь от трудностей? Чего же бояться? Лишнего труда, пока будет осваиваться машина? Так ему ли бояться труда! Сами названия медалей «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд» и орден Трудового Красного Знамени свидетельствуют, что он получил их за труд, за преодоление трудностей.

Да и действительно, не так страшен черт, как его малюют.

Решение созревало постепенно, оно укреплялось, цементировалось, пока не вылилось в страстное желание покорить эту новую машину, взять новую высоту.

Он начал учиться на деповских курсах без отрыва от основной работы.

У него сильная воля. Он не видел ни долгих зимних ночей, ни чудесных летних дней: сидел за книгами. С каждым днем распутывались бесконечные лабиринты электрических схем, он уже отчетливо представлял пути тока, так же отчетливо, как путь пара или воздуха в паровозе. Совсем не страшными оказались Ом, Фарадей, Кулон, Джоуль, Ленц...

Он сидел за книгами и работал на паровозе, как положено работать машинисту первого класса, признанному страной.

И только однажды дрогнуло и сжалось сердце: предстояло совершить последний рейс на паровозе. В последний раз он шел с сундучком. На электровозе железный сундучок не нужен. Там нет воды, угля, пара, грязи. Там не нужна железная оболочка для сохранения пищи. В последний раз он осматривал и готовил к рейсу паровоз. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга...»

Трудно было Дубравину прощаться с паровозом.казалось, он свыкся с мыслью об электровозе, заинтересовался им, уже не терпелось ему совершить свой первый рейс. Он убедился, как велики преимущества электровоза, насколько легче на нем работать, какие огромные перспективы для развития транспорта открывает электротяга. И все же... Ведь

он любил паровоз! Есть в этой машине какая-то особая сила, что притягивает к себе.

Да, паровоз — это уголь, мазут, копоть. Он морально отжил свой век и должен уйти со сцены. Но Виктор Иванович прощался с машиной, на которой проработал больше двадцати лет, как с живым существом, как с ветераном труда, идущим на отдых.

Дубравину был дорог отживший свой век паровоз, как дороги сегодня боевому генералу гимнастерка и шлем времен гражданской войны.

ПЕРЕД КАТАСТРОФЕЙ

Владимир Чеботарев совершил аварию и был переведен на должность помощника машиниста. Такая мера наказания широко практикуется на транспорте. Владимир понимал, что поступили с ним правильно, но тяжело переживал свой позор. Перед вечером зашел к нарядчику и тот сказал, что заболел помощник Дубравина и Владимиру придется ехать вместо больного. Настроение совсем испортилось. Решил зайти в столовую, потом часика два поспать и — в рейс.

В деповской столовойлюдно и шумно. Толпятся рабочие у буфетной стойки, у кухонного окошка. За столиком в углу сидят четверо. У ног каждого из них — железный сундучок. Это машинисты высшего класса, водители экспрессов и тяжеловесных поездов. Их легко определить и по осанке, и по чувству собственного достоинства, написанному на лицах, и по тому, с каким уважением здороваются с ними рабочие. Чуть поодаль, за отдельным столиком, низко склонившись над тарелкой, — слесарь Тюкин. Он в грязной спецовке, зашел перекусить. Увидел Чеботарева, радостно вскопчил:

— Володька! — и увлек его за свой столик. — Вот молодец, что зашел. — Обернувшись по сторонам, хитро подмигнул: — Я как знал. — И он быстро и ловко, не вынимая бутылки из бокового кармана, налил в стакан, поставил второй. По всему видно, что уже прикладывался к этой бутылке.

— Ты что! — возмутился Чеботарев. — Мне ж в поездку, — и он отодвинул от себя стакан.

— Так и я ж на работе, — пожал плечами Тюкин, словно это был самый веский довод за то, чтобы выпить.

Четверо маститых, наблюдавших эту сцену, переглянулись. Молча поднялся самый старший из них машинист Карбышев, подошел к Тюкину. Молча встал возле него. У Тюкина забегали глаза.

— Вылей! — властно сказал Карбышев.

— А я не за ваши, за свои... а вы разве не пьете?

— Пьем! — отрубил Карбышев и выплеснул в пустую тарелку стакан. — Пьем! — И он медленно пошел на свое место.

Тюкин не осмелился ничего сказать. А Карбышев обернулся к Чеботареву:

— А ты тоже! Машинист, называется.

— Был машинист, да теперь помощник, — развязно ответил Владимир.

— С таким дружкой и в кочегары недолго.

— У дружка руки золотые.

— Руки-то золотые, потому и сходит все с рук.

Чеботарев не ответил. Поднялся, пошел. Вслед засеменял Тюкин.

— Сколько раз тебе говорил, — зло сказал Владимир, когда они вышли. — Выпить тебе негде, что ли? Вечно в столовую прешься.

— Да ну их к черту, — отмахнулся Тюкин. — Ты с кем едешь?

— С Дубравиным, — нахмурился Владимир.

— Мировая машина. Сейчас только клапан на инжектор поставлю, и будут заправлять.

Так и не поев, Чеботарев отправился домой, а изрядно выпивший Тюкин в депо. На канавах стояло несколько холодных паровозов. В окне одного из них ярко горела переносная лампа. Ниже номерного знака табличка: «Старший машинист В. И. Дубравин». На эту машину и поднялся Тюкин. Видно, что он уже здесь работал. Взял с сиденья медный клапан размером с пол-литровую банку и попытался вернуть в тело котла. Резьба не наживлялась.

— Э, черт возьми! — ругается он.

— Давай быстрее, Тюкин! — раздается крик снизу. — Машина под первый номер идет.

— Сейчас, сейчас...

Он наживил, наконец, резьбу, заворачивает ключом. Клапан идет туго, сил не хватает.

— Вот проклятый! — бормочет Тюкин.

Решительно хватает кусок дымогарной трубы, валявшейся на полу, насаживает ее на рукоятку ключа. Рычаг получился длинный, Тюкин налег на него всем телом. Скрипя и подрагивая, клапан пошел. Медный клапан шел не по резьбе. Острая стальная резьба котла резала тонкие медные нити, прокладывая себе новый ненадежный путь.

Клапан стоит точно пробка в бочке. Одна его сторона —

под напором воды и пара в котле, вторая — выходит наружу в будку машиниста.

...Холодный паровоз вытащили из депо и развели пары. А ненадежно поставленный клапан так и остался, точно мина замедленного действия. Где-то она сработает...

На душе у Чеботарева было тяжело, потому и шагал тяжело, смотрел вниз. Нет, он никуда не смотрел. Он думал, и думы его были горькие.

По звукам, доносящимся со станции, по зареву и отблескам угадывалась кипучая жизнь железнодорожного узла. Надрывались сигналы локомотивов, точно хотели перекрычать друг друга, и в их голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Выскочил из переулка Сенька, паренек лет десяти в пионерском галстуке и с рюкзаком за спиной.

— Драсте, дядя Володя. Вы в поездку?

— Угу.

— А мы в лагеря едем, — радостно сообщает тот, — всей школой едем.

— Угу, — снова мычит Владимир.

Отчетливо донеслась серия гудков — три раза по три: ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту!

— Опять зашились, шестая машина подряд под уголь запросилась, — говорит Чеботарев как бы самому себе.

— А откуда вы знаете?

— Ну, слышишь, девятый путь высвистывает.

— Верно, дядя Володя! — восторгается он.

У школы гурьба ребят.

— Пока, дядя Володя! — припрыгивая, побежал к ним Сенька.

А Чеботарев снова углубился в свои невеселые думы. Он идет уже по виадук, бесконечно длинному и ажурному, взметнувшемуся над железнодорожным узлом. Зеленые, красные, желтые лучи выходных сигналов, стелющийся над рельсами синий свет карликовых светофоров, молочные огни стрелок и над всем этим гигантские прожекторные мачты, будто наклонив огненные головы, усталились на крыши вагонов и на рельсы. Широкая сеть тяжелых проводов, распластавшись над всеми путями, к границе станции сужается и, слившись в две нити, убегает куда-то, тая в воздухе.

На фоне станции в застекленной башне перед электрическим табло с бегаящими огоньками виден человек. Он нажимает кнопки, что-то говорит в селектор. И в такт движения его пальцев меняют цвета огни светофоров, загораются на них цифры, щелкают на путях автоматические стрелки, качнувшись на стрелках, расходятся в разные стороны локомотивы, которые, казалось, вот-вот столкнутся. Все подчинено единой воле.

Вырвались из темноты глазницы электровоза, осветив стрелочную будку и стоящего за ней молодого железнодорожника с супдучком в руках. Он вглядывается куда-то, поглядывает на часы, переминается с ноги на ногу. Из мощных репродукторов на столбах над всеми путями несется голос:

— Бригаде Титова, приготовиться! В шестой парк осаживаю нефтеналивной!

Осветилась и расплылась в полумраке фигурка девушки в форменной тужурке. Юноша с сундучком заметил ее, пошел, будто и не стоял за будкой, не дожидался. И вот они уже идут вместе.

* * *

Паровоз стоит у поворотного круга. За правым крылом машинист Виктор Дубравин, за левым — помощник машиниста Владимир Чеботарев. Подрагивает стрелка манометра. Всклипывает насос. Бьется огненная полоска между топочными дверцами.

— Под экспресс давай на контрольный пост! — доносится снизу крик.

Виктор поднимается, медленно передвигает рычаг реверса. Взялся за рукоятку регулятора. Он понимает: сейчас еще можно отказаться. Дадут другого помощника.

— Что ты копаешься! — слышен нетерпеливый крик снизу. — Экспресс на подходе.

Это последний рейс Дубравина на паровозе. Он не хочет ссориться. Он открывает регулятор. Глухо ударили золотники, зашипели паром цилиндры краны. Паровоз тронулся. Почти безлюдный перрон под большим гофрированным навесом. Длинный пассажирский состав. В окнах свет. Звонкие удары молотка по колесам. Отцепился от состава и ушел электровоз. Подъехал и стукнулся буферами паровоз Виктора.

— Механик! Проверим тормоза! — кричит кто-то снизу.

Виктор дает два тихих коротких гудка и повертывает тормозную рукоятку, стоящую возле злополучного клапана.

На путях шеренга красных огней светофоров. Главный кондуктор посматривает то на часы, которые держит в руке, то на светофор. Смотрит из окна и Виктор.

Погас красный луч, и ударил зеленый.

— Поехали, механик! — кричит главный и дает свисток. Владимир открывает регулятор.

Чч-ах! — ухнула топка. Плавно трогается состав.

В будке машиниста яркий свет четырех электрических лампочек. Справа — Дубравин, слева — Чеботарев. Оба смотрят в окна. Разбегаются рельсы, разноцветные огоньки.

Идет красавец экспресс. В станционных бликах сверкают вагоны, покрытые красной эмалью, и белые лакированные буквы: «ЭКСПРЕСС». Черным блеском отливают котел паровоза, перепопоясанный медными, горящими обручами.

Сидят в будке два человека. Один справа, другой слева. Вращается на тендере огромный винт по форме точно такой, как в мясорубке. Он подает в топку уголь.

Манометры. Рычаги. Тяги. Вентили... Рукоятка инжектора. Клапан.

Миновали станцию. За окнами темнота. Два человека молчат. Несутся рельсы. Тревожно грохочут дышла, колеса. Мелькают блокпосты, телеграфные столбы. Далеко впереди зеленый огонь светофора.

— Зелёный! — кричит Владимир.

— Зеленый! — отвечает Виктор.

И снова молчат.

На большом циферблате дрожит стрелка: 90 километров в час.

— Уголь смочить бы надо, — говорит Дубравин.

— Уголь — моя забота, — отвечает Владимир.

— Ну, вот что! — недоволен Виктор. — Давай сразу договоримся: за правым крылом — я. И не дам тебе командовать.

— А за топку отвечаю я. Не хватит пару, тогда и будешь командовать.

— Тогда поздно будет... Скоро разъезд Бантик, — примирительно говорит Виктор.

— Да-а, Бантик, — задумчиво отвечает Владимир. Он смотрит в окно. Темно. Едва угадываются контуры деревьев. Видны лишь кудрявые верхушки, в темноте похожие на клубы дыма. Постепенно в его воображении они светлеют, и вот уже это не дым, а пар. И вспомнилось Чеботареву прошлое.

...Пар клубится, вырываясь из паровозного гудка: корот-

кий, длинный, два коротких. Под лучами солнца ожил лес. Владимир несется на паровозе и дает эти сигналы.

На семафоре — красное очко, и поезд останавливается. Соскочив с паровоза, мчится к дежурному, стоящему на платформе.

— Долго простои́м?

— Минут тридцать. Пропустим литерный и два порожняка.

Он радостно бежит дальше, туда, к семафору на насыпи, где появилась фигурка Вали. Взявшись за руки, они идут к лесу. И вот уже сидят под сосной, на крошечной полянке, окруженной высоким, густым кустарником. Володя пытается отнять у Вали травинку, точно такую, какими усеяно все вокруг. Но ему, должно быть, необходим именно этот, Валин стебелек. Она вырвала свою руку, отвела далеко назад.

Его пальцы, скользя по ее руке, тянутся за стебельком, они уже у самой ее кисти, но вдруг застыли. Разжалась Валяина ладонь, упал в траву никому больше не нужный стебелек...

...Сидит Чеботарев за левым крылом, думает. Виктор совывается в окно, смотрит вперед, дает длинный гудок.

Владимир слышит этот долгий гудок. Но в его ушах — другой сигнал. Перед его воображением все та же крохотная поляночка. Спиной к нему сидит на пеньке Валя, низко опустив голову. Он растерянно переминается с ноги на ногу, не зная, что сказать.

Гремит гудок.

— Это меня зовут, Валечка, — робко говорит Владимир.

Молча, не поворачиваясь, сидит Валя. Вздрогнули плечи.

— Ну, что ты, Валечка? Ты ведь сама...

Будто током ударило, вскочила Валя. Застыла, как окаменевшая, подняв голову, всем корпусом подавшись вперед лицом к нему. Великолепно и страшно это гордое, поднятое вверх лицо.

— Что сама?! — выдохнула она наконец.

— Ну... сюда пришла...

Как удар хлыста раздалась пощечина.

— Вот дура! — вырвалось у него. В сердцах он говорит еще что-то, но все заглушили гудки, зовущие его. И, не оборачиваясь, он побежал к станции.

— Пар садится.

Эти слова Дубравица отрывают его от воспоминаний.

— Пар — моя забота, мы уже договорились с тобой.

— Ну, твоя, так твоя. Я просто, чтобы ты не прозевал.

— Я прозеваю, ты не упустишь.

— Ты это про что?

Чеботарев медленно открывает левый инжектор, тщательно вытирает ветошью руки:

— Про пар.

И снова оба смотрят в темноту.

— Зеленый!

— Зеленый!

Бьется огненная полоска между топочными дверцами, сверкает медью и краской тормозной кран. Рычаги. Вентили. Рукоятка. Маховик. Клапан.

Грохочут дышла и колеса, «играют» затянутые в чехлы переходы между вагонами. Открылась дверь вагона № 7, проводник, уцепившись одной рукой за поручень, выглянул в темноту.

В коридоре вагона пусто и тихо. Не угомонились только преферансисты. Табачный дым окутывал четырех игроков и двух болельщиков, но никто не обращал на это внимания. Один из игравших, похожий на плакатного лесоруба, без конца повторял: «Жми, дави, деревня близко». Что это означало, трудно было понять. То ли он поторапливал партнеров, то ли призывал бить карту, но каждый раз громко и добродушно смеялся своей остротой. Играл он плохо, часто рисковал и проигрывал, но, казалось, приходил в еще лучшее настроение. «Вот это влип, — восторгался он от собственной неудачи. — Ну, жми, дави, деревня близко».

Рядом с ним чернявый юноша, суетясь и нервничая, поучал остальных, щеголяя преферансной терминологией, попетушину напускаясь на каждого, кто, по его мнению, допускал ошибку.

Как только на чемодане, заменявшем стол, появлялся туз, третий партнер, капитан танковых войск, неизменно отмечал: «Туз и в Африке — туз». Он же монотонно подсчитывал: «Три козыря вышло», «Пять козырей вышло»... И только четвертый игрок, сухонький старичок, действовал молча и сосредоточенно, но партнеры то и дело покрикивали на него:

— Кто же с туза под играющего ходит.

Или:

— Нет хода, не вистуй!

Старичок застенчиво оправдывался или молча сносил упреки.

Болезьщики, получившие последнее предупреждение чернявого юноши («Еще слово, и я выставлю вас из купе»), точно немые, издавая нечленораздельные звуки, тыкали пальцами в карты игроков, не в силах сдержаться, чтобы не дать совета.

Два купе занимали спортсмены-легкоатлеты. Они ехали не то на соревнования, не то на совещание в Москву. Из-за дверей купе слышался смех и громкий говор, но, когда они появлялись в коридоре, пассажиры в полной мере чувствовали, как велико их превосходство над всеми. Чувство собственного достоинства не покидало их. Они словно были одни в вагоне: никого не замечали, ни с кем не разговаривали, и вид у них был серьезный, деловой. На больших стоянках соскакивали на противоположную от перрона сторону и бегали взад-вперед от паровоза до хвостового вагона, и лица у них становились еще более ответственными.

По соседству со спортсменами ехала молодая женщина с четырехлетней Олечкой и два небритых студента-заочника. Должно быть, им предстоял экзамен: обложившись на своих верхних полках учебниками, они озабоченно листали их, делали выписки, время от времени консультируясь друг с другом.

Полной хозяйкой вагона чувствовала себя Олечка. Ее огромные голубые банты мелькали то возле проводников, то в противоположном конце вагона. Она принимала деятельное участие в уборке, держась за рукав пылесоса, забегала во все купе, серьезно объясняя, с кем и куда едет, задавала бесчисленные вопросы, восторгалась беленькими домиками, пронесившимися мимо окон... Всюду ее принимали радостно и ласково, спортсмены — снисходительно, и только преферансистам было не до нее. Олечку обильно угощали. Вызывая улыбки, она запихивала в свои крошечные кармашки конфеты, солидно комментируя: «Это на после». А потом Олечка рассмешила всех, поплатившись за это свободой. Пожилая женщина, которая была недовольна своим местом, постельным бельем, сквозняками, плохим обслуживанием — одним словом, всем, — позвала проводника, заявив, что у нее капризничает радио.

— А вы наплевайте его, — посоветовала Олечка. — Когда я капризничая, мама дает мне шлепков. Больно-больно!

Покрасневшая от смущения молодая мамаша молча потащила девочку в купе...

Пассажиры разошлись по своим местам. Только один человек стоит в коридоре у окна и смотрит в темноту.

Это Андрей Незыба. Он работает в Москве и едет из командировки. Скоро столь дорогие для него места, и спать он не может: экспресс приближается к разъезду Бантик.

Владимир Чеботарев поглядывает на манометр, то прибавляя, то уменьшая подачу угля в топку легким поворотом маленького вентиля. Время от времени поднимает ручку своего инжектора, и слышно, как вода пробивает себе путь в котел.

За правым крылом — Дубравин. Он держит одну руку на тормозном кране, вторую — на карнизе раскрытого окна и смотрит в темноту. Правый инжектор, тот, что ставил слесарь Тюкин, пока бездействует. Это могучий аппарат. За две с половиной минуты он нагнетает в котел тысячу литров воды.

Мелькают деревья, домики, зеленые огоньки. Скорость девяносто шесть километров в час. Едут молча. Разговаривать нет времени, да и не услышать ничего за грохотом паровоза.

Одна за другой проносятся станции. Поезд скорый, остановок мало.

До станции Матово оставалось пятнадцать километров. Начинаясь уклон. Машинист рванул на себя рукоятку регулятора, перекрыв выход пара в цилиндры. А бешеное парообразование продолжалось. Гудел котел от напряжения. Надо немедленно дать выход пару или качать воду. И помощник открыл мощный правый инжектор.

Ненадежно поставленный клапан вышибло с силой снаряда. Он пролетел мимо уха машиниста, ударил в железную стену и рикошетом пронесся в тендер.

Кипящая вода, перегретая до двухсот градусов, увлекаемая паром, как огнемёт, била в железную стену. Острой пылью брызнуло стекло четырех электрических лампочек. Свет погас. Густой, непроницаемый пар метался по будке. Как в смерче, носились и с грохотом сталкивались бидоны, масленки. Цепляясь за приборы и вентиляцию, пар свистел и выл.

Дубравин не мог сообразить, куда ему деться. Спинка его сиденья упиралась в стену, о которую билась струя, и, разбрызгиваясь, окатывала его кипятком. Впереди — нагромождение приборов и тоже стена. Слева, совсем рядом, как шлагбаум, — струя. Справа окно. Машинист оказался зажатым на площадке в полквадратных метра, отрезанный от тормозного крапа, хотя до него рукой подать.

В момент удара Дубравину обожгло лицо, грудь и руки.

О грозящей катастрофе в поезде не знали.

— Может быть, завтра доиграем? — робко спрашивает партнеров старичок преферансист. — Поздно уже.

— Э-э, нет, — возражает капитан, — завтра жена и одного круга не даст мне сделать.

— До завтра еще дожить надо, — замечает бомельщик.

— Жми, дави, деревня близко.

В коридоре появилась девушка в форме связистки.

— Кто забыл дать телеграмму? — говорит она.

— Вот хорошо, — выглянула из купе Олечкина мама. — Возьмите, пожалуйста.

Связистка подсчитывает слова:

«Приезжаем завтра экспрессом. Вагон 7. Лида».

В соседнем вагоне возле входа в умывальник четверо ребят в трусиках, во главе с Сенькой, который встретил Чеботарева по пути в школу.

— Мишка не побоялся бы, а тебе слабо, — шепчет один из мальчишек.

— Мне слабо?! — тоже шепотом возмущается Сенька, бросая взгляд на стоп-кран.

— А вот и слабо!

— Мне слабо?! — делает он шаг в сторону крана...

В служебном отделении этого же вагона сидя дремлет проводник. Дверь ходит взад-вперед, и щелка то больше, то меньше. Старик «клюет». Голова падает на грудь и снова поднимается.

— И не пузырься, все равно слабо! — подстрекают Сеньку.

— Ах, так, — уже едва не кричит он, хватая стоящую рядом лесенку. Встав на две ступеньки, решительно взялся за рукоятку. Видно, что сейчас рванет. — Ну! — торжественно говорит он. — Скажи еще раз «слабо».

Поезд дернулся, со стуком распахнулась дверь проводника.

— Вы что делаете! — бросился к ребятам.

В диспетчерской из репродуктора раздался голос:

— Экспресс номер один проследовал раньше времени на четыре минуты. На стрелках прошел с превышением скорости.

— Что они, с ума сошли! — возмущается девушка-диспетчер, нажимая на кнопку селектора. — Шумилов! — кричит она. — Машинист Шумилов.

— Я — Шумилов! — отвечает машинист с тяжело идущего паровоза.

— Давай веселей, дорогой, чтоб не задержать встречный экспресс, он ведь с ходу идет.

— Успею, — отвечает машинист, взглянув на часы.

Это тянется на подъеме длинный состав цистерн, на которых написано: «Огнеопасно», «Пропан». С противоположной стороны к этому же разъезду несется экспресс.

У Дубравина не хватило выдержки дышать паром, и он инстинктивно прижался к окну, высунув из него голову. Он понимал, что такое положение надо потерпеть песколько секунд.

Чеботарев, находящийся по другую сторону струи и далеко от нее, успеет остановить поезд.

Перед помощником — дверь на боковую площадку, идущую вдоль котла. На переднем брус паровоза, между фонарями, — концевой кран. Точно такой, как в вагонах. Только в вагонах надпись: «Для экстренной остановки поезда ручку крана повернуть к себе», а на паровозе нет надписи. И повернуть надо не к себе, а от себя. Но даже ученики младших классов железнодорожной школы знают: этим краном можно остановить поезд.

От будки до крана — двадцать шагов. Когда скорость почти сто километров, по узкой, неогражденной площадке быстро не пробежишь. Не держась, по ней и шагу не сделаешь: паровоз сбросит. Дубравин сознавал это и терпел. Он знал, что Владимир пробирается, держась за различные тяги, как за перила, а это замедляет движение. К счастью, это не помощник, а опытный машинист Чеботарев, который сообразит дернуть по пути рукоятку крана Эверластинга. Правда, уйдет лишняя секунда, но зато откроется широкий выход пару и воде наружу. Струя в будке сразу ослабнет.

Дубравин, окутанный паром, в жгущей одежде, сильнее прижимался к окну. Поезд мчался с уклона, увеличивая скорость, кран Эверластинга оставался закрытым. Дубравин понял, что Чеботарев убит. Убит паром в будке или сорвался с площадки.

Набрав побольше воздуха, втянув голову в плечи, Дубравин окунулся в пар и начал левой рукой на ощупь пробираться к тормозному крану снизу. Струя коснулась мышц ниже локтя, и кожу сорвало, будто наждачным точилом. Чтобы дотянуться до крана, надо еще немного поднять руку.

Тогда она окажется поперек струи. Боль можно бы вынести, но прежде чем он повернет кран, пар съест руку.

Он рванулся к окну, потому что будка сильно нагрелась и дышать было нечем. Надо бы высунуться из окна побольше и ждать, пока выдохнется этот проклятый котел. Но Дубравин не рискнул так поступить. Дело в том, что приближалась станция Матово. Дальше был однопутный участок и очень крутой уклон. Встречные грузовые поезда не всегда укладывались в график, и пассажирскому приходилось ожидать их в Матово по нескольку минут. Не исключено, что и на этот раз где-то тянется встречный.

Дубравин решил сам добираться до концевого крана, куда не дошел Чеботарев. Это всего пятнадцать метров. Ухватившись за подоконник, он подался всем корпусом в окно и одну за другой перекинул ноги. Снаружи под окном укреплена откидывающаяся вверх ажурная рамка для улавливания жезла. Она похожа на металлическую окантовку полочки. От нее идут два стержня взад и вперед. Удерживаясь на руках, Виктор повернулся лицом внутрь будки и коленями встал на рамку. Он нервничал и сгоряча уперся не в самую рамку, а в стержень, который тут же согнулся. Колени скользнули вниз. Инстинктивно противясь этому движению, Дубравин дернулся вверх, и складная рамка захлопнулась. Постепенно локти разогнулись. Он остался висеть, держась за широкий мягкий подоконник.

В таком положении и увидел Дубравина путевой обходчик. Он увидел бешено мчащийся поезд, густые клубы пара, валившие из окна, и человека, висящего на подоконнике. Потрясенный, бросился влед за поездом и, когда скрылся последний вагон, продолжал бежать, не отдавая отчета в своих действиях. А может быть, думал старый путевой обходчик, что вот-вот сорвется это тело и упадет человек не на ноги, а на бок, потому что ноги сильно относило ветром назад.

До станции Матово оставалось километров пять. Андрей Незыба очень давно там не был. В самом начале войны из железнодорожников их узла сформировали специальный отряд и послали на фронт. В отряд попала и Валя. Пока они ехали к месту назначения, она часто думала о том, как странно складывалась ее судьба. Андрея назначили старшим отряда, он был энергичен, настойчив, решителен. Это никак не укладывалось в ее представлении об Андрее. Она знала его как человека чистого, благородного. Не могли, конечно,

укрыться от нее и его чувства. Внутренне она тянулась к нему, но разум протестовал. Юноша должен быть решительным, смелым, порывистым. Андрей казался слишком инертным, безжизненным. Другое дело — Чеботарев. Разве Андрей решился бы так с ней познакомиться! И уже совсем добились ее гудки Андрея. Как легко он уступал свою любовь. И не только уступал, но все делал для того, чтобы помочь Владимиру. Разве это герой.

Перелом произошел на фронте после первого же боя, которого она не видела, но о его подвиге, мужестве, смелости говорил весь отряд. А во втором бою их отряд был разгромлен. Ей удалось пробраться в какую-то деревушку, стоящую в стороне от основных дорог войны. Это не помешало ей действовать активно. Две недели задерживала она поезда, создав огромную пробку и дезорганизовав движение немецких эшелонов по главному ходу, пока ее диверсии, удивительно простые и остроумные, не были разоблачены.

Перед самым гребнем крутого подъема, где поезда едва-едва тащились, Валя натирала рельсы салом. И будто в стену упирались самые мощные паровозы, бешено вращались на месте колеса, лишённые силы сцепления. Поезда останавливались, их вытаскивали по частям, на долгие часы задерживали движение. Прозрачный и тонкий слой сала, вполне достаточный для того, чтобы остановить любой поезд, был абсолютно незаметен, и никому в голову не могло прийти ощупывать рельсы, пока кто-то на них не поскользнулся.

Чтобы не выдать себя, партизаны, действовавшие в этом районе, до поры до времени не могли совершать диверсий, но с целью разведки тщательно следили за движением поездов. Партизаны и заметили девушку.

Когда немецкие патрули устроили засаду, чтобы поймать диверсанта, партизаны предупредили ее далеко от опасного места и увели в отряд. Здесь она и встретилась с Андреем.

На исходе третьего месяца пребывания в отряде Валя и Андрей решили больше не расстанаться.

Валя раздобыла где-то скрипку и каждую свободную минуту заставляла его играть. Это были радостные минуты. Это было их маленькое, дорогое счастье...

Партизаны с особым нетерпением ждали возвращения Андрея, посланного на разведку. Предстояла крупная операция, первый бой, где должны были участвовать все силы отряда. Андрея послали на разведку минных полей, ограждавших железнодорожное полотно.

Утром командир приказал его группе сделать три широких прохода в разведанных полях.

— Наша операция проводится во взаимодействии с регулярной армией, — предупредил командир. — Если враг откроет предполагаемое место удара, и мы, и армия понесем большой урон.

...В белых маскировочных халатах группа тронулась в путь. Они должны были выполнить задание за три часа. К назначенному сроку партизаны стали возвращаться. Задерживался только Андрей. Уже начало темнеть, а его все не было.

Вернулся он ночью с пораненной рукой.

Андрей был опытным минером. Он научился обезвреживать любые мины, даже «неизвлекаемые». Неизвлекаемых для него не существовало. Бывает, от уже обезвреженной мины тянется тоненькая незаметная проволочка. Такая проволочка всегда загадка. Может быть, она идет к другому взрывателю, значит, ее надо перекусить. А возможно, держит пружинку взрывателя. Перекусишь, тоже взрыв. Бывает, мину нельзя поднимать или трогать с места — у нее донный взрыватель. Надо определить, как он поставлен. Он может быть нажимным или натяжным. И в первом случае можно поднять мину, хорошо все рассмотреть и обезвредить ее. А во втором — ее не только поднимать, даже сдвинуть с места нельзя.

Все вражьи хитрости хорошо изучил Андрей. А вот на этот раз оплошал. Казалось, он готов был кричать. Не от боли — от обиды. Казалось, даже новичок не попался бы на такую простенькую ловушку. Андрей долго возился с противотанковой миной, у которой обнаружил несколько взрывателей, несколько хорошо замаскированных проволочек. А внешне казалось — самая простая мина. Потянул стержнек, воткнул в отверстие чеку, вот и все. Это уже не мина, а коробка с толом. Она не опасна.

Минное поле в основном состоит из таких простых мин. Но все же кое-где стоят «сюрпризы», на один из которых и паткнулся Андрей. Не только извлекать, но и ставить их не просто. Нужен большой опыт и время. И ставят их для того, чтобы противник не мог легко и быстро делать проходы в минном поле. Чтобы с каждой миной долго возился в поисках «сюрпризов».

Все внимание Андрея и было сосредоточено на этой сложнейшей мипе. А такой, можно сказать, пустяк, как хлопушка, он не заметил. Это картонная коробочка, предназначенная

для задержки пехоты. Наступишь на коробочку — и она ударом воздуха повредит ногу, поуродует пальцы или пятку. Вот этой коробочки, лежавшей под снегом близ противотанковой мины, он не заметил... Оперся на нее ладонью.

— Теперь я больше не минер и не скрипач, — сказал Андрей, когда они остались вдвоем с Валею.

— Ты человек, — ответила Валя. — Очень дорогой для меня человек.

Она не могла больше ничего придумать для его утешения. Она только напрягала силы, чтобы при нем не плакать. По ее настоянию в тот же день появился приказ командира, в котором говорилось, что Андрея и Валию «полагать вступившими в законный брак» и что выписка из приказа «подлежит замене в загсе на официальную регистрацию при первой возможности». Неделию Валя не отходила от Андрея. В эти дни он понял, как дорог ей.

Отряд готовился к боевой операции. Готовилась и Валя. Уходя, она поклялась отомстить за Андрея.

Партизанам удалось разбить гарнизоны трех станций. Но одна группа бойцов, увлекшись успехом, ушла слишком далеко и напоролась на главные силы противника. В этой группе, где были самые отчаянные головы, находилась и Валя. Никто из них не вернулся.

Этот удар Андрей едва перенес. Он приписывал себе вину за гибель Вали. Казалось, он потерял интерес не только к жизни, но и к борьбе. Это происходило в период непрерывных налетов вражеских карательных войск на отряд. Его пришлось разделить на несколько групп. Командование одной из них и поручили Андрею, у которого еще не зажила рука. Вот тогда он немного пришел в себя.

Еще год Незыба находился в отряде, пока его не отозвали в тыл как специалиста-железнодорожника. При первой же возможности Андрей поехал к Валиным родителям. Встретил он и Чеботарева. Но они могли рассказать ему только то, что он знал и сам.

Спустя пять лет после окончания войны Андрей женился на Валиной подруге. Жили они дружно, хотя любви у него к ней не было. С годами, казалось, он совсем забыл о Вале. А вот теперь, в нескольких километрах от Матово, нахлынули воспоминания о первой любви.

Он решил хотя бы с тамбура хвостового вагона, откуда хорошо все видно, посмотреть на станцию.

...Поезд неся с уклона, увеличивая скорость. В будке машиниста никого не осталось. Паровозом никто не управлял.

Только упрямо вращался стокерный винт. По форме точно такой, как в мясорубке, только раз в двадцать больше. Он подавал в топку все новые и новые порции угля, и шесть тоненьких сильных струек пара исправно разбрызгивали топливо равномерно по всей колоспиковой решетке. Парообразование шло бурно.

Дубравин понял, что на подоконнике долго не провисеть. На левой руке не было рукава. Он куда-то делся. Было похоже, что на нее натянута длинная порванная резиновая перчатка, потому что кусочки кожи болтались на ветру. Но боли совсем не чувствовал. Одежда мгновенно остыла и уже не дымилась.

Он висел, держась за мягкий подоконник, стараясь сообразить, как поступить дальше. Под ним песчаная насыпь. Насмерть не разобьешься... Но ему пришла в голову мысль, что он не имеет права разжать руки. В поезде ехало восемьсот человек.

Рядом с паровозом в багажном вагоне люди не спали.

Они подтаскивали к двери вещи, которые надо было сдать на первой остановке. В соседнем — тоже не спали. Это почтовый вагон. И тут готовились к остановке, где предстояло обменяться почтой. Дальше вагон, в котором первое купе занимал главный кондуктор. Здесь несколько случайных пассажиров-железнодорожников на один-два перегона. Они режутся в домино. Рядом в запертом купе бодрствует вооруженный человек. У него перед глазами запечатанный сургучом мешок. Это почта государственного значения.

В тамбуре одного из вагонов парень и девушка. Он целует ее, она, отстраняясь, говорит:

— Не надо, Юра. Ну, прошу тебя, кто-нибудь зайдет.

— Да спят уже все! — и он снова тянется к ней.

— Ну, завтра, Юра, понимаешь? — Что-то вспомнив, роется в сумочке и, широко улыбаясь, показывает ключ. — Завтра, Юрочка! — и она сама обнимает его.

— Здесь нельзя находиться, граждане! — строго говорит появившаяся проводница. Оба поспешно идут в вагон.

— Доигрался, — чуть не плача шепчет девушка.

...Купе спортсменов.

— С такой самоуверенностью проваливаются, а не берут мировые рекорды, — недовольно говорит тренер атлету. — Конечно, ты сильнее американца, но завтра они выпускают Горбу, это не шутка.

— Но я же все время тренируюсь, — оправдывается ат-

лет... — А вот едем впритык. Это ни к черту не годится. Еще в поезд опоздает.

— Типун тебе на язык. Опоздает, значит, американцам васчитают победу без борьбы.

...Вагон-ресторан. Почти со всех столов сняты скатерти. Заперт буфет. За угловым столиком, развалившись, сидит пассажир. Вокруг него почти весь штат ресторана.

...Олечкина мама говорит соседке по купе, девушке в очках:

— Вы правы, но не хватает у меня духу укладывать ее. Видите, — показывает на фотографию: на плоской, без матраца, койке лежит на спине Олечка. Ноги в гипсе. В подбородок упирается какая-то конструкция, не дающая ей наклонить голову. — Все говорили, что ходить никогда уже не будет. Чудо спасло. И, представляете, сделал это совсем молодой врач. — Она улыбается и добавляет: — Завтра на вокзале отец впервые увидит ее на собственных ногах.

Андрей шел к хвостовому вагону. Перед тамбуром вагона-ресторана до него донесся недовольный голос проводника:

— Немедленно закройте двери! Вот еще новости!

— Понимаете, мне очень надо посмотреть, прошу вас... Только станцию Матово.

Андрей замер в проходе между вагонами, уцепившись за перильца.

— Валя!

Она вскинула голову, вскрикнула, бросилась к нему и вдруг остановилась, точно перед пропастью. Взволнованно сказала:

— Какая странная встреча.

И вот они стоят в коридоре затихшего вагона.

Валя плачет. «Плен... годы скитаний по чужим странам». Больше ничего она не говорит. Андрей не спрашивает. Вместе с документами военного времени у него хранится выписка из приказа командира партизанского отряда, «подлежащая замене в загсе при первой возможности». Так она и не представилась, эта возможность.

Должно быть, Валя думала о том же. Она сказала:

— Все годы перед глазами стоял наш разъезд. Я любила его, как человека. Как свою юность.

— Хочешь посмотреть на Матово из тамбура?

— Пойдем, Андрей.

Поезд шел, все увеличивая скорость.

...Мелко и медленно перебирая руками, Дубравин передвигался вперед, ища ногами хоть какую-нибудь опору, потому что руки уже отрывались. И он нащупал ее. Это было ребро зольника. Сразу стало легко.

Уже не раздумывая больше, Виктор открыл рамку жезлоуловителя и, держась за нее, подвинулся до самого края зольника. Правее и ниже находился короткий отросток пожарной трубы. Он поставил на отросток одну ногу, а на нее вторую, потому что места для обеих ног не хватило. Уцепившись за какую-то тягу, опустился еще ниже на лафет бегунковых колес. Теперь над ним была узкая длинная площадка, такая, как с левой стороны котла, по которой можно дойти до концевого крана. Он поздно понял свою ошибку. С пожарного отростка надо было сразу карабкаться на площадку, а не спускаться вниз. Назад теперь не пробраться.

Он держался за край площадки, упираясь ногами в лафет, сильно изогнув спину. На стыках рельсов лафет подбрасывало, и эта ненадежная опора прыгала под ногами. Мокрые волосы высохли и уже не липли к глазам. Совсем рядом с грохотом бились многотонные дышла, бешено вертелись огромные колеса. Один оборот — шесть метров. Двести пятьдесят оборотов делали колеса в минуту. Они сливались в сплошные диски, перекрещенные бьющимися дышлами. Дальше идти некуда. Он смотрел на вертящиеся колеса и дышла и не мог оторвать от них взгляда. Они притягивали. Он не хотел, ему невыносимо было смотреть в этот страшный водоворот металла, но смотрел, и тело, уже не подчиняясь разуму, клонилось туда. Масляные брызги ударили в лицо. Это сбросило с него оцепенение. Ноги оторвались от лафета, в каком-то неестественном прыжке дернулось, подпрыгнуло и замерло тело. Теперь согнутая в колене нога лежала на площадке, словно вцепившись в нее, а руки обняли эту заветную полосу железа с обеих сторон: сверху и снизу. Голова, вторая нога и весь корпус повисли в воздухе. Колеса оказались совсем близко, и волосы едва не касались их.

Теперь весь смысл его жизни заключался в том, чтобы втянуть на паровозную площадку свое тело. И когда он сделал это и лицо приятно охлаждалось, мысли его отвлеклись, но он все же подумал, что забыл сделать что-то важное, без чего ему нельзя жить. Он никак не мог уловить, что же еще надо сделать. Надо решить какой-то главный вопрос. Вот вертится все время в голове, но никак за него не ухватишься.

Значит, Чеботарев так и не подтянул подшипник, хотя говорил ему об этом дважды. Как же, сам машинист, не терпит указаний. А теперь, когда переместились на площадку колеса, слышно, как стучит. Может выплавиться.

И опять он подумал, что отвлекся, хотя очень важно сохранить подшипник. Но это можно сделать потом. Сейчас надо заняться неотложным делом. Надо срочно купить дочери программу для поступающих в техникум. Обещал девочке — значит, надо сделать. Уже второй раз забывает. Но это же не главное. Главное было в том, чтобы тронуть с места смерзшийся состав после остановки. Так он и пошл...

Дубравин рассмеялся каким-то пугающим мыслям. И от этого смеха вдруг все вспомнил. Рывком поднялся и тут же опустился на колени. Ему было страшно. Он боялся упасть с площадки. Быстро полез, хватаясь за горячие трубы, рычаги, тяги.

Левая рука почернела. К оголенным мышцам легко приставали угольная пыль и кусочки промасленной ветоши. Лишь в тех местах, где только сейчас сползла кожа, задеваемая выступами на площадке, оставались красные со слизью пятна. Но и они быстро чернели. Лицо было тоже черное.

Пока Дубравин карабкался к концевому крану, поднялись, всполошились люди. Девушка-диспетчер, совершенно растерянная, кричала в телефонную трубку начальнику какой-то станции:

— Как-нибудь, умоляю вас, ну, как-нибудь остановите! Они проскочили красный...

В эту минуту из репродуктора раздался голос:

— Диспетчер!

Она бросилась к селектору:

— Я — диспетчер! Я — диспетчер!

— Я — Узкое. — Голос тягучий, противный, будто человек зевает. — Уже вся станция завалена шлаком. Ну, когда же вы...

— Какой шлак? — трет она лоб. — Какой шлак, я не понимаю!

— От паровозов, говорю. Когда мусорную платформу пришлете?

— С ума сошли!

...Помещение дежурного по станции Узкое. Тускло горит свет. В углу на табуретке дремлет кондуктор в большом плаще. За столом дежурный.

— Вот от бюрократы! — тянет он. — Молоко на губах не обсохло, а уже начальство. Уже и разговаривать не хочет. Ну и ну!

...Прихожая частной квартиры. У телефона немолодая женщина в почной рубашке. Говорит зло:

— Как где? Откуда я знаю? На линии, на линии, там, где всегда...

Хлопнув трубкой, идет в комнату. Укладывается в постель рядом с мужем.

— Звонили или показалось? — спрашивает он сонным голосом.

— Ни стыда, ни совести! — злится она. — Ночь-полночь звонят начальнику отделения по всякой чепухе.

Он вскакивает:

— В такое время по чепухе не звонят.

Быстро идет к телефону, поднимает трубку:

— Дежурного по отделению!

...Несколько железнодорожников в служебном кабинете.

— Машинист Шумилов! — нажимает кнопку селектора один из них.

— Я — Шумилов.

— Я — дежурный по отделению. Немедленно останавливайте и осаживайте поезд назад, на вас идет экспресс. Оставьте поездную прислугу и кочегара, пусть кладут на пути петарды. Давайте сигналы общей тревоги непрерывно. — Маково! Маково! — снова нажимает он кнопку.

— Я — Маково.

— Вагонами вперед к вам осаживает взрывоопасный. Принимайте его на второй путь. Идущий вслед экспресс пускайте по главному. Примите все меры, чтобы остановить его.

...Владимир Чеботарев лежит возле своего сиденья. Бьет на ветру дверь на боковую площадку. Там, впереди — стоп-кран. Ему легко туда пробраться. И он пополз. Пополз быстрее, но нет, не на площадку, к выходу. Это всего три шага. Уцепившись за поручни, спускается на самую нижнюю ступеньку. Присел, оторвался одной ногой и рукой, сейчас прыгнет.

Бешено несется на него каменистое полотно, пикетные столбы. В беспорядке разбросаны шпалы, подвезенные для ремонта. Нет, прыгать страшно. Разогнул колена, встал на подножку обеими ногами, держится за поручни.

В багажном вагоне подтаскивают к двери домашние вещи.

— Еще вот это сюда, — показывает старичок девушке на

детскую коляску с биркой. — Красивая штука! Агу-сеньки, — наклоняется он над коляской, будто там ребенок.

...Соседний вагон спит. Из купе высунулась заспанная встревоженная физиономия:

— Сортировку не проехали?

— Я ведь вам сказала, разбужу. Спите спокойно, — отвечает проводница, подметающая коридор.

...Начальник отделения в белье у телефона.

— Задержите все четные поезда. Те, что на перегонах, гоните быстрее на станции и разъезды. Освобождайте весь главный ход.

Нажимает пальцем телефонный рычаг и тут же спускает его.

— Дежурного по управлению дороги!.. Разъедините!.. Разъедините, я вам приказываю!.. Работайте только со мной!

...Кабинет дежурного по управлению дорогой. Телефоны. Селектор. Зеленое сукно. Человек с большими звездами в петлицах говорит в трубку:

— Санитарный давайте вслед экспрессу. Поднимите весь отдыхающий медперсонал и посылайте туда же на автомотрисе. Восстановительный поезд гоните через Каплино...

...Экспресс. Службное отделение вагона. Несколько железнодорожников, среди которых связистка.

— Хорошо идет, сукин сын, — замечает один из них, выглянув в окно.

— На то и экспресс, — говорит второй.

— А невыгодно им на пассажирских, — рассуждает сосед. — На грузовых сейчас такое творится... Взял сотню, другую тонн лишних или скорость побольше держи, вот и перевыполнение плана. А у нас что? За превышение скорости — взыскание. Лишних вагонов тоже не нацепляешь, — смеется он. — И как им план перевыполнять?

Весь экспресс спит. Окна закрыты, занавески задернуты. Олечка дремлет. Мать, лежа с ней, похлопывает ее по спине, тихо напевает:

За окном свет и тень,

Окна полосаты...

Спи и знай:

Лучший день —

Это только завтра.

Будем завтра играть,

А сейчас надо спать:

Завтра — это завтра.

Олечка открывает глаза, говорит:

— Завтра папа встретит нас, я спрячусь, а ты скажи, что я умерла.

— Фу, глупая, — возмущается мать.

На посочках расходятся преферансисты.

— С червей надо было ходить, — горячо шепчет юноша, — он ведь без двух сидел...

— А я ему по трэфям, по трэфям, хе-хе-хе, — хихикает старичок.

Двое шепотом набрасываются на него:

— Уж вы бы молчали!

— Всю игру портит.

Старичок умолкает, но не обижается. Он и сам чувствует себя виноватым.

...Пути на перегоне. Темные силуэты людей. Они бегут, укладывая на рельсы петарды.

Рельсы резко уходят вправо. Далеко-далеко впереди видны огни нефтеналивного. Оттуда беспрерывно гудки тревоги: длинный — три коротких, длинный — три коротких...

Несется экспресс. Люди на путях отпрянули в стороны. Со страшным грохотом рвутся под колесами петарды. Несутся гудки.

...Майор милиции в служебном кабинете. Говорит по телефону:

— Нет, оставьте только постовых!.. Да... Наш вагон прицепят к автотрассе с медперсоналом... Зачем? Никакого оружия...

...Служебный кабинет. Черный кожаный диван. Стекло-ный шкаф. За столом человек в белом халате. Говорит в телефонную трубку:

— Первая и четвертая больницы предупреждены...

Рабочий кабинет в квартире. У телефона женщина лет сорока пяти. Из-за неплотно прикрытых дверей доносится веселый шум. За длинным столом поднимают бокалы.

— Нет, это не обком, это частная квартира, — спокойно говорит женщина. — Да, квартира секретаря обкома Жорова, но его нет... Не знаю, товарищ, давно должен был прийти. — Кладет трубку, садится. По щекам текут слезы.

Дожевывая пищу, из соседней комнаты со смехом вбегает человек лет пятидесяти:

— Это Петр звонил?

— Нет, грустно качает она головой.

— Вы что, Вера Васильевна? — увидел он слезы.

— Не могу я больше, Леонид Андреевич. У нас свадьбы

не было, шахта тогда в прорыве находилась. Мне так хотелось хоть серебряную справить. Хотелось в белом платье побыть. Собрали гостей, а бюро горкома в два часа ночи закончилось... Пришел домой, когда я уже посуду перемыла.... Ну, пусть... Но сегодня, на свадьбу единственной дочери... Мне стыдно смотреть в глаза Васе и его родителям. Они ведь не верят. Думают — гордыня, секретарь обкома...

Открывается дверь из прихожей, на пороге — Жоров.

— Ну, ты и подлец, Петя! — набрасывается на него Леонид Андреевич.

Вошедший сразу понял обстановку, быстро подошел к жене, у которой снова показались слезы.

— Не надо, Верочка, — говорит он, целуя ее. — Не надо, родная. Поверь, не мог... Еще ведь не очень поздно. Зато целые сутки никуда из дому не уйду и телефон выключу.

Женщина успокаивается.

— Переодевайся быстрее. — Она берет под руку Леонида Андреевича и возвращается к гостям.

Звонит телефон. Жоров неприязненно смотрит на аппарат. Потом на дверь, за которой скрылась жена.

Телефон звонит.

Посмотрел на часы, поднял трубку:

— Слушаю... Да...

...Застекленная вышка на большом аэродроме. За столами несколько офицеров в летной форме. Телефонный звонок.

— Дежурный по части майор Саблин слушает!

— Говорит секретарь обкома Жоров...

— Слушаю! — отвечает майор, плотнее прижимая трубку к уху. — Ясно... Поднимаю санитарные машины... Понял. Вертолет для вас посылаю на городскую площадку... Будет через семь минут...

Машинист Шумилов видит огни экспресса, несущегося на него, резко толкает регулятор. Но это уже от бессилия: регулятор давно открыт полностью, рукоятка не поддается.

Над полотном летят три вертолета с красными крестами. В кабине переднего — врач и медсестра в белых халатах. Они смотрят из окон вниз. Отчетливо видны два поезда, взрывоопасный, идущий вагонами вперед, и догоняющий его экспресс. Быстро сокращается между ними расстояние. На паровозе экспресса по площадке ползет человек. С противоположной стороны, уцепившись за поручни, стоит на ступеньках второй человек.

...Несется вспомогательный поезд из четырех специальных

вагонов. На открытой платформе небольшой кран, тяги, мотки проволоки, запасные части паровоза.

...Мчится санитарный поезд. Вагоны пустые. В операционном вагоне люди в белых халатах готовят инструмент.

...Здание больницы. Одна за другой выходят машины «скорой помощи».

Кружат вертолеты. Смотрят вниз люди. Очень быстро сокращается расстояние между поездами. Хвостовые вагоны взрывоопасного уже влетели на станцию. У входной стрелки два человека. На платформе люди с красными фонарями описывают огненные круги — сигнал безоговорочной остановки.

...Смотрят из вертолета.

Резко, едва не перевернувшись, цистерны свернули на боковой путь. Они несутся, извиваясь у стрелки.

Экспресс догоняет. Остались метры...

Рушится, оглушает сигнал тревоги.

Машинист взрывоопасного бросил рукоятку сигнала, уперся ногами, уцепился за раму.

Наклонившись, стрелочник держит рычаг стрелки. Между паровозами один метр. В это мгновение стрелочник рванул рычаг. Он успел перевести стрелку.

С вертолета видно: экспресс несется рядом с нефтеналивным.

...С боковой площадки паровоза на переднюю спускаются четыре почти отвесные узенькие ступеньки. Паровоз бросало из стороны в сторону, и они вырывались из слабых и липких рук Дубравина. Он свалился на переднюю площадку и подполз к самому краю. Лежа на груди, свесив руки, нащупал концевой кран.

Двести семьдесят шесть тормозных колодок впились в колеса паровоза и вагонов. Шипя и искрясь, поезд встал на выходных стрелках станции Матово.

Ночь кончалась.

Гулкие шаги на левой площадке отвлекли Дубравина от путающихся мыслей. Шаги затихли совсем рядом. Поднять голову было трудно, но он услышал знакомый голос:

— Ты здесь, Виктор?

Он не поверил. Он оторвал голову от железной плиты, тяжело уперся черными руками в холодный металл и посмотрел вверх.

Перед ним стоял Владимир Чеботарев.

Дубравин сказал:

— Да, я здесь.

Через несколько минут в спящих вагонах раздался тревожный голос радиста, вызывавшего к паровозу врача.

Голос был взволнованный, напряженный. Восемьсот человек проснулись, заговорили, полезли к окнам. Повеяло военным временем. Никто не знал, что делать.

Точно ветром подняло спортсменов. Они побежали к паровозу первыми.

— Может быть, йод пужен, — неуверенно спросила пожилая женщина, та, что была всем недовольна. — У меня есть йод... — И словно убедившись в правильности своей мысли, выкрикнула: — Что же вы стоите, мужчины. Скорее отнесите йод!

Будто выполняя приказ, капитан танковых войск унесся с пузырьком йода. И вдруг люди стали рыться в корзиночках, сумках, чемоданах. Не сговариваясь, несли бинт, вату, какие-то пилюли, порошки. Мать Олечки вынесла термос с горячей водой. Появился и термос с холодной водой. Пассажир, напоминающий плакатного лесоруба, не раздумывая, вывалил на полку содержимое чемодана, на котором играли в преферанс, и удивительно проворно уложил туда все собранное. Он побежал к выходу вместе с чернявым юношей.

Шумно хлынул к паровозу народ. Совершенно растерянные, торопились Андрей и Валя. Невесть откуда уже все знали, что в эту трудную минуту струсил и спрятался в безопасном месте помощник машиниста, который легко мог остановить поезд.

Чем ближе подходили, тем тише становился говор. В безмолвии остановились. С паровозной площадки раздался тихий голос:

— Товарищи! Тяжело ранен машинист. Он обожжен паром...

Человек огляделся вскруг и продолжал:

— Такое большое скопление людей на путях опасно. Оно может задержать движение встречных поездов и эвакуацию машиниста. Не исключены несчастные случаи. Ваш долг сейчас, товарищи, — вернуться в вагоны.

Молча попятилась, отступила, пошла назад толпа. Ни один человек не послушался. Возле паровоза осталась только сгорбленная фигура помощника.

— Смотри! — вскрикнула Валя, показывая на него.

Андрей обернулся. Чеботарев не видел их. Он стоял, понутив голову, вытирая ветошью руки.

На запасном пути остановился санитарный поезд. На маленькой вокзальной площади сел вертолет.

Из-за паровоза показались посылки с Дубравиным.

Позади них — старичок, тот, что играл в преферанс. Но теперь его не узнать. Сильное, волевое лицо, энергичные глаза. Какая-то сила во всей его фигуре.

Здание больницы. У крыльца — толпа. Она увеличивается.

Кабинет в больнице. За столом сидит старик преферансист в белом халате. Вокруг него, с величайшим благоговением на лицах, стоят врачи. Женщина приготовилась писать. Старик говорит:

— Так... Пишите...

Открылась дверь.

— Павел Алексеевич, — сказал вошедший врач, — тут люди пришли, предлагают свою кожу и кровь, чтобы спасти Дубравина. Что им сказать?

— Скажите... Я сам скажу... Пишите, — снова обращается он к женщине: — Лондон... Так?... Президиум Международного конгресса хирургов... Написали? Независимым обстоятельствам присутствовать конгрессе не могу. Написали? Не могу, — повторил он убежденно. — Точка. Свой доклад высылаю нарочным. Все. Моя подпись...

Скопление людей у больницы.

На крыльце появился Павел Алексеевич. Медленно и как-то растроганно говорит:

— Я — старый фронтовой хирург и ученый... — он умолк, не то подбирая слова, чтобы высказать свою мысль, не то не зная, что сказать дальше. — По всем законам медицины... — он медленно развел руки и беспомощно опустил их. — Но по всем законам физики и механики, — продолжал он, — по всем законам человеческой логики он не мог остановить поезд. Но он остановил...

Вот так же мы будем бороться за его жизнь.



ПРАВДА ЦЕЛИНЫ

ДИПЛОМАТЫ В СТЕПИ

Когда я плывал на теплоходе «Солнечногорск», в порту Касабланка познакомился с Михаилом Шайтаном. Это единственный наследник бывшего владельца крымских мыловаренных заводов «Кил». Наследство он потерял по той причине, что произошла революция. Но лично он не считает, будто оно потеряно окончательно.

Как было ясно из визитной карточки, теперь он владелец и президент фирмы по транспортировке апельсинов. Живет богато. Так он сказал.

Случай привел меня в главную контору его фирмы: маленькая, полутемная комната, дребезжащая машинка, такая же машинистка и вице-президент фирмы, являющийся по совместительству курьером.

Шайтан расстроился оттого, что я увидел весь его штат и всю его фирму. Он засуетился и, растерянно улыбаясь, произносил какие-то междометия. Его стало жалко.

Неожиданно он оживился и быстро проговорил:

— А целина-то ваша провалилась, — и захихикал, не в силах сдержать радости. Его «страшная месь» и меня рассмешила. Мне уже не было жалко смотреть на этого жалкого человека.

...В Гибралтаре один из владельцев солидной английской

фирмы по продаже судового оборудования пришел к нашему капитану и предложил свои товары. Капитан сказал, что, к сожалению, не нуждается в них. Представитель фирмы ушел не сразу. Несколько минут разговор шел ни о чем. Потом он стал интересоваться жизнью Советского Союза. Между прочим спросил:

— А что теперь будет с брошенными на целине поселками?

Я не понял его. Он пояснил:

— После того как эрозия съела почву и целина больше не дает хлеба, а люди разбежались, остались ведь там поселки. Или только землянки?

Примерно на такие же вопросы мне пришлось отвечать в порту Джорджтаун.

Если исключить Шайтана, то люди, задававшие этот вопрос, в общем-то хорошо относились к Советскому Союзу. Сколько же клеветы вылито на целину.

И вот чрезвычайные и полномочные послы ряда стран, аккредитованные в СССР, пожелали посмотреть на целину. Они решили собственными глазами увидеть, какая она на самом деле. Они просили показать им не опытно-образцовый участок красивой пшеницы, а много гектаров целинного хлеба.

Им сказали, что это можно. Им сказали, пусть купят билеты и едут. И они полетели в Целиноград. Здесь им подали специальный поезд, в котором было пять вагонов, и они отправились в самую глубь казахских степей. Я тоже купил билет на тот поезд. У меня были свои соображения. Мне хотелось посмотреть, какие у них будут лица, когда они увидят хлеба.

Рано утром поезд миновал станцию Ковыльная и, пройдя еще километров десять, остановился в степи. Раньше станции Ковыльной не было. Был ковыль. Теперь не было ковыля. Рельсы шли через пшеницу, как просека в лесу. Только с просеки не видно горизонта, а тут хотя он казался далеким, но различался ясно. Было хорошо видно, как пшеница сливается с небом.

Дипломаты проснулись и уже успели позавтракать. Они смотрели в окна то из своих купе, то из коридора. Но, оказалось, безразлично, откуда смотреть: все равно, кроме пшеницы и неба, ничего не увидишь.

Группа людей, встречавших поезд, подошла ближе к вагонам.

— Чрезвычайный и полномочный посол Канады мистер

Роберт Артур Дуглас Форд, — сказал переводчик, когда мистер сошел со ступеней.

— Иван Шарпов, — шагнул вперед один из встречавших и, улыбнувшись, подал послу руку.

— Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании господин Хэмфри Тревельян.

— Иван Шарпов.

— Чрезвычайный и полномочный посол Франции господин Филипп Бодэ.

— Иван Шарпов.

Выходили на целинную землю дипломатические представители США, Австралии, КНР, Аргентины, и приветливо здоровался с ними Иван Шарпов. Потом все уселись в автобусы и легковые машины и поехали смотреть хлеба.

Сначала все шло хорошо. Недоразумения начались после того, как проехали километров сто или больше. Пейзаж был везде одинаковый: пшеница и небо. Но смотреть на пшеницу не надоедало. Только в первый момент казалось, будто она везде одинаковая. В действительности она разная в каждое мгновение, как и морские волны.

Дул легкий ветерок, колосья шевелились, перекатываясь под солнцем золотым и багряным блеском. А то вдруг порыв ветра — и промчится по полю зеленая полоса и растает где-то вдали.

За каким-то поворотом солнце ударяет в глаза, невольно прищуриваешься, и кажется вдруг, будто несешься в пространстве Вселенной, и нет ничего в мире, кроме этой могучей пшеницы, нескончаемой, неистребимой, вечной, как жизнь.

Ветер подул сильнее, стал порывистее, и хлеба вступили с ним в бой. Он наносил удары, а колосья увертывались, как боксер, метнувший головой, и удары приходились в воздух. Снова налетал ветер, колосья метались, не давая себя свалить, и вскидывали гордые головы, издеваясь над ним и дразня его.

Молча смотрели в окна дипломаты. Потом кто-то спросил:

— Значит, раньше здесь не ступала нога человека?

— До революции здесь были кочевники, — ответил Иван Шарпов.

— А куда они делись?

— Вон позади нас автобус, — сказал Шарпов, — в нем вместе с дипломатами едет председатель исполкома Зикен Рамазанов. Он родился в этих степях в семье кочевников. Может быть, вы обратили внимание на двух девушек с груп-

пой школьников, встречавших вас у поезда. Это директора ближайших совхозных школ из Ковыльной Ахметова и Кадырова. Они учат русских детей русскому языку. Их деды кочевали здесь. Мы едем сейчас по территории совхоза «Московский». Главный ветеринарный врач совхоза Сердалин — тоже потомок кочевников. Я могу познакомить вас с агрономами, комбайнерами, учеными, рабочими высшей квалификации, чьи родители составляли когда-то кочевые племена. В общем, — закончил Иван Шарпов, — кочевники никуда не делись. Здесь живут.

— А вы давно сюда приехали?

— Давно, — улыбнулся Иван.

Должно быть, ему казалось неловким рассказывать иностранцам, как он сюда попал. А, по-моему, зря не рассказал.

* * *

Шла безземельная голытьба с насиженных мест. Шли с Украины, из Белоруссии, Центральной России. Шли люди, знали, что делали: там, в Сибири, земли вольные, нет урядников, нет поборов.

Шел и Иван Шарпов. Шел рядом с кобылой, а вприпрыжку за ним — Афанасий. Пятеро младших сидели в телеге. Держась за нее, шла Антонина, следя, чтобы никто не выпал. Двигались по столбовой дороге. Голод бил переселенцев. Падали тощие кони, падали мужики и бабы, косило детей.

Кочевал Иван по России, потом свернул с голодного сибирского большака, и затерялся его след в казахских степях. Но не погиб Иван. Дотащился до излучины двух рек, где уже обосновались русские переселенцы, и стал рыть землянку. Кобылы теперь не было, издохла кобыла.

Трудно было Ивану, а все-таки поднялся, встал на ноги. Всего шесть лет батрачил с семьей, но обзавелся постепенно и конем, и коровой, и собственным куском земли. Всю душу вложил в землю, и ответила ему благодарная, вскормленная им земля. За все ответила. За муки и голод, за пот, пролитый на каждый ее комок. Поднялись всходы густые и бархатные, ровные и сильные.

Потом солнце выжгло всходы. Выжгло дочиста, даже скоту нечего было подобрать на окаменевшей, с глубокими трещинами земле.

Тогда Иван Шарпов помер. Афанасий вырыл могилу, где стояли уже десятки крестов, и похоронил отца. Поднялись, заматались по степи переселенцы. Люди устремились на

французские, английские, американские концессии, сосавшие Казахстан. Двинулись к иностранным нефтяным разработкам товарищества «Нобель», «Урало-Каспийского», общества «Эмба и Каспий».

Афанасий Шарпов с земли не ушел. Под истошные крики семьи забил корову. Коня не тронул. Без коня — гибель. С утра до ночи собирали тощие стебли на корм коню. Прикидывал Афанасий, как перезимовать, и ловил слухи, доходившие из России.

Афанасий Шарпов бросил землю. В частях Красной Армии сражался против банды Дугова, против Колчака, а когда кончилась война, вернулся в село. Вернулся и продолжал воевать. Воевал с баями и кулаками. Ему и положено было так поступать, поскольку он был председателем сельсовета. Когда только избрали его на этот пост, когда принес секретарь первую бумагу на подпись, Афанасий уже вел себя солидно, как и подобает человеку на таком посту. Уселся в кресло, что притащили с какой-то усадьбы, и сказал:

— Ну, читай!

Выслушав, пощипал подбородок и отдал распоряжение:

— Подписывать эту бумагу не буду. На словах скажи, что сам председатель велел сдавать излишки без разговоров.

В ту же ночь Афанасий вызвал в свой кабинет только что прибывшего в село учителя и с его помощью за два часа научился расписываться. Тот же учитель через два года помог заполнить анкету для вступления в партию.

— А тут чего? — спросил Афанасий, показывая на графу «Образование».

— Пиши: «В объеме трех классов сельской школы». Вполне такие звания у тебя имеются.

На следующий день Афанасий Шарпов собрал двадцать шесть бедняков и середняков и предложил организовать колхоз «Новая звезда». Название придумал сам. Его же избрали председателем. Была к тому времени у него немалая семья и была опора — сын Иван, названный так в честь деда.

Много лет руководил колхозом Афанасий Шарпов. Заносили его не раз на Красную доску, посылали в Москву на сельскохозяйственную выставку, наградили орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Потом его исключили из партии и отдали под суд. По суду оправдали, потому что не нашли подходящей статьи под его преступление. Могли бы и из партии не исключать,

но подобрали такую формулировку, что не исключить было нельзя. «За нарушение Устава сельхозартели». Исключали не сразу, не с кондачка, а по-умному. Сначала выговор дали, дней через десять — строгий выговор, потом — с предупреждением и только через неделю после этого исключили.

Первый выговор он получил за срыв посевной. Своевременно были ему спущены все инструкции со сроками по пятидневкам, а он свое: «Не могу, говорит, по грязи сеять, собственными руками зерно гноить». А в результате из-за одного колхоза райком не мог дать сведений о завершении сева по всему району. Правда, когда чуть подсохло, он все же провел сев и урожай получил хороший, но это уже было после выговора. Без разрешения вздумал и гречку сеять, хотя в плане района никакой гречки не было. Секретарь райкома так прямо и сказал на бюро:

— Ну чего человеку падо? Спускают ему план: когда сеять, что сеять, сколько сеять, когда убирать и так далее. Все в планах сверху предусмотрено, для всех одинаково. А он умнее всех хочет быть.

Сосед Афанасия шептал ему на ухо: «Не будь норовистым, Афоня, признай вину, и ничего не будет». Второй сосед толкал локтем: «Не упрямясь, не будь дураком». И когда предоставили последнее слово Афанасию Шарпову, он поднялся и все признал. Всю критику признал правильной.

— Признаю, — говорит, — что я не выполнил указаний секретаря райкома. Признаю, что сеял культуры, не предусмотренные планом. Признаю, что не укладывался в сроки сева и уборки по пятидневкам, чем тянул назад сводки всего района.

На этом бы ему и кончить, Уже и секретарь райкома, которого Афанасий Шарпов столько времени зря нервировал, довольно кивал головой, уже люди думали, что все обойдется! Так нет же! Опять пошел свой характер выказывать.

— Это верно, — говорит, — для всех условия одинаковые, но урожай-то я снимаю большие. Людям пересевать пришлось, сколько зерна драгоценного государственного погибло ни за понюх табаку. А я ведь не пересевал. И на трудодень колхозники «Новой звезды» больше получают. Когда только засветила нам эта звезда и стал я председателем колхоза — ровно восемнадцать лет назад это было, — пять коров и двенадцать лошадей у нас имелось. А теперь? Одного крупного скота две тысячи голов. За это, что ли, исключать меня хотите?

Исключили из партии Афанасия Шарпова. Решил он пи-

сать сыну. Пусть приедет и поможет разобраться, что к чему. Но Иван не приехал к отцу.

* * *

Он родился в казахских степях и с детских лет знал, что такое земля. Когда ему исполнилось семнадцать лет, пошел защищать землю. В первом бою за деревню Мишуриин Рог получил медаль «За отвагу». Вскоре получил еще одну медаль «За отвагу». Он был тогда наводчиком и точно наводил орудия на танки. Орденом Славы наградили, когда уже стал командиром орудия. Наградили за подбитые им танки под Кировоградом. Потом подбивал танки в других местах, стрелял прямой наводкой по дотам и дзотам, и, поскольку научился хорошо это делать, его отметили орденами Красной Звезды, Отечественной войны и другими наградами.

Когда фашистов выгнали с нашей земли, Иван Шарпов отправился со своим орудием дальше, в Европу. Ему хотелось дойти до Берлина, но не дошел. Зато побывал в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Последний снаряд выпустил девятого мая сорок пятого года.

К этому времени ему стукнуло полных двадцать лет. Хотя партийный стаж у него был всего два года, его избрали секретарем парторганизации дивизиона. Отпраздновали День Победы, и люди поехали освобождать Китай и Корею. Пересекли свою Родину от края до края и сделали привал на берегу реки Голубой Керулен. Впереди были хребты Большого Хингана. Иван Шарпов собрал коммунистов и сказал, что на Хингане врагов не будет, так как они понимают, что с орудиями там не пройдешь и погибнешь. Они ждут нас в другом месте. Поэтому надо пройти здесь. Поэтому, если кто уронит свою пушку в пропасть, которых там черт знает сколько, или утопит в трясине, которых там не меньше, или разобьет в скалах, отвечать будут коммунисты.

Потом спросил: понятно он говорит или нет. Все сказали, что понятно.

Иван Шарпов со своим дивизионом перевалил через Большой Хинган и прошел всю Маньчжурию. Капитуляция Японии застала его на Ляодунском полуострове.

Китайские братья радовались свободе и с криками «Русский — шанго!» качали советских воинов. Домой Ивана не отпустили. Надо было помогать китайским братьям строить новую жизнь, и его избрали секретарем партийной органи-

зации воинской части. Помогали строить, восстанавливать предприятия, дома, дороги, сеять и убирать хлеб.

Через три года после окончания войны части, стоявшие по соседству в Корее, уезжали на Родину. Иван собрал митинг, чтобы прочитать благодарственное письмо корейского народа советским воинам. Как раз в это время и пришло сообщение о том, что его отец исключен из партии. Иван решил подумать над этим делом после митинга. Он читал бойцам слова благодарности корейских братьев, а мысли то и дело отвлекались на другое: «Как же так получилось с отцом?»

«Славные подвиги, совершенные Советской Армией во имя освобождения и возрождения нашей страны, не померкнут в веках, — громко читал Иван. — Они будут жить в памятниках, воздвигнутых нами в честь освобождения, в дымящихся трубах заводов и фабрик, восстановленных с помощью Советского Союза, в золотых волнах наших хлебов, в радостных улыбках наших людей».

Письмо было большое, и чем дальше читал Иван, тем яснее становилось, что неловко ему сейчас уезжать из Китая даже на короткий срок. Имеет ли право партийный руководитель уехать по личным делам в то время, как его люди широким фронтом развернули работы в помощь братскому народу? А когда прочитал он фразу: «Укрепление дружбы между нашими народами, скрепленной светлой кровью советских воинов, пролитой на полях сражений за освобождение нашей страны, является нашим священным долгом», — твердо решил, что его долг в это горячее время — еще больше крепить дружбу и находиться здесь.

Иван написал письмо в партийные органы. Может, в чем и ошибся отец, но человек он честный. Пусть еще раз все проверят. Помогло ли это письмо или просто разобрались люди, но спустя год восстановили в партии Афанасия Шарпова, и снова стал он председателем колхоза.

Шесть лет пробыл в Китайской Народной Республике Иван.

Явился Иван в райком партии и отчитался в своей деятельности за военные и послевоенные годы. Деятельность одобрили. Он стал профессиональным партийным работником. Был пропагандистом, окончил Высшую партийную школу, работал секретарем райкома.

Он был инструктором обкома, когда началась и захвати-

ла его вихревая, как революция, целина. Загудели казахские степи. Казалось, те же тягачи, что тащили его орудия, только другого цвета и с вагончиками на прицепах, двинулись по нехоженой земле. И вспомнил Иван огневые военные годы.

Он имел награды «за освобождение», «за взятие». Как первый боевой орден принимал Иван в Кремле награду «за покорение». За покорение целины.

Теперь Иван Афанасьевич Шарпов — секретарь парткома одного из крупнейших производственных управлений Целинного края. Заочно учится на третьем курсе сельскохозяйственного института.

И вот он показывает дипломатам целину. На границах совхозов гостей встречали директора совхозов, рассказывали о своих хозяйствах. Вместе фотографировались в пшенице. Правда, не все. Некоторые гости поспешно выходили из густых колосьев, точно боялись, что фотографии будут свидетельствовать о том, какие могучие хлеба они видели на целине.

Останавливались дипломаты и просто в степи, и в бригадах, на полевом стане. Когда убедились, что это не декорации и не показательный участок, а конца и края хлебам не будет, сказали: «Хватит». Тогда их повезли в ближайший совхоз «Свободный», где был приготовлен обед. Во время обеда гости делились впечатлениями, и вот тут-то произошел ряд недоразумений.

Началось со слова «усадьба». По пути они видели несколько совхозных усадеб и заявили, что переводчик неправильно объясняет это слово. Какая же это усадьба, если тянется она на несколько километров, и стоят многоквартирные дома городского типа, и живет там три-четыре тысячи человек, и есть электростанции, больницы, кинозалы, газ, бильярд и еще бог знает что.

Ответить на этот вопрос никто не мог. В самом деле, совхозные городки с их разветвленной электро- и радиосетью, школами и детскими учреждениями, стадионами и танцевальными площадками, автобусным движением никак не подходили на усадьбы. Гостям объяснили, что не все поселки одинаково благоустроены. Газифицировано, например, лишь 233 совхоза, а газификация всего края завершится только к концу будущего года.

Видно было, гостей такой ответ не удовлетворил. Они сказали, что вообще многое им непонятно. Сказали, что, судя по печати и кинофильмам, они должны были увидеть

здесь небритых ребят, преодолевающих трудности, землянки, палатки, вагончики, столовые под навесом или открытым небом с походными кухнями. А оказывается, даже в столовой полевого стана, который не похож на «стан», столики и стулья, как в московских кафе, а многие девушки кокетливы и ходят в узких модных брюках, с прическами, как у кинозвезд. Какие же они целинники?

Гости находили все больше несоответствия между тем, что увидели, и материалами буржуазной печати. Оказывается, в Целинном крае больше тринадцати тысяч озер, большие лесные массивы, неисчислимы рудные богатства, угольные копи и промышленные центры. Получается, что никакая это не целина. Так один из гостей и сказал:

— Целины мы не видели, и почему то, что нам показали, называется целиной, непонятно.

Возражать им было трудно. Иван Шарпов попытался объяснить, почему так получилось:

— Понимаете, и «усадыба», и «целина», и многое другое осталось с прежних времен. Вроде того, как живут названия «Красные ворота» или «Охотный ряд» в Москве, хотя ни «ворот», ни «ряда» давно нет.

И тогда, естественно, возник вопрос: что же такое «целина» сегодня? Об этом говорили в разных концах длинных столов, и получилось, что все, кого спрашивали, по-разному ответили на один и тот же вопрос.

Один ответил, что это край индустриального производства сельскохозяйственной продукции, насыщенный передовой техникой, которой управляют 250 тысяч механизаторов и десятки тысяч инженеров и специалистов. Это край, где значительная часть населения технически грамотна, умеет управлять машинами, и в скором времени человеку, не способному сесть за штурвал или за руль, будет так же стыдно, как в старину в деревне тому, кто не знал, как запрячь лошадь.

Второй заявил, что целина — это исполинская лаборатория научных методов ведения сельского хозяйства, постоянно совершенствуемых на основе открытий научно-исследовательских институтов и данных практиков.

Третий объяснил, что целина — это страна мужества, героизма, воли, где сплелись в неразрывном союзе дружбы могучие силы молодости всех советских республик.

Нашлось еще несколько объяснений, не похожих одно на другое. Чтобы внести ясность, Иван Шарпов сказал:

— Каждый говорит то, что ему ближе по профессии.

В первом случае отвечал инженер, во втором — агроном, в третьем — комсомольский работник. Все они лишь дополняли друг друга, и таких дополнений может быть еще много. Я бы, например, сказал, что главное в целине — это великая победа народа, еще одна проверка наших сил, нашего строя.

Иван Шарпов не произносил речь, его слушало лишь несколько человек, находившихся поблизости, по их внимание отвлеклось на торжественное шествие повара.

Здесь я должен сделать отступление. Как известно, в дипломатическом корпусе есть старейшина, или, как его называют, дуайен. В поездке по целине старейшиной был посол Ганы Дж. Б. Эллиот. И вот, по старинному обычаю, в то время как гостям разносится бишбармак, национальное блюдо из баранины, самому почетному гостю подается красиво приготовленная голова животного. С этим подношением и направился повар к послу Ганы. Господин Эллиот поблагодарил хозяев и сказал:

— Здесь приводились высказывания некоторых западных газет, будто целина — это пыльная чаша. Я должен сказать, что уж если это чаша, то полная. Почетное блюдо, — продолжал Эллиот, — я хотел бы разделить с моими коллегами. Я передаю им глаза и уши, чтобы они лучше увидели целину и лучше услышали, что здесь делается. Я передаю им язык, чтобы они полнее рассказали в своих странах правду о целине.

Слова Эллиота вызвали большое оживление. Вскоре гости стали собираться. В их программе было посещение одного из целинных научно-исследовательских институтов и курорта Боровое.

Улучив момент, когда Иван Шарпов был один, я спросил его: как все же объяснить, что такое целина? Он ответил: «Через несколько дней начинается уборка. Оставайтесь, и сами увидите...»

Я остался.

ЭТОГО ДИПЛОМАТЫ НЕ ВИДЕЛИ

Евгений Алейкин не успел убежать. Вернее, он не пытался бежать. Это был первый налет фашистской авиации на порт, и он просто растерялся. В ногу попал большой осколок. Без согласия Евгения врачи не имели права делать ампутацию, но они не стали спрашивать его согласия, потому что он был несовершеннолетний. Они объяснили матери, что такое газовая гангрена. Сомнений у них не осталось: ган-

грена пойдет по телу. Чтобы избежать этого, надо отрезать ногу. Мать согласилась.

Когда Женя вышел из больницы, с фронта вернулся отец. Хотя к тому времени война еще не кончилась, его демобилизовали, поскольку он был тяжело ранен и передвигался с трудом. Его долго лечили в госпиталях, потом несколько лет дома лечили, но все равно с кровати он почти не вставал и лечение это было уже ни к чему. Когда отец умер, мать пошла работать в порт, а за маленьким Борькой ухаживал Женя в свободное от школы время.

Из-за ноги Женя потерял почти два года и был в классе самым старшим. Он обижал малышей, его боялись, но все-таки дразнили «одноногим». Потом ему надоело учиться с малышами и вообще все это надоело, и он бросил школу. Решил тоже поступить в порт, тем более людей там не хватало и устроиться было легко. Его не приняли. Посоветовали идти в артель инвалидов. Он не захотел, было стыдно: инвалиды — это старики или вернувшиеся ранеными фронтовики, а ему едва исполнилось шестнадцать лет. Можно было хорошо устроиться в пошивочно-шляпную мастерскую. Название мастерской ему не нравилось, и оказалось, там одни женщины, и он постеснялся.

Решил найти работу где-нибудь подальше от центра, чтобы не встретить там знакомых мальчишек или девчонок. На далекой окраине города близ рынка находилась сапожная палатка, где работали три мастера. Туда он и поступил в качестве ученика.

С утра все трое искали мелкий ремонт, чтобы выполнить его сразу, при клиенте, и тут же получить за работу. Получать деньги доверили Жене. Первой и главной его обязанностью было внимательно считать деньги и не прозевать тот момент, когда набегит на пол-литра и полкило колбасы. Труда это не составляло, тем более что после каждого клиента мастера механически прикидывали в уме, сколько уже собралось, и, как бы про себя, но все-таки вслух, говорили: «Как раз!» или «Ну вот!» или еще что-нибудь в этом роде.

Женя брал свой костыль и вприпрыжку бежал в ларек, находившийся тут же, на рынке. Он добросовестно и быстро выполнял свои обязанности, и мастера ценили его трудолюбие. Поэтому наливали немного и ему.

Пить Жене было противно. Над ним посмеивались, называли «маменькиным сынком». Он стал переспливать себя и уже не отказывался от своей доли. Отношение к нему улуч-

шилось. Постепенно его научили прибивать подметки и набойки. Бывало, доверяли и более сложный ремонт.

В удачные дни и в получку раньше времени закрывали палатку. Женя приносил два, а то и три пол-литра, чтобы потом уже зря не бегать. Теперь ему не приходилось себя пересиливать. В этом деле он уже не намного отставал от мастеров.

Жить стало легче. Раньше он расстраивался от всяких посторонних мыслей, которые лезли в голову, особенно когда встречал ребят в форме ремесленного училища или просто молодежь с книгами. В те первые месяцы работы в сапожной палатке он расстраивался по любому поводу: увидит группу веселых моряков или молодого шофера, который привезет на рынок продукты, и завидует им. В такие минуты становился задумчивым и рассеянным. Потом понял — можно не ждать от жизни ничего хорошего. Мысль эта была для него не новой, он ощущал ее каждый день, но, когда окончательно утвердился в этом, ему стало легче: теперь можно не расстраиваться от встреч с ребятами, у которых счастливая судьба, и не забивать себе голову всякими мыслями и бесплодными мечтаниями. Он твердо решил, что теперь ему будет легче, и, если эти ненужные мысли опять лезли в голову во время работы, он гнал их, не раздумывая, яростно забивая гвозди в подметку. Если такие мысли заставляли его, когда он бегал за водкой, тоже не обращал на них внимания. Когда они будили его ночью, он с издевкой отвечал на них про себя, что его это совершенно не трогает и он плевать на них хотел, пусть даже они не дадут ему спать до утра. И он ждал этого утра с нетерпением, ждал, чтобы поскорее выполнить первые заказы.

Мать все видела и все повимала.

Однажды спросила:

— Может, Женя, на целину уедем?

Ему было все равно. Он сказал:

— Мне все равно. На целине тоже подметки рвут.

Новому директору совхоза Ивану Шарпову было не до них. У него была мечта: три дождя. И ничего в жизни не надо: три хороших дождя. Первый — сразу после сева, второй — когда выйдет третья связка. Хлебный стебель, он ведь как бамбук или камыш, коленцами пересечен. Так вот, на выходе третьего колена дождик нужен. И последний — под налив хлебов.

Мечта не сбылась. Не было дождя. Ни первого, ни второго, ни третьего. Вообще не было дождей. Было огромное

солнце, не загороженное облаками, и горячие ветры. Но землю оплодотворили, и должна была появиться жизнь.

Она появилась, выжили, выбились сквозь трещины ростки — жалкие, бледные заморыши. Они выбились к свету и влаге. А влаги не было. Подгорали, обвисали стебельки. Рост прекратился. Но они еще жили, маленькие и хрупкие, и, как все живое, стремились оставить потомство. Они торопились, потому что жизнь едва теплилась в них и надо было успеть это потомство дать. Раньше времени выбросили стрелку и пошли в колос. Родились колосики-недоноски. Крошечные, хилые, безжизненные.

И снова палило солнце, обжигал суховей, не жалея эти существа, и они сжались, сморщились, потрескались, не в силах сопротивляться. Било солнце лежачего.

Так пришла пора уборки. Иван Шарпов объезжал свои поля, срывал колосья, считал зерна. В низинах и балках в колосе всего десять — двенадцать зерен. А тысячи и тысячи гектаров выжжены почти дочи́ста.

Иван Шарпов собрал людей:

— Что будем делать? Убирать или, может, не стоят трудов наших эти зернышки? Может, скот пустить?

Спросил и замер. Что скажут?

На следующий день началась уборка. Комбайн что машинка для стрижки волос. Только ширина ножей шесть — десять метров. А над ними, во всю их ширину, вертится мотовило — длинные планки, накрывая колосья и прижимая их к полям.

Пошли комбайны, да не достает мотовило до колосьев, слишком низкие. Остановили машины, прибили вдоль планок старые брезентовые рукава, еще ниже опустили ножи. Под самый корешь стали брать, чуть не с землей.

Смотреть больно: целый день ходит комбайн — и едва бункер зерна наберет.

Вечером в кабинете директора подводили итоги. Пятнадцать — двадцать килограммов с гектара. А сеяли по сто двадцать. Там, где урожай получше, собрали все, что посеяли.

Расходились, не глядя друг другу в глаза. Остался Иван Шарпов один. Вошел кладовщик подписать какую-то бумагу. Подписал. Тот направился к двери, но директор задержал:

— На первый раз предупреждаю. Повторится, сниму с работы.

Сказал безразличным тоном, ни на каких словах не делая ударения, не повышая голоса, глядя своими голубыми,

похожими на девичьи, глазами. Пришла вдруг в голову случайная мысль, он и высказал ее.

Кладовщик обиделся:

— Не знаю, про что это вы, Иван Афанасьевич, работаю я честно...

Пока он это говорил, директор внимательно смотрел на него, но только в глазах его под черными сросшимися бровями ничего девичьего не было. Взгляды их встретились, инстинкт самосохранения сработал, и кладовщик осекся. Уж лучше смолчать. На эту невысказанную мысль директор отвел:

— Ну вот, так-то вернее...

Читает он, что ли, чужие мысли? Домой шел, злясь на директора, который ему в сыновья годится. А вот ведь пронохал что-то. Или просто на бога берет. Знай он что-нибудь, небось сказал бы.

Время трудное, на всякий случай надо кое-что предпринять, чтобы потом уже о зиме не думать.

Предпринял. Ничего серьезного, так кое-что по мелочам припрятал. А через два дня получил приказ: переводят на работу по уборке скотного двора.

Кладовщик был опытный. Еще до целины не раз выкручивался из щекотливых положений, бывало, и с работы снимали, но под суд не попадал, любые обвинения мог отвести. А тут и обвинений-то никаких не предъявляют. Сняли, и все. Пойти на директора в атаку, так черт его знает, что ему известно. Как бы хуже не было. Но и так оставлять дело нельзя. Надо что-то придумать.

Он придумал. Перед вечером позвал в гости кузнеца Алексея Дробова. Еще мальчишкой взбирался Лешка на отцовский трактор «Фордзон», на комбайн «Оливер» и страстился к технике. В пятьдесят четвертом году секретарь райкома партии, вручая ему кандидатскую карточку, спросил:

— А на целину не собираешься?

— Посылайте, поеду.

Мастер на все руки, для целинного совхоза, особенно в момент его становления, Алексей был кладом. Своим мастерством не бахвалился, а силу показать любил. Работал, со временем не считаясь, сверхурочных не требовал, почести принимал как должное. Авторитетов и чужих мнений не признавал, держал себя независимо, в первую очередь делал то, что сам считал нужным, и делал на совесть.

С его слабостями начальство мирилось, боясь задеть его

болезненное самлюбие, а то обидится вдруг и уйдет в дру-
гой совхоз.

Такой человек может пригодиться, и кладовщик старался
угодить ему. Несколько раз, отпуская Алексею продукты,
давал изрядный «поход» на тару, но тот лишнего не брал,
за все платил сполна. Зато кладовой пользовался как своей,
в урочное и неурочное время, а понадобится, не стеснялся
поднять кладовщика и ночью.

Дробов пришел в гости охотно. Кладовщик действовал ос-
мотрительно, осторожно. О новом директоре заговорил толь-
ко после третьего полстакана. Что за директор такой! Само-
го первого и уважаемого человека Алексея Дробова до сих
пор не пригласил, не познакомился с ним. Просто зарвав-
шийся молодой чиновник.

Еще выпили. Он здесь в бараний рог всех согнет, повсю-
ду своих людей расставляет. Прежде всего в кладовую своего
поставил.

— А тебя куда?

— Навоз убирать, куда же еще.

— А снял за что?

— А ни за что. Даже не вызвал... Вот сидит себе, барин,
в кабинете, из окон свет, как прожектора, а у лучшего чело-
века совхоза, кто победу своими трудовыми руками добыва-
ет, Дробова Алексея, дети уроки не могут делать, нет света.
И нет на него управы, боятся все...

Долго ли самолюбивого выпившего человека разъярить!

Алексей поднялся, молча толкнул дверь и, качаясь, пошел
по неосвещенной улице. В кабинете директора ярко светили
окна. Перед домом на скамейке сидело несколько человек.

— Ты куда в таком виде, Леша?

— Знаем куда.

Шумно ввалился в кабинет. За столом — директор. Круг-
лое, добродушное, усталое лицо. Ласковые глаза.

— У тебя, директор, свет горит?

— Горит.

— А у детей моих почему нет света?

Улыбнулся.

— Приходите завтра, разберемся.

— Еще улыбается! Ты что же, смеешься над человеком!

— Вы ведь знаете, ремонт электростанции, через два дня
свет будет.

— А у тебя почему горит?

— Движок маленький, на весь поселок не хватит.

Иван Шарпов будто и не слышал оскорблений. Спокой-

по уговаривал кузнеца пойти отдохнуть. И это спокойствие все больше раздражало Алексея. Он уже не мог смотреть на эти голубые, несвиные глаза, на круглое лицо. Стукнув по столу, закричал:

— Переключай свет на мою квартиру!

Звякнули крышки чернильниц, опрокинулся узенький пластмассовый стаканчик с карандашами.

Директор поднялся. Близко подошел к кузнецу. Тем же спокойным тоном сказал:

— Если вы сейчас же не уйдете, я вас вышвырну, как щенка.

Кровь и водка ударили в голову. Это его, комбайнера, кузнеца, лучшего человека, как щенка?

Рука, привыкшая играть кувалдой, сжалась в кулак, откачнулся назад и наотмашь ударил. Удар пришелся в воздух, но Алексей почувствовал, что замураван. Перехватив его руку, каким-то болевым приемом Иван скрутил могучее тело кузнеца, подтолкнул его к двери и вышвырнул. Не удержав равновесия, под дружный смех сидевших на скамейке, плюхнулся на живот. Подбежал кладовщик, помогая подняться, отряхивая Алексея, зашептал:

— Вот как с лучшими людьми поступает. Я ж говорил тебе, еще не так он тебя отработает...

Дробов поднялся, отстранил его рукой. Обернулся, долгим взглядом посмотрел на ярко горящие окна и зашагал куда-то в темноту.

В час ночи Иван Шарнов возвращался домой. На душе было тяжело, хотя о недавнем инциденте не думал. Горькие мысли бились в мозгу. Уборка шла к концу. Никакого чуда не произойдет: хлеба нет. Люди работают так, что проверять не надо: за каждым колоском гоняются. И все равно едва-едва натянут то, что посеяли. И что со скотом делать? Как прокормить его? Это ведь тысячи голов.

Иван шел задумавшись, опустив голову, никуда не глядя. Да если бы и посмотрел на деревья, что стояли у тропки, по которой шел, то издали в темноте все равно не увидел бы притаившегося там человека.

Никуда не смотрел Иван. Медленно шел, думая свою горькую думу. Соломы мало и тощая она, как полова, из комбайна высыпается. Пришлось пальцы копнителя веревкой и проволокой переплетать, чтобы сетка получилась. Люди разведали, где можно кормов достать. В трех направлениях послали косарей. А потом еще возить придется. Далекое экспедиция, но и то хорошо. По всему краю, как мор,

засуха прошла. Думает Иван, и страшно становится. Думает и злится на себя. Все он знает: чего не оценили, не поняли сразу, не доделали, что повысило бы урожай даже в таком проклятом году. Ведь соседний совхоз по восемь центнеров с гектара собирает. Есть такие, что и больше дадут. А земли одинаковые. Ну, дай только до будущего сева дожечь, уж теперь не опростоволосится. А чем сеять придется? Не этими же недоносками, что на своих полях собрали. Государство даст? Опять государство. А где оно возьмет? По всей стране неурожай. У нас нет семян, будем просить, будем спрашивать, что делать. А кого государство будет спрашивать?.. И эти гады! Как ни включишь приемник, они тут как тут. И голос такой противный, неживой, как у куклы заведенной. Вроде бы и чисто по-русски говорят, а среди тысячи голосов отличишь его. Какая-то паутинка липкая в нем. Пищи, проклятая кукла! Мы еще отпразднуем победу...

Им нравится слово «эксперимент». Особенно им нравится это слово применительно к нашей стране. Нашу революцию они называли «Русский эксперимент». Всякому эксперименту положено кончаться. Они ждали.

Коллективизацию сельского хозяйства, индустриализацию страны называли экспериментом. У них железная последовательность: и целину объявили экспериментом.

Насчет последовательности это они правильно сообразили: что-то в целине есть от революции. Когда смотришь, как живут и работают целинники, представляешь, как люди делали революцию. Все население целых областей, включая школьников и престарелых, охвачено единым порывом, живет одним дыханием, одним стремлением. Как оценить то, что дала целина в отношениях между людьми? Чем измерить это?

В тамбурах пригородных поездов висят литые из чугуна надписи: «Курить строго воспрещается». Люди читают чуждые слова и курят. В зданиях вокзалов такие надписи сделаны на отшлифованных и покрашенных стеклах. Все равно курят. На станциях метро никаких предупреждающих надписей нет, но и самому отъявленному нарушителю порядков не придет в голову закурить в метро. Иностранцы, которые у себя дома курят в театрах, трамваях и бросают окурки куда попало, поскольку у них свобода, даже эти иностранцы свободного мира не посмеют достать свои портсигары в метро.

Почему? Это трудно объяснить. Такая уж в метро обстановка.

Вот так и на целине. Она захватывает всех, кто туда приезжает... Так-то оно так, но промашек дали немало. В будущем году пусть хоть и засуха, а урожай снимем...

Еще сырая земля, еще нельзя пускать на нее трактор, но уже повсюду подсохли островки. И на них невидимые глазу предательские капилляры: миллионы тончайших, извилистых, будто источенных червячком, глубоких канавок. По ним уходит, испаряется влага, будто жизнь уходит из тела земли. Надо следить за каждым подсохшим клочком и разрушать капилляры. Надо сохранить стерню, сохранить торчащие ежиком по всей земле стебельки прошлогоднего хлеба. Это тоже влага. Надо не пахать отвалом, накрывая стебельки, а разрезать землю, вспарывать ее пожарами культиваторов...

Медленно идет Иван к своему дому. Все ближе купа деревьев. Прижался к стволу, изготовился человек.

Надо угадать, найти, определить тот день, когда можно начинать сев. Чтобы сеять хлеб, надо знать сорняки. Надо изучить сорняки лучше, чем хлеб. Овсяг хитрее хлеба. Он вылезет из земли первым. Нельзя дать ему взойти. Привалить землей, он и погибнет. И смело начинай сев. А прозеваешь момент, взойдет проклятый, подрезать его, чтоб и духу не осталось.

...Удар был неожиданным и сильным. Развернуло Ивана, качнулся, а на ногах устоял. Перед ним — кузнец. Дурак ты, парень. Разве против человека с разрядом по самбо тебе идти! Скрутил Иван кузнеца.

В районе Ивану сказали, что действовал он правильно и другого выхода не было. Отдают кузнеца под суд.

Муторно было на душе, когда возвращался в совхоз. Издали увидел зарево. Горит совхоз. Нажал акселератор до упора. Бился на ухабах «газик». Горит совхоз. Горит в одном месте. Сейчас все займется. Вечер, а не утих сухой.

Влетел на усадьбу, чуть не в самое пожарище. Догорает клуб. Здания рядом парят. Их обливают водой, и она испаряется. Весь совхоз на площади. Все вынесли. И радиолу, и картины, и книги, и шахматы. А клуб не спасли. По-глупому сгорел. Смотрели кино, вдруг — короткое. Замкнуло там, где бездумно, не по правилам соединили медные провода и алюминиевые. Тлели едва заметно провода. Перенесли кино на завтра, билеты действительны.

Открыли двери, хлынул воздух, вспыхнуло пламя. Как костер горел клуб.

Шел Иван домой, и не жалко ему было клуба. Плохонький, все равно собирался ломать и новый строить. Но люди убиты. Будто не клуб, а надежда людская сгорела. Весь совхоз на площади, и никто не расходится. Костями ложились, чтоб спасти, а не спасли. Это больше, чем потеря клуба. Хлеб сгорел, клуб сгорел, все горит... Куда он идет? Домой? А там что? Надо бы вернуться к людям, но смотреть будут, ждать, что скажет. А что можно сказать?

Зашел в дом. Большой и пустой директорский дом. Пропшелся по комнатам, сел. Сидел, думал. Ни о чем думал. То ни одной мысли, то сразу все. Во дворе — говор. Постучали. Человек шесть стоят.

— Иван Афанасьевич, в зерносклад просим, на собрание.

Никогда столько народу не приходило на собрание. Шестисот человек. Первым в президиум Шарпова назвали. Первым ему и слово дали:

— Моя вина, товарищи, видел, что ветхое все, давно проверить надо бы, да руки не доходили.

— Всех вина, — загудел зал, — не о том речь.

— Восстановить клуб надо. Бог с ним, с клубом, по восстановить надо. Кто не на уборке, прямо отсюда пойдет.

Не было такой ни ударной стройки, ни великой, какая была, когда восстанавливали клуб. Будто вся жизнь трех тысяч людей от него зависела. Строили, будто мстили. Били гвозди, как врага, яростно строгаги, истово мешали бетон. Символ жизни строили. И днем, и ночью. Никто не требовал кирпич, доски, цемент. Сами шли в соседние совхозы, сами доставали, сами обливались потом.

За несколько дней сколотили клуб. Правда, здание не капитальное, дощатое, а все же закрытая площадь. И легче людям стало. Будто веру в урожай обрели. Потребовали ту же картину, что прервал пожар. По тем же билетам шли, что в старый клуб покупали.

И Шарпов фильм смотрел, вроде отвлекся. А только домой возвращался с горькими думами — едва собрали то, что посеяли... Какие-то люди незнакомые, парень в костылем.

— А вы кто такие?

— Алейкины мы, на работу сюда послали, — заискивающе говорит женщина. — Это мой старшенький... Сапожник хороший...

Ничего не сказал, пошел дальше. Потом обернулся:

— Остановились где? — И не дожидаясь ответа: — Ступайте в общежитие, скажите — директор велел. А завтра в отдел кадров приходите.

Все это было за три года до приезда дипломатов на пелюгу, где я с ним и познакомился.

— Откровенно говоря, — сказал он, — ни к чему они нам теперь здесь. Через два дня начинаем уборку, дел невпроворот, а тут на тебе, сиди улыбайся.

Шарнов отправился с ними в Боровое, а я на день в Целиноград. Условились встретиться в его хозяйстве. Летел я туда на вертолете. Он опустился на площади близ административного корпуса совхоза в полдень. Людей поблизости не оказалось. Двери центрального входа были распахнуты. Я прошел по длинным коридорам первого этажа, потом второго, толкаясь в каждую дверь. Все заперто. Выйдя из здания, посмотрел по сторонам. Людей нигде не было. Прошел по центральной улице километра два, сворачивал то вправо, то влево, стучал в окна каких-то домов, но с одинаковым результатом: нигде ни души.

Я знал, что здесь живет больше трех тысяч человек. Ставновилось не по себе. К счастью, вскоре услышал детские голоса. Это был детсад. Воспитательница удивилась моему вопросу. Ничего не пустынный поселок. Вон, за детским садом, ясли, дальше столовая, пекарня, на окраине ремонтные мастерские, электростанция, еще несколько производственных помещений, и в каждом — люди. Даже в траншее посреди усадьбы работают, тянут в квартиры горячую воду. Ну, а остальные, естественно, в поле. Ведь началась уборка.

— А председатель поссовета?

— На комбайне.

— А главбух?

— На уборке кукурузы... Да вы откуда, товарищ?..

Ее вопрос звучал примерно так: «Вы что, с неба свалились?»

Шарнова разыскал на полевом стане. У него было много дел на разных участках, и мы условились, что мешать ему не буду, но он возьмет меня с собой.

Мы ехали в высоких хлебах по великолепным межклеточным дорогам, а справа и слева гудели комбайны, оставляя за собой могучие полосы пшеничных валков. Все двадцать тысяч гектаров совхоза разбиты на делянки. Название не очень подходящее. Каждая «делянка» — четыреста гектаров. Два километра в длину, два в ширину. И комбайнерам удобно не вертеться на пяточке, и учет простой.

— Вот паша опора, — заулыбался мой спутник, указывая

па приближающийся комбайн. — Вам, конечно, лучшие люди нужны, поговорите с ним. За троих работает, руки золотые и людям помогает. Одним словом, лучший наш комбайнер. Кстати, он скоро меняться будет, уже часов шестнадцать отработал.

Мой спутник уехал, а я, подождав, пока подойдет к дороге комбайн, вскочил на лесенку и поднялся на мостик.

— Разрешите?

— Пожалуйста.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Откровенно признаться, я не знал, что говорить дальше. Прикинуться этаким, не первой молодости, рубахой-парнем: «Ну, как жизнь? Хлеба-то какие! Здорово, а? Давай-ка закурим московских». Так, что ли? Не хотелось. Представиться надо бы человеку, коль на комбайн к нему пришел. Тоже не хотелось: многих сковывает наша профессия.

Только теперь я почувствовал, какой высокий мостик, куда выше, чем кажется с земли, и видно далеко. Идет комбайн, точно плывет в пшеничных волнах, приятно обдувает теплый ветерок. Лоснятся золотом колосья, и трудно оторвать от них взгляд, и радостно волнуют неоглядные хлебные дали.

Шестиметровая расческа врезается в густые стебли у самой земли, а поперек зубьев бешено мечутся ножи, и, чуть подпрыгнув, падают подкошенные колосья на широкое полотно комбайна. Не мертвое это полотно. Оно несется с большой скоростью, поперек движения комбайна, выбрасывая в сторону скошенный хлеб, и он стелется толстым слоем слева и превращается в двухкилометровый вал. Комбайн разворачивается, и в шести метрах от первого вала бежит второй, третий, а на соседних делянках тоже гудят комбайны, и ложатся валы, и вот уже разлиновано все поле слева, насколько хватает глаз.

Я стою на мостике и смотрю вдаль на скошенное поле, и на петронутый еще массив справа, на плывущие вокруг комбайны, на облака, и мне радостно ощущать и хлебный ветерок, и то, что я стою на мостике и держусь за поручень, похожий на корабельный леер, и прикасаюсь к телу комбайна, как радостно и приятно, должно быть, прикоснуться к корпусу космического корабля. Забыв, что я не «рубаха» и не «парень», кричу, стараясь заглушить шум моторов:

— Здóрово, а! Хлеба-то какие!

— Здóрово! — кричит комбайнер, обернувшись ко мне, и

смеется, и в лице человека, отработавшего шестнадцать часов, пет усталости.

Он ведет комбайн, не переключая скоростей, не поднимая и не опуская полотна, и кажется, совсем простое это дело.

Наклонившись к нему, показывая на штурвал, кричу:

— А я не сумею?

— Нет, — смеется он, качая головой, — корреспондент, наверное?

Я люблю свою профессию, мне в голову не приходило стесняться ее. А тут какое-то странное ощущение. Будто провинился. Не причастен я к этим могучим хлебам и комбайнам, к этим людям, торжествующим победу. Я виновато киваю, подтверждая догадку комбайнера.

— Из Москвы? К нам больше из Москвы ездят. Из других стран тоже... А фамилия как? Может, слышал... Нет, не припомню.

— А ваша как?

— Алейкин.

— Что?!

— Алейкин, — кричит он, — Евгений Алейкин.

Он разворачивает комбайн, а я украдкой смотрю на его ноги.

— Вот о ком писать надо, — кивает он на идущий поблизости комбайн. — Учитель мой. Сейчас меняться будет.

Мне не интересен сейчас учитель. Как произошло такое чудо с Алейкиным? Расспрашивать неловко. Решаю идти к учителю, который, конечно же, расскажет все подробно. Его место за штурвалом уже занял сменщик, а он зашагал в сторону полевого стана. Я догнал его, попросил рассказать о Жене. Почувствовал, что этот вопрос ему приятен.

— Ремонтировал я комбайн, — начал он, — подъезжает директор, парень с ним на костыле. Сопли с машины, стоят, смотрят. А у меня не ладится, маховик никак не наживлю. Вдруг директор закричал на Евгения. Он у нас на людей не кричит, а тут закричал: «Что стоишь, не видишь, что ли! Поддержи ему маховик!». Парень бросился помогать. Потом отозвал меня Иван Афанасьевич и говорит: «Большая у меня к тебе личная просьба. Помоги человеку в люди выйти. Злой он, грубый, но не верю ни в его злость, ни в грубость. Просто задавлен из-за своей ноги. Морально задавлен, понимаешь. А парень смывленный. Если увидит, что не делают ему скидок и считают полноценным, далеко может пойти. Сделаешь из парня человека — низко тебе поклонюсь, Алексей Дробов».

— Позвольте, кто же это — Алексей Дробов?

— Как кто? Я.

Растерявшийся, иду молча. Наконец решаюсь:

— Товарищ Дробов, я знаю вашу историю с директором. Как получилось, что вы здесь?

— А я и не прячу свою историю. Куда ее спрячешь?!

— Суд был?

— А как же! Вызвали на суд главного свидетеля обвинения Шарпова. Я знал, что он будет мне мстить, а отвести такого свидетеля нельзя, потому что он — потерпевший. Встал Шарпов перед судьями, ко мне боком и развел руками. «Не знаю, — говорит, — что сказать, товарищи судьи. Не знаю. Оправдывать его нечем, по всей строгости судить надо. Но вот расписался я тут у вас, что только правду буду говорить суду, а если правду, то... понимаете, не тот это человек, кто за решеткой должен сидеть. Ошибка тут какая-то... Может, можно лично мне на поруки взять его?»

Сказал он это и замолчал. И все молчат, судья растерялся.

— Вы знаете, — остановил меня рукой Алексей. — Может, от неожиданности, но слезы из глаз стало выжимать. И не потому, что на мягкий приговор шанс появился. Не думал тогда про это. Я ведь знал — хороший он человек. Только и успокаивал себя тем, что мстить начнет. Тогда, думаю, и злость против него поднимется. А он вдруг такое говорит. Ну что мне было делать? Сквозь землю провалиться?

— Не послушался суд Ивана Шарпова, — вздохнул Дробов. — Три года строгого режима в лагерях дали. Взяли меня под стражу, а Шарпов прямо с суда в область уехал. Как он там свою правду доказывал — не знаю. Область срок мне утвердила, только добавила: «условно». И объяснение дали: на основании личной просьбы и гарантии директора. Когда решение пришло, вызывает он меня и говорит: «Понимаете, какие вы права получили?» — «Понимаю, — говорю, — полную свободу». — «Да нет, — говорит, — ничего вы не поняли. Вы теперь на меня права получили, что хотите со мной сделать можете. Все равно что партийный билет в заклад за вас положил».

Ничего не мог я ответить Ивану Афанасьевичу. Повернулся и пошел. Чтоб не видел он моего состояния. Оно у меня было, как у бабы... Сначала думал высокие обязательства на себя взять, а потом решил — к черту все эти нормы. Норма — совесть. А на деле получилось, что совесть — это три-четыре обыкновенные нормы. Так по моему следу и еще кое-кто пошел. Потом и в газете появилось: «Норма — совесть».

А представляете, будь Иван Афанасьевич не таким — гибель мне. О ребятах как подумаю, трое их у меня, аж головой тряхну. «Где отец? — спросили бы их. — В тюрьме отец».

Понимаете, что это за человек. Не бывает таких! От него бы прививки людям делать, уже в коммунизме жили бы... Думаю, и с партией он поможет. Одна рана в жизни и осталась. Исключили ведь меня тогда из партии. Но я вам по секрету: билет-то партийный остался у меня. Не мог я собственными руками отдать партбилет.

— Понимаете... он уже не действителен.

— То есть как не действителен! — повысил он голос. — Это вам не пропуск на проходную: действителен по такое-то. Срок действия в нем не проставлен.

— Да, но членские взносы вы же не платили.

— Как не платил! — снова удивился он. — Исправно платил двадцать пятого числа каждого месяца. И ведомость я по всей форме завел: номера по порядку, фамилия, имя, отчество, за какой предыдущий месяц уплачено, за какой платит и собственноручная подпись. С полного заработка вносил, а потом расписывался. Если сдача полагалась, из этих же партийных денег брал. Пожалуйста, товарищ Дробов, партии лишнее не надо. И лежат у меня эти денежки вместе с партийным билетом неприкосновенные. И голодать придется — не прикоснусь к ним... Вот кончим уборку, подниму вопрос. Секретарь парткома у нас, жалко, новый, приезжий, три дня всего. Ну, может, Иван Афанасьевич посоветует...

Я все мучался, как ему за мое спасение ответить. Немного полегчало, когда он ко мне Алейкина привел. Представляете, как я за парня взялся.

Впоследствии Шарпов рассказывал мне, как Дробов учил Алейкина. Сделать из него человека стало делом жизни Алексея. Он словно не Евгения учил, а себя переделывал.

Не было меры счастья и для Евгения Алейкина: лучший специалист, депутат, глава семьи, отец двух детей. Путь от сапожной палатки до этих вершин был пройден на целине за три года.

Что стало бы с ним, не будь Шарпова? Трудно сказать. Три года заключения у одного, нелюбимая профессия и водка у другого — кто знает, куда привели бы эти дорожки.

ОГНЕННЫЕ ТРАКТОРИСТЫ

Я расскажу историю, полную трагизма и величия, красивую и страшную, как сказка.

Историю борьбы, победы и гибели. Гибели, которую нельзя назвать смертью.

«Огненный тракторист!»

Эти слова впервые прозвучали с газетных полос много лет назад, когда в борьбе за хлеб комсомольца коммуны «Новый путь» Петю Дьякова кулаки облили керосином и подожгли.

Эти слова повторила «Комсомольская правда», когда вручали орден Ленина теперь уже коммунисту, герою борьбы за хлеб на целине Петру Дьякову.

Эти слова — «огненные трактористы» — я снова прочитал в «Известиях» и поехал в казахские степи, чтобы рассказать их историю. Я расскажу историю борьбы за хлеб.

Нет более нежной травы, чем ковыль. Пуховые метелочки ласкают и щекочут. Про степной ковыль поют песни. Те, кто их сложил, должно быть, ничего не знают про степной ковыль. Его семечко похоже на штопор с длинным пушистым хвостиком. Хвостики нежно обволакивают шерсть овцы, а семечки ввинчиваются в тело и убивают животное. Поэтому ковыль называется еще смерть-трава. И не только поэтому. Пуховые метелочки горят быстрее пороха. Не надо спичек. Попадет в сухой ковыль тлеющая табачная крошка, и он вспыхнет.

...Пятьдесят километров в длину, пятьдесят — в ширину. Это хлеба целинного совхоза московских комсомольцев. А дальше — ковыль. Тысячи километров ковыля и сухостой.

Солнце в казахских степях не греет, а жжет. Три самых жарких месяца не было дождя. Накалялась, трещала земля. Травы стали хрупкими, сморщился шелковый ковыль, потрескался сухостой. Над степью струился раскаленный воздух. А потом ворвался ветер. Он носился, ломая травы, взвивал на большую высоту перекасти-поле и швырял о землю, бросался из стороны в сторону, будто искал, что разрушить.

В двадцати километрах от совхозного поля бездумно бросили на дорогу окурки. Ветер схватил его и швырнул на ковыль. Вспыхнуло пламя и метнулось по бровке вдоль дороги. Метнулось со скоростью курьерского поезда. Издали казалось, будто пролетел трассирующий снаряд, оставляя, как комета, багровый след.

И поднялась пятикилометровая огненная стена, и, увеличиваясь и нарастая, всей массой ринулась в сторону совхозного поля.

Бригадир Владимир Дмитриевич Котешков объезжал свои владения на легком, с резиновым ходом тракторе. Сбор урожая шел к концу. Нескошенным оставался только один участок — около тысячи гектаров. На горизонте увидел огненную стену и рванулся навстречу огню.

На границе участка показался трактор. Тракторист соскочил на землю, подбежал к плугу, покрутил какую-то рукоятку и резко обернулся на звук приближавшегося трактора Котешкова. Бросился к бригадиру, и Владимир увидел, что это Коля Грибов, и странно было смотреть на его просиявшее лицо в такую страшную минуту.

Они перекинулись только двумя фразами, потому что им было все ясно и у них были одинаковые мысли. Они не могли уйти с поля. Это был их хлеб и хлеб их товарищей, с которыми они вместе спали и ели, вместе вспахали и взрыхлили каждый клочок тысячелетиями слежавшейся земли и каждую клеточку этой земли удобрили и напоили своим потом. Они очистили каждое зерно, брошенное в землю, и следили за всходами, и радовались, глядя, как наливаются колосья соками жизни, и горевали, когда пило соки из зерен проклятое солнце. И поздними вечерами, покидая поле, не выплескивали куда попало остатки воды из бочки, а бережно поливали ростки. И хотя солнце выжигало пшеницу, урожай их бригады был самым высоким в совхозе и самым высоким среди ближайших совхозов, и это уже было не просто хлебное поле, не просто материальная ценность, а их честь и совесть, гордость целинников, их ответ на призыв Родины. Это была их жизнь. И они решили сражаться за каждый колос своей земли, как сражались за каждый клочок ее их отцы на войне.

Вдоль всей границы хлебного поля шла свежевспаханная полоса, которая для того и делалась, чтобы остановить здесь огонь, если вдруг загорится степь. Но они понимали, что такой невиданной силы бушующее пламя перескочит это препятствие. Они решили проложить в ковчеге еще одну борозду, параллельную первой, метрах в двадцати от нее. Они также понимали, что огонь все равно перебросится через их борозду, но большой силы набрать не успеет и выдохнется на главном препятствии.

Владимир сел на плуг, где было более опасно и ответственно, а Коля в кабину трактора. Справа от них, километрах в шести неслось пламя, слева — терзаемая ветром, билась о землю пшеница.

Трактор шел ровно и быстро. Владимир зарывал лемеха

не очень глубоко. чтобы не перегружать двигатель, но и не совсем мелко, чтобы все-таки перевернуть верхний слой земли травой вниз.

Они смотрели на надвигавшийся огненный вал и на двухметровой ширины борозду, остававшуюся позади, и на путь, что предстояло еще сделать, и понимали, что успеют. Возможно, потому, что этот вал был уже близко, им казалось, что скорость его увеличилась и огонь уже больше не припадает к земле, а вздымается все выше. Но, возможно, это так и было, потому что ветер неистовствовал. Вырвались вперед края огненной стены, образовав полукруг, а из середины выбросило вперед несколько факелов, и уже пылал огромный массив.

Неожиданно ветер ударил в противоположную от хлебов сторону, пламя затрепетало, забилося, заметалось и вдруг с новой силой рванулось вперед, будто для того и отступало, чтобы сильнее был прыжок.

До конца хлебного поля трактористам оставалось не больше километра. А дальше все вспахано под зябь. До победы несколько минут. Извиваясь и изгибаясь, нарастал огненный девятый вал, гонимый неистовым ветром, припадая к земле и вздымаясь до уровня телеграфных проводов. Неслась зубчатая гряда, то багровая, то белая, то кровавая, и игрушечным казался трактор, на который она надвигалась. Пламя теперь несло косою стеной, и левый его конец был еще далеко, а правый достиг трактористов.

Они самоотверженно сражались, они сделали все, что в их силах, и в эту минуту, когда вплотную подступила смертельная опасность, по всей логике вещей должны бы уйти с поля. Но, видимо, действовала другая логика — логика сердца. Они не могли уйти. Теперь шла борьба не только против бессмысленного разрушения созданного человеком, но за его достоинство, честь, за тех, кто поднял тысячелетиями спавшие земли.

Трактористы шли по прямой, параллельно хлебному полю, а огневой вал — под углом к ним, и позади пламя перебрасывалось через их двухметровую борозду и, обессилевшее, падало на втором препятствии.

Владимир отбивался от пламени и видел, как Коля сшибает палкой горящие клочки травы, падавшие на трактор. Огненная стена, подрезаемая их бороздой, быстро укорачивалась. Она не успевала пересечь путь трактору, но все время наступала его, и все время трактористы соприкасались с огнем.

До вспаханного поля оставалось метров сто, когда огненный сноп упал Владимиру на спину. Он сорвал огонь, но одежда на нем загорелась. Разрывая на себе куртку, Владимир смотрел вперед и понимал, что пламя перережет путь трактору в каких-нибудь десяти метрах от вспаханного поля и ворвется в эти борота на пшеницу. Он срывал с себя одежду, отбрасывал новые огненные снопы и видел, как Коля защищает от огня трактор, тоже готовый вот-вот загореться. А когда Коля обернулся, Владимир что-то закричал, рубя вытянутой рукой воздух, и, хотя крик был не слышен, Коля понял мысли бригадира и, круто свернув влево, чтобы не дать огню проскочить перед трактором, повел его на соединение со старой бороздой у вспаханного поля.

Владимир успел сорвать с себя куртку, но горящие брюки разорвать не мог, потому что пальцы обгорели. В трех метрах от конца поля он спрыгнул и, падая, увидел, как трактор пересек старую борозду, окончательно отрезав путь огню, как выскочил, должно быть ему на помощь, Коля и вспыхнул с ног до головы, потому что комбинезон у него был пропитан маслом.

Владимир бросился к нему, а Николай, весь объятый пламенем, бежал на вспаханное поле и рухнул на нем, уже не в силах гасить на себе огонь.

Брюки и белье на Котешкове догорели, и руки от ладоней до плеч были местами обожжены, а местами обуглены, и им не поддавался горящий Колин комбинезон. Тогда он стал обеими руками быстро грести землю на своего друга, и пламя погасло. Но было поздно.

Владимир стоял перед Колей на коленях, смотрел на его лицо и аккуратно стряхивал с него землю. Потом поднялся.

Он посмотрел вдаль и увидел черную степь, черную до самого горизонта, откуда только что катился огненный вал, сраженный им и его теперь уже мертвым другом. Потом обернулся и увидел бескрайнее поле золотой пшеницы, тоже уходящей до самого горизонта.

Было тихо, и ни один колосок не шевелился. Только нещадно пекло солнце.

Владимир стряхнул с головы свою старую армейскую фуражку, у которой сторел козырек, отшвырнул с ног остатки туфель и пошел по вспаханной земле к полевому стану. Он шел голый и черный от ожогов, шел под палящими лучами солнца и не чувствовал их.

До полевого стана было четырнадцать километров, и он решил пройти пешком эти четырнадцать километров, потому

что в его положении трактор не завести. Он шел, и гадал, и не злился на то, что падает, а терпеливо поднимался и упрямо двигался дальше.

Четыре тысячи гектаров было отдано под его власть, и за семь лет жизни на целине он прошел своим трактором и своим комбайном каждую пядь этой земли, и не осталось клочка, который бы лично он не вспахал или не убрал комбайном.

Он не смотрел, куда идет, но это была его земля, которую знало все его существо, каждая его клетка, и он держал верное направление и, не думая об этом, выбирал самый короткий путь к полевому ставу. Так он прошел три километра, и он прошел бы все четырнадцать, но из-за косогора оказался комбайн.

Владимир не обратил на него внимания и не стал звать комбайнера или размахивать руками, потому что комбайн на поле — обычное дело и ничего удивительного в его появлении не было. Он продолжал идти намеченной дорогой, падая и упрямо поднимаясь, как это делал до сих пор.

А комбайнер Николай Мокан увидел эту странную и страшную фигуру голого, то и дело падающего человека и, пораженный, свернул в сторону, ему наперерез. Подъехав, он соскочил и увидел, что это бригадир, весь обожженный и черный, и бросился к нему.

— Стой! — закричал Владимир, широко расставив руки. — Будет больно... Поезжай вот так прямо, там Коля Грибов. Он сгорел... Совсем сгорел.

— Машину пошлем за ним, — взмолился Мокан, — давай скорее в бригаду. — И он приблизился к Владимиру, но тот отстранил его:

— Сам.

Мокан схватил из ящика новую спецовку и ватник, уложил их на площадку, и Владимир сам влез на нее и лег. Одиннадцать километров шел комбайн на самой большой скорости, и Мокан не спускал глаз с бригадира, боясь, чтобы он не умер.

На полевом стане он тоже не дал к себе прикоснуться набежавшим комбайнерам и трактористам, а слез сам и, окруженный ими, пошел в дом, лег на кровать и сказал, чтобы его смазали подсолнечным маслом. Но тут подъехал на «газике» старший агроном Владимир Иванович Рогов и уже не дал командовать Котешкову. Его подняли вместе с матрасом, уложили в машину и отвезли в больницу.

У комбайнеров и трактористов не хватало духу идти к Полине Котешковой. Но и скрывать от нее было нельзя. Решили, что пойдет комбайнер Алексей Калинин со своей женой Валей.

Полина стирала белье. Леночка собиралась в школу. Правда, в школу ей еще не сейчас, но всего через два года, поэтому на всякий случай готовилась заранее. Вовка, убедившись, что никто с ним играть не будет, обиделся и ушел в свою комнату.

Алексей и Валя вошли и остановились на пороге. Полина пригласила их в дом, но Алексей сказал: «Спасибо, мы на минутку». Дальше он не знал, что говорить. Он не знал, с чего начать.

— Да что вы какие-то вареные? — рассмеялась Полина, снимая фартук. — Проходите.

Вовка уже был тут как тут, а из открытой двери поглядывала на гостей Леночка, и от этого Алексей совсем разнервничался и начал улыбаться. Улыбка получилась неважная.

Должно быть, есть у женщин какое-то особое чутье на беду. Полине неоткуда было ждать беды, но она с тревогой посмотрела на виноватое лицо Алексея, машинально стянула с головы косынку, скомкала ее в руках. А он все еще молчал, и она выдохнула:

— Говори!

— Понимаешь, Поля, хлеб загорелся... Володе руки обожгло, он в больнице...

Губы у нее задергались, она стала поспешно заталкивать косынку в мыльную пену, и, испугавшись, Алексей быстро забормотал:

— Ты не волнуйся, он вполне сознательно разговаривает.

— Почему же не разговаривать, если только руки! — закричала она на Алексея и бросилась вон из дома.

Расступились сбившиеся у крыльца механизаторы и девушки из полевых станков.

Она бежала через поселок босиком, в стареньком платье, бежала к рыжим хлебам, между которыми вилась узкая дорога. Никто не сообразил, как остановить ее, и никто не знал, надо ли останавливать.

Выскочили на крыльцо испуганные Леночка и Вовка. Они не плакали. Может, поэтому их не заметили. Люди смотрели на бегущую Полину, на платье, которое она сшила еще в Москве в самом лучшем ателье, когда собиралась сюда. Оно было тогда нарядным и модным, а ей только исполни-

лось девятнадцать, и никакого поселка и хлебов здесь не существовало, и не было этой гигантской телевизионной антенны над их домом, а в непролазной грязи стояло несколько вагончиков и палаток среди бескрайней и дикой целины. И смешно было носить это шикарное модное платье, и она впервые надела его, когда праздновала целина первую комсомольскую свадьбу в первом построенном для Владимира и для нее доме.

Полина уже скрылась в хлебах, когда вырвался из гаража вдогонку ей автомобиль главного инженера.

До больницы больше двадцати километров. Петляет в хлебах дорога, накатанная и твердая, как бетон. Несется машина. Катятся пшеничные волны до самого горизонта. Хлеба, хлеба без конца, без края.

Сухими глазами смотрит на волны Полина. Целина! Сколько горьких и сладких слез пролито здесь! Сколько радости, сколько горя вынесено!.. Горе? Разве то было горе, когда заметало пургой палатки, когда утопали в грязи? Разве то было горе? Вот оно когда подошло! Подстерегло одну ее, подкралось и ударило, подлое! За что?

...Казанский вокзал в Москве. Музыка, цветы, юность... Таинственная, манящая целина. Двести пятьдесят четыре человека с комсомольскими путевками. Смех, поцелуи, слезы... Куйбышев, Уфа, Челябинск. Встречи, оркестры, танцы.

Юности! Провожали на подвиг московскую юность...

Прошел по вагонам старший, Владимир Котешков. Высокий, сильный, подтянутый. Только что из армии. Говорят, понтонер. Командир понтонного отделения. Серьезный, строгий... Нет, хороший. Улыбается хорошо. Прошел, не взглянул. Подумаешь, нужен больно...

Караганда!

Тают остатки снега. Разлилась Нура. Задыхаясь, тащится трактор с одним вагончиком на прицепе. Зарывается в землю. Откапывают, снова тащится... Греются у тощих костров.

— По ко-оням!

Это командует Котешков.

Передрогшие, лезут в холодный вагончик. Двести километров за трое суток. Меньше трех километров в час. Опять остановка.

Приехали.

Степь. Сырая, холодная, воющая, бесконечная. Без воды, без света. Ни днем, ни ночью не снимают ватников. Надо подальше спрятать это тонкое, модное платье...

Обед. Шумный обед в палатке. Веселый остряк кричит через весь длинный стол: «Котешков, что это твой конь всегда у второго вагончика стоит?»

Зачем она не смолчала? Сама себя выдала. Как могло у нее вырваться: «Неправда, не только у нашего».

Дружный и долгий смех: «Знает кошка, чье мясо съела». Зарделась, убежала.

Через две недели предложил расписаться.

— С ума сошел! Мы даже не гуляли.

— Так негде же здесь гулять, Поленька. Да и человек у нас виден лучше, чем в Парке культуры имени Горького. Как на войне виден. Я, например, за тебя ручаюсь. Ты — настоящая.

Идет в гору Володя. Лучший тракторист. Лучший комбайнер. Лучший механик. Член партийного бюро. Ласковый, добрый. И дети в него. Недаром сына Вовкой назвала...

Счастье... Что же оно такое, счастье? Нет, не надо ей никакого счастья. Пусть будет все как есть...

Несется машина по узкой просеке. Шелестят колосья. Волнуются хлеба. Она знает: нет, не только руки. Она не плачет. Она не плакала всю дорогу. Ну, а куда же деться слезам? Они скапливались и хлынули, когда показалась больница.

Главный врач Раиса Петровна Панкратьева велела выпить капли, сказала: пустит в больницу, если сможет Полина не удивляться, не ахать, не вскрикивать, что бы ни увидела. Увидит обожженного человека.

Клятву дала: не покажет виду.

Володя был накрыт одеялом поверх каркаса, чтобы оно не прилегало к телу. Лицо обожжено не сильно. Волосы не тронуты. Благодарно, спокойно смотрит на нее.

Отлегло немного.

— Как же тебя, Володенька?

— Я-то, видишь, ничего. А вот Коля Грибов сгорел. Со всем сгорел. — Повлажнели глаза. — Кольку жалко...

Очередная процедура. Сняли одеяло, подняли каркас. Увидела...

— Ну что ты, Поленька? Самое страшное позади.

Трое суток стоял почетный караул у гроба Коли Грибова. Сменяли друг друга его друзья, комбайнеры и трактористы, представители ЦК комсомола Молдавии. Несли почетную вахту руководители совхоза, делегаты Караганды. Стоял у гроба сына прилетевший из Молдавии отец.

Как героя Колю торжественно похоронили на кургане близ совхозного поселка, откуда видны необъятные просторы хлебов, и весь поселок, и убегающая вдаль дорога.

А за жизнь Владимира Котешкова началась борьба. Врач Раиса Петровна Панкратьева еще до окончания института десять лет работала старшей операционной сестрой в Караганде. У нее огромный опыт в области ожогов. Она знала, что делать. Прежде всего преодолеть первый смертельный рубеж: не дать умереть от шока. Надо было знать и умело использовать все новейшие методы в их точной и неукоснительной последовательности, чтобы немедленно, сию же минуту, не дожидаясь консультаций, вывести из шока. И все это было сделано.

Почти ни одну процедуру нельзя было выполнить обычными способами. Как, например, сделать внутривенное вливание? Нащупать, найти вену даже на здоровой руке не всегда просто. А ощупывать обожженную руку немислимо. И она применяет веносекцию: вскрывает внутреннюю поверхность голеностопного сустава, находит вену и делает вливание. Не как обычно, а с помощью специальной системы, капля за каплей.

Обработка ран. Но так даже сказать нельзя. Идет обработка одной, сплошной, на все тело рапы. Оно поражено ожогами третьей и четвертой степени на семьдесят процентов. Общее поражение — восемьдесят пять процентов. Только верхняя часть груди да стопы остались нетронутыми.

В пять часов вечера привезли в больницу Котешкова, в шесть часов утра отошли от его постели Раиса Петровна и опытейшая сестра Эмма Ивановна Кайзер. Попеременно помогали им сестры Валя Трестер и Валя Борисова. В точных дозах и последовательности, с необходимыми промежутками в организм вводились средства борьбы за жизнь.

Спустя несколько дней корифеи Ожогового центра Академии медицинских наук СССР отметили исключительную тщательность всех проведенных мероприятий, их необходимость и исчерпывающую полноту, точность и правильность всех процедур.

В тот первый день у постели больного был главный врач района Дмитрий Александрович Кулагин. На специальном самолете прилетел из Караганды хирург Петр Михайлович Немынов. Были приняты все профилактические меры: против заражения крови, против столбняка, против пневмонии...

То и дело появлялась дежурная сестра:

— Райса Петровна! Сорок человек пришли и предлагают кровь для Котешкова.

— Поблагодарите, скажите, есть.

...Камфора, морфий, кофеин, спирт, чай, искусственное питание...

— Райса Петровна, пришли, предлагают кожу для Котешкова.

— Поблагодарите. Объясните, что при таких ожогах подходит только кожа близнеца.

В палате стоит постель для Полины. Круглые сутки дежурят врач и сестра. Целый день у больницы толпятся целинники. Не отходят от больного его друзья: директор совхоза Воробьев, секретарь парторганизации Танаев, председатель рабочкома Боярский, главный агроном Рогов. То и дело звонят из обкома.

Котешков спокоен. Удивительно спокоен и рассудителен. То ли воля такая нечеловеческая, то ли не понимает, что происходит. Ему больно. Ему должно быть нестерпимо больно.

В целинной совхозной больнице был отведен первый смертельный удар. Трое суток борьбы сделали возможным эвакуировать больного. Снова появился специальный самолет. Хирург Щербак и бортфельдшер Василенко сопровождали его до Караганды.

Центральная клиническая больница. Лучшие силы медицины. Консилиум. Летят телеграммы в Москву. Заведующий отделом обкома звонит в ЦК партии. Секретарь обкома разговаривает с министром здравоохранения. Кто-то из Москвы спрашивает заведующего облздравотделом Антрейкина:

— Вы разве не врач? Ведь смертельная граница тридцать процентов, а у него семьдесят...

— Я врач. Но это человек необыкновенный. Это непостижимая воля.

Два дня борьбы за жизнь Котешкова в Караганде дали возможность эвакуировать его в Москву.

Аэродром. ИЛ-18. Это не санитарная машина, но самая надежная. В ней пассажиры. Освободили лучшее отделение, и каждый старался уступить свое место сопровождающим.

Машина в воздухе. Летит красавец ИЛ-18 над просторами Родины и несет борца, героя, коммуниста. И более пятидесяти человек следят за его полетом, ждут его. В Ожоговом центре сестры и няни готовят отдельную трехместную палату, главные специалисты по хирургии и терапии Мини-

стерства здравоохранения Анохин и Кузнецов проверяют, все ли готово к приему. Освобождается посадочная площадка на аэродроме для идущего раньше времени самолета. Ждут профессора, доктора наук, врачи. Собирается цвет советской хирургии в области ожогов.

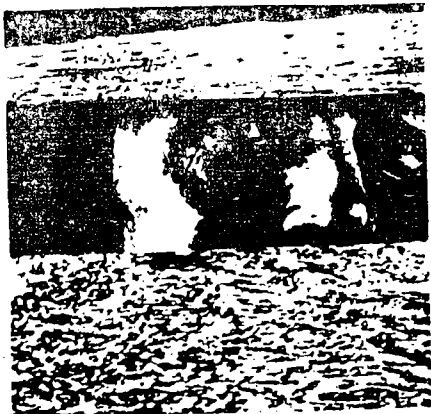
Первый консилиум: главный врач института хирургии имени Вишневского Сергей Иванович Смеловский, руководитель Ожогового центра профессор Михаил Израилевич Шрайбер, доктор медицинских наук Тигран Моисеевич Дарбинян, кандидаты наук Леонид Иванович Васильев и Борис Львович Гельман, научный сотрудник Станислав Константинович Завьялов.

Самое передовое, чем располагает мировая хирургия и мировая наука об ожогах, применяется к Котешкову. Каждое утро на специальной врачебной конференции светила советской медицины обсуждали вопрос: состояние Котешкова и дальнейшие меры борьбы за его жизнь.

Все сделала Родина, что могла. Но не достигла еще медицина таких вершин, чтобы дать человеку новый покров на всем теле.

С воинскими почестями, как павшего в бою воина-героя, похоронили в Москве на Пятницком кладбище Владимира Дмитриевича Котешкова. Гроб с телом несли директор совхоза, председатель рабочкома, трактористы, комбайнеры, представители комсомола столицы.

Они жили как герои и погибли как коммунисты, и слава о них будет передаваться из уст в уста, из поколения в поколение и, как чудесная сказка о богатырях, как величие эпохи, будет жить в веках.



КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ

В матросском клубе девушки танцевали с водолазами. Парни были сильные и широкоплечие. Но и среди них выделялась фигура Николая Бапшового. Новая форменка обтягивала грудь. Точно шлифованные лопасти, выпирали на спине косые мышцы. Он стоял у колонны, заложив назад руки, привыкшие вязать морские узлы из корабельных стальных тросов. Брови большие, черные.

— Что ж не танцуете, моряк? — смеясь, спросила Верочка, одна из стайки девушек, проходивших мимо Николая.

— Не умею.

Остаток вечера Николай пабирался храбрости. Когда стали расходиться, Вера задержалась у зеркала, и Николай ринулся к ней — будь что будет!

На следующий день они пошли в кино. Потом Вера учила его танцевать. После шестой встречи он сказал:

— Ухаживать я не умею, сама видишь. Давай поженимся.

Верочка рассмеялась, хотя шутка ей не понравилась. Потом поняла, что он говорит серьезно, и испугалась.

— Дурехи девки, — укоризненно сказал Николай. — Когда всякие пижоны их обманывают, они млеют, развесив уши, и верят. А если от всей души морской — подвоха ищут.

— Ну как же можно так скоро! — возмутилась она. — А если характерами не сойдемся?

— Про характер это специально для разводов придумывают. Я, например, с личным составом всего корабля сошелся характером. А тебя целая фабрика любит. Что же нам друг перед другом характер выказывать?

Она поверила. Поверила этим ясным глазам. Спустя несколько дней пошли в загс. Служащий просмотрел их документы, записал фамилии в какие-то книги и сказал:

— Вам дается три дня для последних размышлений. Если ничего у вас не изменится, приходите. Оформим законный брак.

Они не знали о таком порядке.

— Вот что, — обрадовалась Верочка, — давай эти три дня не встречаться. Пусть каждый из нас подумает наедине с собой.

Она понимала, что «испытательный срок» ничего не изменит в решении Николая. Мысли у него ясные и простые, все обдуманно и крепко, как крепок он сам. События, неожиданно и резко изменившие ее жизнь, пугали, но она верила в хорошее. Полагалась уже не так на себя, как на него. С ним не будет страшно. Но в душе словно царапало что-то: уж очень все молниеносно, прямо перед людьми совестно. И она обрадовалась этим трем дням. Они как бы государственная проверка, после которой можно со спокойной совестью идти в загс.

Условились встретиться на четвертый день в двенадцать часов. Она говорила:

— Если ты передумаешь, ничего не надо объяснять. Просто не приходи. А если меня к двенадцати не будет дома, тоже не ищи и ни о чем не спрашивай.

Николай слушал улыбаясь.

За пятнадцать минут до назначенного срока три подружки, помогавшие Вере убирать комнату, расцеловали ее и убежали, чтобы не встретиться с Николаем: в этот торжественный момент они должны быть только вдвоем.

Вера была в белом платье. Она посматривала на часы и волновалась. Но ей не хотелось, чтобы он пришел и раньше времени. Пусть ровно в двенадцать. Пусть полностью истечет срок.

На следующий день, смущенная, растерянная, каким-то безразличным тоном сказала подругам:

— Передумал... Это его право... На то и давались три дня.

Она не плакала. Ее успокаивали: человек военный, могли задержать по службе, может быть, завтра придет.

Он не пришел ни завтра, ни на следующий день. Вера

решила уехать в Белгород к матери. Пошла в райисполком за какой-то справкой. Долго ходила по незнакомым коридорам. Забрела не на тот этаж. Остановилась пораженная, увидев на двери надпись: «Депутат Севастопольского горсовета Николай Иванович Баштовой принимает избирателей по личным вопросам в первую среду каждого месяца от 5 до 9 часов вечера».

Не могла оторвать глаз от таблички.

— Сегодня приема нет, — услышала чей-то голос.

— Кто этот Баштовой? — выдохнула она наконец.

— Как — кто? Депутат... Водолаз, член партийного бюро части.

Держась за стены, Вера спустилась вниз.

«Значит, не передумал, а просто не собирался жениться. Иначе не скрыл бы своих чинов и званий. Как же принимает он «по личным вопросам»? Какое право на это имеет?»

Она рассеянно шла, никуда не глядя, и уже у своего дома, завернув за угол, остановилась пораженная. Навстречу ей, качаясь из стороны в сторону и балансируя руками, шел Баштовой, едва удерживая равновесие. Бескозырка была сбита набок, волосы лезли на мутные остекленевшие глаза.

Увидев Верочку, он рванулся к ней и еще издали заплетаящимся языком заговорил:

— В-верочка... поп-нимаешь...

С Баштовым поравнялась машина и резко затормозила. Из нее выскочили морской офицер и два матроса с красными повязками на рукавах: военный патруль.

— Вот он, голубчик, — сказал кто-то из них.

Верочка прижалась к стене. Ей слышно было, как Николай пытался доказать, будто он не пьян, она видела, как моряки взяли его под руки и втащили в машину.

Что же случилось с Баштовым?

Почему не пришел он в назначенный час?

Все свои двадцать три года он прожил честно. Еще совсем мальчишкой стал взрослым, потому что шла война. Мужчин в селе не осталось. Он просился на фронт, его не пускали: молод. Но настало время, когда сказали: приходите с вещами.

Николай попал в запасный полк, в роту противотанковых ружей. Мучительно долго текли месяцы учения. И вот наконец полк погрузился в вагоны.

Эшелон приближался к фронту.

На остановках Николай бродил по перронам незнакомых станций, на продпункты шел не торопясь, как бывалый воин.

Рапеным, возвращающимся домой, безразличным тоном солидно говорил: «Да вот на фронт едем».

На какой-то станции выдали автоматы. Значит, теперь близко. Поезд шел по чужой земле. Все чувства смешались: собственное достоинство, гордость, что-то огромное, захватывающее и где-то, казалось, за пределами сознания, — тревога. Но она заглушалась свесршившимся: едет на войну.

Сколько читалось о старых войнах, о подвигах в этой войне. Но то была лишь романтика, далекая от его жизни. Теперь в руках автомат и все реже остановки эшелона. В голове какая-то смесь из книг Толстого и Николая Островского, но все это неотчетливо, неясно. Он не вспоминал произведений, но когда-то прочитанное всплывало как собственные туманные мысли. Это были даже не мысли, а ощущение, будто заполнен он чем-то, все его существо стало другим, и весь он другой. Он знал, что совершит подвиг и этот момент близок.

На прифронтовой станции эшелон загнали в тупик и объявили: война окончилась.

Великое всеобщее ликование захлестнуло его, но к этому радостному чувству примешивалось что-то обидное. Будто прав особых на эту радость не было. Не было его доли в победе. Теперь уже не свершить подвига.

Запасный полк отведен на переформирование. Тех, кто отслужил свое, отправляли домой, а новичков — кого куда. Желаящим предоставляли возможность идти в военные училища. В полк приехал капитан-лейтенант, который сообщил, что объявлен набор в водолазную школу. Он никого не агитировал, а просто рассказывал ребятам о жизни водолазов. Ничего подобного Николай никогда не слышал.

На дне морей и океанов и поныне лежит несметное количество кораблей. В течение многих веков они гибли от ураганов и штормов, шли ко дну в результате столкновения, их топили в бесчисленных войнах. Только в Северной Атлантике в мирное время ежегодно сталкиваются триста шестьдесят судов. Многие из них тонут вместе с ценностями, находящимися в трюмах. В редких случаях эти богатства удается извлечь из морских пучин. Но чем большие глубины осваивает человек, тем реальнее становятся возможности поднимать затонувшие ценности. Вот почему все страны мира — ученые и практики-водолазы — ведут неустанную борьбу, отвоевывая у моря все новые глубины.

В двадцать первом году, столкнувшись в тумане с другим судном, затонул английский пароход «Иджипт», на борту ко-

торого находились золотые слитки стоимостью миллион фунтов стерлингов. Потребовалось почти пятнадцать лет, чтобы поднять золото. И хотя часть его осталась где-то в морских пучинах, это была немалая победа водолазов. Удалось спасти золотые слитки на два миллиона фунтов стерлингов и с затонувшего английского судна «Ниагара». Подобных примеров единицы. Тысячи кораблей с богатствами лежат на дне моря и ждут своей очереди. В первой мировой войне было потоплено 178 немецких подводных лодок. А надводных кораблей? А потери всех стран в бесчисленных войнах, какие знает мир? Все это тоже богатства, и покоятся они на дне морей и океанов. С незапамятных времен скапливаются там золото, драгоценности, сокровища мирового искусства и древней культуры. И поныне бесчисленные экспедиции на всех широтах и долготах ищут затонувшие сокровища.

Капитан-лейтенант рассказал ребятам, что в Британском музее хранится уникальное произведение античной древности — фриз Парфенона, поднятый с морского дна. В самом начале девятнадцатого века под благовидным предлогом «сохранить в целости» его разобрал на части и вывез из порабощенной турками Греции английский дипломат лорд Элгин. Судно, куда погрузили этот ценнейший груз, по пути в Англию затонуло. Два года изо дня в день уходили под воду люди, нанятые Элгином, пока не подняли все скульптуры, которые и продал лорд Британскому музею.

На протяжении веков в морских пучинах обнаруживаются все новые произведения античного искусства, затонувшие до нашей эры. Спустя столетие после истории с фризом Парфенона, украденным Элгином, греческий охотник за губками Стадиатис обнаружил в тунисских водах близ порта Махдия множество произведений древнего искусства, затонувших более двух тысяч лет назад.

— Вот как пишет об этой находке знаток подводного царства Патрик Прингл, — сказал капитан-лейтенант и прочитал: — «Достигнув грунта, Стадиатис, все мысли которого были сосредоточены на поисках губок, испугался при виде этих, казавшихся живыми предметов: огромных белых лошадей, то вздыбленных, то лежавших на спине вверх копытами; обнаженных мужчин и женщин белого или бронзового цвета, в большинстве случаев наполовину зарывшихся в ил... В панике он дал сигнал подъема».

Богатства, талящиеся на дне морей и океанов, столь фантастически велики, что сейчас трудно даже представить, какую огромную пользу принесут они человечеству, когда лю-

ди освоят большие глубины и смогут находиться там длительное время. А освоение это идет удивительно быстро. Забегая далеко вперед, скажу, что именно за освоение глубин, на которые еще не спускался человек, Николай Баштовой и удостоился впоследствии звания лауреата Государственной премии.

Совсем недавно казалось немыслимым бурить морское дно и извлекать оттуда нефть. Сейчас этот процесс широко освоен не только у нас, но и в других странах. Люди научились на дне моря плавить металл, воздвигать сложные сооружения, пользоваться там новейшими достижениями техники. Водолазы взрывают под водой стальные входы в кладовые затонувших судов, переборки, палубы, открывая путь к сокровищам. Подводные фото- и киносъемки, подводное телевидение служат не только для удовлетворения эстетических потребностей человека, но и широко используются в аварийно-спасательной службе.

Рассказы морского офицера из водолазной школы открыли перед Николаем Баштовым, имевшим всего четырехклассное образование, и удивительный мир обитателей морей. Оказывается, вопреки множеству описанных в книгах случаев, передаваемых из уст в уста, акула не нападает на человека. Схватка между ними может произойти лишь в том случае, если нападет человек.

Легендой оказалось и все, что Николай знал о страшных осьминогах. Кому из ребят не известно, что осьминог захватывает свою жертву огромными щупальцами, тысячами сосков присасывается к ней и держит, пока не вытянет всю кровь. Вот это как раз и оказалось легендой. Тысячи сосков у осьминога только для того, чтобы удерживаться на отвесных подводных скалах или камнях. И он тоже не нападает на человека, если его не трогать. Бывали случаи, когда осьминог захватывал водолаза, но достаточно было ударить животное между глаз, и беспомощно поникали его щупальца.

Как правило, морские хищники смертельно боятся пузырьков воздуха, выскакивающих из-под шлема водолаза при выдохе. Завидев пузырьки, хищники обращаются в бегство. В худшем случае они могут с опаской наблюдать со стороны, не подплывая к водолазу. Конечно, могут быть, да они и известны, случаи из ряда вон выходящие, когда хищник ведет себя по-другому, но это лишь редчайшие в мире исключения.

Особый интерес у Баштового вызвал рассказ о том, как действуют люди-торнеды. Это не самурайские смертники, об-

реченные на гибель вместе со своей торпедой, а водолазы. Еще в первую мировую войну итальянцы Паолуччи и Розетти создали торпеду с двумя отделяемыми магнитными мишами замедленного действия. На специальный катер они погрузили свой аппарат, пересекли Адриатическое море и ночью высадились на воду близ югославского порта Пула. Усевшись верхом на торпеду, направились в гавань к австрийскому линкору. И аппарат и диверсанты двигались под водой. На поверхности оставались только головы людей. Диверсанты были одеты в резиновые костюмы с воздушными карманами, и это давало возможность не только без усилий держаться на воде, но и легко управляться с торпедой. Они имели возможность выпустить из карманов воздух или вновь заполнить их, в зависимости от того, надо ли им укрыться под водой или всплыть на поверхность.

На пути к линкору Паолуччи и Розетти встретили массу препятствий. Они перетаскивали свою торпеду через боны и заградительные сети, она тонула, но они извлекали ее со дна и снова двигались к цели. Достигнув линкора, поставили дистанционный взрыватель на полчаса, чтобы за это время уйти в безопасное место, и приложили магнитные мины к днищу судна. Уйти, однако, им не удалось, так как было уже светло и их заметили. Но это не помешало взрыву, который произошел в назначенное время и вывел из строя боевой корабль.

Опыт Паолуччи и Розетти был значительно шире применен во второй мировой войне. Обычно во всех портах ставятся бесчисленные заграждения, которые надежно закрывают вход для вражеского подводного и надводного флота. Закрывать путь небольшой торпедой, сопровождаемой диверсантами, едва ли возможно. Они легко проделывают отверстия в заградительных сетях, без каких-либо усилий обходят мины и другие препятствия, губительные для кораблей. Это обстоятельство и позволило им совершать ряд крупных подводных диверсий во второй мировой войне.

Окончательно Баштовой решил идти в водолазное училище, когда услышал историю «Черного принца».

17 декабря 1923 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского была создана «Экспедиция подводных работ особого назначения на Черном море», сокращенно — ЭПРОН. Первая поставленная перед ней задача сводилась к тому, чтобы отыскать на дне моря «Черного принца» и, если там действительно есть золото, извлечь его из морских глубин.

Что же это за «Черный принц», о котором ходило нема-

до легенд? Это судно, и отнюдь не мифическое. Во время Крымской войны, как известно, против России выступили Англия, Франция, Турция и Сардиния. На стороне коалиции был еще ряд стран, открыто не участвовавших в войне. Объединенные силы противника устремились к главной военно-морской базе русских — Севастополю. Защитников города было неизмеримо меньше, чем вражеских войск, но севастопольцы удерживали город триста сорок девять дней. Врагу они оставили развалины, да и то находившиеся под обстрелом с северной стороны Севастопольской бухты, куда отошли русские.

В этой войне Россия имела только парусный флот, а противники — моторный. После многомесячной осады русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу. 11 сентября 1854 года корабли были затоплены так, что полностью закрыли для врага вход в Севастопольскую бухту. Вражеский флот вынужден был базироваться в Балаклаве. В начале ноября, не по-крымски в тот год холодном, туда начали подходить многочисленные вражеские суда со снаряжением, боеприпасами и обмундированием. Среди них были американские транспорты и корабли объединенных сил противника.

Спустя две недели о судьбе этих судов сообщала вся мировая печать. «Лионский курьер» писал: «4 ноября на рассвете буря началась проливным дождем при жестоком ветре, который быстро превратился в ураган. К 9 часам после некоторого затишья ветер внезапно перебросило к западу с невообразимой силой и яростью. Вся масса кораблей, загнанная к северу, стремительно понеслась к скалам, где ей угрожало совершенное разрушение.

В Балаклаве восемь больших английских транспортов погибло с людьми и грузом, их разбило об исполинские скалы, окружающие внешний рейд. Ни один из них не мог войти в тесный ход гавани при такой бурной погоде».

Английское адмиралтейство сообщило названия кораблей, нашедших гибель на подходах к Севастополю. Среди них было названо и паровое судно «Принц».

Это оказались только первые ласточки. Со второго по четырнадцатое ноября у Балаклавской бухты затонуло более тридцати вражеских судов. Особенно большой потерей для врага был пароход «Принц», которому еще в те времена в России дали название «Черный принц».

Из многочисленных сообщений печати и официальных данных стало известно, что на борту этого парохода, кроме

теплого обмундирования, находилось большое количество золотых денег, предназначенных для выплаты жалованья войскам за длительное время.

Водолазам объединенных сил противника не удалось найти «Черного принца». Почти семьдесят лет спустя, когда задача неизмеримо усложнилась, за это дело взялись и успешно решили его советские водолазы. В том месте, где затонул «Черный принц», глубина доходила до ста двадцати метров. Но судно зацепилось за выступ подводной скалы в шестидесяти метрах от морского дна и застряло там. Водолазы подняли с него ряд деталей, свидетельствовавших, что это действительно «Черный принц». Возможно, золото высыпалось из многочисленных пробоин, полученных судном при катастрофе, и за долгие десятилетия монеты занесло илом и камнями, может быть, покрылись они ракушечником таким толстым слоем, что потеряли всякую форму, но так или иначе время свершило свое дело: найти золото не удалось.

Но работа водолазов принесла неоценимую пользу. С морского дна было поднято много металла и ценных материалов, в которых остро нуждалась страна.

История «Черного принца» на этом не закончилась. Японские официальные органы заявили, что они берутся извлечь золото с «Черного принца» и готовы для этого снарядить собственную экспедицию, оснащенную передовой по тому времени водолазной техникой. Советское правительство приняло предложение, и был заключен контракт, по которому японцы обязались:

1. Оплатить советской стороне все расходы ЭПРОНа, нашедшего судно.
2. Обучить советских водолазов новой технике подводных работ.
3. Передать советской стороне половину золота, которое удастся поднять.
4. Все работы проводить под полным контролем советской стороны.

Японцы выполнили все свои обязательства. Они затратили много времени, сил и средств и золото нашли: семь монет. Спустя много месяцев после начала работ, убедившись в их бесплодности, водолазы прекратили дальнейшие поиски.

Рассказав историю «Черного принца», морской офицер добавил, что первые самостоятельные спуски молодые водолазы совершают на это судно.

Вместе с группой ребят Николай Баштовой сменил солдатскую форму на тельняшку и морской бушлат.

Учился водолазному делу. На дне моря узнал, что такое война. Он увидел затопленные, изуродованные линкоры, крейсера, подводные лодки, самолеты, катера, транспорты. Увидел тысячи и тысячи неразорвавшихся бомб, торпед, снарядов. Наших и немецких. Морские мины лежали на грунте; плавали на разных глубинах, на поверхности.

В фантастическом хаосе послевоенного морского дна были свои улицы, переулки, площади, тупики. Были баррикады из якорей, цепей, тросов, обломков.

Черноморские порты и курортные пляжи таили опасность. Водолазам предстояло освободить от пут, оставленных войной, советское побережье Черного моря.

На первое серьезное задание Баштовой пошел с сознанием важности предстоящей операции. На грунте лежала немецкая подводная лодка. Надо было осмотреть ее, определить, в каком положении она находится, насколько занесена илом, какие имеет повреждения. Одним словом, доложить с исчерпывающей ясностью и полнотой обстановку на грунте.

На палубе раздалась команда:

— Водолазу Баштовому приготовиться.

Он надел шерстяное трико, свитер и вязаную шапочку, с трудом влез, как в мешок с узкой горловиной, в огромный водолазный костюм из толстой резиновой ткани. Натянул штанины, встал, прижав руки по швам, и четыре матроса с четырех сторон взялись за горловину, толстую, как протектор автомобильной покрышки. Под команду сильными рывками растягивали ее, поднимая вверх, пока не перетасчили через плечи. Теперь он оказался по самую шею в просторном костюме и легко просунул руки в рукава. На плечи положили медную манишку, а сверху почти пудовый круглый шлем и прижали его тремя болтами. На груди и на спине закрепили грузы, всунули его ноги в свинцовые галоши, тоже в пуд каждая, затянули ремни, закрутили иллюминатор, привязали нож и фонарь.

— Как слышимость? — раздался в шлем гулкий голос, похожий на эхо.

— Хорошая.

— Проверьте воздух!

— Хорош! — сказал Баштовой, и это слово через автоматически действующий телефон разнеслось по палубе.

— Приготовиться к спуску! — звучит новая команда.

И вот он уже под водой.

Погода стояла ясная, солнечная, глубина сравнительно небольшая, видимость отличная. Вскоре он сообщил наверх:

— Подо мной метрах в шести лодка.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг заметил, что на мостик из люка поднялся человек, должно быть командир. Вслед за ним вылезло человек десять матросов. Открылись крышки торпедных аппаратов, заработали винты, лодка стала медленно подниматься.

Взволнованно, заплетающимся языком он передавал наверх все, что видел. Но на палубе никто не удивился этому невероятному сообщению.

Дело в том, что при повышенном давлении газы, которыми дышит человек, ведут себя предательски. Кислород на глубине более двадцати метров отравляет организм. На большой глубине вдох кислорода может быть смертельным. В лучшем случае человек теряет сознание, а потом долго бьется в судорогах. Кислородное отравление наступает мгновенно, и водолаз не успевает что-либо сделать, не успевает даже сообщить наверх о несчастье. Поэтому величайшая ответственность лежит на человеке, сидящем с наушниками у пульта. Он обязан непрерывно поддерживать связь с водолазом, чтобы уловить момент, когда с тем что-то случится.

Азот под давлением превращается в сильнейшее наркотическое средство. Водолаз, отравленный азотом, поет, что-то бормочет... Перед ним возникают миражи. И он сообщает наверх, будто видит на дне моря дымящиеся домны, эскадры, ведущие бой, и другие небылицы. Водолаз не понимает, в каком состоянии находится. Его охватывает веселье, он становится удивительно легкомысленным и может совершить самый безрассудный поступок. Бывали случаи, что человек в легководолазном снаряжении выплевывал загубник, через который дышал, и через несколько минут умирал.

Услышав странный доклад Баштового, водолазный специалист, наклонившись к самому микрофону, сказал:

— Не беспокойтесь, лодка пройдет мимо.

Он велел поднять Баштового на пять метров и спросил, как тот себя чувствует. Николай ответил, что самочувствие отличное, что видит лежащую на грунте лодку, облепленную ракушками и водорослями, и не понимает, почему прекратили спуск. И этот его ответ был понятен. Как только человека поднимут из сферы, где азот действует отравляюще, он приходит в нормальное состояние. Он не помнит, что с ним происходило.

Так получилось и на этот раз. Трижды спускали Николая к лодке, и трижды возникал перед ним мираж. Спуски пришлось отменить.

Было еще два подобных случая, но с течением времени организм привык к глубинам и галлюцинации прекратилась.

Задания, которые он выполнял, становились все сложнее.

На глубине более восьмидесяти метров близ водной спортивной станции и пляжа пионерского лагеря нашли мину. Обыкновенную морскую мину, которая может разорвать стальную броню большого корабля. Баштовому велели приготовить ее к подъему, чтобы потом отбуксировать эту опасную штуку от людного места.

Водную станцию и пляж временно закрыли. Кое-кто был недоволен. «Куда смотрят люди, — говорили они, — и как допускают, что до сих пор на пляже мины».

Те, кто так говорил, были неправы. Они просто не знали, что такое морская мина. Обнаружить в воде металл легко. Но металла много. На дне остались железные и стальные части затопленных кораблей не только времен второй мировой войны, но и периода прошлых войн. Осталось много обломков, якорей, цепей. И приборы будут все время показывать присутствие металла. Значит, приборами мину не найдешь. Ее легко уничтожает тральщик. Заденет мину тралом — вот и конец ей.

Так может быть. Но не всегда. Есть мина хитрее и умнее. Ее аппаратная часть недаром напоминает внутренности мощного радиоприемника. Там столько цветных проводков, что в них сам черт ногу сломит. И не зря их понацепляли. Через них идет ток к приборам срочности и кратности. Скажем, установили срок взрыва год — и раньше не взорвется. И трал не поможет. А когда истечет срок, начнет действовать прибор кратности. Пройдет, скажем, тральщик раз пять, все дно перевероршит, можно бы считать район свободным от мин, а у мины, оказывается, кратность — одиннадцать. Значит, еще пять кораблей пройдут над ней невредимыми, а одиннадцатый она взорвет.

Как же искать мины? Пройти со щупом каждый квадратный метр морского дна на протяжении тысяч километров? Да и то не всегда найдешь. Морское дно не бетонная дорожка. Там, где сегодня яма, завтра может оказаться бу-гор, а под ним — мина.

Баштовому приказали приготовить мину к буксировке. Пока она лежала на палубе или в трюме какого-то корабля, ее свинцовые рога были покрыты стальными предохранительными колпаками. В маленькой открытой коробочке на ее теле поршеньек с пружинкой прижимал кусочек сахара.

Обыкновенного, какой кладут в чай. Когда мину сбросили в воду, сахар растаял. Поршеньек уперся в кнопку, привел в действие весь предохранительный механизм — и стальные колпаки прыгнули в разные стороны. Остались чувствительные и подаглизые свинцовые рога. Ткнутся они во что-нибудь — и сломаются внутри них тончайшие стеклянные колбочки. Все. Взрыв.

Мина послушна. Но только тому, кто ее снаряжает. Захотят — она будет плавать на поверхности. Могут заставить ее встать на любой глубине или лечь на грунт.

Мина Баштового лежала на грунте. Значит, так хотели те, кто бросил ее туда.

И вот теперь с ней надо что-то делать. Подходить со стальным или железным инструментом нельзя. Она может быть магнитной. Не успеешь прикоснуться, как возбудится магнитное поле — и взрыв.

На Баштовом был антимагнитный костюм. Это еще не означало, что можно смело подходить к мине. Она могла быть звуковой. Стукнешь случайно чем-нибудь о камень или заденешь ее свинцовой галошей — наверняка взрыв.

Баштовой приблизился к мине бесшумно, дождался, пока осел ил. И все равно видны были только ее очертания. На глубине ведь темно. Свой мощный фонарь он не взял. Ни к чему. Мина может быть световой. Она не вынесет даже тусклого лучика и взорвется.

Едва прикасаясь к металлу, оцупал всю поверхность и обнаружил крохотный экранчик. Так и есть — световая. Начи поднимать ее, она, не дойдя немного до поверхности, где-то в верхних слоях воды, восприняв свет, бабахнет, и все.

Баштовому спустили с водолазного судна специальный состав, и он замазал экран. Подождал немного и для верности покрыл его вторым слоем. Только тогда потребовал фонарь.

Мина глубоко сидела в грунте, и, что таила скрытая часть, было неизвестно. Стало ясно лишь, что кольцо, которое для того и делается, чтобы за него зацепить трос, находится снизу. Он долго разрывал руками грунт и убедился, что никакие новые неприятности его не ждут. Оставалось застропить мину мягким канатом, завязать этот шар так, чтобы канат не сдвинулся и не коснулся рогов, когда рванут мину вверх. Баштовой и это сделал. Второй конец короткого каната прикрепил к резиновому пенадутому понтону, который лежал пока на грунте в нескольких метрах от мины. Когда все было сделано, Баштового подняли на палубу.

Медленно стали накачивать воздух. Уже, казалось, понтон падут, но мина держала его. Компрессор гнал воздух. Понтон набрал максимальную мощность и вырвал ее с грунта.

Понтон плавал на воде, а под ним висела мина. И снова Баштовому пришлось идти к ней. Он проверил стропку, привязал к понтопу трос от буксирного катера. Все. Теперь водолазу здесь уже нечего делать. Мину уволочут на буксире куда-нибудь подальше, и минеры что-то с ней сделают. Может быть, взорвут, а возможно, вытащат на пустынный берег и разберут.

Баштовой научился работать с минами. Он знал: морская мина, как и противопехотная, — всегда тайна. Только в пять тысяч раз больше ее взрывная сила; только ощупывать ее надо во мраке, бесшумно; только ложась возле нее, чтобы ощупать низ, падо не забывать, что тебя может перевернуть вверх ногами; только работать надо скованными, онемевшими руками, в громоздком костюме, увешанном грузами, и не забывать вовремя прибавить или убавить дыхательной смеси, чтобы не задушило и не выбросило наверх.

Баштовой поднимал корабли, бомбы, торпеды. По цвету воды научился определять глубину, на которой находится. Он мог передвигаться в нескольких сантиметрах от грунта, не ступая на него, чтобы не потревожить ил. На дне моря провел несколько тысяч часов, исходил немало километров: Феодосия, Керчь, Потти, Ялта, Сухуми, Батуми, Севастополь... Он узнал все глубины, рифы, профили грунта. Он знал теперь морское дно как собственный поселок. Он стал непревзойденным мастером морских глубин.

Вот тогда-то Николай и решил жениться на Верочке. За день до назначенной встречи ему предстоял спуск под воду, а следующие два дня были свободными. Он знал, что не опоздает и ровно в двенадцать придет к ней.

Под водой ему предстояло найти и обследовать затопленный теплоход «Серов». В том месте, где его спустили, корабля не оказалось. Куда идти — неизвестно. Он искал долго. Срок пребывания на грунте кончался. Ему не хотелось возвращаться ни с чем. Сам не зная почему повернулся и пошел в другом направлении. Вскоре показалось, будто с той стороны, куда он двигался, нависла огромная тень. Пошел быстрее, хотя сил оставалось мало.

Водолазы не переносят под водой ни тени, ни звука. Это, как правило, связано с неприятностями. Это значит, что появилось что-то постороннее, и водолаз будет нервничать и

настороженно искать, пока не найдет источник звука или тени.

Озираясь, Баштовой двигался навстречу тени. Неожиданно выросла перед ним громада, и он отчетливо увидел надпись: «Серов».

Теперь, казалось, можно подниматься. Но он попросил разрешения влезть на палубу затонувшего судна и закрепить там конец, чтобы для других водолазов это была направляющая прямо на «Серова».

Он прибавил в скафандр воздуху. Ровно столько, чтобы стать невесомым и легко всплыть. Прибавишь чуть-чуть больше — выбросит наверх.

Всплывая на палубу, следил, чтобы ноги ни на миг не оказались выше уровня головы. Это почти всегда смертельно: воздух устремится в штанины, грузы па спине и груди потянут вниз и его перевернет вверх ногами. Он успеет сообщить о несчастье на корабль, но быстро поднять его не смогут: это наверняка смерть. Чем больше давление, тем больше газов растворится в тканях и крови. Если быстро поднять человека, газы в виде шариков рванутся из организма, как из открытой бутылки шампанского. Но выхода у них нет. Они закупорят, разорвут кровеносные сосуды.

Он благополучно взобрался на палубу «Серова», очень торопливо, но накрепко привязал стальной тросик к какому-то поручню и потерял сознание.

Очнулся от сильного звука. Это радист, наклонившись к микрофону, кричал: «Баштовой, Баштовой, почему не отвечаете? Что случилось?»

Николай спокойно сказал:

— Ничего не случилось. Готов к подъему.

Во время подъема еще раз на короткое время терял сознание. Это был результат перегрузки от быстрых и резких движений.

На палубе его положили в декомпрессионную камеру на сутки. Она похожа на барокамеру, какой пользуются летчики. Но там сильно разреженный воздух. Там устанавливают давление ниже атмосферного, какое было на большой высоте, и постепенно сводят к нормальному. Здесь, наоборот, сначала воздух сжимают до такого давления, какое испытывал водолаз на самой большой глубине, а потом на протяжении многих часов снижают до атмосферного.

Баштовой решил, что не опоздает к Верочке. Когда истек срок пребывания в камере, врач осмотрел его и велел остаться еще на двенадцать часов. Протесты Николая не помогли.

Как же ему теперь быть?

Баштовой сбегал с судна. Решил повидаться с Верой и тут же вернуться. Но по дороге начался приступ кессонной болезни. Это профессиональная болезнь водолазов, являющаяся результатом больших перегрузок под водой. Она доставляет человеку мучительную боль в костях, а внешне он становится похожим на пьяного. Его качает из стороны в сторону, и говорит он заплетающимся языком. В таком состоянии его и увидела Верочка возле своего дома.

В военной комендатуре, куда доставили Николая, недоумение быстро выяснилось, и его отвезли в госпиталь. Оттуда и получила от него записку Вера, за два часа до отправления поезда, на котором собиралась уехать из Севастополя.

Они поженились.

Николай вернулся к работе. Принимал участие в подъеме крейсера «Червона Украина», крупных судов «Грузия», «Абхазия» и других. Он мастерски владел электрическим и пневматическим инструментом, техникой сварки и резки металлов под водой, знал все виды подъемных и глубинных работ. Он перешел в высшую категорию, стал водолазом-испытателем.

Когда затонула подводная лодка и жизнь людей оказалась под угрозой, на их спасение прежде всего направили судно, где старшиной водолазной команды был Баштовой. Он же исполнял обязанности секретаря партийной организации. Перед тем как пустить под воду своих людей, он никакого инструктажа им не дал, не сказал напутственного слова. Сказал одну фразу:

— Углекислота на лодке приближается к трем процентам.

А что им говорить еще! Под воду пошли мастера глубин, такие же, как и сам Баштовой. Каждый из них за свою жизнь провел на дне морей и океанов не одну тысячу часов и смерть знал в лицо. Какие же им слова говорить, какие давать инструкции! Они знали: три процента углекислоты в воздухе — это смертельная граница. Значит, люди вот-вот начнут задыхаться.

Водолаз Анатолий Шведов нашел на дне лодку, постучал по корпусу, чтобы экипаж знал: водолазы действуют. Быстро закрепил направляющий тросик, по которому прямо к лодке спустилась группа водолазов с массивными шлангами подачи и отсоса воздуха. Открыли лючки и заглушки, соединили с лодкой шланги, сообщили наверх: готово!

Заработали насосы, надулись шланги. Ринулся в лодку

могучий поток свежего воздуха. Со свистом втягивались в другой шланг отравленные газы и вылетали на поверхность.

Это была первая, решающая победа. Это — жизнь. Лодка находилась в таком положении, что стало ясно: для подъема потребуется много времени. Обстановка осложнялась начавшимся ветром.

На лодку передали по телефону команду: извлечь торпеды из аппаратов, закрыть внутренние крышки и открыть наружные.

В специальных, герметически закупоренных пеналах водолазы опустили в торпедные аппараты горячее какао, спирт, необходимые продукты и теплое белье. По их команде из лодки закрыли наружные крышки и открыли внутренние. В лодку хлынула вода, увлекая за собой пеналы.

Теперь можно было спокойно готовиться к подъему лодки. Правда, спокойствие относительное, так как ветер усилился. В двенадцать тридцать ночи страшным порывом обрвало воздушные шланги и телефонный кабель от буя. Связь с лодкой прекратилась. Но это была не катастрофа: экипаж подводного корабля имел теперь все необходимое для длительного пребывания на грунте. В районе спасательных работ появились крейсера и встали, как волноломы, образовав искусственную бухту. Водолазы снова пошли на грунт, снова подвели шланги, восстановили связь. Они работали безостановочно, сменяя друг друга, пока могучие буксиры не вырвали лодку на поверхность.

Через несколько дней разыгралась трагедия, которую никто не мог предусмотреть.

Утром Николай ушел на свой корабль, сказав Вере и шустрому Сашке, что вернется на следующий день. Не знали они, жена и сын, что не вернется он ни завтра, ни через неделю, ни через месяц.

Баштовому предстоял спуск на очень большую глубину. Находиться в воде надо было не меньше шести часов. Он одевался на палубе, весь мокрый от нестерпимого солнца. Надел две пары толстого шерстяного белья, сверху меховой жилет и длиннющие меховые чулки. Матросы помогли натянуть тяжелый костюм глубоководника.

Он шагнул на специальную раму, сел на отведенное для него место. По другую сторону рамы сел второй водолаз — Сергей Рыков.

На раме укреплен колокол. В нем и произошла катастро-

фа. По форме колокол похож на вертикально поставленную, удлинненную железную бочку, у которой открывающееся внутрь дно, а наверху высокий купол. Когда раму опустят, вода под купол не попадет, хотя крышка внизу будет открытой. Останется воздушная подушка, как остается она в перевернутом вверх дном стакане, если отпустить его в воду.

Выполнив задание на дне моря, водолазы сядут на свои места на раме, и начнется подъем. На определенной глубине они поднырнут под колокол, влезут в него, упрутся ногами в железный обруч, на который ляжет крышка, когда ее закроют. С пульта управления, приняв сообщение водолазов о том, что они находятся в колоколе, начнут подавать туда воздух, который вытеснит воду. Тогда водолазы закроют крышку, встанут на нее, открутят друг на друге иллюминаторы, отпустят болты и снимут шлемы. Уже там, на глубине начнется декомпрессия. По мере подъема давление будут снижать. На корабле колокол подгонят и прижмут к декомпрессионной камере. Откроются внутрь крышки колокола и камеры, и водолазы перейдут в нее, не выходя на палубу.

А пока Баштовой и Рыков сидят на раме.

Раздается команда:

— Приготовьтесь к спуску!

Взвиваются на мачте флаги: «Под водой люди». Искрится вода на солнце. Море тихое, спокойное, ясное. Только вечные чайки кричат и бьются за жалкие крохи, выброшенные за борт коком. Ухватив добычу, глотая на лету, несутся прочь, а кому не досталось, кружатся, парят, будто просят: дайте, дайте, дайте...

Подрагивая, скользит стрелка на пульте. Глубина 10 метров, 20... 30... 50... Вода обжимает тело. Как резиновыми бинтами, схватило у щиколоток, обтянуло икры, колени. Тугим корсетом стянуло живот, ребра. Каждые десять метров давление увеличивается на одну атмосферу. И на столько же повышается давление воздуха в водолазном костюме, в легких, во всем организме.

По мере погружения Баштовой то и дело слышит:

— Самочувствие?

— Отличное.

Дрожит стрелка: 60... 70... 80... Море сжимает тело водолаза. Не отрывая глаз, следят за давлением у пульта.

...90... 100... 120...

— Самочувствие?

— Хорошее.

...130... 140... 150... Давление в груди Баштового шестнадцать атмосфер. Больше, чем в самом мощном паровозном котле. Такое же давление растворенных газов в крови, в тканях, в сердце.

Вода сжимает тело Баштового с силой в 288 тонн. Стоящий на палубе у пульта искусственно создает в организме Баштового такую же силу противодействия.

Уже не дрожит, уже трепещет стрелка.

Ниже... ниже... ниже...

— Видимость?

— Метр.

Ниже... ниже... ниже...

— Стоп! Стою на грунте.

Разрешение получено, можно приступать к работе. Баштовой подходит к Рыкову, водолазы обмениваются рукопожатиями, о чем-то говорят.

Я наблюдал, как разговаривают водолазы на дне моря. Удивительно трогательное зрелище. На дне моря ведь все не так. Человек видит окружающее точно под мутным увеличительным стеклом. Предметы кажутся ближе и больше, чем в действительности. Сравнительно крупную рыбу новичок может принять за акулу. А слышит человек не ушами, а костями. Если водолаз работает молотком, звуки ударов будут слышны стоящему рядом, независимо от того, открыты у него уши или он их накрепко заткнет. Если водолаз будет изо всех сил кричать что-либо на ухо своему напарнику, тот все равно ничего не услышит. Но достаточно им коснуться друг друга шлемами, как звук начнет передаваться, точно электрический ток по проводам.

Когда смотришь, как, прижавшись шлемами, стоят на дне моря водолазы, кажется, будто нежно склонились друг к другу и ласкаются какие-то существа с другой планеты, еще не научившиеся целоваться.

Пожелав друг другу удачи, водолазы приступили к делу. Николай пошел, а Сергей остался на месте. Он обеспечивающий. Он будет держать шланг Баштового, окажет помощь, если что-либо случится.

Николай шагнул в ледяной непроницаемый мрак. Вода бетонного цвета на расстоянии вытянутой руки превращается в железную броню. Будто замурованный. Ни рыб, ни водорослей, ни сказочных красот. Ничего. Небытие.

Баштовой идет. Он очень легок, водолаз, в воде. Вместе с пятипудовым грузом на груди и спине, вместе с галонами он весит не больше четырех-пяти килограммов. Едва оттол-

кнившись от грунта, он подпрыгнет на один-два метра. Но уже не биптами, а гипсом схвачено, сдавлено, сковано тело. Каждая мышца отдельно перебинтована. На большой глубине можно идти со скоростью не больше трехсот метров в час. Но целый час двигаться никто не сможет, не хватит сил.

Баштовой благополучно выполнил задание. Время пребывания под водой истекло, силы иссякли. Он получил приказ подниматься.

Он двигался к раме, стараясь не сделать резкого движения. Возле рамы услышал удар и подумал, что у него начались галлюцинации. Сергея Рыкова на раме не было. В ту же минуту раздался приказ сверху:

— Немедленно проверьте, что с Рыковым. Он не отвечает.

Разбросав руки, лежал близ колокола Сергей. Сил у Баштового прибавилось, он рванул вверх товарища и, когда лица их сблизились, увидел, что во рту у Сергея нет загубника, и понял, что это значит. Николай поднял Сергея так, чтобы голова вошла под колокол, заполненный газовой смесью, и влез туда сам. Теперь Сергею было чем дышать. Но он не вздохнул, не пошевелился.

Баштовой не знал, сколько времени Сергей лежал без загубника, не знал, держит он мертвое тело или человека, но понимал, что его надо держать в таком положении долго, пока не поднимут наверх.

Надо держать его вот так, как сейчас, или немного приподнять, но опускать нельзя ни на сантиметр, потому что вода доходит до груди, а маски нет, и, если еще жив человек, он захлебнется.

Предупредив Баштового, сверху начали подъем. Рама двигалась так же медленно, как обычно, и она будет делать такие же бесконечные остановки — только при этих условиях растворенные в организме газы постепенно выйдут через кровь и легкие и не изувечат человека.

Сверху передали совсем ненужные слова ободрения и печальные слова о том, что, пока он на большой глубине, помощи оказать не смогут. Николай знал это сам. На палубе оставались только молодые водолазы, не освоившие еще глубоководного снаряжения, и спускать их сюда — значит просто убивать людей.

Баштовой встал поудобнее, упершись спиной, привалил к себе Сергея так, чтобы его тяжесть приходилась не только на руки, но и на грудь и живот. И когда он выбрал эту удобную позу и прикидывал, как переменит ее, когда замлеют

руки, Сергей вздрогнул и изо всех сил ударил Николая свиной галошей и головой. Голова стукнулась о колокол, а удар галошей пришелся по кости ниже колена. И хотя этот удар был смягчен одеждой, все равно у Николая затуманилось в голове, он осел и хрипло выдохнул:

— За что?

Это был не то стон, не то глухой крик, но усиленный микрофоном, он разнесся по палубе. Матросы слышали удар о колокол и слышали Баштового, и каждый окаменел на том месте, где стоял. Только телефонист у пульта каким-то не своим голосом кричал:

— Баштовой! Баштовой! Что случилось?

В ответ снова раздался глухой удар, потом частые удары, бормотание, возня.

Хотя в голове у Баштового затуманилось, он все же успел подумать, что вельзя выпускать Сергея, потому что тот может захлебнуться, и даже обязательно захлебнется. А удары сыпались один за другим, и, озлобившись, он приподнялся и сдвинул своими железными руками Сергея, и тот перестал вырываться:

— Отвечайте же, Баштовой! Отвечайте! — надрывался телефонист.

— Да замолчи ты! Он в судорогах бьется.

Все поняли, что Рыков отравился кислородом. Понял и Николай. А руки уже ослабли, и Сергей снова стал бить головой и ногами. Из рта у него шла пена. Николай не мог перехватить рук и взяться поудобнее, потому что вода плескалась у самого подбородка и боязно было уронить человека. Операться на правую ногу он не мог и не знал, перебита она или нет. Зато головой ему удалось прижать голову Сергея к колоколу. Но когда он почувствовал удар в живот и левое колено, должно быть, съежился, потому что голова Сергея вырвалась.

— Вот проклятый! — выругался Николай и все же встал на правую ногу, так как левое колено совсем отнялось.

Он уже не мог защищаться, и только старался не упасть и не дать Сергею захлебнуться, и все бормотал:

— Не бей... Не бей по голове... Ну, не бей же...

Это бормотание, усиленное микрофоном и специальным устройством для увеличения разборчивости слов и очищения их от посторонних шумов, было отчетливо слышно наверху.

Рвануть бы лебедку на бешеные обороты, выхватить из глубины людей на эту солнечную палубу, на этот широкий

морской простор, располосовать одежду, дать им живительный воздух!.. Но он смертелен.

Несется по палубе гул из морской пучины. Солнце в зените. Плещутся на мачте яркие флаги: не приближаться, под водой люди. Море голубое, нежное...

Матросы не могут смотреть на море. Те, кто послабее, уходят вниз, в кубрики, чтобы ничего не слышать. Они молчат и не смотрят друг на друга. И хотя их много и они все вместе, невыносимое одиночество охватывает каждого, и нет сил оставаться в кубрике. Они бредут наверх, а те, кто был на палубе, спускаются и движутся бесшумно, как немые, как тени. Было мучительно сознавать, что вот на глазах у всех здесь, под кораблем, погибают два человека, а целый экипаж здоровых ребят ничего не может сделать.

Молодые водолазы, не знавшие глубин, подходили к командиру, просили: «Опустите под воду». Он даже не благодарил их за мужество. Это не мужество, а самоубийство.

Посередине юта стояли офицеры.

Командир поднял голову, вопросительно посмотрел на врача.

— Таковую нагрузку на глубине человеческий организм выдержать не может, — ответил врач. — Баштовой обязательно потеряет сознание.

Взгляд передвинулся на заместителя по политчасти.

— Могут погибнуть оба, — ответил тот.

Были сказаны четыре короткие фразы: четыре офицера доложили свое мнение. Оно было общим. Никто не произнес страшных слов, но все знали: погибнут оба.

Командир медлил. Будь это не Баштовой, не так мучили бы сомнения. Баштовой находит выходы из самых безнадежных положений. Когда несколько лет назад на большой глубине перевернуло вверх ногами водолаза, гибель казалась неминуемой. Рядом находился Баштовой. Его вес в воде не превышал пяти килограммов. Чтобы поставить водолаза в нормальное положение, требовалось усилие в триста пятьдесят килограммов. Баштовой придумал поразительное инженерное решение для спасения товарища и выполнил его. В безнадежном, казалось, положении был и другой водолаз, потерявший сознание на большой глубине. И здесь Баштовой, рискуя собой, выручил товарища. Казалось, Баштовой все может. Поэтому так трудно было командиру решать вопрос о Рыкове. Но ведь и Баштового надо когда-то пощадить. Сам он умеет удивительно бережно относиться к людям.

Однажды исключали из партии немолодого офицера, на-

чальника склада. Были приведены, казалось, исчерпывающие доказательства его вины. Против исключения был один человек — Баштовй. Он кому-то писал, куда-то звонил, с кем-то встречался.

Член партийной комиссии мичман Николай Иванович Баштовой докладывал.

Слушали капитаны всех рангов, слушали адмиралы. И всем стало ясно, как изощренно и утонченно обыватели оклеветали офицера.

Как депутат Севастопольского горсовета Баштовой зашел однажды в пещеры, где после войны жили люди.

— Депутат? — неприязненно спросила какая-то старуха. — Вот шею какую нарастил. Небось в депутатской квартире живешь. А мои сыны на фронте погибли, а их детей вы в пещере держите.

— Не виноват я, что не погиб на фронте, — только и ответил Баштовй.

Как объяснить этой убитой горем женщине, что всего три процента жилищ осталось в городе после войны, что сам он живет в крохотной каморке, снимая ее в частном доме.

А спустя некоторое время прямо с заседания исполкома бежал через весь город Баштовой, бежал к пещерам, чтобы скорее сообщить женщине: «Дали!»

...Командиру было трудно принять решение. А репродуктор вдруг замолк. Не слышно стало ударов, но не отвечал и Баштовой. Усилия телефониста ни к чему не приводили. И, словно забыв, что находится на военном корабле и несет службу и рядом стоят командиры, он взмолился:

— Отзовись, Колька! Ну что же ты? Ребята просят.

Баштовой отозвался. Никто не разобрал слов. Что-то прохрипело в микрофоне и умолкло. И тогда к аппарату подошел командир. То ли по четкой, не по обстановке походке, то ли внутренним чутьем матросы все поняли. И без приказа замерли на своих местах по стойке «смирно».

— Мичман Баштовой! — сказал командир. — Немедленно переходите на раму и занимайте свое место!

Баштовой не отвечал. Далеко по правому борту шел белый сверкающий теплоход «Россия», и оттуда неслась записанная на пленку песня Градова. Неслись по морю звонкие, радостные голоса:

Город на вольном просторе,
Город отваги морской,
Город, влюбленный в Черное море, —
Севастополь родной.

...Сергей затих и неподвижно лежал на руках Николая. И это был первый в жизни Баштового случай, когда он уже не надеялся на свои могучие руки. Это не его руки, он их не чувствует, и упадет сейчас Сергей, и захлебнется. И это было все равно что бросить его в пропасть. Вынести такое Николай не мог. И в последний раз точно судорогами свело мышцы, он приподнял Сергея, опустил на корточки, заняв всю нижнюю часть колокола, и посадил товарища себе на плечи.

— Мичман Баштовой! — зазвенел голос командира.

Но ничего уже не слышал мичман. Посадив на себя Сергея, он лишился последних сил и потерял сознание.

Медленно вращался барабан, наматывая стальные тросы. Медленно поднималась рама, неся на себе два неподвижных тела.

Солнце садилось. Ласкалось о борт бирюзовое море. Неслась песня с теплохода «Россия». «Дайте, дайте, дайте», — кричали чайки и как безумные уносились прочь.

В квартире Баштового готовились к семейному празднику. Верочка убрала обе комнаты, кухню и балкон и удивилась, когда Сашка с таинственным видом заявил, чтобы к тумбочке отца она не подходила. Мама выпытала, что там отец приготовил для нее подарок. Она обрадовалась, но стало досадно, почему сама она не догадалась сделать подарок мужу. Николай заслужил. Полгода после родов она лежала в постели. Он сам кормил и купал Сашку, сам делал Вере уколы. Университет марксизма-ленинизма не бросил. Ему как секретарю комсомольской организации было это не к лицу. Поэтому занимался ночью, в те часы, когда Сашка не плакал, или на корабле в свободное от спусков время. И все это еще можно было понять. Но, вспоминая тот далекий уже вечер, когда они услышали по радио, что Николай удостоен звания лауреата Государственной премии, она и теперь чувствовала неловкость.

Николаю хотелось в тот вечер сделать для нее что-нибудь хорошее, но было поздно, и даже подарок он не мог купить. Когда все легли и она заснула, Николай бесшумно поднялся, вышел на кухню, поставил на газовую плиту бак с водой. Потом собрал в кладовке белье, приготовленное для большой стирки, и начал стирать. Он стирал смешные Сашкины трусишки, и большие пододеяльники, и ее серое платье, и скатерти. Белое он стирал отдельно и то, что надо было подсинить, подсинил, а что положено было крахмалить, крахмалил. Когда все закончил, было уже светло, и он развесил белье

во дворе. Ему надо было уходить в море, и он не стал будить ее, а оставил записку и в конце написал, чтобы постаралась проследить за бельем, а то пересохнет и трудно будет гладить.

Она читала записку, и ей хотелось плакать. Когда он вернулся, она ругала его, потому что ей было стыдно: соседи видели, как он, лауреат Государственной премии, вешал белье, и смеялись. Он слушал ее улыбаясь, а потом сказал: «Смеяться люди перестанут. Даже над смешным один раз смеются».

Вера решила во что бы то ни стало сделать сегодня Николаю сюрприз. Ей пришла в голову блестящая идея, она развеселилась и, схватив Сашку, закружилась по комнате.

...Когда у Баштового все поплыло перед глазами, он понял: теряет сознание. У него промелькнуло в голове, что своим огромным скорченным телом он загородил выход и Сергею некуда будет падать. И уже потом, когда очнулся Сергей, когда поднялись они так, что стало возможно спустить к ним молодых водолазов, он пришел в себя.

Час сорок восемь минут Баштовой боролся с Рыковым, удерживая его на руках. Срок подъема для вынесенной Баштовым нагрузки был фантастически велик. Но этот срок сильно сократили, он длился девять с половиной часов. Пока шел подъем, Николай сидел на своем месте, а рядом на раме стояли два молодых водолаза и поддерживали его в те минуты, когда он снова терял сознание и начинал бредить.

На палубе его раздели, положили в декомпрессионную камеру, где установили такое же давление, какое было на самой большой глубине. Сорок восемь часов давление снижали, пока не довели до нормального.

За все это время он выпил два стакана чаю и съел несколько сухарей. В камере возле него находился врач, а у маленького окошкa все время толпились матросы, чтобы он их видел. И самых веселых посылали в камеру, чтобы они говорили ему что-нибудь смешное.

Когда открыли люк, он не дал себя нести. Он встал на палубе, широко расставив немного согнутые в коленях ноги, и долго нацеливался, чтобы шагнуть, как это делает ребенок, впервые в жизни поставленный на пол. И он пошел, качаясь, рывками, и плотной подковой двигались матросы, протянув к нему руки, чтобы поддержать, когда будет падать. Так добрался он до своей койки и заснул.

В четыре часа ночи Баштовой проснулся. Ему хотелось есть. Он сел, достал из тумбочки плитку шоколада, развернул и тяжело грохнулся на пол. У него отнялись руки и ноги. Кессонная болезнь началась.

Его подхватили и снова уложили в камеру. Здесь, под давлением, все ожило, но, будто взявшись за ступни, кто-то вывертывал ноги в разные стороны, а руки заламывал назад. Он знал, что это кессонная болезнь, что боль пройдет, поэтому терпел. Она действительно начала стихать и вскоре прошла.

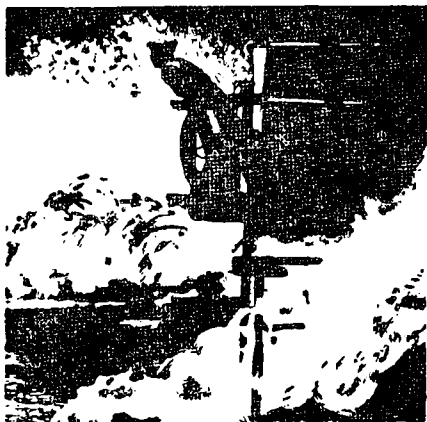
Через сутки открыли люк и Николая увезли в госпиталь. Там вместе с Сергеем Рыковым лечились они долго.

С Баштовым я познакомился в Высшем военно-морском училище. Он теперь учит здесь молодежь.

Много раз я наблюдал, как он спускается под воду или снаряжает на спуск курсантов. Он рассказывает им, что и как надо делать, или экзаменует их. И глаза, и его лицо при этом такие же, как по вечерам, когда разговаривает с Сашкой, проверяя уроки или отвечая на его важные мальчишеские вопросы. Руководитель Баштового контр-адмирал Самарин сказал мне, что Баштовой — гордость Высшего военно-морского училища.

Когда думаешь о Баштовом, легче жить. Ведь таких, как он, много. Просто они скромные и их не сразу замечают.

1966 г.



СОРОК МИНУТ ОГНЯ

На следующий день после выхода из Кубы в Атлантическом океане я встретил знакомый мне танкер «Лиски». Он шел к катастрофе. Никто не мог этого предвидеть, и люди радовались, потому что танкер держал путь к родным берегам. Он был белый и длинный. Почти четверть километра. Издали судно походило на ракету. Мешала только единственная надстройка на корме.

Задолго до этой встречи я был на «Лиски» в нашем порту. Любому посетителю танкера обязательно дают сопровождающего — для предупреждения возможной оплошности. Обстановка здесь как в пороховом погребе. Был солнечный день, и сквозь открытые люки в пустых танках отчетливо были видны пары и газы не то нефти, не то бензина. Сизые, густые, они медленно клубились, таинственно передвигались, точно исполинская амеба нащупывала искорку, хотя бы такую, как тлеющая табачная крошка. Этого вполне достаточно для взрыва и самовоспламенения.

Сеть пожарных рукавов и труб оплетала танкер. Их длина исчислялась многими километрами. В специальных помещениях стояли сотни и сотни черных баллонов, похожих на снаряды гаубиц. Баллоны соединены между собою тончайшими трубками и представляют одну мощную систему.

В них — противопожарные средства под давлением 150 атмосфер.

На всех палубах, надстройках, в коридорах лежали изготовленные к бою брандспойты на бесконечных рукавах. Сверкали лаком расчехленные лафетные стволы. В боевую готовность были приведены системы паротушения и пенотушения.

От солнечных лучей может нагреться палуба, и тогда взрыв газов, воспламенение станет неизбежным. Поэтому в солнечную погоду или в районе тропиков приводят в действие систему орошения, и вся главная палуба омывается водой.

Иной мир в служебных и жилых помещениях надстройки.

Пластик, красное дерево, хром и никель, телевизоры последних моделей в красных уголках и клубе, бассейны для купания и выложенные метлахской плиткой ваннные комнаты для матросов, новейшее навигационное оборудование, автоматическое управление — все, что создала передовая конструкторская мысль современного кораблестроения, было на «Лиски».

Пересекая Атлантику, танкер шел в Туапсе. В чужом порту он опустошил свои восемнадцать нефтяных бассейнов, выбросив точно мониторами больше тридцати тысяч тонн нефти за одни сутки.

С океана все члены экипажа дали радиограммы домой: «Прибываем Туапсе четырнадцатого». Такое же сообщение получила жена первого помощника капитана врач Варвара Николаевна Трегубенко. Она, как и жены других моряков танкера, живет в Одессе. Но в Одессу танкер не зайдет. В Туапсе его напоят нефтью до отвала, и он отправится к берегам Японии.

Взяв на три дня отпуск за свой счет, Варвара Николаевна поехала на аэродром. Здесь встретила с женой старшего механика Токаревой и ее шестилетней дочерью Иришей, женой начальника радиостанции Галиной Невечеря с обоими детьми — Сереей и Леной и другими женщинами и детьми, тоже спешившими к приходу «Лиски». Самолет доставил их в Адлер, там пересели на автобус до Сочи, а оттуда на электричке приехали в Туапсе.

...«Лиски» приближался к родному порту. Теперь уже никто из встречавших не беспокоился о судьбе своих близких. Беспокоятся, когда провозжают, когда судно уходит в рейс. Когда томительно тянутся дни, недели, месяцы. Когда узнают, что танкер после разгрузки в чужом порту идет не домой,

а в повое далекое плавание в никому не известно, когда вернется.

Город жил своей обычной жизнью, не зная о нависшей над ним опасности. В порту и на судах шла обычная работа. Шла она, незаметная и предательская, в трубопроводе нефтепирса. Изо дня в день, постепенно и неумолимо нарастали пиррофорные отложения в трубах. И воздух, чистый, живительный воздух, становился источником смерти: пиррофорные отложения в присутствии воздуха самовоспламеняются и неизбежно ведут к взрыву.

Накапливались на внутренних стенках труб смолистые вещества, механические примеси, продукты коррозии. Эта смесь при определенных условиях тоже способна воспламениться.

Шли в трубопроводе простые и страшные химические процессы. Неотвратно и медленно, точно ожидая «Лиски» и момента, когда женщины и дети поднимутся на борт, когда, увлеченный встречей, потеряет бдительность экипаж.

«Лиски» подходил к пирсу. Отдали правый якорь, вытравив семь с половиной смывчек, то есть около двухсот метров якорь-цепи. С бака и кормы подали по пять концов. Наступили самые мучительные минуты. Судно уже у причала, уже спущен трап, по которому сбежал лодман — единственный человек, имеющий право в эту минуту покинуть судно. Поднялись на борт пограничные власти, таможенники, представители пароходства. И никто больше: судно пришло из-за границы, должны быть проверены документы прибывших и произведен таможенный досмотр.

Это долгая процедура. Пока судно швартовалось, встречающие искали глазами своих. Радостно кричали дети, махали цветами и влатками женщины, подходя к самому борту. А многие стояли в сторонке. Их родные и близкие на вахте, где-то в чреве судна, в машинном отделении или еще где-то там, и никогда не могут они, как вот эти счастливики, высывавшие на палубу, поприветствовать встречающих в момент прихода судна.

Когда власти поднялись на борт, моряки с палубы ушли в каюты. Таков порядок. При досмотре из каюты выходить не положено.

А семьи теперь долго будут бродить взад-вперед, ожидая, пока «откроют границу». У каждой женщины — чемоданчик, корзинка или просто сверток. Почти на всех судах питание изобильное и вкусное, но по старой традиции каждая женщина приготовила для мужа самое любимое.

И вот все формальности закончены. Бегут вверх по трапу жены и дети. Но далеко не всех встречают мужья и отцы: слишком много неотложных дел у экипажа в первые минуты после прихода. Да и не только в первые минуты. Сразу же должна начаться погрузка, а ведь к ней надо хорошо подготовиться. И люди осматривали и проверяли тапки, закрывали и пломбировали кингстоны, тщательно вели заземление. Нефть на судно гонят с такой скоростью, что от трения в рукавах заряд статического электричества может дать искру. Поэтому заземляли резервуары, цистерны, трубы, воронки, шланги. И отложить эту работу, чтобы побыть с семьей, нельзя.

Группа матросов начала приемку продуктов питания. Моряки машинного отделения готовились к профилактическому ремонту, выписывали запасные части, получали горючее и смазочные материалы. Распределялись скопившиеся на берегу за время рейса газеты и журналы. Последние уточнения вносились в рейсовый отчет, который надо немедленно сдать в пароходство. И хотя этих отчетов никто обычно не читает, если не было чрезвычайных происшествий, но строго следят за тем, чтобы отчеты представлялись точно к сроку. Поднялась на борт, как это бывает почти всегда, какая-то проверочная комиссия.

В первый же день на судно подали четыре могучих рукава, запустили компрессоры, и потоки нефти ринулись в танки. Нефть гнали и остаток дня и всю ночь.

Второй день стоянки был легче. Часть экипажа отправилась в город, многие отдыхали в каютах вместе с семьями. На постах оставалась лишь вахта да второй помощник капитана Георгий Любич, отвечающий за грузовые операции.

К шести вечера были заполнены почти все бортовые танки и часть центральных — двадцать одна тысяча тонн. Оставалось догрузить одиннадцать, когда случилось несчастье.

По официальным документам все это началось так.

«Я, капитан порта Туапсе Корсак Н. Н., на основании материалов, представленных капитанами судов, опроса всех лиц, причастных к пожару на нефтепирсе, и заключения экспертизы, установил:

14 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Лиски», плавающий под флагом СССР и принадлежащий Черноморскому государственному пароходству, под командованием капитана дальнего плавания Турецкого М. А. В тот же день в 19 часов 35 минут танкер «Лиски» был ошвартован левым бортом к шестому причалу нефтепирса под погрузку 32 000 тонн сырой нефти на Японию.

В 8 часов 15 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Сигни», принадлежащий частной судовладельческой фирме «Редери А/Б Салли», под командованием капитана Якоба Доннинга. В тот же день в 10 часов 15 минут танкер «Сигни» был ошвартован левым бортом к причалу № 4 шестого нефтепирса под погрузку 150 000 тонн дизельного топлива на Финляндию.

После постановки судов к причалу корпуса обоих судов были заземлены обычным способом...»

«За несколько секунд до 18.00 местного времени мы были поставлены в известность о начале погрузки. Я, капитан теплохода «Сигни» Якоб Доннинг, и мой старший помощник Эрола Ойва, а также один человек с берега были на палубе, и наши вентили были открыты. Я пошел в каюту для того, чтобы зафиксировать начало погрузки. Ровно в 18 часов я услышал звук, похожий на небольшой взрыв трубы, а затем несколько глухих ударов, похожих на то, как будто что-то тяжелое падало на причал. Я вышел на палубу и увидел огонь на пирсе вблизи открытого места, где еще раньше рабочие открывали несколько секций покрытия пирса, как я думаю, для ремонта.

Нефтепродукты черного цвета, похожие на сырую нефть, вытекали из этого отверстия и горели на пирсе, под пирсом, и пожар стал захватывать обшивку моего судна и другого русского танкера у противоположной стороны пирса. Недавно окрашенный борт загорелся сразу.

Немедленно я пошел на мостик и дал сигнал тревоги. Как только я дал сигнал тревоги, мои офицеры и команда, кроме меня и моего старшего помощника, покинули судно без моего приказа. Несколько моряков покинули судно по швартовым концам носовой части, и некоторые моряки покинули судно при помощи спасательной шлюпки с кормовой части правого борта.

Затем я и мой старпом, а также русский человек с берега пошли на бак и отдали все швартовые концы. Затем мы перешли на корму и сделали то же самое. Однако грузовые шланги все еще держали судно у пирса. Позже, когда шланги загорелись, судно отошло от пирса».

Так описал поведение своего экипажа капитан Якоб Доннинг. Он дал только общую картину, не входя в детали. Капитан порта внес некоторые уточнения. В своем протесте Доннингу он писал:

«Большинство вашей команды, возвратившейся из города, было в нетрезвом состоянии. На судне не было принято

каких-либо мер по ликвидации пожара. Вся команда в паническом состоянии покинула борт танкера, что значительно затруднило береговым пожарникам борьбу с огнем. Для ликвидации пожара на нефтепирсе требовалось немедленно отвести танкер от причала. Однако это оказалось невозможным, поскольку не была готова машина судна, не было пара для подъема якоря».

Матрос танкера «Лиски» Алексей Посметный в своем объяснении писал:

«Я заступил на вахту 15 апреля в 16 часов вместе с матросом В. И. Диденко и вторым штурманом Любичем. С причала на судно было подано четыре шланга для приема сырой нефти. В 18 часов с минутами вместе с матросом Диденко я находился у трапа в районе шлангов и увидел облако дыма и пламя из-под носовой части причала. Отдав команду матросу Диденко закрывать глазки, крикнув на берег, побежал в пульт дистанционного управления, где находился вахтенный штурман. Я нажал сигнальный ревун, а штурман дважды объявил тревогу по принудительной трансляции. Когда снова выбежал на палубу, огонь уже подходил к шлангам, загорелась краска на борту, пламя быстро распространялось вдоль корпуса к кормовой надстройке. Парадный трап горел, поэтому женщины и дети — члены семей экипажа бежали к корме, откуда боцман спустил штормтрап...»

Как писал впоследствии капитан порта Н. Курсак: «Пламя, выходящее из-под пирса, между пирсом и бортами танкеров, легким восточным ветром отклонялось в сторону танкера «Сигни». Так как с возникновением пожара экипаж танкера «Сигни», кроме капитана и его старшего помощника, покинул судно, борьбу с огнем вести было некому, средняя надстройка «Сигни» загорелась, и пламя быстро охватило все надстройки».

Итак, горел нефтепирс, горел танкер «Лиски», горел никем не управляемый танкер «Сигни». Взрыв должен был произойти, как только нагреются пары нефти.

На «Сигни» огонь охватил ящик с ракетами на спардеке. Такие ракеты есть на каждом судне, и их выпускают по одной, когда надо дать сигнал бедствия или по другим причинам привлечь к себе внимание в море. А сейчас они стали рваться пачками. Красные, синие, зеленые фейерверки взметались с окутанного дымом судна и били во все стороны. Они достигали «Лиски», тоже охваченного пламенем.

Над нефтегаванью бурно клубился черный дым. К небу он поднимался медленно, заволакивая город. Все вокруг

услышали сигналы бедствия: длинный гудок, два коротких, длинный, два коротких...

Опасность над городом нарастала, потому что танкеры должны были вскоре взорваться. Это означало, что вся акватория порта покроется слоем горячей нефти толщиной сорок сантиметров. К нефтегавани устремились спасательные суда Туапсе, Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи. Пожарные команды города окружали порт.

Впоследствии многочисленные эксперты, крупные специалисты самых различных областей знания скрупулезнейшим образом исследовали все обстоятельства пожара, чтобы установить его причины. Было точно установлено, что на иностранном судне курили в недозволенных местах. Однако не это явилось причиной пожара. Общее и единодушное мнение: форс-мажор. Непреодолимая сила. Чрезвычайные обстоятельства, подобные стихийному бедствию, которые не могли быть ни предусмотрены, ни предотвращены.

И вот, как форс-мажор, загорелись в трубопроводе пирсфорные отложения, и труба разорвалась. Она шла под покрытием пирса. Взрывом подняло в воздух несколько плит этого покрытия, и, упав, они высекли искры.

Под пирсом имеются емкости, где скапливается нефть, патерны. Искра попала туда. Но не всякая искра зажжет нефть, ибо она загорается при температуре 380—530 градусов. Искра зажгла пары нефти в воздухе, а от них загорелись патерны. Трубы взорвались.

Поток перекрыли довольно быстро, но десятки тонн нефти выплеснулись в воду. Черная масса хлынула во все стороны с большой скоростью, и огонь не успевал охватывать ее.

Ширина пирса — шестнадцать метров. Патерны и источник огня оказались посередине. Потребовались мгновения, чтобы пламя пробежало восемь метров до каждого судна. Борты танкеров были охвачены пламенем одновременно. И одновременно на обоих судах раздался сигнал пожарной тревоги.

На всех флотах существует «Расписание по тревоге». Это точное распределение обязанностей и мест — кто куда должен бежать, где находиться, что делать при любых несчастиях, могущих свалиться на судно. Ни в одном «Расписании» мира не сказано, что по сигналу пожарной тревоги надо прыгать за борт или другим способом покидать судно. Вообще покинуть судно можно только по приказу капитана.

Видимо, моряки с танкера «Сигни» плохо знали «Распи-

сание тревог». Как только раздался сигнал, бросились за борт боцман Лёвнблад Свен-Олиф, второй помощник капитана Хусель Стис Р., старший матрос Полтилла Вильо и еще добрый десяток моряков. Прежде чем они достигли воды, ее покрыла лавина нефти. Огонь был пока далеко, но тело, омытое нефтью, не может дышать. Надо смыть нефть, иначе человек погибнет.

Берег был совсем рядом. Туда и ринулись, обгоняя друг друга, люди с черными от нефти лицами и слипшимися волосами. Их тут же отправили в больницу: «смыть» нефть надо сухой горчицей, определенным, известным врачам способом.

Остальные члены экипажа «Сигни» поняли, что прыгать в нефть рискованно, тем более, что ее настигал огонь. Наиболее оперативные, уцепившись за швартовые концы на баке и корме, быстро перебирая руками, устремились к пирсу. Некоторые из них сорвались в воду, но серьезных повреждений не получили. Остальная часть команды тоже благополучно спаслась, успев спустить с кормы шлюпку. Эти и все не пострадали.

Не мог остановить бегства капитан Якоб Доннинг. Но сам он, как истый моряк, оставался на борту до последнего момента, конечно, понимая, что в любую минуту танкер может взорваться.

Когда вспыхнул пожар, на шлюпочной палубе танкера «Лиски» играли Таня Николайчук, Ира Токарева, Люда Кернасюк и Лена Птушкина. Всем им вместе — девятнадцать лет. Неподалеку от них решали сложные проблемы пока только на кубиках Лена Невечеря и Олег Байдун. Этим по два года. И только самый старший, девятилетний Сережа Невечеря, стоял один на правом крыле капитанского мостика и, заложив руки в карманы, грозно вглядывался в морскую даль. О чем он думал, кем представлял себя, догадаться трудно.

Остальные дети и почти все женщины находились в каютах. Варвара Николаевна Трегубенко спустилась вниз, в единственное помещение, где разрешено пользоваться горячим утюгом.

В момент возникновения пожара капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий и его первый помощник Илья Вуклович Трегубенко вошли в каюту второго механика Юры Борискина. Кроме хозяина, там был стармех Николай Иванович Токарев. Старшие командиры пришли к Борискину, чтобы поздравить его с днем рождения. Должно быть,

прихода этого он не ожидал, и был обрадован, и вместе с тем смущен: не догадался приготовить стол для подобающего случая и теперь суетился, стараясь поскорее что-либо сделать. Как раз в это время и раздался сигнал тревоги. Капитан и его помощник бросились на мостик, а стармех и второй механик — в машинное отделение.

Члены экипажа бежали по палубам в разные стороны. Непосвященному человеку могло показаться, что они спасаются бегством. Но капитан видел, что каждый бежал на свое место по «Расписанию». И только женщины и дети не знали, куда деваться. Они бросились к трапу, но тут же отпрянули: трап был охвачен огнем.

Первая команда капитана и относилась к ним. Из всех репродукторов принудительной трансляции по всему судну раздался его приказ: немедленно на корму, без паники спускаться по штормтрапу, боцману и двум матросам обеспечить эвакуацию.

Второй приказ капитана — начать пенную атаку — был отдан для того, чтобы подтвердить правильность действий экипажа, ибо атака эта уже началась. Били лафетные стволы, брандспойты, пеногонные аппараты.

Женщины и дети устремились к корме. Четырехлетняя Люда звала отца, не понимая, почему он бежит куда-то, хотя видит ее. Матрос Витя Кернасюк обернулся, беспомощно посмотрел на дочь, хотел что-то крикнуть в ответ, но бегущий рядом подтолкнул его, и он, так и не найдя слов для дочери, побежал дальше и скрылся за надстройкой.

Семьи экипажа сбились в кучу на корме. Дети не плакали. Они были серьезными. Никто не суетился и не рвался вперед. Возможно, потому, что несчастье было большим, или на всех повлияло поведение моряков. Они просто работали, пряча свой страх перед взрывом. Без шума, деловито, быстро. То и дело раздавались команды с мостика. Ясные и уверенные.

Видимо, трудно бежать с судна или вдаваться в панику, когда вокруг родные и близкие в пламени ведут борьбу с огнем. Ни одна из женщин не крикнула мужу, чтобы берег себя или не лез бы в это пекло. Почему не плакали дети — трудно сказать. Не плакали, и все. Скорее всего обстановка, страшная и деловая, оказывала на них воздействие.

Никто не устанавливал очереди у штормтрапа. Но очередь была. Вне зависимости от того, кто пришел раньше, каждая занимала положенное ей место, будто об этом была договоренность. Сначала снимали маленьких детей и их ма-

терей, потом детей постарше и, наконец, самых старших. Женщины без детей становились в сторонку, чтобы сойти в последнюю очередь. На пирс детей спускали по одному. Матрос, стоявший на штормтрапе, одной рукой прижимал к себе ребенка, которого ему подавал боцман, и спускался вниз, перехватывая балясины трапа второй рукой. На пирсе тоже стоял матрос, который принимал ребенка. А дальше, под прикрытием водяных вееров, которые устроили пожарные, матери и дети бежали на берег.

Варвара Николаевна, услышав пожарные сигналы, схватила белье и побежала в каюту. Поступила она так от растерянности, потому что белье незачем было сюда нести, да и делать в каюте нечего. Накинув на плечи пальто, тоже побежала к корме. И теперь, стоя здесь и наблюдая эвакуацию, видя, как быстро распространяется пламя, думала, как бы помочь, но понимала, что ее помощь морякам не пужна. Она решила, что вполне сможет принимать внизу детей вместо матроса и он высвободится для тушения пожара. Она не знала, как спуститься вниз, чтобы не лезть по штормтрапу впереди детей.

Обернувшись по сторонам, увидела толстый канат, укрепленный на палубе за кнехт и переброшенный через борт. Второй его конец свисал между пирсом и бортом судна.

Варвара Николаевна — бывшая спортсменка. У нее сильные руки, на которые можно положиться. Повесив на какой-то крюк сумку, перелезла через планшир и, ухватившись за канат, стала спускаться. Пальто мешало ей. Спустившись на несколько метров, посмотрела вниз, чтобы нащупать ногами пирс. Глядя на пирс и крепче сжимая канат, медленно перебирая руками, уже готова была встать. Но она сорвалась и полетела вниз. Не потому, что ослабли руки или устала. Она не заметила, что нижняя часть каната была покрыта толстым слоем ступившейся нефти. Тут и акробат не удержится.

Варвара Николаевна могла разбить голову о пирс или о корпус судна, если бы зацепилась за что-нибудь. Но упала она удачно, как раз в узкий промежуток между пирсом и бортом. Вода здесь была покрыта нефтью, по которой приближалось пламя. Варвара Николаевна скрылась под водой.

Пожар разгорался. Водяные и пенные струи с пирса и танкера гудели и бились о палубу и надстройку, взвивались арками. Водяной пылью заполнился воздух, образуя множество красиво пересекающихся радуг.

...Когда начался пожар, стадион, находившийся поблизо-

сти, был полон. Шла отчаянная борьба между командой порта и ростовской «Стрелой». Обстановку здесь можно не описывать: болельщики футбола везде одинаковы. Но мне рассказывали, что туапсинцы по экспансивности достигают уровня бразильцев. Видимо, это неправда, потому что бразилец не уйдет со стадиона, если даже загорится его собственный дом. Здесь же весь стадион ринулся на нефтенирс, как только поднялся в небо черный дым.

Со всех улиц и площадей толпами бежали люди, загораживая пути пожарным машинам. Многие прорвались на пирс и полезли в гущу огня. Вереницы добровольцев бесконечным потоком шли с ящиками пенного порошка в головную часть пирса.

Пожарные, добровольцы, военные моряки тушили пожар. На пирсе было много людей, и несколько человек заметили, как упала в воду Варвара Николаевна. Она скрылась под водой, но тут же всплыла. Волосы, лицо, руки были покрыты нефтью.

Вытащить ее удалось быстро, потому что на помощь бросились пятеро здоровых ребят. Они же и отвели ее в больницу.

Илья Вуколович Трегубенко, как и положено первому помощнику, почти все время был возле капитана. Выполняя какой-то приказ капитана, он побежал на бак. Увидел на крюке сумку жены, увидел, как вытащили из воды всю черную от нефти Варвару Николаевну. У него не было времени подбежать и узнать, что случилось, не разбилась ли она. Он бежал на бак, то и дело оборачиваясь, чтобы увидеть, пойдет ли она сама или ее понесут. Его раздражало, что по всему судну несутся сигналы пожарной тревоги. Это сработала автоматическая система пожарных сигналов, и никто не догадается выключить ее, будто и так не ясно, что на судне пожар.

...Вдоль бортов над палубой выступают расширители танков. При погрузке в расширителях скапливаются легковоспламеняющиеся пары нефти, которые выходят в атмосферу через смотровые глазки. На солнце видно, как струятся эти пары. Они идут не только вверх, но и в стороны.

Пламя, охватившее борт, подбиралось к расширителям. Взрыв должен был произойти еще до того, как эвакуировались женщины и дети. Взрыва тогда не последовало, потому что вахта заметила пожар в то мгновение, когда он возник, а в следующие секунды матросы Алеша Посметный, Володя Диденко и моторист Митрофан Хурда, определив точно

главную угрозу, ринулись в самое опасное место, успели закрыть глазки. Выход паров нефти и доступ огня в танки были отрезаны. Но пары нефти оставались и накапливались в железных расширителях. Достаточно было им немного нагреться, и взрыв оказался бы неизбежным.

Эту вторую возможность взрыва в начале пожара предотвратил вахтенный штурман Георгий Любич. Он так же точно определил, где главная опасность в данную минуту, и приказал открыть пожарные рожки, орошающие палубу, и направить на расширители мощные струи из лафетных стволов. Вода охлаждала расширители и мешала пламени пробиться к ним.

Третью возможность взрыва предотвратил капитан, приказав главный удар всех средств тушения направить не туда, где огонь в данную минуту был наиболее сильным, но не угрожая взрывом, а в места, омываемые изнутри нефтью или ее парами, чтобы не дать им нагреться.

Горел борт, левая сторона надстройки, двенадцать кают, крыло капитанского мостика. Пламя охватывало шлюпочные лебедки, спасательный мотобот, амбулаторию. С треском лопались иллюминаторы, открывая доступ огню во внутренние помещения. В каюте первого помощника загорелась груда пересохшего белья, которое, так и не успев погладить, бросила на стол Варвара Николаевна.

В воде и пене, прорываясь сквозь пламя, орудовали брандспойтами матросы Посметный, Кернасюк, Диденко, мотористы Чермак, Лисица, Хурда. Отбивали огненную атаку Любич и Невечеря. В машинном отделении, не зная, что стало с женами и детьми, что делается наверху, работали старший механик Токарев, мотористы Байдун и Николайчук.

Вентиляторы гнали в машинное отделение не чистый воздух, а черный дым, который окутывал судно. Вентиляцию отключили, но поздно. Дымом наполнилось все машинное отделение. С мостика раздался приказ приготовить машину, и в накаленном воздухе, в дыму люди готовили к запуску главный двигатель. Экипаж машинной команды действовал на ощупь, потому что сильные электрические лампочки не могли пробить густого черного дыма. Дым проникал в легкие, резал глаза, и люди кашляли до тошноты.

На полную мощность работали электродвигатели насосов, компрессоров. В ход были пущены все средства противопожарной защиты. Механики держали максимальное давление в магистралях, в стволах, брандспойтах, рожках, в системе орошения.

Потом все компрессоры и насосы остановились. Брезентовые рукава обмякли, потому что прекратилась подача воды и пены. Пламя бросилось на палубу и переборки, захватывая новые участки.

Матросы беспомощно озирались и кричали:

— Воду! Воду давай!

— Давай пену!

Они все еще держали шланги и брандспойты, не зная, что делать.

Капитан на мостике и старший механик в машине одновременно схватились за телефонные трубки: один вызывал машину, второй — мостик. Один — чтобы спросить, что случилось, второй — чтобы доложить, что случилось.

— От перегрузки сработала автоматическая защита, сгорели предохранители и двигатели отключились, — сообщил стармех. — Электромеханик струсил, куда-то сбежал.

Капитан бросил на рычаг телефонную трубку.

Включить двигатели — дело одной минуты. Но дело это электромеханика.

Через несколько секунд по всему судну из репродукторов принудительной трансляции раздался голос капитана:

— Палубному электрику Ковганичу немедленно в машинное отделение на место электромеханика.

Капитан повторял свой приказ, но это было уже ни к чему. Ковганич бежал, перепрыгивая через трубы и шланги, удерживаясь руками за перила, скатывался с трапов, пока не ворвался в машинное отделение.

Дым ударил в глаза. Запершило в горле. Что-то крича, задыхаясь, Ковганич на ощупь пробирался к электрощиту.

Вскоре вздрогнули и рукава брандспойтов. Люди ринулись в атаку на огонь.

В эти критические минуты перед капитаном Турецким встала проблема, которую он не знал, как решить. Он не знал, оставаться ему на месте или уходить в открытое море. На всякий случай повторив свой приказ машинной команде приготовиться к отходу, он не решался трогаться с места. Он видел, что пожарные машины заполнили нефтегавань, видел их реальную помощь. Начальник порта И. Шаповалов и начальник городской команды И. Аксенов организовали на тушение пожара уйму людей, в их распоряжении мощная техника, большие запасы ценного порошка. Если отойти от причала — значит лишиться себя столь мощной поддержки. Против отхода был и хорошо известный опыт тушения пожара на танкере: «Волга-нефть», непосредственно у причала.

Но капитан Турецкий понимал и другое. Недегазированный танкер «Сигни» может взорваться в любую минуту. Танкер «Лиски», имея на борту более двадцати тысяч тонн сырой нефти, тоже мог взорваться и стать очагом гигантского пожара, что представляло угрозу городу. И времени на решение этого вопроса у капитана не было.

С пульта управления стармех Токарев доложил:

— Машина к пуску готова.

В ту же минуту раздался в машине звонок. Сквозь дымную завесу взглянул Токарев на освещенный изнутри диск телеграфа. Стрелка метнулась и, дрогнув, замерла на секторе: «Полный вперед».

Это приказ капитана. Это значит — он решил уводить горящее судно в море.

Токарев быстро перевел рычаг телеграфа на сектор, указанный стрелкой. Звонок оборвался: приказ принят, понят, повторен.

Перед тем как отдать приказ «Полный вперед», капитан скомандовал людям на баке и корме:

— Рубить все концы!

Отдать концы с пирса не было возможности, потому что вокруг бушевал огонь. Два конца отдали на баке, остальные обрубили. Судно удерживалось четырьмя шлангами, по которым качают нефть. Их оборвали, дав машине полный ход.

Только теперь капитан обратил внимание, что у штурвала нет старшего рулевого Абрамова. Он не явился на свой пост по сигналу тревоги. Он и не тревожился, Валерий Абрамов. Он сидел со своими друзьями в ресторане. Народу было мало, тихо играла музыка, улыбались официантки. Хотя Валерий почти весь день бродил с ребятами по городу и все хотели есть, официантку не торопили. Они отдыхали. Им было хорошо. Когда она появилась с полным подносом, все пришло в движение.

Увольнение у Валерия до девяти часов, и он может спокойно сидеть в ресторане, и ему неинтересно, как некоторым зевакам из зала, выскакивать на улицу и узнавать, что за шум. Но сквозь шум до него донеслось:

— Нефтепирс горит!

Валерий рванулся к окну. Черный дым поднимался со стороны гавани. Валерий бросился к выходу. В такси, стоявшее у входа, сидели трое.

— Уступите, прошу вас, мой танкер горит, — взмолился Валерий.

Молча отступили трое. Машина понеслась. Остановились

далеко от нефтегавани: сквозь толпы людей не пробиться. Валерий с раздражением шарил по карманам, забыв, куда девал деньги.

— Да ты что! — закричал на него шофер. — Беги! — И он подтолкнул пассажира.

Перед Валерием открылась нефтегавань: объятые пламенем танкеры, горящий пирс, бесчисленное количество пожарных. Спасательные и пожарные суда, мотоботы и пал всем этим десятки водяных арок, образованных брандспойтами и лафетными стволами. Перед ним открылась картина грандиозного пожара.

Горел родной «Лиски».

Валерий пробивался к гавани сквозь толпу. Когда он выскочил на пирс, рухнули остатки сгоревшего трапа. Откуда-то из толпы вынырнул старший штурман Леонард Арсеньевич Позолотин и бросился к штурмтрапу. Вслед за ним — механик Борис Михайлович Петров. Они тоже были в уволнении.

Штурмтрап лизало пламя, когда ухватился за него Валерий. Судно отходило от причала. Кто-то сверху сбросил новый штурмтрап, но Валерий успел уже вскочить на борт. Не останавливаясь, понесся на ходовой мостик.

За штурвалом стоял штурман.

— Разрешите, — виновато обратился к нему Валерий.

В гуще событий оказался старпом Позолотин. Механик Петров помчался в задымленное машинное отделение.

Обрывая, как нити, оставшиеся необрубленными швартовые концы и нефтеналивные шланги, судно отошло от пирса, винтами отгоняя пламя на воде. Из жерл нефтяных шлангов, свесившихся за борт, били огненные струи, точно из реактивного двигателя. Танкер уходил от мощнейших береговых средств тушения пожара. Уходил, чтобы не погубить порт и, если придется, погибнуть одному. С берега смотрели на горящий танкер, на огненные струи оборванных рукавов семи экипажа.

Едва «Лиски» отошел, как у его левого борта появился морской буксировщик «Дедал». Это был отчаянный шаг маленького экипажа, рисковавшего жизнью, но он сыграл решающую роль для жизни «Лиски». Буксировщик направил водяные струи на борт танкера и, двигаясь за ним, сбивал пламя с этой почти недоступной для самого танкера площади, охваченной огнем. «Дедал» бесстрашно следовал за судном, готовым взорваться, и окатывал водой надстройку, каюты, переборки.

На судно не успели попасть десять членов экипажа, находившихся в увольнении. Раздобыв где-то катер, они готовы были отчалить вдогонку «Лиски», когда их остановил крик судового врача Любви Родионовны Смирновой.

— Меня подождите! — кричала она, подбегая к причалу.

— Куда вам в такое пекло?! — махнул кто-то рукой и, обращаясь к мотористу, скомандовал: — Пошли!

Катер оттолкнули от причала, и все увидели, как эта немолодая женщина в каком-то неестественном и страшном прыжке полетела в воду.

— Как вам не стыдно?! — чуть не плача, упрекала она товарищей, успевших подхватить ее на руки.

Катер подходил к борту «Лиски». Опасность взрыва еще не миновала. С палубы кто-то кричал:

— Назад! Немедленно назад, капитан запретил подниматься.

Это был приказ капитана, который отказался выполнять экипаж. Первым ухватился за штурмтрап комсорг Валя Кирсанов, потом штурман Синеокий. Пилипенко, за ними потянулись Смирнова, Шевченко, Перекрест, Ревтов...

С полным составом экипаж «Лиски» уходил на внешний рейд. Задыхаясь в дыму и жаре, держала максимальные обороты машинная команда. Снова включили вентиляторы, и стало легче. Матросы и штурманы добивали гаснущее пламя.

— Спасибо за помощь! — кричал капитан в мегафон, махая рукой буксировщику «Дедалу». — Теперь сами справимся, опасность миновала.

Капитан «Дедала» Сигидов взял курс к пирсу.

Английское судно, стоявшее далеко на рейде, забило огненным тире, вызывая «Лиски». И начальник радиостанции Николай Невечеря принял:

«Восхищены вашей героической борьбой с огнем. Поздравляем с победой над грозной стихией. Капитан «Оверсиз Эксплорер».

Что же происходило на пирсе и на «Сигни», пока шла борьба с огнем на советском танкере?

Во время стихийных бедствий самое страшное — паника, растерянность, неорганизованность. И еще страшно избытие командиров, советчиков, консультантов, добровольно берущих на себя эти функции вне зависимости от возраста, опыта и квалификации. Известно огромное количество случаев, когда на борьбу с бедствием выходят сотни и сотни людей, которые легко могли бы победить стихию, но терпят поражение из-за неорганизованности, оттого, что нет уверен-

ной направляющей силы, не определены очаги главной опасности и каждый отдает команды, которые лично ему кажутся наиболее целесообразными, хотя видит он только ограниченный участок борьбы, часто нерешающий, десятистепенный.

В первые минуты после начала пожара, одновременно с первыми приказами пожарным, был создан штаб по борьбе с огнем, который расположился на горящем пирсе. И все теперь было подчинено его воле, на себя он взял всю полноту власти и всю меру ответственности.

Штаб знал, какими мощными противопожарными средствами оснащен танкер «Лиски», видел, как организованно идет там борьба с огнем. Стало ясно, что главная опасность — «Сигни», брошенный экипажем, недегазованный «Сигни», все танки которого заполнены взрывоопасными газами.

Сосредоточив пеногонные установки в центре пирса, начальник городской пожарной команды И. Аксенов бросил главные свои силы в атаку на «Сигни», а остальную часть — на пирс. В следующую минуту связался по телефону с Краснодаром и получил подтверждение, что в Туапсе вышли спасательные суда Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи.

Были проложены километры рукавной линии по всей длине пирса, параллельными полосами. Под давлением десять атмосфер пожарные заламывали тяжелые рукава и наращивали их, чтобы дотянуться до «Сигни».

На танкере не было ни груза, ни балласта, ни запасов топлива. Значит, и не было у него почти никакой осадки. Над водой возвышался весь его корпус. От пирса до палубы больше десяти метров. И ни одного трапа на палубе — все сторело.

Пробиться на пирс с пожарной машиной-лестницей не представлялось возможным. И люди со плангами ринулись на «Сигни» кто как мог. Это была акробатическая работа в огне. Цепляясь за выступы, за какие-то обрывки канатов, пожарные и рабочие порта, помогая друг другу, карабкались вверх по горящему борту. Сбивая пламя вокруг них, рассчитывая от огня путь, рушились на борт удары брандспойтов.

Метался на горящем судне единственный человек — молодой и смелый капитан «Сигни» Якоб Донниг. Он сбрасывал людям канаты, помогал взбираться наверх.

Рвались ракеты на спардеке, иллюминируя судно, что-то падало, грохотало, гремело. Кричали люди в мегафоны, отдавая и принимая команды с пирса, с «Лиски», с катеров и буксиров. И над всей гаванью клубился черный дым. С де-

с ятков ипостранных судов, стоявших на внешнем рейде с разведенными парами, готовых в любую минуту ринуться в открытое море, уставились с биноклями и подзорными трубами десятки моряков. Тысячи жителей города заполнили берега, крыши домов, балконы.

Пламя подбиралось к расширителям. Глазкí на них были открыты. Может быть, это случайность, но люди обогнали стихию на секунды. Несколько секунд оставалось, чтобы пламя достигло расширителей. Это неизбежно вызвало бы взрыв. Но с трех сторон ударили брандспойты. Вода и пена смяли, оттиснули огненные языки от расширителей и других взрывоопасных мест.

Это был первый и решающий рубеж, была предотвращена первая возможность взрыва. Атака воды и пены распространялась на капитанскую каюту, штурманскую и радиорубку. Люди вышибали иллюминаторы и заливали пламя в помещениях.

Пожарный катер «Стремительный», заняв место «Лиски» у причала, бил через пирс по левому борту «Сигни», по надстройке.

Концы на «Сигни» были обрублены в самом начале пожара, и его удерживали четыре толстых гофрированных рукава, поданных с пирса для погрузки солярки. Постепенно рукава обгорели и разорвались. Под давлением брандспойтов со «Стремительного» и отжимного ветра танкер начал отходить от пирса. Катер немедленно отвел брандспойты, по «Сигни» продолжал двигаться. Пожарные рукава стали вырываться из рук людей, находившихся на борту, и они лишились возможности управлять водой. Отогнанное от расширителей пламя, ничем больше не гасимое, под силой ветра снова поползло к ним.

Понимая вновь создавшуюся угрозу взрыва, «Стремительный» обошел пирс и встал между пирсом и бортом «Сигни», чтобы, следуя за танкером, продолжать борьбу с огнем.

Морской буксировщик «Дедал», гасивший пламя на воде близ правого борта «Сигни», увидев, что танкер отходит, и понимая, какая возникает опасность, бесстрашно подошел вплотную к «Сигни», уперся носом в его борт и начал подталкивать танкер обратно к пирсу. И все увидели, что это огромное судно вот-вот навалится на пожарный катер «Стремительный», прижмет его к железобетонному пирсу и раздавит.

— Назад! — раздались десятки голосов, обращенных к «Стремительному». Люди махали руками, показывая на возникающую опасность.

Капитан «Стремительного» Виктор Пянзин и сам понимал, в каком оказался положении. Понимал, что должен немедленно дать задний ход. Но сделать этого не мог. Катер не имел заднего хода. Вернее, не было возможности включить задний ход.

Как же такое могло случиться?

Когда раздался первый сигнал пожарной тревоги и горел только пирс, «Стремительный» стоял на ремонте в маленькой бухточке у тихого причала. Это был заранее запланированный ремонт, но в день бедствия работы там не производились, потому что было воскресенье. Часть команды ушла на берег.

«Стремительный» не мог тронуться с места: двигатели разобраны, механик Василий Железняк смотрит футбол. Там же, на стадионе, матрос Борис Чернышев и другие члены команды.

Естественно, капитан «Стремительного» Виктор Пянзин не мог участвовать в тушении пожара. Конечно, было обидно, что специальное пожарное судно в такой момент должно стоять, но рассчитывать на него не приходилось.

Как только раздалась гудки пожарной тревоги, Виктор Пянзин скомандовал:

— Отдать концы!

Матросы Петр Дьяченко и Владимир Трегубов переглянулись.

— Двигатели же разобраны, — сказали они в один голос.

— Отдать концы! — закричал Пянзин.

Ребята с недоумением отдали концы с кормы и бака и только тогда поняли, что затеял их капитан. Он направил в воду со стороны кормы две мощные струи из лафетных стволов, превратив свое судно в реактивное. Пока катер шел к нефтепирсу, ребята собирали двигатели, по делу не ладилось, так как не было механика Железняка. Но вместе со всеми, кто был на стадионе, Железняк помчался в порт. Не к пирсу, а к месту стоянки своего катера. Не найдя его там, упросил капитана какого-то гидрографического бота подъехать к нефтегавани. Вскочив на свое судно, Железняк прежде всего взялся за левый двигатель, в котором было нарушено сцепление. Вскоре катер обрел ход. Он, как и подобает «Стремительному», быстро маневрировал, сбивая пламя на пирсе и на «Сигни».

Вскоре примчался из города на мотоцикле матрос Борис Чернышев. Бросив мотоцикл, побежал на пирс, где его и заметила команда «Стремительного». Прибыл и радист Лев Паас, матрос Володя Бурохв, прыгнул на борт даже бывший

член команды Иванов. С полным составом экипажа «Стремительный» продолжал борьбу с огнем. Но двигатели были собраны поспешно, на живую нитку, и переключение на задний ход вышло из строя как раз в тот момент, когда катер оказался между пирсом и надвигавшимся на него танкером «Сигни».

Раздумывать было некогда, и капитан крикнул:
— Самый полный вперед!

«Стремительный» проскочил в узкую щель перед тем, как «Сигни» прижался к пирсу. И хотя это была страшная минута, зато катер оказался на чрезвычайно выгодной позиции и с новой силой ринулся на огонь танкера.

Все пожарные действовали смело и решительно. Так им и положено действовать по службе и по уставу. Они выполняли свой служебный долг.

Ну а больше ста добровольцев, находившихся в самой гуще огня, близ готовых взорваться танкеров? Что руководило этими людьми? Они шли на смертельный риск. Шли сознательно, добровольно, бесплатно. Никому бы не пришло в голову обвинить в чем-либо членов экипажа «Лиски» Позолотина, Абрамова, Петрова, находившихся в увольнении, если бы и не успели они примчаться на горящее судно. Тем более не могло быть претензий к врачу Смирновой и всей группе, тоже находившейся в увольнении и опоздавшей к отходу «Лиски» на рейд. Но они догнали свой опасный танкер и вопреки приказу капитана поднялись на борт.

Их действия можно понять: горел их танкер. Но почему ринулись в огонь инженер-конструктор судоремонтного завода А. Горчаков, главный инженер этого завода А. Приходько, рабочие завода В. Богуславский, А. Тимченко, главный инженер порта В. Солонov и десятки других людей?

Кто звал их на этот смертельный риск? Кто звал экипаж «Стремительного», стоявшего в ремонте с разобранными двигателями? Они ведь понимали, что «Сигни» может вот-вот взорваться, но именно сюда они пришли.

Они подчинялись только одному зову — зову сердца советского человека.

В 18.40 капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий записал в вахтенном журнале: «Пожар на судне полностью ликвидирован». Спустя несколько часов капитан «Сигни» тоже сделал запись в своем вахтенном журнале: «Около полуночи экипаж был доставлен властями на борт после того, как пожар был полностью ликвидирован».



СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Течет эскалатор с людьми в метро «Маяковская». Среди шляп, кепок, беретов — седые волосы. Короткие, красиво уложенные волнами. Только одна темная прядь, будто брошенная художником.

Раскрываю «Вечерку». Что-то мешает читать. Что-то тревожное. Машинально оборачиваюсь. Женщина с седой прической уже далеко внизу. А мой эскалатор идет вверх. Чуть виден ее профиль. Потом его заслоняет чья-то спина.

Я знаю эту женщину. Я очень хорошо ее знаю. Мне обязательно надо с ней встретиться. Вот только бы вспомнить, кто она. Или хоть бы понять, зачем надо встретиться.

Все смешалось. Только одна отчетливая мысль: догнать во что бы то ни стало.

Медленно тащится эскалатор. Наконец площадка. Заталкиваю в автомат пятак. Под сводами будто эхо: «Гражданин! Бежать по эскалатору запрещено». Это мне. И как подтверждение: «Гражданин, это к вам относится!» Смотрят люди. Замедляю шаг.

Слева мелькнули красные огоньки удаляющегося последнего вагона. В поезде справа захлопнулись двери, сейчас тронется. Иду по платформе. Мне не хватило минуты. Одной минуты. Спустился я чуть раньше, нашел бы ее обязательно.

А теперь поздно. И все-таки смотрю в ярко освещенные окна. Поезд набирает скорость...

Я увидел ее. Она стояла у двери, лицом ко мне. Седые волосы и черная прядь. Красивые серо-голубые глаза. И я вспомнил. Все, что было двадцать пять лет назад...

* * *

Начфин Иван Зорин объявил себя начальником погранзаставы. Никто его на эту должность не назначал, и он не стал спрашивать, согласны ли офицеры и солдаты, чтобы ими командовал начфин, а просто приказал беспрекословно подчиняться ему, поскольку пет времени входить в объяснения. В бинокль люди видели, какая тьма танков идет на них, и понимали, что скоро от заставы ничего не останется.

Только один Зорин не хотел этого понять. Он приказал убрать в помещение тело убитого осколком начальника заставы и носился по всему участку, указывая, кому где занимать оборону.

В конце концов начфин оказался прав. У самой заставы пограничники подбили целую шеренгу танков, а остальные машины стали обходить ее, чтобы не задерживаться. Тогда Зорин приказал бить их с флангов, а потом и с тыла, и постепенно вся застава превратилась в островок, вернее, в крепость, защищенную со всех сторон подбитыми машинами. Теперь взять ее было нелегко.

За этот первый бой в первый день войны двадцатилетнего Зорина наградили орденом Красного Знамени. Я познакомился с ним год спустя в минно-диверсионном батальоне, где он командовал ротой. На Западном фронте такой батальон был один. Диверсионным его не называли, потому что все привыкли считать, будто диверсант — это враг, и трудно было объяснить людям, что это такая воинская профессия.

Героизм и мужество здесь не воспитывали, поскольку эти качества некому было прививать: людей, не совершивших подвигов, сюда не брали. Весь батальон был сформирован из минеров, показавших непревзойденную храбрость. Иначе было нельзя. Такие задачи стояли перед батальоном. Он находился в лесу, далеко от передовой, но то и дело по ночам группы людей уходили в тыл врага и совершали там диверсии. Не просто диверсии, только бы навредить врагу, а такие, что расстраивали его планы, срывали наступление или отрезали пути его отхода. Совершались диверсии, необходимые в данный момент командованию фронта.

В то время я служил в оперативном отделе штаба инженерных войск Западного фронта и часто бывал у диверсантов. Отчаянные головы! Не все они возвращались с заданий. Но не было случая, чтобы задание оказалось невыполненным.

Каждый минер батальона — это легендарная биография. Меня возмущало, когда на них покрикивала Женя Кочеткова. Найдет в землянке грязный солдатский котелок и поднимет крик на всю часть. Кто она, в конце концов, такая? И как попала в этот батальон героев?

Красивая, стройная девчонка лет двадцати, беззаботная хохотушка. Станным и неуместным было ее пребывание здесь. Слишком много времени уделяла собственной персоне. Сапожки на каблучке, пригнанная по фигуре шинель, тщательно разглаженные гимнастерка и юбка. Числилась она военфельдшером. Снимала на кухне пробу и всегда придиралась к повару. Она успевала просматривать все кинофильмы и в штабе инженерных войск, близ которого стоял батальон, и в соседних частях. А случись где-нибудь праздничный вечер, заставляла играть гармониста чуть ли не всю ночь и танцевала без перерыва.

Поражала ее наивность. Увидит цветную ракету или трассирующие очереди наших зениток и смеется от радости. Чему же радоваться? Ее приводили в восторг огонек, выбивающийся из-под заснеженной землянки, красиво опущенная елочка, — ну, буквально любой пустяк. В гуще кровавых событий находился миппо-диверсионный батальон, и не мог я понять, для чего здесь Женя. А главное, какими судьбами она сюда попала?

Постепенно я нашел этому объяснение, и оно не обрадовало. Комиссаром в роте Зорина был капитан Федя Губарев, человек железной логики, непревзойденной храбрости и удивительного спокойствия. Он не только никогда не повышал голоса, но не было случая, чтобы он говорил с раздражением. Командира и комиссара связывала трогательная и крепкая дружба.

Женя Кочеткова, как, впрочем, и все, кто знал Зорина, боготворила его. А к Губареву у нее было особое отношение.

Влечение людей друг к другу скрыть невозможно. Как ни прячут свою школьную любовь, скажем, Петя и Оля, все равно где-то появится надпись: «Петя+Оля=любовь». То же и у взрослых, разве только без этой надписи.

Отношения Жени и Губарева были особыми. Не вызывало сомнений, что в батальон героев она попала благодаря стараниям Губарева, который участвовал в формировании

рот. Это был его серьезный просчет. Едва ли он отдавал себе отчет в том, что рано или поздно ей придется идти в тыл врага. Как же намучаются люди, с которыми она пойдет! Я никогда не высказывал Жене подобных мыслей, но видел: она понимает, как я к ней отношусь.

Двадцатая и тридцать первая армии готовились к наступлению. Вдоль линии фронта взад-вперед курсировал немецкий бронепоезд. Рота Зорина получила приказ взорвать железную дорогу, обезвредить бронепоезд. Одну из групп возглавил сам Зорин.

Минеры уже находились близ передовой, в заранее намеченном месте, когда я узнал, что включен в группу Зорина. В группу входили: капитан Зорин, сержант Миронов, я и Женья Кочеткова. Изменить что-либо было поздно.

Миновав наш передний край, мы благополучно спустились в ложину к маленькой «ничейвой» Зеваловской переправе. Шла редкая артиллерийская перестрелка. Время от времени где-то раздавались пулеметные очереди. Мела пурга.

Неожиданно я почувствовал глухую боль в ноге выше колена, будто грохнули толстой доской. Густой, тошнотворный туман ударил в голову. Неловко скорчившись, я упал. Несколько секунд слышал, как падали мерзлые комья земли, и потерял сознание.

Когда очнулся, прежде всего увидел Зорина. Он лежал, уткнувшись в снег, с перебитыми кистями рук и большой раной в животе.

— Вот и все, братцы... Я убит.

Это были его последние слова.

Контуженный сержант Миронов стоял в изорванной осколками шинели, широко расставив руки, чуть сгорбившись, будто под дождем, и, бессмысленно улыбаясь, смотрел по сторонам. У меня, кроме ноги, были ранены плечо, пальцы рук, а на двух отбиты фаланги. Мелкие осколки попали в грудь. С Женей ничего не случилось. Только копотью почему-то покрылось лицо. Она сидела возле меня на снегу.

Потрясенные смертью Зорина, какое-то время мы молчали. Потом Женья стала кричать на сержанта:

— Какого черта стоишь! Накладывай жгут, да побыстрее поворачивайся!

Я знал, что так будет вести себя Женья в трудную минуту.

Контуженный, лишившийся слуха сержант Миронов переступал с ноги на ногу, продолжая бессмысленно озираться.

Как она может! Опять кричит на сержанта, не трогаясь с

места. Разве не видно, что он контужен! Она показывает то на свою сумку, валяющуюся в стороне, то на мою развороченную погу.

— Давай скорее, надо немедленно остановить кровь!

Туман застилает все вокруг... Сержант прилаживает жгут. Женя взялась, наконец, бинтовать пальцы. Медленно, неумело, то и дело морщась, будто ей все это противно.

Голова одурманена, все в тумане. Боли нет, только этот проклятый дурман и белая пелена на глазах.

— Куда жгут кладешь, с ума сошел! Иди ищи кого-нибудь, сама наложу.

Сквозь белую пелену проступает кровавое пятно. Нет, это не в воздухе, это на боку у Жени. На ее пригнанной по фигуре шинели. Пятно расплывается, ширится. Ее правая рука неестественно согнута в локте и в кисти, точно сведена судорогой. Пытается встать, но не может. Только сильнее морщится. Вот, оказывается, почему она морщится.

Падают бомбы на переправу, пикируют бомбардировщики. Ничего больше не видно...

И опять Женя. Она валится на бок.левой рукой делает из жгута петлю на моей ноге. Цепляется за один конец зубами и тянет... Расплывается по сторонам, растет кровавое пятно, потом исчезает...

Что происходит? Сколько прошло времени? Черное лицо Жени. Локтем недееспособной правой руки она упирается в перекрестие жгута на ноге, а левой делает еще одну петлю. Снова цепляется зубами и тянет. Уже не пятно, уже кровавое полотнище. Она останавливала мою кровь, теряя свою. Нет, это не мираж, туман рассеялся. Я видел и запомнил: сведенная судорогой рука, пропитанная кровью пола шинели, черное, в пороховой копоти лицо двадцатилетней красивой Жени.

У меня не было никаких сомнений: на эскалаторе, а потом в вагоне метро на станции «Маяковская» я видел Женю.

Я знал, что после тяжелого ранения у Зеваловской переправы она осталась жива. Спустя месяца два после того случая меня навестил в госпитале Федя Губарев. Он и сообщил, что она тоже в госпитале в Москве. В ее теле четыре осколка — в животе, в боку и два в руке. Врачи не решаются их извлекать, но угрозы для жизни нет.

Я рассказал Феде все, что думал о Жене раньше, как стыдно мне перед ней. Сказал также, что доложил командованию о ее самоотверженности, достойной награды, ибо она,

бесспорно, жертвовала собой во имя спасения товарища. Еще в полевом госпитале врачи сказали, что участь мою решил вовремя наложенный жгут.

А Федя не удивился поведению Жени. Оказывается, они познакомились в мино-диверсионном батальоне, и к тому, что она попала туда, Федя не имел никакого отношения. Он как комиссар роты знал ее биографию.

Когда началась война, Женя была на первом курсе медицинского института. В первый же день войны пошла в военкомат, пробилась на фронт. Участвовала во многих боях, была в окружении. Осенью сорок первого года в момент жестокой схватки перетаскивала раненых через реку. Временами в холодной воде теряла сознание, но каждый раз, когда раненый выскальзывал из рук, непонятная сила приводила ее в чувство. Она достигала берега, карабкалась на глинистый подъем, сдавала раненого и снова перебиралась на поле боя. В ту же ночь была ранена в ногу, сама перевязала ее и никому ничего не сказала. С каждым днем скрывать ранение становилось труднее, и на девятый день командир узнал о нем. Из госпиталя, куда ее положили, она вскоре сбежала и вернулась в свою часть.

В мино-диверсионный батальон ее взяли на общих основаниях: как человека, проверенного боями.

— Она ничего о себе не рассказывала, — закончил Губарев, — вот и считали ее только хохотушкой.

Спустя год на одной из фронтовых дорог, у КПП я увидел Женю.

— Что за растяпа здесь пробку устроил? — кричала она, вылезая из санитарной машины. И вдруг расхохоталась, захлопав в ладоши, глядя, как растянулся в грязи поскользнувшийся солдат. Шинель была тщательно пригнана по фигуре, рантовые сапожки на каблучке, чуть-чуть набекрень пушистая шапка.

Женя торопилась, и разговаривали мы недолго. Прощаясь, я стал благодарить ее за все, что она для меня сделала. Но Женя не стала слушать.

— Меня уже отблагодарили так, что еще отблагодарить эту благодарность надо, — распахнула она шинель, показывая орден Красной Звезды.

Больше я не видел ее.

Те, кто знал Женю, помнят ее веселой, жизнерадостной. Боль и страдания всю войну она прятала в себе. Но боль должна иметь выход. И в сорок пятом году, двадцатичетырехлетней, она стала седой.

Умчался поезд метро...

Я искал Женю. И вот мы сидим у меня: жизнерадостная, молодая, с удивительно красивой седой прической Женя и только что вышедший в запас полковник Федор Губарев. Первый тост провозгласила Женя за Ивана Зорина.

— До сих пор звучат эти слова, — сказала она. — «Вот и все, братцы... Я убит».

Мы вспоминали боевых друзей из мино-диверсионного батальона и далекие, но незабываемые дни.

Я предложил тост за Женю и Губарева, за их дочь.

— Кстати, почему вы не взяли ее с собой?

— А она у нас вся в маму, — улынулся Федя, — на танцы побежала, ей ведь двадцать лет.

1967 г.



О ЧЕМ ОНА ПЛАКАЛА

Сухогрузный теплоход «Солнечногорск», разгрузившись в Гаване и заполнив трюмы сахаром, взял курс на Марокко. Больше недели мы шли через Атлантический океан. Далеко слева остались Азорские острова, португальский остров Мадейра. Близ берегов Африки дул харматан. Он принес в океан сухую пыль из пустынь и изнурительную жару. Странно видеть сплошную пыль, когда вокруг только вода. Но харматан не страшен, говорят моряки. Страшен самум, который случается именно в этих местах. По-арабски «самум» — ядовитый, отравленный. Арабы называют его «Отравленный ветер» или «Дыхание смерти». Он налетает с сильно нарастающим шумом и свирепствует не больше 15—20 минут. Этого достаточно. Тучи раскаленного песка окутывают океан красновато-желтой мглой, сквозь которую солнце кажется багровым, а вода темной и густой, как кровь. Усиленное испарение влаги из организма вызывает рвоту, невыносимую головную боль, а иногда и смерть.

Мы благополучно миновали район, где бывает самум. Ночью показалось зарево. Оно было туманным, еле видимым, а потом залило весь горизонт. Касабланка.

Чужие порты, особенно ночью, кажутся загадочными. Цветные огни бросают тусклый свет на серые громады зда-

ний. Подходим ближе. Сверкает огненной рекламой один из красивейших городов Африки. И ярче других реклам — голова сфинкса. Она горит то синим, то красным, то зеленым светом, и ее нервные, стремительные контуры, точно молнии, бьют в глаза. Голова сфинкса возвышается на крыше здания, построенного в стиле модерн, в пригороде Касабланки. Это публичный дом.

Публичные дома в Марокко запрещены. Но этот, единственный, существует открыто: он принадлежит и приносит доход весьма влиятельному лицу.

Неподалеку, на берегу океана, распласталось еще одно здание в цветных огненных бликах: игорный дом. Я был в нем. Ходил смотреть, как все это происходит.

Зеленые столы больше бильярдных. Яркие секторы кругов: черные — красные. Бегают, вертятся тугой пластмассовый шарик: черное — красное, черное — красное. Мечутся за ним воспаленные глаза, облизывают пересохшие губы люди, потерявшие над собой власть. Крупье: черные костюмы, черные лопатки на длинных гибких рукоятках, бесстрастные, холодные лица. Они никого не зазывают, не приглашают. Точным движением опускают в автомат шарик, ударяют по рукоятке: черное — красное, черное — красное. Плывут над столами, покачиваясь, гибкие рукоятки лопаток, сгребая деньги.

Это первый зал, самый невинный. Здесь выигрыш в семь раз больше ставки. А в следующем — в тридцать семь. В следующем — нервный экстаз. Здесь бьются в истерике страсти.

Эти страсти придумали не африканцы. Африканцы сюда не ходят. Здесь французы, испанцы, американцы. ...Зеленое сукно принимает любую валюту. Шелестят доллары, фунты, франки. Игроки стараются держать себя спокойно. Они не видят, как сжимаются их кулаки, не слышат скрежета своих зубов. Мечется шарик, и уже не только воспаленные глаза, но, как в безумном тике, дергаются за ним тела.

В этом зале можно стать богатым в несколько минут. Именно за богатством сюда и приходят. В этом зале теряют все, что имеют.

Бешено вертится шарик, носится по столу. Черное — красное. Где остановится? Плывут над столами лопатки, и тупые глаза провожают только что вынутые и безвозвратно потерянные деньги. До утра горят неоновые огни казино. До утра горят страсти. До утра мечется шарик... Черное — красное... Где остановится? Черные костюмы крупье, черные лопатки, черные души...

Теплоход коммунистического труда приближается к порту. Нас не встречают, не спрашивают, кто мы, откуда и куда идем. Одновременно с нами подходит еще несколько судов. Их тоже не встречают. Ничего не поделаешь, по законам порта он принимает суда с шести утра до десяти вечера. Пришел в другое время — стой и жди. И мы бросаем якорь на внешнем рейде, поднимаем флаг: «Мне нужен лоцман».

Лоцманский катер причалил к борту ровно в шесть. Поднялся на мостик высокий худой француз. Как и положено в морской практике, говорит по-английски, но с сильным французским акцентом. Как и положено, он улыбающийся, предупредительный, остроумный.

Моросит мелкий противный дождь. Мелкий-мелкий, как из пульверизатора. Сзади и спереди подошли буксиры и потащили нас к причалу. Люди с буксиров в тонких коробящихся плащах яркого апельсинового цвета, в какой обычно окрашивают паруса спасательных шлюпок. А марокканцы удачно использовали этот наиболее заметный на воде цвет для плащей. До самого горизонта замелькали желтые пятнышки.

Уже светло, и виден огромный, блестяще организованный порт. Бесконечные причалы, пирсы, стройные, добротные. Крапы, будто насторожившиеся вереницы гусей, медленно движутся или стоят, вытянув шеи.

Многие порты мира по мере роста грузооборота реконструируются, теряют свой первоначальный вид и, как правило, теряют цельный, законченный ансамбль. Порт Касабланка сразу строился на большую пропускную способность. Он красив и как архитектурное сооружение. В нем все предусмотрено, все удобно и рационально. Отдельные изолированные пирсы для угля, для фосфатов, для генеральных грузов, продовольствия. Но все равно кажется, что над портом господствуют апельсины. Да и в самом деле, едва ли найдется порт, который перерабатывал бы такое количество апельсинов.

Буксиры подтаскивают наш теплоход к пирсу. Пришвартоваться нелегко: надо втиснуться между польским и американскими судами чуть ли не впритирку.

Идет дождь, мелкий, липкий, бесконечный. Внизу нас встречают несколько человек под зонтиками. Это шипшандлер, морской агент, представитель фирмы, полицейский и таможенные власти. Там же девушка в синем костюме, без зонтика. Они сбились в группку и стоят сошнувшись под крапом. И только она ходит.

Блестят под дождем крыши. Судно еще не подошло, еще долго будет швартоваться, пока не подтянут его к пирсу и не закрепят на кнехтах все эти продольные, прижимные, шприпги. А она ходит по причалу взад-вперед, вся промокшая, и не отрывает глаз от нашего судна. С грустью смотрит на палубы и надстройки. Не знаю почему, но мне кажется, она русская. С того момента, как мы приблизились к причалу, до конца швартовки прошло минут сорок. Она все ходила под дождем. Взад-вперед, взад-вперед, от кормы к носу, от носа к корме, и, подняв голову, смотрела на моряков и прятала от них глаза.

Раздалась команда: «Опустить трап», и будто по этой команде девушка остановилась. Она смотрела, как медленно опускался трап, и когда он коснулся причала, быстро повернулась и пошла к воротам порта, не оборачиваясь, все ускоряя шаг.

Странным поведением она обратила на себя внимание моряков. Вначале мы думали, что она служит в порту и пришла на судно по делу. Оказывается, нет.

Дождь кончился, и жарко запылало солнце. Не зря же оно африканское. Выяснилось: стоять будем долго. Было начало девятого месяца лунного календаря, и, значит, весь месяц от восхода солнца и до заката мусульмане не имеют права есть, пить, курить. И сил для работы будет немного.

За ворота порта мы вышли в день прибытия. «Касабланка» — значит «Белый город». Он и в самом деле весь белый. Белые двадцатипятиэтажные гостиницы, белые минареты, белые офисы, белые магазины. Но это издали. Издали не видна черная, закопченная и прижатая к земле Медина. Так в этой деловой и коммерческой столице, в крупнейшем городе Марокко называется район, где живут арабы. Белая часть раньше принадлежала французам, испанцам, американцам, итальянцам. Их офисам, трестам, банкам. Теперь все это купили арабы. Однако во всех крупных предприятиях до сих пор есть акции иностранного капитала. И хотя контрольный пакет находится в руках государства, иностранный капитал часто диктует свою волю. И Сахара, большая часть которой принадлежит Марокко, занимает в планах иностранного капитала немалое место.

От порта к центру города ведет широкая улица, по обе стороны которой палатки и магазины сувениров. Здесь изобилие разнообразнейшей медной посуды, старинное холодное оружие, ковры, изделия из кожи. Мы шли мимо ларьков, куда продавцы затаскивают прохожих руками, видели, как

западногерманские моряки лихо продавали арабам сигареты, с каким изумлением дети смотрели на уличного фокусника.

Мы осмотрели широкие кварталы белой части города и кривую захламленную Медину, где, кажется, из окон домов, находящихся на разных сторонах улиц, можно поздороваться за руку.

Вместе с нами был Жора Мандрыкин. Его родители уехали из России до революции, а он родился здесь и вовсе не видел родины. Но русский язык знает отлично. Работает в пароходной компании и по долгу службы заходил к нам на судно. Жора сам предложил нам быть гидом. Он и привел нас в кофейню, где произошел смешной случай.

Кофейня принадлежала итальянцу, владельцу фабрики кофеварок. Жора познакомил нас с хозяином, и тот похвастался, что приготовит кофе, какого мы еще никогда не пили. И в самом деле, кофе был необычайно вкусным.

— Как вы его готовите? — вырвалось у меня, но я тут же понял, что оконфузился.

Хозяин смущенно улыбнулся и сказал:

— Извините, пожалуйста, я не могу вам ответить. Это мой коммерческий секрет, понимаете? Секрет моей фирмы.

Черт бы их побрал с их фирмами и секретами. Ну, кому у нас взбрело бы в голову прятать рецепт кофе? Пришлось извиняться за свою любознательность. А может, и действительно тут научное открытие. Хозяин сказал, что он смешивает тринадцать сортов кофе и каждый сорт в разной пропорции. Может, он и не обманывает. Когда мы вышли, Жора сказал, что это самая лучшая кофейня и никто другой не умеет так варить кофе.

С Мандрыкиным связано и еще одно происшествие, тоже смешное, но совсем не такое уж невинное. Он женат на француженке, и у него две чудесные девочки: девятилетняя Катюша с золотыми волосами и пятилетняя Валя. В воскресенье мы пригласили к себе в гости всю семью, и они очень хорошо провели у нас день. Сначала девочки стеснялись, но очень скоро свыклись с обстановкой и с восторгом бегали по палубам. Моряки охотно с ними играли. Может быть, вспоминали своих детей, а может, просто так, потому что девочки веселые и забавные. Мы не могли тогда предположить, к каким последствиям это приведет. А события развивались довольно стремительно.

В школе, где училась Катюша, была одна гордая девочка. Гордость появилась у нее с тех пор, как вместе с отцом она побывала на американском пароходе. Она часто говори-

ла про это, и все девочки ей завидовали. Понимая, что она лучше тех, кого не приглашали к американцам, она соответственно и вела себя. Поэтому ее не очень любили. Но вот появилась Катюша и заявила, что была на советском пароходе и он в сто раз лучше американского. Гордой девочке не хотелось терять монополию, и она решительно опротестовала заявление Катюши. Начался спор, чей пароход лучше.

В этом-то споре и выяснилось, что гордая девочка не была на капитанском мостике, не участвовала в перетягивании каната, не играла с моряками в пиратов, не держалась за руль, который называется штурвалом, не ела флотский борщ вместе с матросами и вообще, наверно, дальше порога ее не пустили. Гордая девочка не сдавалась, утверждая, будто именно все это и даже больше видела на американском пароходе.

— Ах так? — горячилась Катюша. — Тогда скажи, что еще, кроме руля, есть на капитанском мостике.

— Тормоз... — отвечала та под смех старших школьниц, которых тоже привлек спор.

Катюша провела у нас почти весь день и в самом деле многое видела. Она со знанием предмета насаждала на свою соперницу и задавала новые вопросы, и все видели, как трудно отвечать бедной гордой девочке.

— А советскими конфетами тебя угощали твои американцы? — не унималась Катюша. — А спутника твоей маме подарили? А в спасательном круге тебя фотографировали?

У гордой девочки подрагивали губы, но она упрямо отвечала:

— Угощали... Подарили... Фотографировали...

Чтобы уж окончательно добить свою противницу, открывая ранец и сильно растягивая слова, Катюша спросила:

— А матрешку тебе твои американцы подарили? — И торжествующе стукнула матрешкой о парту.

Гордая девочка оторопела, но на нее уже никто не обращал внимания, потому что из одной матрешки получилось пять и они пошли по рукам восторженных девочек.

Все происходило на перемене. Гордая девочка незаметно исчезла и в тот день на занятия больше не вернулась. За ее книгами приходила разгневанная мать. А матрешка тем временем ходила по классу, и вся школа уже знала о поединке двух девочек. Дети рассказали о происшествии дома и, точно сговорившись, потребовали, чтобы родители повели их на советский корабль. А на следующий день уже среди некоторых взрослых начались разговоры о коммунистической про-

паганде, проникшей в школу и охватившей всю ее точно чума.

Все это случилось за день до нашего отхода из Марокко, и чем кончилась злополучная история, не знаю. Возможно, полиция отобрала матрешку, как орудие коммунистической пропаганды, но все равно Катюша будет долго помнить советских моряков и рассказывать, какие они хорошие.

И не только Катюша будет об этом говорить. Более убедительно скажет портовый служащий Удда.

Он прибежал к нам на судно ночью, огромный, беспомощный, готовый расплакаться. Тяжело болен старший сын. Чего только не делали с мальчишкой, а ему все хуже. Его тело сторает. Кланаясь и молитвенно складывая руки, просил хоть что-нибудь сделать. Ведь русские все могут.

Мы отправились к нему на квартиру вместе с судовым врачом Аллой Кравченко. Температура у ребенка была около сорока. Алла осматривает мальчика и говорит, что положение хуже, чем думает отец. Она обращает внимание и на двух других детей Удды, которые тоже больны, о чем родители не догадываются.

Алла действует уверенно и решительно. После первого посещения мы находились в Касабланке еще две недели. Алла выходила ребят. Родители все понимали. Понимали, что советские врачи могут правильно поставить диагноз, назначить правильный курс лечения. Но они искренне не могли понять, почему врач не берет денег. Они с недоумением смотрели на Аллу и друг на друга и увеличивали сумму, думая, может быть, мало предлагают. Им очень хотелось понять, как это может быть, что в Советском Союзе врачи ни с кого не берут деньги. Понять этого они не могли, но поверили. И одно это уже казалось им таким величайшим благом, какое может быть только там, у всевышнего.

Когда Удда в первый раз прибежал на советский теплоход, у причалов порта находились суда девятнадцати стран. Наш теплоход стоял у самого дальнего пирса. Чтобы попасть к нам, ему требовалось пробежать мимо двух американских пароходов, трех из ФРГ и до десятка других. Я спросил, заходил ли он туда. Оказывается, нет. Почему же выбрал самое дальнее судно?

— Но ведь оно же советское, — развел он руками, точно удивляясь, как это можно не понимать таких простых вещей.

Мне много раз приходилось сталкиваться с людьми, у которых просто не укладывается в голове наша система здра-

воохранения. В Сингапуре, например, был такой случай.

На борт нашего турбохода «Физик Вавилов» поднялся шипшандлер Гаута. Шипшандлер — это коммерсант, который снабжает суда самыми различными товарами. Скажем, требуются капитану продукты питания, запасные части к двигателям, лекарства, флаг какой-либо страны и другие самые разнообразные товары. Не станут же члены экипажа бегать по десяткам магазинов или баз. Шипшандлер быстро доставит на судно все необходимое. Шипшандлеров много, но «Физика Вавилова» обычно обслуживал Гаута. Это человек с большими связями в торговом мире, опытный коммерсант, пользовавшийся доверием капитана и фирм. Перепадало ему немало, жил он довольно широко и собирался уже открыть собственное дело.

Гаута был человеком не только энергичным, но очень веселым и удивительно остроумным, жизнерадостным. Таким знали его моряки с нашего судна. Но в этот раз он был другим. Молчаливый, скучный, буквально убитый горем.

Оказывается, два месяца он лежал в больнице, принадлежавшей англичанам, и там ему сделали операцию. В общей сложности болел четыре месяца, и болезнь съела все его капиталы.

На мой вопрос, как это могло случиться, он ответил:

— Понимаете, все очень дорого. Я уже не говорю о самой операции. Но вот бинтует сестра рану, уже все больное место покрыто бинтом, а она все бинтует. Она заинтересована в этом, потому что платить надо за каждый сантиметр бинта. То же самое с мазью. Уже покрыта вся рана мазью, а она кладет еще: ведь каждый грамм мази будет мною оплачен.

Гаута никак не мог понять нашей системы здравоохранения.

— Позвольте, — говорил он, — вы утверждаете, что если советского человека увезет машина «скорой помощи», платить за это не надо. А за такси вы платите? Как же так? — поражался он. — Вы утверждаете, что за питание в больнице с вас ничего не берут, а в ресторанах вы платите. Где же логика?

Гаута клялся, что после выхода из больницы остался нищим.

Старпом Федор Федорович Трубин, бывший командир эсминца, человек простой и бесхитростный, пробасил:

— А у нас за такое лечение ни гроша не платят.

Гаута горько усмехнулся.

— Не надо так зло шутить, чиф.

Его стали уверять, что это правда, и он сказал, что верит, но все видели: сказал только из вежливости.

Марокко мы покидали в шесть утра. Я уже забыл о девушке в синем костюме, которая встречала нас под дождем. Когда раздалась команда «Поднять трап», она появилась. И стала ходить по причалу вдоль судна, глядя на нас такими же печальными глазами, как в первый раз. Когда отдали носовой шпринг, эту последнюю ниточку, еще связывающую нас с берегом, она вдруг быстро достала платочек. Она плакала.

Я так и не узнал, кто она, почему не решилась подойти к нам, почему ее так тянуло к судну. Может быть, была она советской девушкой и совершила что-то нехорошее, и теперь страшно ей смотреть в глаза морякам и страшно, что нет у нее больше родины. Возможно, вышла замуж за иностранца и, счастливая, унеслась в экзотическую страну, и нет больше сил жить в чужом краю. Может быть, родилась в этих африканских краях и никогда не видела своей родины, но ее тянет родина, и она бежит в порт, чтобы хоть взглянуть на пароход — этот крошечный островок отчизны.

Мы ушли уже далеко-далеко, а я все еще видел на причале понившую фигурку. Она уменьшалась и даже в бинокль казалась теперь темным, бесформенным силуэтом.

1970 г.



ЭТО ОШИБКА, МАРИЯ...

История эта произошла в Атлантическом океане на теплоходе «Солнечногорск», шедшем в Гавану из Гибралтара. Мне хотелось сразу же рассказать о ней, но все осложнилось тем, что ни начала ее, ни конца я не знал. Мне стала известна лишь одна деталь, поразительная деталь в истории отношений двух, должно быть, любящих людей.

Забегая вперед, скажу, что полгода я настойчиво искал их. Хотелось узнать хоть какие-нибудь подробности. Но все оказалось тщетным. Оставался один выход: писать рассказ. Придумать начало и конец или хотя бы только начало. Мог бы получиться интересный рассказ. Так я и решил поступить. Но чем больше вдумывался в существо единственно известной мне детали, тем более вся эта история казалась чем-то неприкосновенным, хрупким, что ли. Казалось, любой домысел мог разрушить что-то очень красивое, созданное жизнью. Поэтому я решил рассказать только то, что знаю. Пусть читатели сами нарисуют себе картину, какой она им представится.

Все в мире подсчитано. Сколько километров до Луны, сколько рыбы в море, сколько кораблей в сутки сталкиваются. Например, только в Северной Атлантике ежегодно происходит более трехсот столкновений. Конечно же, подсчитали и сколько судов одновременно находится в плавании. Я не

знаю этой цифры. Но достоверно, что все они одновременно ведут радиопереговоры: между собою и с береговыми станциями. В это же время говорят по радио сотни стран, разделенных морями и океанами. И величайший хаос звуковых волн царит над водными просторами.

Как пробиться через эпицентр этого хаоса с Атлантического океана в далекую Москву?

Очень просто. Никакого хаоса нет.

Весь мировой эфир поделен. Поделены волны, зоны, пояса, время. Поделены буквы латинского алфавита, их комбинации дали возможность присвоить отдельные позывные миллионам радиостанций, каждому суденышку. И все позывные раций, связанных с морем, позывные каждого судна занесены в книгу, набранную мельчайшим шрифтом, и любой радист без труда может найти их.

Но как все же пробиться со своим разговором?

Представьте себе густой дождь. И представьте невозможное: струйки его идут не сверху вниз, а горизонтально. Так вот, очень схематично, сугубо условно, каждая струйка — это радиоканал. И на концах ее разговаривают радисты. И радистов таких может уместиться миллионы и миллионы. Но все больше в мире появляется радиостанций и все гуще струйки. То и дело одна надвигается на другую, и нужно мастерство, чтобы ни к одной не прикоснуться. Но подключиться можно к любой.

Слушать, о чем говорит мир, интересно. Вот знакомый мне теплоход «Лениногорск» просит разрешения войти в канадский порт Монреаль. Тронулся караван судов через Суэцкий канал. Среди них три парохода из Одессы. Закончил разгрузку чугуна в Японии «Ленинский комсомол» и просится домой, но ему дают распоряжение следовать в Джакарту...

Чисто служебных, «морских» разговоров не так уж много. Моря и океаны полны пассажирскими судами. И редкий пассажир откажет себе в удовольствии послать восточку родным или друзьям из Атлантики, Тихого, Индийского океанов или из далеких тропических стран. Ни на минуту не отрываются от коммерческой жизни «деловые люди» капиталистического мира. Акции, биржи, сделки, проценты, валюта, цены — все в эфире. Идут радиogramмы, длинные, короткие, остроумные, пежные, грубые, унижительные, властные. Летят в эфире слова. Днем и ночью, медленно и с бешеной скоростью записываемые с одной пленки на другую. Заполнен, забит эфир звуками.

Но наступает минута, нет, секунда, одна и та же секунда

для мирового водного пространства, когда все обрывается. На полуслове умолкают судовые и береговые радиостанции всего мира. Прекращаются передачи «срочных», «сверхсрочных», «молний», «особо важных». Прерываются сводки о надвигающихся штормах и вспыхнувшей эпидемии, распоряжения пароходных компаний и диспетчеров об изменении маршрутов кораблей, и, случись даже государственный переворот, сообщение об этом прервет на полуслове. Наступают минуты молчания. Они наступают с пятнадцатой до восемнадцатой и с сорок пятой до сорок восьмой минуты каждого часа. Сорок восемь раз в сутки с перерывами в полчаса длится трехминутное молчание.

На циферблатах часов в радиорубках два ярко-красных сектора от центра к окружности пересекают эти минуты: остановить передачу! И все судовые и береговые радисты мира ловят одну струйку, настраиваются на одну волну: 500 киллогерц. И вслушиваются. Никто не имеет права проронить звук. Никто, кроме судна, терпящего бедствие. В эфир можно выйти только с единственным словом: «SOS».

Для того и замолкает весь морской мир, чтобы услышать этот одинокий сигнал бедствия, если он раздастся. Поистине братский закон моряков всех стран. И суровой ответственности подвергнется судно, которое нарушит его. Десятки, а то и сотни раций засекут, запишут, запеленгуют нарушителя, осмелившегося заговорить или не прервать передачу, когда приходят минуты молчания.

В тот вечер, о котором идет рассказ, радист Вестель закончил свои передачи в двадцать три сорок. Через пять минут начались минуты молчания. Все звуки замерли одновременно. Недаром крупнейшие мировые державы регулярно передают для судов очень точное время. Недаром на судах под двойными стеклянными колпаками хранятся специальные морские часы: шум в аппаратах прекратился, будто повернули выключатель.

Три минуты мы вслушивались в эфир. Ни звука. В двадцать три сорок восемь рубка заполнилась шумом так же вдруг, словно открыли где-то кран: минуты молчания кончились. По международным законам радиовахта на судне нашего класса в поясе, где мы находились, заканчивалась в двадцать четыре часа. После минут молчания Вестелю фактически уже делать было нечего. Он слушал на всякий случай морзянку и объяснял мне устройство автоаларма.

Умный прибор. Когда радист кончает вахту, он обязан переключить на автоаларм антенну и привести прибор в дей-

стве. Если раздастся где-то сигнал тревоги — двенадцать тире, автоаларм сработает, и загрохочут звонки громкого боя в каютах капитана, начальника рации, в штурманской и радиорубке. Они будут звенеть до тех пор, пока не прибежит к аппарату радист и не узнает, где и с кем беда. Такого же типа прибор имеется в штурманской. Если бедствие будет терпеть наше судно, а радист по каким-либо причинам не сможет занять своего рабочего места, вахтенному штурману потребуется меньше минуты, чтобы разбить стекло и привести прибор в действие. Немедленно полетят в эфир двенадцать тревожных тире, а за ними «SOS», наши позывные и координаты.

Мы разговаривали с Вестелем, и он время от времени поворачивал ручку настройки, успевал точки, тире превращать в английские слова и переводить их на русский. Чего только люди не посылают в эфир!

«...Этот брак с нищенкой компрометирует нас, если ты не откажешься, лишаю тебя наследства...», «...до сих пор не собраны членские взносы общества пожарников тчк проведите разъяснительную работу среди экипажа за стопроцентный охват результатах сообщите...», «...бродяги, которых вы насовали вместо матросов, разбежались порту Джорджтаун, капитан все время пьян, набираю новую команду...», «Кики не выносит качки, ветеринара на судне нет, вынуждены сойти Сеуте консультации, дальнейшее сообщим...», «Имею сведения: цветные матросы свободно ходят по палубам. Возвращении домой я вас выгоню. Немедленно оградите корму, как было при мне...»

Кстати, в Сингапуре, когда я находился на турбоходе «Физик Вавилов», мы стояли рядом с амстердамским судном. Самый край кормы был огражден металлической сеткой, за которой сидели малайцы. По одежде можно было понять, что это матросы и моряки машинной команды.

Вестель навел порядок на своем столе, и мы уже собирались разойтись по каютам, когда он, взглянув на часы, сказал:

— Скоро минуты молчания. Послушаем?

И вот все смолкло. Откуда-то из донных глубин судна доносился к нам на седьмой «этаж» мерный гул могучих двигателей. Бились о борт покатые массивы мертвой зыби Атлантики. Молчал эфир.

Так прошло минуты полторы. Может, потому, что мы уже не думали что-нибудь услышать, барабанным боем показался писк ворвавшейся морзянки. Нет, это не были двенадцать

тире, предвещавших сигнал «SOS». Отчетливые, никем не заглушаемые, неслись точки-тире, складывались в английские слова, которые быстро записывал Вестель. Почерк у него немислимый. Какне-то крючки, а не буквы. Если добавить к этому, что знания английского языка у меня школьные, станет ясно, почему я не мог разобрать ни одного слова. А он, вслушиваясь, перестал вдруг писать, хотя отчетливо бились в эфире точки-тире. Предупреждающе поднял палец, чтобы я не заговорил.

Передача оборвалась, и радиорубка заполнилась обычным шумом: минуты молчания кончились. Вестель, наконец, перевел мне посланные в мир слова:

«Это ошибка, Мария, ты слышишь меня, Мария, это ошибка, я люблю тебя».

Какое-то время мы молчали, если не считать слова «да-а», которое оба поочередно произнесли несколько раз. Потом стали рассуждать.

Прежде всего установили, что говорил радист. Во-первых, потому, что фраза была передана трижды (вот почему Вестель не все время вел запись), как передают радисты все позывные и вызовы. Во-вторых, потому, что радист никого не допустил бы к аппарату вообще, а в минуты молчания тем более. Несомненно, на судне или на береговой радиостанции находилась и неизвестная нам Мария. Иначе бессмысленны были бы призывы к ней в минуты молчания: ни своих позывных, ни адресата он не передал. Значит, рассчитывал на то, что Мария обязательно в этот момент у аппарата. Решили мы, что любовь радиста очень большая, настоящая. Он ведь знал: такой проступок, как нарушение минут молчания в своих личных интересах, повлечет суровое наказание, дисквалификацию, а может быть, и суд. Только во имя настоящей любви человек мог пойти на это.

Стало ясно и то, что призошла ошибка столь серьезная, которая могла заставить Марию немедленно совершить что-то непоправимое, может быть, самое страшное. Иначе радист мог бы все объяснить ей при встрече или нашел бы другой способ объясниться, а не идти на такое грубейшее нарушение международного закона.

Нам не удалось установить, какой стране принадлежала рация, передавшая эту фразу. Имя «Мария» широко распространено во многих странах. А то, что передана она была на английском языке, еще ни о чем не говорило. Ведь это международный язык моряков. Все радиопереговоры они и ведут на английском.

Мы еще долго строили всякие предположения. И я решил обязательно узнать эту историю. Тогда мне все представлялось просто. Есть специальный орган, которому обязательно сообщат о нарушителе. Хотя очень редко, но бывают случаи, что на каком-нибудь судне то ли увлекутся передачей, то ли люди, не имея навыка, забудут о минутах молчания и не вовремя прервут радиограмму. Это не только обижает всех радистов, но оскорбляет их. В этом видят они какое-то ущемление своей профессиональной гордости и немедленно сообщают о «браконьере».

С тех пор прошло почти полгода. И ни один человек из сотен или тысяч, кто слышал эту фразу, не сообщил о радисте-нарушителе. Возможно, не успели запеленговать. А может быть... Может быть, не считали это нарушением и приняли как сигнал бедствия. Ведь гибла любовь.

1963 г.

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

«Всю войну Аркадий Сахнин был в действующей армии. Но и сменив военную форму на штатский костюм, он не покинул линии огня... О людях, которые и в мирные дни поступают, как воины, готовые взять на себя самое опасное во имя счастья других, рассказывает Аркадий Сахнин. «Глубина» — это не только название документальной новеллы, но и ответ на вопрос о том, как, какими средствами достигает автор сильного эмоционального воздействия на сердца читателей: глубоким проникновением в характеры людей, в истинный смысл человеческих отношений, своим умением увидеть даже в трагических событиях повод для повествования оптимистического, вооружающего людей верой в победу добра над злом».

Сергей МИХАЛКОВ

«Сахнин, как правило, застаёт своих героев в ситуациях чрезвычайных... его всегда влечет на самое острое схваток переднего края жизни, туда,

где ее обстоятельства заставляют и человека проявиться до самого дна и где реально противоборствующие в мире силы добра и зла сходятся в последней инстанции на совершенно, как говорится, конкретной земной арене... Факт, факт, факт — и вроде бы никаких эмоций. Но всмотритесь внимательно, и вы увидите, с каким мастерством это сделано: скупость, даже протокольность изложения лишь подчеркивают драматизм события, а в самом лаконизме — большой эмоциональный заряд, который совсем не нуждается в «выявлении». Его «биотоки» нацелены в самое сердце читателя.

...Говоря о человеке с передовой, я имею в виду не только прошлое. Речь и о тех «мирных сражениях», которые писатель-публицист ведет изо дня в день на идеологическом фронте, а и тут передовая проложена отнюдь не по цветущим газонам. Сахнин об этом не пишет, но даже неискушенный читатель его очерков и обличительных статей-памфлетов легко представит себе, каких усилий, какой настойчивости требуют от писателя... «экскурсии» в гнезда антисоветчиков, окопавшихся за рубежом, и целеустремленная — месяц за месяцем, поездка за поездкой — борьба за то, чтобы эти гнезда были обезврежены... Помню, как однажды, прочтя очерк Сахнина о встрече с матерым «энтээсовцем», сказал один старый писатель: «Кольцовская работа!» Очень метко сказал: Сахнин один из тех, кто в наши дни продолжает традиции писателя-большевика Михаила Кольцова».

Георгий РАДОВ

«Манере Сахнина свойственна внешняя бесстрастность, объективизм, что ли, изложения. Больше того: деяния отрицательных персонажей он описывает, кажется, с каким-то странным сочувствием, словно бы с пониманием мотивов, которые ими руководят. И наоборот: о благородных, а часто просто героических поступках наших современников пишет как о чем-то совершенно нормальном, само собой разумеющемся. Это кажется странным.

Но еще более удивительно то, чем с большим

понимаем вникает писатель в помыслы и мотивы поведения отрицательных своих персонажей, тем неспригляднее они нам кажутся. С тем большей непримиримостью мы к ним относимся. И наоборот: чем спокойнее, без намека на восторженность, аффектацию рассказывает он о хорошем, тем большее уважение к этому хорошему вызывает.

Читая очерки, рассказы, повести Сахнина, невольно задумываешься и над тем, насколько односторонне еще бытующее в литературной критике стремление определить суть и направленность литературного произведения в зависимости от того, каких в нем персонажей больше — положительных или отрицательных. Вновь убеждаешься в той бесспорной истине, что главное — позиция писателя, глубина его прощикновения в жизнь».

Борис ПАНКИН

«Сахнин дает своим героям вымышленные имена и фамилии, но каждая деталь их жизни и труда, их облика и характера документально точна.

Тематическое разнообразие, темперамент, идейная убежденность, вера в способность современника совершить подвиг без громкой патетики — вот какую литературную «программу» предлагает нам автор.

Как любого писателя, исследующего перспективы действительности, Сахнина привлекает молодой герой, наш младший современник. Это весьма симптоматично, так как именно поколению молодых принадлежит будущее со всеми чудесами науки, техники, культуры, но прежде всего — чудесами человеческой души и морали».

Галина СЕРЕБРЯКОВА

«Книгам Аркадия Сахнина веришь еще и потому, что в них всегда заметно личное участие автора в событиях, о которых он пишет. И это не литературный прием. А факт. Он сам водил поезда. Сам много лет работал в газете. Во время войны ходил в тыл врага в составе мино-диверсионной группы. Был

на целине. Прилетал в Ташкент, когда землетрясение еще продолжалось. Опускался в скафандре на морское дно, прежде чем написать о водолазе. Написал о знаменитом разминировании фашистского склада боеприпасов в Курске, потому что на практике знал, как это делается. Не раз ходил в дальние плавания на грузовых судах. Встречался за рубежом с друзьями нашей страны и с ее врагами. Писательская судьба Аркадия Сахнина, как и судьбы многих советских литераторов, стала неотъемлемой частью судьбы Советской Родины».

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Неотвратимость	3
Машинисты	181
Правда Целины	322
Крик из глубины	358
Сорок минут огня	384
Седые волосы	401
О чем она плакала	411
Это ошибка, Мария...	420
Слово об авторе	426

Аркадий Яковлевич
Сахнин

НЕОТВРАТИМОСТЬ

Повести и рассказы

Редактор
Е. МАРКОВА
Художественный редактор
П. ЕГОРОВ
Технические редакторы
Н. ДЕЦКО, Г. БОЙЦОВА
Корректор Н. ДЕГТЯРЕВА

ИБ № 3432

Сдано в набор 05.12.83. Подписано к печати 07.03.84. А02865.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага
тип. № 2. Усл. печ. л. 22,68. Усл. краск.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 25,56.
Тираж 150 000 (50 001—100 000) экз. Заказ 96. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писате-
лей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62.

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Андронов, ул. Чкалова, 8,

Сахнин А. Я.

С22 Неотвратимость: Повести и рассказы. — М.: Современник, 1984. — 430 с., ил.

В пер.: 1 р. 90 к.

Аркадий Сахнин — известный советский писатель и публицист, автор романа «Тучи на рассвете», документальных повестей «Толпа одиноких», «Поединок», «Три минуты до катастрофы» и других.

В новую книгу вошли ранее публиковавшиеся произведения и новая повесть, давшая название сборнику. Это остросюжетное произведение, построенное на неожиданных поворотах событий, — об обретении истины.

С $\frac{4702010200-132}{M106(03)-84}$ 138-84

ББК84Р7
Р2